

**Товарищество писателей в Петербурге
Секция критики и литературоведения
Союз писателей России**

НОВЫЙ РУССКИЙ ЖУРНАЛ

литературной и философской критики,
прозы и поэзии

«... из пламя и света рожденное слово!»

М. Ю. Лермонтов

№ 10

ноябрь – декабрь 2018

Санкт-Петербург
2018

ББК XX.YY

Редакционный Совет

Главный редактор
В. И. Чернышев

ISSN xxxx-xxxx

©Чернышев В. И., 2018
©Редакционный Совет, 2018

ОГЛАВЛЕНИЕ НРЖ №10

I. ПОЭЗИЯ, ПОЭТИЧЕСКАЯ ПРОЗА, КРИТИКА как искусство	
В. И. Чернышев. СТРАНИЧКА из дневника	05
СТИХИ ПЕРЕД КОНЦОМ ГОДА	06
В. А. Овсянников. САМПО (из Калевалы). Вольное переложение нескольких рун). Четыре прогулки. Из одного давнего сна.	11
Сергей Николаев. ИЗБРАННОЕ	34
Виктор Павлов. Метелица и анархия	45
Владимир Меньшиков. ЗОО - деревня	58
Прогулки с Овсянниковым	72
II. ФИЛОСОФСКАЯ ПРОЗА	
Геннадий Станкевич. Суд Париса (Повесть. Детектив)	10345
Александр Медведев. Абрамов. Рассказ	186
III. ЧЕЛОВЕК В ИСТОРИИ. Лишние русские люди	
Замогильные Записки. Обложка	203
Вл. Серг. Печерин. Замогильные Записки. Текст.	204
IV. ПУБЛИКАЦИИ И ИССЛЕДОВАНИЯ	
Надежда Полякова. Библейские образы и библейские сюжеты в русской поэзии. Под редакцией Галины Дюмонд	213
А. В. Осипов. Ничто, экзистенциализм и свобода	253
Н. И. Калягин. «по поводу смысла духовного строя	274
V. ЛИКИ, ЛИЦА, ЛИЧИНЫ (литературно-философская критика, рассказы, эссе, воспоминания)	
Геннадий Муриков. Заговор тёмных сил (Протоколы сионских мудрецов).	292
Александр Медведев. Свет отмененной правды (к столетию А. С.)	308
VI. ИСТОРИЯ В ЗЕРКАЛЕ СУДЕБ (человека и слова)	
Земное странствие звезды Ариадны.	314
VI. ЗА СТОЛОМ У РЕДАКТОРА (статьи, рассказы, потасовки)	
Т. М. Лестева. О-МОН-РУЖ. Рассказ	322
Владимир Меньшиков. Спутник "кбмом"	326
Влада N. Репортаж с одного «хулиганского» Заседания	329
VII. НАД ЖИЗНЬЮ (СТИХИ, статьи, рассказы и ПИСЬМА)	
В. И. Чернышев. Новая русская философия	330
Стихи о Питере из Интернета	351

**I. ПОЭЗИЯ, ПОЭТИЧЕСКАЯ ПРОЗА,
Критика как искусство**

В. И. Чернышев

Страничка из дневника

**СТИХИ ...
ПЕРЕД КОНЦОМ ГОДА**

НЕ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ РЕДАКТОРА



НЕФИЛОСОФСКИЕ ЗАПИСКИ (страничка из дневника)

7 октября, воскресенье, семь часов вечера. Работали с женою на огороде до двух часов, потом пообедали и я ее проводил до шоссе, назад меня до С--ва подвез парень и я ему сказал, что уже подумываю после «Встреч на дорогах» написать книгу «НЕ-встречи ...», так как машины уже не останавливаются.

Вернулся без четверти четыре и ринулся работать, обивал парную изнутри вагонкой, устал, помылся прямо у крыльца горячей водой, затопил печку, заварил чаю, подогрел тушеную капусту, начинаю ужинать.

Увы, на еду я трачу времени больше, чем на размышления о Боге. Печка гудит, в комнате уже жарко (а только что я замерзал), закипает второй чайник чаю. Выпью горячего несколько погодя. Да, увы, *праведником стать мне не удастся*: меня знобило и я налил коньяку 40 грамм – но мне уже и от этого плохо, пропадает энергия мысли. Надо быть строже к своим слабостям! Вчера были у Зои, отнесли на хранение картошку для посадки, она нас угостила пирогами с капустой, а мы принесли с собой «маленькую» налили по рюмке. Потом пришел Юра, женщины больше не пили и мы с Юрой выпили еще по две рюмки – сколько же я выпил? 70 грамм?! Это кошмар! То-то мне было плохо, слава богу, я протопил баню, и водка выпарилась

Увы, уже *восемь часов*, выпью полчашки чаю и начну редактировать для «Русских страниц» следующего автора. Лягу спать пораньше, не позже полуночи, может быть, рано утром еще поработаю?

8 октября, 9-31. Под утро грянули заморозки, не померзла ли картошка внизу в сарае? Мы про нее забыли. Надо и ее отнести на хранение...

18-42. Сегодня день подвигов! В парной прибивал вагонку, прибил немало. Потом пилил дрова, несколько расколочил. Обедал. Собрал в дорогу не только рюкзак, но еще и сумку на колесиках, наложил в нее тыкв. Ни один конструктор, конечно, не догадывался, что ее покатит Василий Иванович, и поэтому наложит он в эту сумку тыкв столько, сколько в нее войдет, да еще насыплет туда картошки, в зазоры между тыкв. И станет сумка, конечно, неподъемной. В.И., конечно, всё *ничем*, но колесики на него не рассчитывали, и все как один обломилось, и пришлось ему ее *нести* – а она неподъемная! Вот тут и ВИ стало **почём!!!** Дошел он все же, если не в бреду сие кажется, аж до вокзала, осталось теперь перейти железно-дорожный мост – а руки уже не держат даже карандаш! – дойдет ли ВИ до платформы?

12. 10, 23-00. Получил из печати «Русские страницы» №14, встретился с Геней, выпил глоточек водки и запил пивом, лишний раз убедился, что даже глоточек забирает энергию, которой и так мало.

14.10., полдень. Вчера встречался с философами, выпил немного вина и ночью было плохо... но иду к метро, такая благодать, тепло, «бабье лето» – нет, рано отчаиваться, но отныне лишь книги, театр, девушки, Бог и ни рюмки вина! Да, чуть не забыл: еще и *Журнал с топором*, и собственные сочинения.

Но немногочего стоит все то, что я до сих пор написал. Надо написать нечто более стоящее, например, Историю философских идей. Но для этого я должен хоть отчасти оставаться живым. В пятницу поедом в деревню, буду как кошка грызть целебные корни, брошу пить до весны, буду отчаянно жить!!!

* * *

Вернулась осень, вопреки
казалось, усыплению тлена.
Веков протянутой руки
мы не заметили. Подмена
объяла нас как страшный сон
"в разворочённом бурей быте".
«Разбитое окно в Главлите»
хлестнуло выстрелом в висок
и я очнулся. Есть ли Бог? –
Он повод~~ь~~рь для Исаака?
Бегущий ли единорог
в полях, воскресших в кущах мака?
От Аристотеля до нас
куда, народные витии,
вы поведете скользкий сказ?
К победе ль, к гибели России?
О, энтелехия зари,
телеология рассвета!
Я не велю богам: умри! –
Но нов я в вихре Первоцвета,
И старый мир и зла прорыв
я обнимаю мыслью внове,
Россию воссоединив
на грани увяданья в слове.
Мы, книжники, мы свет зари,
От Аввакума до Толстова,
Светило властное – гори! –
сквозь ткань небесного покрова!

Деревенская фантасмагория

Живу в деревне. Тусклый свет,
Ноябрь, чуть моросит.
Ни счастья нет, ни денег нет,
И небо вкривь висит.

Да говорят, что в декабре
Короче станут дни,
Воды на дне в моем ведре, -
Попробуй зачерпни!

А откажись и не налей
Прозящему воды –
Какой ты к бесу Водолей?
Ну ладно, лью, лады!

Но только сам не буду пить.
То сердце, то ... *молчу*...
И так уж мне велят *валить*
То к бесу, то к врачу...

Итак, поставьте кружки в ряд:
Пусть будет день чудес!
Ишь: помянул – а он и рад,
Летит крылатый бес!

Вам не хватило – говорит –
Так вот же, дождевой
Налью тебе воды, пийт!
Я пил – а всё живой!

Переглянулись тут друзья –
Ну что? Давай хлебнём!
Пусть в небе ангелы бузят,
А мы то тут при чем?!

И стали воду пить до дна,
Над небом подтрунив.
Ах, слаще не было вина!
Я тоже пил – и жив.

Поэт в деревенской ссылке

Ослабла власть девичьих уз.
Беру с собой пилу, топор,
Под гневный ропот гордых муз,
Крестьянином иду во двор.

Не ищут рифм мои уста,
Не ищет грешника жена,
Забыты слабости, вина,
Сложил сам Савва два перста,
Чтоб я не шел против рожна.

Холодный воздух сух и чист,
Летят по небу облака,
Кружит как коршун желтый лист,
И жаждет тяжести рука.

Хотя поленья не просты.
Но верен зрению удар!
Рокочет пламя, весел жар,
И даже помыслы чисты,

Но мою руки. За столом
Ничто нас не введет во грех.
И даже ложки чище всех,
И чист и весел теплый дом.

Молитвою – крестьянский труд:
Вода, дрова, огонь в печи,
Ну а причастье *«в глубине сих руд»*:
Полрюмки, борщ и калачи.

* * *

И то ль бездорожье, возможно – дорога, –
Но в мире приемлю мужицкого бога,
Отчасти Сварога, отчасти Ярилу,
В них все хорошо, по хорошему мило.

Перо и лопата... ну, бес топорливый,
Пила ведь не в перьях, пирую на диво,
Армяк подпоясан, и гвозди в кармане,
Жена ищет ложку, чай стынет в стакане...

Хорошая рифма была, завалилась
Под лавку, за печку... Ах, прежде как пилось!
Кума с пирогами, кум трезв как пороги,
А слева то бесы, но справа всё боги.

Да тьфу тебе в рифму, – жена чуть сварливо. –
Садись, коль вернулся, суп свежий сварила.
Вторую *упряжку* пройдешь мило-любо!
...Ну, бес разыгрался: в окно баба Люба.

Чего тебе старая? Выпить охота?
Я трезвенник ноне, как турок! Вот то-то!
Ну, ладно, за шутку не требуй расплаты,
Садись ко столу, то нальем, чем богаты.

Огурчиком Зоя вчера угостила.
Бутылочку, видно, случайно забыла.

... Вот так мы и жили! Перо и лопата!
Соседи, соседки... и бес вороватый...
Бывало, без хлеба, бывало – без бога,
Вдоль солнца льняного до лунного рога.
Деревня большая – от моря до моря,
Всего в ней хватало, и счастья и горя.

НОЧНЫЕ СТРАХИ

Долго ли еще мне до краю,
Этого я, к счастью, не знаю,
Может быть, еще не дорос?
Дует изо всех щелей в моем теле.
Хватит ли мне дров до апреля?
Или все ж свалюсь под откос?

То ли во всем судьба виновата,
То ли на краю моя хата, –
Хронос, жестокий Зевс, пьяный Пан, –
Что-то вы совсем онемели...
Рифмами заткнуть что ли, щели? -
Раны от гвоздей, боль от ран!?
Есть у меня лекарство – забота!
Утро для себя, днем работа,
Ночь лишь меня терзает как тать.
Ночью страхи злы, кошки серы,
Тянет из щелей затхлою серой...
Холодно и страшно вставать.

Да и хватит писать стихи, надоело,
Толку ли от них, кому до них дело?
Сон и плодотворен и здрав.
Вон ведь и другие пишут не мало.
Лучше ли и после них стало?
Выше урожай, больше прав?

Так что, накопи, поэт, силы,
Помни, *всё пройдет, станет мило*,
Выспись, насмеши – смех не в грех!
Хватит заходить в строки сбоку,
Хватит петь осанну тленью и року
Может, и грехи твои – только смех!?

Вспомни, как не раз и бывало:
Солнце поперек ржи вставало,
Месяц серебрил гладь озер,
Чу, вдруг закрипели засовы,
Тени – то кресты или совы,
Лодка – в ней Харон или вор...

Знай же, что и сей бред минует.
Осень – вот из щелей и дует.
Будет еще не раз благодать.
Трижды выходил ты на волю,
Трижды переменял свою долю,
Надо, как на ринге, вставать!

Вячеслав Овсянников

САМПО

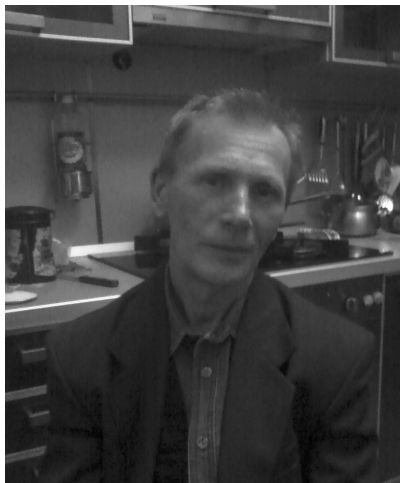
ИЗ

КАЛЕВАЛЫ

Вольное переложение нескольких рун

ЧЕТЫРЕ ПРОТУЛКИ

ИЗ ОДНОГО ДАВНЕГО СНА



«И выковывает Сампо,
Что муку одним бы боком,
А другим бы соль мололо,
Третьим боком много денег».

«Калевала»

Предисловие

«Калевала», собрание песен карело-финского эпоса, давно уже сделалась важным духовным явлением в русской культуре. Еще до первой публикации книги Элиаса Лёнрота в 1835 году отголоски древних карело-финских рун звучали в русской поэзии: поэма Федора Глинки «Карелия»; стихотворения Евгения Баратынского «Финляндия» и другие; образ волхва-чародея Финна в «Руслане и Людмиле» Пушкина.

Мощный всплеск интереса к «Калевале» и карело-финскому эпосу возник у символистов: Константин Бальмонт, «Поэзия как волшебство»; Валерий Брюсов, цикл стихов «На Сайме»; Сергей Городецкий, «Юхано» (стихотворение о финском озере); Иван Коневской, «Песнь изгнанника» («Из той унылой Сариолы»). В Библиотеке Блока сохранилась «Калевала» с его, Блока, пометками.

Много созвучного своему мироощущению нашли в «Калевале» поэты и художники русского авангарда. Велимир Хлебников, стихотворения «Вы помните о городе», «Вечер, он черный, он призрак», «Усадьба ночью...»; Григорий Петников, «Финские стихи»; Елена Гуро, стихотворения «Финляндия», «Финская мелодия» и другие; Николай Асеев, пересказ «Калевалы» для детей; Осип Мандельштам, «О, красавица Сайма, ты лодку мою колыхала». «Калевала» в живописи русского авангарда – иллюстрации к «Калевале» и общее оформление учеников Филонова, издание «Academia», 1933 год, под руководством и редакцией самого Филонова. Первое иллюстрированное издание «Калевалы».

Образы «Калевалы» отразились и в творчестве больших русских писателей. У Андрея Платонова есть рассказа «Сампо», о разрушенной и дотла сгоревшей в войну карельской деревне, о страстном желании одинокого деревенского кузнеца, потерявшего всю свою семью, жену и детей, построить такую чудо-мельницу, которая бы все зло мира перемальвала в добро, и саму смерть – в жизнь.

Образ «Сампо», ставший символом вечной мечты человека о счастье, теперь не менее актуален, чем в прошлом. В наше сложное время этот образ приобретает глобальный символический смысл.

*

Возьмемся, брат, за руки, как брались отцы наши, – спеть песни предков, древние руны! Споем о Вяйнямёйнене вещем, первом песнопевце, прародителе всех певцов на свете.

Вяйнямёйнен от Ильматар, девы творенья родился, от Ильматар, матери воды и ветра. Сразу родился старым. А чудо-утка у него на колене снесла семь яиц, шесть золотых, одно железное. Покатились они из гнезда, упали в море и разбились: из желтка стало солнце, из белка – месяц и звезды. Из железного яйца – земля наша.

Увидел все это Вяйнямёйнен, увидел, как все это красиво, как мир наш прекрасен. И запел он в радости первую свою песню.

Встал Вяйнямёйнен у моря, один он здесь на пустом острове. Пустом и голом. Никто его песен не слышит. Кто б ему этот остров заселил и засеял, чтобы слышали его птицы и звери, леса и травы? И явился на его зов Сампса, сын земли, сам-то с ноготок, а весь остров заселил и засеял. Взошли сосны и ели, ива, ольха, береза, рябина. Вырос вереск и можжевельник. Только дуб взойти не может. Вот вышли из моря четыре девы. Пятая выходит. Косят, сгребают сено, стог ставят. Тут ступает из моря на берег Турсас, богатырь могучий. Поджег стог, в пепел положил желудь. И вырос из того желудя великанище-дуб, поднялся до неба, затмил солнце, кроной весь мир покрыл.

И возгласил тогда Вяйнямёйнен: «Кто бы срубил этот дуб-громаду, кто бы его на землю поверг? Зло и горе от него всему свету!»

Вышел из моря мальчик с пальчик, в медной шапке и в медных рукавицах. Топором три раза ударил, на третий раз грянул дуб наземь. Ствол к востоку лег, верхушка – к западу, листья – на юг, ветки – на север. Кто возьмет ветку – навеки счастлив будет. Кто верхушку – чародеем станет. Кто листья – сердцу радость. А щепки понес ветер по морю к Похьёле, стране мрака. В Похьёле дева платок свой в море стирала, платье полоскала, на камне сушила. Увидала щепку в море, домой принесла. Из той щепки колдун лапландец стрелу заколдованную сделал.

Нашел Вяйнямёйнен на берегу семь зернышек ячменных. Орел прилетел, поле под посев ему приготовил, лес пожег. А кукушка урожай богатый накуковала. Утром рано вышел Вяйнямёйнен в поле, засеял семью семенами. Вечером видит: все поле заколосилось, могуч ячмень, шестигранный колос, три узла на стебле.

*

Пел Вяйнямёйнен в полях Калевалы, в чащах Вяйнелы, в лесах зеленых, у озер Осмо. Пел он о богатырях могучих, о первом предке великане Калеве, создателе земли нашей, победителе чудовищ. Далеко разнеслась молва о чарующей силе этих песен. Дошла молва на север, в Похьёлу, до молодого Еукахайнена. Досадно стало Еукахайнену, лучшему певцу в Похьёле. Говорит он старухе матери, что собрался в Вяйнелу ехать, состязаться в песне с седым Вяйнямёйненом. Старуха мать его не пускает: «Тебя там, сынок, околдуют. Околдуют, тело превратят в корягу, голову в канаву кинут». Не послушался

Еукахайнен матери, сам он мастер колдовать-чародействовать. Взнуздal коня, запряг в сани, помчался, буйный, в далекую Калевалу. А навстречу ему сам Вяйнямйёнен: «Уступи-ка, молодец, дорогу, мне седобородому! Двум саням тут не разминуться». А Еукахайнен уступать дорогу не хочет, состязаться предлагает: кто лучше споет, тот первым и проедет.

Говорит ему Вяйнямйёнен: «Я ведь песнопевец безыскусный, прожил жизнь одиноко в Калевале, в лесах Калевы, у озер Осмо. Слушал там только одну кукушку. Но пусть будет как будет. Начинай, послушаю, что ты знаешь».

Начал молодой Еукахайнен: «Знаю, есть очаг у печки. Тюлень лососей ловит. На севере пашут на оленях, на юге – на кобылах, в Лапландии – быками. Знаю сосны на утесах Хорны, лес на Писе, Вуокусу знаю и Имагру. Знаю, что вода – лучший лекарь, а пена – главная из гадалок».

Усмехнулся старый, вещий Вяйнямйёнен: «Велика мудрость! Может, что поумней вспомнишь».

Еукахайнен ему на это: «Помню, вспахал я море, вскопал глубины морские, вырыл ямы рыбам. Разлил по земле озера, раскидал скалы. Еще помню, поставил я столб медный – держать небо, воздвигнул на севере высокую гору железную – подпирать звезды. Полярную звезду вместо гвоздя взял – небо к земле прибить».

Говорит Вяйнямйёнен, вещий прорицатель: «Складно гремишь, создатель мира! Громкими словесами воздух сотрясаешь. Когда все это дело делалось, о тебе там слыхом не слыхивали».

Обозлился Еукахайнен: «Если песня моя тебе не по вкусу, померяемся, старик, мечами! Поглядим, чей меч острее!»

Отвечает ему Вяйнямйёнен: «Постой-ка, соловей Похъёлы! Теперь мой черед петь песню!»

Запел Вяйнямйёнен свою песню. Сани Еукахайнена сосной стали, конь – камнем, меч – змеей, шапка – гнездом вороньим. Запел громче – и по колено в болото ушел Еукахайнен, по пояс уже в трясине, по плечи увяз.

И взмолился тогда Еукахайнен: «О мудрый Вяйнямйёнен, чародей могучий! Верни свои слова вспять, возьми назад свои заклатья!»

*

Пошел старый Вяйнямйёнен в лес, увидел прекрасную Аино. Режет Аино ветки, вяжет веники. Три веника вяжет, веник – отцу, веник – матери, веник – брату. Спрашивает ее старый Вяйнямйёнен: «Скажи, прекрасная Аино, не для меня ли носишь ты на шее ожерелье из жемчужин, а на груди серебряный крестик? Не для меня ли плетешь косы и перевязываешь их алой лентой?»

Отвечает ему Аино: «Нет, не для тебя, старого, ношу я на шее ожерелье, на груди крестик, а в косах ленту». Сорвала Аино с шеи ожерелье, с груди крестик, с косы ленту, бросила в лесу и пошла домой, горько плача. Выдадут ее за старого Вяйнямйёнена замуж, ведь он песнопевец известный, прославленный во всей Калевале. Будет постель стелить старику на ночь, подносить кружку ячменного пива.

Отец на дворе сеть латает, спрашивает: «Что ты, дочка, плачешь?»

«Как же мне не плакать, отец мой родимый! Потеряла я в лесу серебряный крестик и ожерелье жемчужное потеряла, и алую ленту».

Отец ее утешает: «Не плачь, дочь! Куплю тебе новый крестик, не серебряный – золотой, и ожерелье куплю, еще побогаче, и ленту дорогую в косу. Станешь ты еще краше. Будет муж тебя холить и лелеять».

Брат под окном ловушку на зверя ладит, спрашивает: «Что ты, сестричка, плачешь?»

«Как же мне, братец милый, не плакать! Потеряла я в лесу крестик, и ожерелье потеряла, и ленту».

Брат утешает: «Не плачь, сестрица! Вот пойду завтра на охоту, отыщу в лесу твои крестик, ожерелье и ленту. Муж на тебя не наглядится, работой тебя утруждать не будет».

Мать в коровнике корову доит, спрашивает: «Что ты, доченька, плачешь?»

«Как же не плакать мне, матушка моя родная! Потеряла я в лесу крестик серебряный береженный, жемчуг ожерелья дорогого в чаще растеряла, а ленточку шелку алого злой Хийси, хозяин леса из косы вырвал».

Утешает ее мать: «Не плачь, доченька! Есть у меня в сундуке семь платьев, ткали их тебе в приданое солнце и месяц. Нарядишься, по селу пойдешь. Мужу твоему позавидует сам Укко, владыка неба».

Нет, не нужно Айно семи платьев, сотканых месяцем и солнцем. Еще горше плачет, бежит к морю. «Лучше быть подругой рыбам, чем идти старику в жены. Пусть заберут меня в Маналу, страну мертвых, в мрачную Туонелу».

Вот и нет уже прекрасной Айно. Стала Айно девой морской, русалкой, прислужницей в чертогах царицы морской Велламо. Ночью выплывает из глубины Айно, выходит она из воды, садится на камень, поет при луне грустную песню:

«Пошла я погулять на берег моря, села на скале высокой, упала и утонула. Никогда, отец мой милый, никогда не лови здесь рыбы! Никогда ты, родимая матушка, никогда не стирай здесь платья!»

Опечалился старый песнопевец Вяйнямейнен, жаль ему прекрасной Айно. Просит у бога сна Унтамо: «Скажи мне, Унтамо, где искать чертоги морского царя Ахто, где таятся девы Велламо, где прислужницы царицы морской прячутся?»

Пошел Вяйнямейнен к морю, сел в лодку, гребет к тому месту, что указал ему бог сна Унтамо, к тому туманному мысу. Закинул удилище, схватилась за крючок рыбка. Вытащил Вяйнямейнен чудо-рыбку, никогда такой не видел. Не простая рыбка, говорящая: «О, ты старый Вяйнямейнен! Что же не узнаешь ты меня, вещий песнопевец! Я из глубины морской вышла – быть женой твоей верной, постель тебе, старику, стелить на ночь, подносить кружку ячменного пива».

Так сказала она и скользнула из лодки обратно в море. Горько заплакал тогда старый Вяйнямёйнен, понапрасну клянет свое безрассудство. Упустил он свою долю, свою удачу. Не вернется к нему дева Велламо, прекрасная Айно. Никогда она не вернется, не будет ему женою.

Все в мире может зачаровать песней своей старый Вяйнямёйнен, только сердце девы морской зачаровать не может.

*

Слышит Вяйнямёйнен голос матери своей, девы творенья Ильматар: «Не горюй, Вяйнямёйнен! Запрягай коня в сани, поезжай в Похьёлу, сватай дочь у хозяйки Похьёлы старухи Лоухи!»

Запряг Вяйнямёйнен коня в сани, помчался в туманную ту Похьёлу. А Еукахайнен его на пути подстерегает, затаил обиду лапландец. Лук железный, стрелы отравленные ядом змеиным. Ждет в засаде. Вот что-то чернеет в море, ближе, ближе, блестит на солнце. Это вещей Вяйнямёйнен на санях по волнам, распевая, мчится, чародейною песней сделал зыбкую влагу твердой дорогой. Тогда Еукахайнен три стрелы пускает. Первая стрела улетела в тучи, вторая стрела в трясине утонула. Третья стрела в коня попала, пробила печень. Вывалился из саней Вяйнямёйнен, упал в воду. Семь лет по волнам его носило. На восьмой год подхватил его орел, вынес на берег холодной Похьёлы, страны севера.

Услыхала старуха Лоухи хозяйка Похьёлы плач с моря, стенания громкие с берега. Дети так не плачут, женщины так не стонут. Плачут так одни только сдобородые мужи Калевалы, ревут, как ночная буря. Вот столкнула она лодку в воду, гребет к тому месту, откуда стон раздается, среди скал суровых на дальнем мысе. Видит, лежит вещей песнопевец Вяйнямёйнен, избит, изранен, ни рукой, ни ногой двинуть не может. «Ах, старик ты, старик, старичище жалкий, что тебя сюда занесло, что пригнало в нашу Похьёлу?»

Отвезла страдальца к себе в дом, месяц лечила, раны-ушибы мазями целебными мазала, настоями травными поила. Повеселел Вяйнямёйнен. Просит у старухи Лоухи дочь себе в жены.

Отвечает на это хозяйка Похьёлы: «О ты, вещей Вяйнямёйнен, великий песнопевец! Сделаешь мне чудо-мельницу Сампо, чтобы молола, что ни пожелаю, – отдам дочь свою тебе в награду».

Опечалился старый песнопевец, поник седой головою: «Многое могу я совершить своей песней, а вот Сампо сделать не сумею, чтобы молола по твоему велению, что ни пожелаешь. Сделать может один только Ильмаринен, кузнец в Калевале. Первый кузнец мира, это он выковал столб медный, подпирать небо.

*

Едет Вяйнямёйнен в обратный путь по дороге, видит – радуга во все небо. Сидит на радуге дева, краса мира, ткет покров семицветный, золотом-серебром вышивает. Остановил коня Вяйнямёйнен: «Сойди, дева, ко мне в сани, сядь со мной рядом!»

Отвечает ему краса мира: «Разрежешь волос ножом без лезвия, завяжешь яйцо узлом – сяду к тебе в сани».

Разрезал Вяйнямёйнен волос ножом без лезвия, завязал яйцо узлом. «Сядь, дева, ко мне в сани!»

А краса мира ему на это: «Выточи жердинку из льдинки, да чтобы ни кусочка не пропало, ни крошки не искрошилось, – сяду в сани с тобой рядом».

Выточил Вяйнямёйнен из льдинки жердинку, ни крошки не искрошил. «Сядь со мной, дева, в сани!»

Говорит ему краса мира в третий раз: «Выстругай лодку из обломков веретенца, из катушек расколотых. Сяду с тобой в сани».

Взялся Вяйнямёйнен за работу, лодку из обломков веретенца стругает, из катушек расколотых вытесывает. Обломок – с бревно, катушка – с мельничный жернов. Отскочил топор да ему в колено. Лемпо, злой дух – его козни! Хийси, хозяин леса, лезвием топор на него повернул! Хлынула кровь из раны, потоком течет, рекой разливается. Стал Вяйнямёйнен заклинания вспоминать: кровь заговорить, запереть в жилах, закрыть рану. Вспомнил всех зол происхожденье, каждое слово вспомнил. Одного только вспомнить не может – заклинания о железе.

Закручинился вещий Вяйнямёйнен. Сел в сани, хлестнул коня кнутом. Помчал конь по дороге.

Вот подъезжает Вяйнямёйнен к деревне, в первый дом стучится: «Есть ли кто в этом доме, кто бы знал заклинание о железе, запер кровь в жилах, закрыл рану?»

На полу дитя сидит, отвечает: «Никого нет в этом доме, нет здесь знающих заклинание о железе. Поезжай к другому дому».

Стучится Вяйнямёйнен во второй дом: «Есть ли кто в этом доме, кто бы знал заклинание о железе, повелел бы крови остановиться, закрыл бы рану?»

Старуха с печи прошамкала: «Никого нет в этом доме, не знают здесь заклинание о железе. Поезжай дальше».

Вот в третий дом стучится Вяйнямёйнен, силы уже покидают, много крови вытекло. «Есть ли кто в этом доме – кто бы заклинание о железе знал, унял бы кровь?»

Проворчал с лавки старичище, борода до пола: «И не то еще творило слово! Моря усмирало, реки вспять поворачивало!»

Произнес он это заветное слово. Никто не расслышал. Услышала только кровь, повиновалась, прекратила свое течение.

Запел Вяйнямёйнен в радости, жизнь к нему вернулась. Зарекся сажать дев к себе в сани.

*

Подъезжает к родной своей Калевале, слышит, в кузнице звенят удары, кузнец Ильмаринен трудится.

«Где ты пропадал так долго, Вяйнямёйнен? Без тебя в Калевале не стало песен. Землю не пашут, рыбу не ловят, коров не доят. Угрюмые по домам сидят».

«Был я в Похьёле у лапландцев, сосватал тебе дочь старухи Лоухи. Выкуешь им чудо-мельницу Сампо, получишь в награду жену красавицу».

Не хочет Ильмаринен ехать в Похьёлу выковывать лапландцам Сампо и дочери старухи Лоухи в жены не желает.

Тогда старый Вяйнямйёнен, песнопевец вещей вот что придумал: «Пойдем, Ильмаринен, в лес, покажу диво. Стоит ель-великанша, вершиной в небо уперлась; на верхушке месяц, на ветвях медведица сидит. Влезь на вершину, возьми их себе в помощники: месяц будет кузницу освещать, а медведица молотом по наковальне бить».

Полез Ильмаринен на ель, только до верхушки добрался – запел Вяйнямйёнен во весь голос, напел бурю. Сдунуло кузнеца с верхушки еловой и понесло прямёхонько в Похьёлу. Кинуло на двор к старухе Лоухи. Вышла к нему из дома старуха Лоухи:

«О Ильмаринен, великий кователь! Давно о тебе молва к нам в Похьёлу волной морской докатилась, о волшебном твоём искусстве, а теперь ты и сам здесь! Выкуешь Сампо – отдам дочь тебе в жены. Все девы Калевалы мизинчика ее не стоят».

Тут же принялся Ильмаринен за работу, взял перышко лебяжье, взял молока коров нетельных, взял шерсти овечьей, ячменя зерен прибавил. Бросил в горн, раздул огонь, жару мехами нагоняет. Трудится три дня и три ночи. На четвертый день смотрит: что там на дне горнила, что из огня вышло? Явился лук, серебром сияет. Не рад Ильмаринен луку, обратно в огонь бросил. Опять принялся меха раздувать, трудится еще три дня и три ночи. На четвертый день смотрит: что вышло? Из огня лодка явилась, золотом сияет. Не рад Ильмаринен и лодке, изломал, в огонь кинул. Опять – меха раздувать. На четвертый день смотрит: что теперь вышло? Видит: Сампо из огня-пламени явилось, чудесная мельница Сампо. Все мелет, что ни пожелаешь. Денег надо – наметет и золотых и серебряных, только мешки подставляй, и на потребу, и на пирушки. Оружия надо – накует мечей непобедимых, сами режут, рубят, страх и ужас всему миру. Да что там, попади весь мир в жернова Сампо, и весь мир перемелет, с морями, горами, небом и звездами.

Спрятала Сампо старуха Лоухи в горе медной, за семью замками. Вот потребовал Ильмаринен плату за работу, обещанную награду. А ему старуха подлая Лоухи: «Нет, женишок, не всю работу еще ты исполнил! Спустишь-ка теперь под землю, в страну мертвых, поймай там медведя Маналы, добудь волка Туонелы! Отдам дочь тебе в жены!»

*

Жил в Калевале молодой веселый Лемминкяйнен. Любил он с девицами гулять, на лугу с ними плясать. Слышит, есть на Саари дева-краса, женихи за ней роем выютя. Солнце сваталось, отказ получило; месяц сватался, тоже ни с чем ушел. Вот бы ту деву добыть, в дом к себе привезти. А мать остерегает: «Ты, сыночек, к деве той не сватайся, дева та выше нас родом, не будет тебе в сватовстве удачи».

Не послушался Лемминкяйнен матери, запряг коня в сани, скачет добывать себе деву Саари знатного рода. Въехал во двор неловко, сани на бегу опрокинулись. Девушки Саари над ним смеются. А Лемминкяйнен не смущается, шутками-прибаутками отмахивается. Знать хочет: есть ли в Саари местечко, где бы ему погулять, поплясать, песни попеть, повеселиться, девушек потешить. Девушки ему отвечают: «Много есть в Саари местечек, много в лугах, в долах. Станешь у нас пастушонком, будем приходить дудочку твою слушать». Стал он в Саари пастушонком, весь день на лугу проводит, с девицами-молодицами пляшет, на дудочке играет. По ночам в спальни девичьи пробирается. Одна только на Лемминкяйнена не смотрит, одна презирает, Кюллики-цветочек, та, за кем он сюда приехал. Всех дев краше она в Саари. Не выйдет за него замуж. Плохонького он рода, племени захудалого, нищий бродяга.

Вот подъехал Лемминкяйнен вечером к тому лужку, где девицы плясали, хоровод водили, схватил прекрасную Кюллики, бросил в сани на шкуру медвежью. Хлестнул коня да и был таков. «Плачь, не плачь, Кюллики-цветочек, а будешь ты моей женою, станем жить, не тужить в моем домишке, дырявой развалюхе».

Утешилась Кюллики, слезы высохли. Видит: хорош Лемминкяйнен, высок и статен, в плечах сажень, нрава веселого. Скучно с ним не будет. Только бы на войну не ушел, а был с ней всегда рядом. Говорит ему Кюллики: «Поклянись, Лемминкяйнен, что на войну не уйдешь. А я поклянусь, что буду тебе женой верной, не пойду на луг вечером с девушками гулять, хороводы водить».

Вот живут-поживают они в Калевале, в новом доме, ни на час не разлучаются. Заскучал Лемминкяйнен, не сидится ему дома, не живется на одном месте, сила мучает. Не сдержал клятвы, собрался один в Похьёлу ехать, с лапландцами воевать. «Дай мне, мать, острый меч отцовский да вымочи рубашку в яде гадючьем! Лучше брони железной уберезет от ран та рубашка».

Отговаривает мать ехать в Похьёлу с лапландцами сражаться. «Околдуют тебя, сыночек, колдуны-чародеи Похьёлы, превратят в камень, в куст при дороге».

Упряма Лемминкяйнен, не слушается материнского совета. «Не держи, мать. Уж что задумал, то исполню. Как увидишь, проступит кровь на щетке, на той щетке, что кудри свои расчесываю, знай – беда стряслась с твоим сыном».

Отправился в дальний поход Лемминкяйнен. А Кюллики в обиде, что он клятву свою нарушил, ушла на луг вечером гулять-веселиться, хороводы водить.

Вот достиг лапландской земли Лемминкяйнен, вызвал на бой мужчин Похьёлы, старых и малых, сразиться заклятьями, у кого заклятье сильнее. Запел Лемминкяйнен, всех певцов-чародеев похьельских пересилил, заклил своим словом, обезоружил все войско, заколдовал мечи и стрелы. Превратил всех в камни, раскидал по скалам. Поощадил одного только калеку свинопаса, безъязыкого замухрышку, на такого и плевка жалко.

Разозлилась хозяйка Похъёлы, спрашивает: «Что тебе тут, удалец понадобилось? Зачем к нам с войной пришел?»

Отвечает Лемминкяйнен: «Пришел силу свою испытать. А больше мне тут и делать нечего». Пустился он в обратный путь. А безъязыкий свинопас замухрышка затаил злобу за то, что пощадил его Лемминкяйнен, всех заклял, а его оставил, пожалел и плевка на него калеку. Подстерег темной ночью у Туони, реки бурной, текущей в дебрях среди порогов. Идет берегом Лемминкяйнен, напевает, беды не чует. Нашла в темноте стрела его веселое сердце. Стрела – змеиное жало. Рухнул Лемминкяйнен в реку Туони. Понесла Туони мертвое тело к порогам, искромсала на кусочки, раскидала по дну, по глуби.

А в Калевале мать не отводит глаз от щетки, от той щетки, что расчесывала кудри ее сыну. Видит, выступила кровь на щетине, каплет красная из щетки. Заплакала горько мать, зарыдала. Погиб Лемминкяйнен, нет уже сыночка на свете!

Побежала несчастная в Похъёлу. Спрашивает у сосны в чаще, не видела ли ее сына, веселого Лемминкяйнена? Нет, не видала сосна ее сына, ее Лемминкяйнена. Спрашивает у дороги. Нет, и дорога не видала ее сыночка, ее дорогого Лемминкяйнена. Один только месяц видел. Лежит Лемминкяйнен на дне Туони в черной пучине, на куски искромсан острыми камнями.

Взяла мать длинные грабли, принялась вылавливать со дна сыновьи останки. Собирает по кусочкам мертвое тело, составляет часть к части, опять целым делает. Но лежит Лемминкяйнен, не шевельнется, не может с земли встать. Плачет мать над бездыханным телом, заклиняет хозяйку жил Суонитар: «Ты Суонитар, жил богиня, пряха с веретенцем, с медной прялкой, с колесом железным! Свяжи покрепче жилы у моего Лемминкяйнена, наполни их новой кровью, чтобы жизнь к нему вернулась, чтоб забилось, как прежде, его веселое сердце!» Плачет, заклиняет мать пчел небесных: «О пчелы небесные, принесите мед волшебный, мед ваш, чем питаете великого Укко, владыку неба – заживить раны, срастить тело моего сына, моего Лемминкяйнена!»

Услышала хозяйка жил Суонитар, пожалела материнское горе, связала жилы, наполнила новой кровью. А пчелы мед волшебный принесли из погребца самого Укко, владыки неба. Натерла мать этим медом, мазью чудодейственной тело сына, срослись части мертвого тела, жизнь в теле зажглась. Шевельнулся Лемминкяйнен, открыл глаза, проговорил со вздохом: «Крепко же я спал, матушка! На всю жизнь выпался!»

*

Вздумал Вайнямейнен лодку строить. Взял топор, подошел к осине. Спрашивает осина: «Что тебе, Вайнямейнен, от меня нужно?» Отвечает Вайнямейнен: «Лодку хочу из тебя построить, челн крепкий, по морю плавать». Говорит ему осина: «Потечет твой челн, утонет твоя лодка, если будешь из меня строить». Идет Вайнямейнен дальше, сосну встретил, с

топором подступает. Сосна спрашивает: «Что тебе, Вяйнямйёнен, от меня надобно?» Отвечает Вяйнямйёнен: «Стань, сосна лодкой, стань судном славным, по морю плавать». Провещала ему сосна: «Не выйдет из меня лодки, подточили меня жуки-короеды». Дальше идет Вяйнямйёнен, ищет, из чего ему лодку строить. Видит, дуб стоит, десятеро не обхватят. «Что тебе, Вяйнямйёнен, какая потреба сюда привела?» Говорит Вяйнямйёнен: «Хочу, чтобы ты, дуб, лодочкой моей стал, корабликом добрым, по морю под парусом бегал». Прошумел ему дуб: «В груди у меня солнце, на вершине месяц, на суке днем и ночью кукушка кукует, годы мои считает, сосчитать не может. Буду я твоей лодкой, буду кораблем твоим добрым».

Снял Вяйнямйёнен топор с плеча, запел песню. Чародейное слово само работу делает, песней лодку строит – топором орудует, дуб наземь валит, рубит, пилит, строгают, брусья сбивает, сколачивает. Вот днище уже готово, борта выросли, руль слажен, весла в уключинах. Только на воду лодку столкнуть. Да вот не столкнуть Вяйнямйёнену лодку, не сдвинуть с места. Трех слов ему в песне не хватает, всего-то трех словечек последнего заклинания. Спрашивает Вяйнямйёнен у лодки: «Скажи, лодка, где взять три слова, чтобы тебя на воду столкнуть?» Отвечает ему лодка: «Не найдешь ты их здесь, Вяйнямйёнен. Те три слова в стране мертвых, в Манале хранятся. Отправляйся, песнопевец, за ними в ту Маналу!»

Течет в Маналу черная река Туони, в страну мертвых течет, в Туонелу. Видит Вяйнямйёнен у Туони – дева Маны платье стирает, белье полощет. Говорит ей вещий Вяйнямйёнен: «Дай мне лодку, дева Маны, дочь Туони, – на тот берег перебраться».

Отвечает ему дева Маны, дочь Туони: «Дам тебе лодку, если скажешь, зачем пришел к нам, по какой надобе, живой, не мертвый?»

Вещий Вяйнямйёнен на это: «Привело меня к вам железо, сталь-убийца в Туонелу толкнула».

Дева Маны не верит: «Эх, ты старый врун Вяйнямйёнен! Привело бы тебя сюда железо, сталь-убийца в Туонелу толкнула бы – то текла бы кровь по платью. Скажешь правду – дам лодку».

А Вяйнямйёнен правду сказать не хочет: «В Маналу меня вода пригнала, в Туонелу пучина затянула».

Опять дева Маны не верит: «Эх ты, Вяйнямйёнен, брехун старый! Коли вода пригнала тебя в Маналу, пучина затянула – то текла бы вода по платью».

Снова Вяйнямйёнен правду скрывает: «Огонь меня к вам загнал, в страну вашу кинул».

Не верит дева Маны: «Совсем ты, Вяйнямйёнен, заврался. Коли огонь загнал в Маналу, опалил бы он бороду твою седую. Скажи правду – дам лодку».

Тогда вещий Вяйнямйёнен всю правду поведал. «Построил я песней лодку, а на воду не спустить, трех слов не хватает. За тремя словами пришел к вам в Маналу, страну мертвых».

Промолвила ему дева Маны, дочь Туони: Эх, ты старик безрассудный, седобородый Вяйнямёйнен! Попадешь в Маналу, страну мертвых, три слова найдешь, а обратно не вернешься! Живыми оттуда не выпускают. Навсегда там останешься, песнопевец, – петь песни мертвым».

Так сказала ему дева Маны: «Проси, Вяйнямёйнен, Выпунена охотника, вот кто знает три этих слова. Тот Выпунен, великан охотник уже тысячу лет в лесу мертвым сном спит, в землю врос, на плечах осина, на щеках береза, на лбу ель, между зубов – сосны, с бороды ивы свисают. Разбудишь Выпунена, скажет тебе три слова».

*

Привез кузнец Ильмаринен жену молодую из Похьёлы, в награду за Сампо, дочь старухи Лоухи. Поймал он и медведя Маналы, добыл волка Туонелы, – только бы отдала за него дочь коварная хозяйка Похьёлы. Дочь ее краше всех дев Калевалы. Да недолго прожил Ильмаринен с молодой женой. Затосковала она по родному дому. Обратилась в чайку, улетела в свою Похьёлу.

Горюет Ильмаринен все дни и ночи, ни есть, ни спать не может. Работу забросил, тихо в кузнице; молот с медной рукояткой по хозяйской руке соскучился. Никакое дело у него не делается. Только о жене своей думает. Днем тяжело, ночью еще тяжелее.

Пошел Ильмаринен к морю, у царя морского Ахто просит серебра-золота. Дал ему Ахто серебра-золота, того, что в кладовых у него на дне моря хранится. Направился Ильмаринен в лес, дров принес, на угли пережег. Наложил углей в горнило. Взял золота в рост осеннего ягненка, серебра в рост зимнего зайчонка, бросил в горн, принялся мехи качать, огонь в горне раздувать. Вздумал он жену себе из золота-серебра выковать. Смотрит – что выходит из горнила? Вышел барашек, шерсть золотая, рожки серебряные. Все в Калевале любят чудо-барашком, один только кузнец Ильмаринен недоволен. Бросил барашка обратно в горн, золота-серебра прибавил. Опять мехи качать, огонь раздувать. Смотрит – что теперь в горне? Вышел из огня конь, грива золотая, копыта серебряные. Все чудо-конем любят, только Ильмаринен коню не рад, кинул обратно в горн. Опять за работу, мехи качает, жар раздувает. Глядит – что теперь в горниле? Выходит из огня дева, волосы золотые, голова серебряная. Всем в Калевале страшно стало. Только кузнецу Ильмаринену не страшно. Выковал он себе жену из серебра-золота. Да ноги у нее не ходят, руки не обнимают, уста слова приветливые не говорят. И промолвил Ильмаринен: «Всем хороша жена, да голос не услышать, ласку в глазах не увидеть».

Истопил Ильмаринен баню, намылся, напарился. Постелил чистую постель, лег с новой женой, тремя шкурами медведями накрылся. С одного боку согрелся, с другого, где жена лежит, холодом веет, льдом жжет. Недвижна жена, изваянье безгласное, чудище золотое.

Тогда взял кузнец Ильмаринен жену, снес на берег, бросил в море, вернул серебро-золото царю морскому Ахто.

*

Вздумал вещей Вьянямёйнен кантеле сделать, чтобы струны голосу помогали, чтобы десять пальцев звуки волшебные из них исторгали, игрой сердца чаровали.

Сделал он короб многострунный из челюсти щучьей, из челюсти той шуки ужасной, что жила в великом водопаде. Струны сделал из волос конских; на том коне сам Хийси ездит, хозяин леса. Так сделал первое кантеле вещей Вьянямёйнен. И спросил громогласно: «Кто бы поиграл на моем кантеле, кто б игру на нем испробовал?»

Только вот никто в Калевале на его кантеле играть не может, сколько не пробовали; не даются струны неумелым пальцам. Мастеру только они послушны, тому мастеру, что их создал.

Сел Вьянямёйнен на камень на берегу моря, пальцы разминает, два больших слюной смочил. Кладет кантеле себе на колени, тронул струны. И запели струны под вещими перстами, проснулись в них звуки древних прародительских рун. Вся Калевала заслушалась, звери в лесах, рыбы в море, птицы в небе. Солнце и месяц забыли совершать свой путь по небу, остановились чудную игру послушать. Сам Ахто из воды показался, борода – трава морская. Заплакал Ахто – так хороша песня, так чудесно играет волшебное кантеле. Слезы льются в море, на дно идут, не слезы – жемчуг ожерелий.

Услышала в мрачной Похьёле колдунья Лоухи, как волшебное кантеле играет, и вся Калевала ликует и веселится, как будто у них праздник великий. Даже солнце и месяц остановились на небе, заслушались. Теперь в Калевале день сияет вечный.

Воспылала злобой колдунья Лоухи. «Недолго вам ликовать-веселиться. Знаю, чем погубить Калевалу. На то у меня и Сампо, чтобы желанью моему служить, могуществом чары мои наделять».

Наслала Лоухи на Калевалу все болезни, какие только есть на свете, тысячу хворей, мор, заразу и язвы. А вещей Вьянямёйнен веселей на кантеле играет, все болезни и хвори за море, на край мира прогнал.

Тогда напустила Лоухи на Калевалу страшилище из подземной страны мертвых, медведя Маналы. А вещей Вьянямёйнен веселей заиграл, страшилище заставил ручным медвежонком на ярмарке плясать.

Озлилась Лоухи, заморозила землю. Реки лед до дна сковал, от великой стужи камни растрескались. А вещей Вьянямёйнен знай себе на кантеле играет, струны рокочут. Жар песенный разморозил землю, лед растопил. Опять весна в Калевале.

Пуще того разъярилась Лоухи, хозяйка Похьёлы. Похитила солнце и месяц, в горе заточила, очаги в домах задула. Темно сделалось в Калевале, ни огонька не видать, мрак непроглядный. Один только огонек и сохранился, рыбка-невеличка проглотила, в глубину ушла, в брюхе у себя огонек держит.

А вещий Вяйнямйнен громче на кантеле играет, песню заветную заводит, заклинание сильное о тьме и мраке.

Раскололась от чародейных звуков гора, порвались цепи железные, вышли на волю солнце и месяц. Рыбка-невеличка из глубины поднялась, рот раскрыла, выпустила огонек из брюха. Зажглись очаги в домах. Опять светло в Калевале, повсюду радость и ликование.

*

Вот вещий песнопевец Вяйнямйнен, а с ним кузнец Ильмаринен собрались в поход на Похьёлу, отобрать Сампо у старухи Лоухи, чтобы Калевале Сампо служило, а не злым чарам. Плынут в лодке по морю, слышат, с мыса окликает их молодой Лемминкяйнен: «Куда, богатыри, путь держите?»

Отвечают ему: «В Похьёлу. Отберем Сампо у колдуньи Лоухи, чтобы Калевале служило, а не злым чарам».

«Возьмите меня с собой!»

«Как не взять», – отвечают Вяйнямйнен и Ильмаринен, – «втроем веселей по морю плыть».

Понеслась лодка дальше на север, нос журавлем курлычет, корма уткой крикает. Вещий Вяйнямйнен на кантеле играет, поет, волну закликает: «Ты, вода, не колыхайся! Не качай пучину, дева пены! Не мешай нашей лодочке по морю бежать!»

Вот приплывают они в Похьёлу. Спрашивает хозяйка Похьёлы старуха Лоухи: «С чем пожаловали, мужи калевальские? Тут вас ждут, не дождутся. Домик у меня на горе, хижинка огороженная, частокол высокий. На каждый кол по черепу насажено. А три колышка еще пустые стоят».

Отвечают Вяйнямйнен, Ильмаринен и Лемминкяйнен: «Что-то, старая колдунья, ты неприветлива. Да мы ведь непривередливы. Отдай Сампо похорошему. А по-плохому всю твою Похьёлу порушим».

Не хочет отдавать Сампо старуха Лоухи, кличет мечи и стрелы со всего севера, со всех краев Сариолы. Медведей и волков на подмогу призывает.

Тогда заиграл вещий Вяйнямйнен на своем кантеле, навел сон на всю Похьёлу. Полегли в дреме мечи и стрелы, медведи и волки. Заснула и сама Лоухи. Где прячет она Сампо? Спрятано Сампо в горе медной, за семью замками. Взошли они на гору, все семь замков посбивали, взяли Сампо. На лодку погрузили, пустились по морю в обратный путь в Калевалу.

Очнулась от чар хозяйка Похьёлы, подняла на море страшную бурю, сама вихрем погналась в погоню – вернуть Сампо. Без Сампо не будет в Похьёле счастья, никому не будет удачи.

Настигла путников буря. Закачалась лодка на высоких волнах. Налетел вихрь, выхватил Сампо из лодки. Упало Сампо в море, на острые скалы, разбилось на куски и кусочки. Раскидало их по всему свету. Куда кусок побольше попал, там и счастья больше.

И промолвил вещий Вяйнямйнен: «Не унывай, моя Калевала! Пока не смолкнет кантеле наше, будут у нас счастье и удача!»

Примечания

Карельские руны исполнялись двумя певцами. Певцы брались за руки, сидя лицом друг к другу.

Вяйнямйнен – главный персонаж «Калевалы», чародей, песнопевец, первый человек.

Ильматар – прародительница мира, дочь воздуха, мать воды.

Сампса – фантастический персонаж, первый земледelec.

Турсас – морское божество.

Похьёла – страна севера, отождествлялась с Лапландией. Другое название – Сариола.

Калева или Осмо – мифический предок жителей Калевалы (страны Калева).

Вайнела – место жительства Вяйнямйнена, область Калевалы.

Манала, Туонела – царство мертвых, подземный мир.

Укко – бог неба, грома и молнии; верховный бог.

Хийси – злой лесной дух. Другое имя – Лемпо.

Ахто – бог моря, «морской царь».

Велламо – «морская царица».

Девы Велламо – русалки.

Ильмаринен – кузнец-волшебник, один из главных героев Калевалы.

Хозяйка Похьёлы, старуха Лоухи – колдунья, чародейка, властительница Похьёлы.

Сампо – центральный образ «Калевалы», волшебная мельница, символ процветания, благополучия и счастья.

ЧЕТЫРЕ ПРОГУЛКИ

Косая линия

Дождь со снегом. Стрелы подъемных кранов. Брести вдоль обветшалой каменной стены. Та же остроконечная ограда, вход с башенкой, по бокам два черно-чугунных якоря. Табличка. Что-то изменилось. Многое, многое здесь изменилось. Юношеская мечта о море. Адмирал Макаров. Выпускной вечер, актовый зал, начальник училища Жерлаков, лицо торжественно. Вручают дипломы. Разлетимся по всем портам, по всем морям...

«Чьей волей роковой под морем город основался». Косая линия прочерчена в полузабытое, на дне памяти. Особняк Брусницыных на углу. Начинает темнеть. Угрюмая перспектива – крытый мостик вверху над улицей, между кирпичными корпусами мертвого теперь завода. У края узкого тротуара мокнут под дождем крыши припаркованных машин. Буросерые стены двухэтажного особняка. Остатки лепнины и украшений. Жалкий вид. Нужна реставрация. И эта легенда о загадочном зеркале Брусницыных...

Зеркало Брусницыных, опять оно здесь. Старинное зеркало, из спальни графа Дракулы. Не гляди в него! Взглянешь – пропадешь. Пропали же в нем купцы-кожевники и весь род их. И весь тот Петербург. Тот Петербург... Пропасть забвенья.

Постой! О чем я... На Невском недавно нашли мозаичную икону Калужской Божией Матери. Украшала фасад, в годы войны была утеряна. Редкий иконографический тип – изображение без младенца, с книгой в руках. Взгляд Богоматери устремлен на страницу развернутой книги. Возможно, из мастерской мозаиста М.И.Зоценко, отца писателя.

И опять я о другом. О другом...

Экскурсовод в начале осмотра поведет показать... Купеческая столовая, потолок, настенные бра. Буфет из резного дерева. Когда-то тут стоял стол из дуба и 60 стульев, обитых кожей. Каждая панель на стенах изготовлена вручную. За одной из них тайная дверца, через нее можно попасть в Бильярдный зал, он же Красный кабинет. На дверях изображена голова барана, божество торговли. Далее проследуем в зал для танцев, Белый зал. Здесь увидим красивую лепку с золотыми элементами. Оформлено в стиле Людовика XV. Причудливые узоры, орнаменты, растительность, музыкальные инструменты, венки, цветы, сказочные персонажи. Композиция гармонична и выглядит утонченно. Пилястры и капители с лирами. На люстре подвески из хрусталя, бронза, уцелел серп и молот. Камин из мрамора, скульптуры амуров. Курительная комната, сохранился декор, мавританский стиль. Купол – позолоченная лепка из гипса. На стенах утонченной вязью многократно повторяется надпись «Слава Аллаху».

Я возвращался по Косой линии обратно к Большому проспекту уже в сумерках. Куда-то вкось от прямых путей. Перекосило их все, исковеркало. «А я иду – за мной беда, не прямо и не косо, а в никуда и в никогда, как поезда с откоса»...

Постой! Опять я не о том. Зачем-то ведь я пришел сюда?... Не для особняка же Брусницыных и их зловещего зеркала...

Сохранился ли в Николаеве тот беленый домик на бывшей Католической улице? Мемориальная доска, здесь родился... Названия кораблей. «Витязь», «Великий князь Константин», «Ермак». «Помни войну» – надпись на цоколе памятника в Кронштадте.

Война с Японией. Назначен командующим флотом в Тихом океане. Командовал 36 дней. 31 марта 1904 года вышел с эскадрой в море на флагманском корабле броненосец «Петропавловск». При возвращении эскадры обратно в Порт-Артур в 9 часов 39 минут утра броненосец «Петропавловск» подорвался на японской мине. Макаров находился на мостике. С ним художник Верещагин и Великий князь Кирилл. У правого борта раздался мощный взрыв, затем еще более мощный взрыв, под мостиком корабля. Броненосец накренился на правый борт, объятый пламенем, за две минуты затонул, погрузившись носом в воду. Спасти удалось 7 офицеров и 73 матроса. Спасся и Великий князь Кирилл. Погибли 27 офицеров и 652 матроса. Вместе с моряками погиб и художник Верещагин. Тело адмирала Макарова не было найдено. Осталась только его шинель, которая была накинута у него на плечи, когда он стоял на капитанском мостике.

Последняя книга Макарова: «Гидрологические исследования в Лаперузовом проливе». Издана после смерти.

Макаров любил повторять: «В море – значит дома». Этими же словами он закончил одну из своих книг.

Сохранилось предсмертное письмо Макарова сыну, посланное из Порт-Артура:

«Дорогой мой сыночек!... Ты уже подросток, почти юноша. Я обращаюсь к тебе с другого конца России, как уже взрослому мужчине. Письмо посылаю своему старому другу в Кронштадт. Он найдет способ передать тебе в руки. Тут идет жестокая война, очень опасная для Родины, хотя и за пределами ее границ. Русский флот, ты знаешь, творил и не такие чудеса, но я чувствую, о чем ты пока никому не скажешь, что нам, и мне в том числе, словно бы мешают – не адмирал Того, нет, а как бы сбоку подталкивают, как бы подкрадываются сзади. Кто? Не знаю! Душа моя в смятенье, чего я никогда не испытывал. Начинаю уже чего-то улавливать, но смутно пока. Вот Верещагин Василий Васильевич что-то пытается объяснить, но сбивчиво, как все художники и поэты... Вот такое у меня настроение, сынок. Но знаешь об этом пока ты один. Молчи, как положено мужчине, но запомни...».

Лисин

Поднимаюсь по парадной лестнице. Вот сейчас будет спускаться мне навстречу Лисин, капитан первого ранга, наш зам.начальника по военной подготовке. Тот самый Лисин, герой Советского союза. Заметит нарушение формы – наряд на камбуз, чистить картошку. Коридор, двери аудиторий. Идут занятия. Только в одной аудитории пусто. Мое место на самом заднем ряду, на «камчатке». Вот тут на этой скамье я и сидел, прячась за спинами товарищей, чтобы, невидимый для взора преподавателя, добирать недоспанное в кубрике, в нашем экипаже на 21 линии. Но теперь тут никого из моих товарищей. Ни Сережи Седова, ни Гриши Мушкетова, ни Бабошина, ни Анохина, ни Борисова, ни Маяцкого, ни Баландина, ни Соркина, ни Горкуши. Всех, всех их нет здесь. И за кафедрой не высится грозный профессор Никифоровский, с адмиральской осанкой, влив в кафедру два своих неумолимых перста. Никифоровский, преподававший нам теорию электротехники и особо равнодушный к моей фамилии. Не прогремит его страшный голос, пробуждавший меня от сна на моей «камчатке». Я тут один.

Жили в экипаже на 21 линии. Каждое утро наша рота шла строем от экипажа на Косую линию в учебный корпус на занятия. Шли быстро, торопились в столовую, на завтрак. Через боковой вход, вниз, в просторный гардероб, устроенный в подвальном помещении, где мы оставляли свою верхнюю одежду. Сколько раз за пять лет учебы я прошел по этой, теперь такой дорогой для меня, Косой линии.

Прошло столетия, многое забылось, а моя Макаровка всплывает в памяти. Лисин, элегантный, блистательный, в черном мундире военного моряка, с золотой звездой героя на груди опять неторопливо спускается по ступеням мне навстречу.

Лисин Сергей Прокофьевич. Родился 13 июля 1909 года в Саратове в семье рабочего. Окончил Военно-морское училище имени М.В.Фрунзе. Штурман на подводной лодке "Щ-313" Балтийского флота и на подводной лодке «Щ-401» Северного флота. Воевал в Испании, старший помощник командира на подводных лодках «С-4» и «С-2». В Великую Отечественную командир подводной лодки "С-7". Четыре боевых похода, девять торпедных атак. Потоплено четыре вражеских транспорта. За проявленные отвагу и героизм капитану 3-го ранга Лисину Сергею Прокофьевичу присвоено звание Героя Советского Союза. 6 июля 1942 года подводная лодка «С-7» под командованием Лисина вышла в новый поход. Через несколько дней плавания Лисин обнаружил вражеский конвой: 16 транспортов и 10 кораблей охранения. Лодку заметил вражеский миноносец. «С-7», успев выпустить две торпеды по цели, погрузилась на глубину. Миноносец забросал лодку глубинными бомбами. В отсеках погас свет, потекли

сальники, в трещины полилась вода. Взрывы бомб продолжались. Насчитали двадцать три взрыва. Маневрируя, Лисин увел лодку из опасной зоны и, всплыв под перископ, заметил над морем густое облако черного дыма и плававшие на воде обломки затонувшего фашистского транспорта. Утром 30 июля Лисин увидел на горизонте несколько транспортов противника, шедших севернее Либавы в Павловскую гавань, и принял решение атаковать. Но при сближении с целью глубины все время уменьшались, и лодка в любую минуту могла наскочить на мель. И все же Лисин не отказался от атаки. В самую последнюю секунду, когда он готовился произнести команду "пли", транспорты вдруг изменили курс. Атака кормовыми аппаратами стала невозможной, а в носовых оставалась всего лишь одна торпеда. Да и торпеды теперь из-за мелководья могли взорваться при толчке о грунт. Лисин дал команду на всплытие. В надводном положении лодка выпустила две торпеды, одна угодила в кормовую часть вражеского транспорта. Торпедированное судно "Кете" затонуло у входа в гавань. За тридцать восемь суток плавания подводная лодка Лисина потопила транспорты "Принцесса Маргарета" (1272 брутто тонны), "Лулео" (5611 брутто тонн), "Кете" (1599 брутто тонн), "Похъялахти" (682 брутто тонны). После короткого отдыха, 17 октября 1942 года «С-7» вышла из Кронштадта в свой очередной боевой поход. 21 октября Лисин донёс радиограммой об успешном форсировании противолодочных минных заграждений в Финском заливе и выходе в Аландское море. Каждый метр пути грозил гибелью. Лодка пересекла сорок две линии противолодочных мин, дважды касаясь бортами минрепов. Преодолев заграждения, всплыла для подзарядки аккумуляторной батареи. Была торпедирована финской подводной лодкой "Весихииси", переломилась от прямого попадания торпеды и затонула. В живых осталось лишь четыре члена экипажа, находились на мостике. В том числе Лисин. Взяты в плен. Два года Лисин в плену. После выхода Финляндии из войны 21 октября 1944 года передан своим в Выборге. Три месяца в Подольске в лагере НКВД на спецпроверке.

В 1945 году направлен на Тихоокеанский флот. С 1948 года – на преподавательской работе в различных военно-морских училищах. В 1961-1970 годах – в Ленинградском Высшем инженерном морском училище (ЛВИМУ) имени адмирала С.О.Макарова, заместитель начальника училища по военно-морской подготовке.

Скончался 5 января 1992 года. Похоронен на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга.

В Санкт-Петербурге, на территории первого в России соединения подводных лодок, установлен монумент с барельефом Героя. Имя Лисина на мемориальной доске с именами Героев Советского Союза бригады подводных лодок Балтийского флота, на Аллее Славы в Кронштадте.

Генерал Яша

По набережной в сторону Гавани. Ноябрь, хмуро. В сумерках брезжат краны Балтийского завода. Где-то здесь квартировал Финляндский лейб-гвардии полк. Призраки казарм. Павел Федотов. «Лейб-гвардии Финляндский полк на плацу». «Встреча в лагере Лейб-гвардии Финляндского полка великого князя Михаила Павловича». «Бивуак лейб-гвардии Гренадерского полка». «Прогулка» (изображен Павел Федотов в форме офицера Лейб-гвардии Финляндского полка). «П.А.Федотов и его товарищи по лейб-гвардии Финляндскому полку». Николай Титов, «дедушка русского романа», на стихи Лермонтова «Горные вершины спят во тьме ночной»; дирижер полкового оркестра, сочинил марш лейб-гвардии Финляндского полка. Дома-призраки... «Нехотя вспомнишь и время былое, вспомнишь и лица давно позабытые...».

И еще один призрак лейб-гвардии Финляндского полка – Яков Слащев. Феноменальная храбрость. Родился в 1886-м. В Первую мировую войну – дважды контужен, пять ранений. В бою у деревни Кулик бросился во главе роты вперед, под убийственным огнем противника, обратил германцев в бегство и овладел высотой. Георгиевский крест четвертой степени и георгиевское оружие. В 1917-м в Белой армии. Командующий корпуса. Не имел поражений. Разгромил армию Махно. Галицийская армия Петлюры сдалась ему без боя. Любовь и уважение солдат. Невероятная популярность. Слащеву дали прозвище – генерал Яша. Руководитель обороны Крыма. Стал именоваться – Слащев-Крымский. «Полновластный властитель Крыма» – называет его в своих записках Врангель. Бесстрашен, личным примером водил в атаку войска. Девять ранений. Многие ранения перенес на ногах. Отличался своеволием и строптивостью. Вызывающая экстравагантность поведения. Нелепый костюм, гусарский ментик в сочетании с генеральскими лампасами. Женитьба на дочери красного офицера, держал при себе под видом ординарца Нечволодова. Наркомания и любовь к кровавым расправам. Из воспоминаний Врангеля: «Хороший строевой офицер, генерал Слащев, имея сборные случайные войска, отлично справлялся со своей задачей. С горстью людей, среди общего развала, он отстоял Крым. Однако, полная, вне всякого контроля, самостоятельность, сознание безнаказанности окончательно вскружили ему голову. Неуравновешенный от природы, слабохарактерный, легко поддающийся самой низкопробной лести, плохо разбирающийся в людях, к тому же подверженный болезненному пристрастию к наркотикам и вину, он в атмосфере общего развала окончательно запутался. Не довольствуясь уже ролью строевого начальника, он стремился влиять на общую политическую работу, засыпал ставку всевозможными проектами и предположениями, одно другого сумбурнее, настаивал на смене целого ряда других начальников, требовал привлечения к работе казавшихся ему выдающимися лиц... Слащев жил в своем вагоне на вокзале. В вагоне царил невероятный беспорядок. Стол, уставленный бутылками и закусками, на диванах – разбросанная

одежда, карты, оружие. Среди этого беспорядка Слащев в фантастическом белом ментике, расшитом желтыми шнурами и отороченном мехом, окруженный всевозможными птицами. Тут были и журавль, и ворон, и ласточка, и скворец. Они прыгали по столу и дивану, вспархивали на плечи и на голову своего хозяина...». Слащева еще называли – Слащев-вешатель. Лично подписал более сотни приговоров к повешению. Не столько врагов из красных, сколько своих из белых: за мародерство, грабеж, хищения, дезертирство, трусость. В игорном доме Симферополя (на углу Пушкинской и Екатерининской улиц), Слащёв лично арестовал трёх офицеров, ограбивших еврея-ювелира и велел их тут же повесить. Казнил солдата за гуся, украденного у крестьянина. Вздёрнул за трусость полковника (приближенного Врангеля), приговаривая: «Погоны позорить нельзя». В сражении под Чонгарской гатью отдал приказ юнкерам построиться в колонну, а музыкантам играть марш. Под ураганным артиллерийским огнём, развернув знамя, лично пошёл с юнкерами в атаку. Разрыв с Врангелем. Эмиграция. Константинополь, нищета. Занимался огородничеством. Наркотики, морфий, кокаин – снять сильные боли, следствие ранений. Издал книгу «Требуя суда общества и гласности. Оборона и сдача Крыма (Мемуары и документы)». В 1921-м объявлена амнистия участникам Белого движения. Амнистирован, возвращение в Россию. Преподаватель тактики в школе комсостава. Издан труд «Общая тактика». Во время разбора на занятиях войны с Польшей 1920 года Слащёв в присутствии советских военачальников заявил о тупоумии красного командования. Буденный выхватил револьвер и несколько раз выстрелил в Слащева, но не попал. Слащёв сказал: «Как вы стреляете, так вы и воевали...». В 1929-м – убит в Москве, в своей комнате при школе, тремя выстрелами из револьвера. Убийца – курсант московской пехотной школы, мститель за своего брата, расстрелянного в Гражданскую войну по приказу Слащева.

Слащев – генерал Роман Хлудов в пьесе Михаила Булгакова «Бег». Он же один из героев в фильме «Адъютант Его Превосходительства». О нем же фильмы: «Эмиссар заграничного центра», «Большая – малая война». Слащев – герой книг многих писателей. Этот легендарный генерал Яша.

Балтийский завод

Бетонный забор, лес подъемных кранов. «Наш завод – наша гордость». Устье Невы. В начале начал – завод Карра и Макферсона. Линейные корабли, подводные лодки. В 1925-м «завод имени Андре Марти».

Фрегаты для Индии. Танкеры для Германии и Голландии. Океанские суда – для Норвегии. Атомный ледокол «50 лет Победы». Плавающая атомная электростанция «Академик Ломоносов». Спущены со стапелей атомные ледоколы «Арктика» и «Сибирь», самые мощные ледоколы в мире. («Арктика» – первым в мире из надводных судов достиг Северного полюса). Идет сооружение атомного ледокола «Урал». Построено более 500 военных кораблей, подводных лодок и гражданских судов.

Крейсер «Петр Великий». Сторожевой корабль «Адмирал Макаров».

Годы войны, заказы для фронта. Ремонт поврежденных в бою кораблей. Под бомбежками и арт.обстрелами. Почти все рабочие ушли на фронт. У станков женщины и подростки. Работали по 12 часов. Голод и холод. К весне 1942-го на заводе от голода умерло 1800 человек. Отец слесаря-монтажника Н.В.Бирюкова умер у своего станка. Сын, самый слабый от истощения, работал на ремонте недостроенного крейсера "Петропавловск". С моряками вышел на пробные стрельбы в Угольной гавани Морского порта, настраивал механизмы. И с каждым залпом приговаривал: – Это за Ленинград! Это за отца! –

Здесь построена первая русская боевая подводная лодка «Дельфин». Два торпедных аппарата с двумя торпедами. Экипаж – два офицера и 20 матросов. В конце 1904-го перевезена по железной дороге во Владивосток – воевать с японцами. 17 дней провела в море. Командовал лодкой Георгий Степанович Завойко, внук адмирала В.С.Завойко. Всего на заводе построено более ста подводных лодок.

Перестройка, приватизация, три раза менялись собственники. В 2000-м владелец завода – Сергей Пугачев. Решил на месте завода построить элитное жилье. Угроза банкротства. Цеха пустели, имущество распродавалось. Численность рабочих снизилась в десять раз. Вмешалось правительство.

И опять я вспоминаю об адмирале Макарове. 1 февраля 1904-го назначен командующим флотом в Тихом океане. Уже шла война с Японией. В поезде вместе с Макаровым приехали из Петербурга рабочие Балтийского завода, кузнецы, слесари, чеканщики, медники. В Порт-Артур для ремонта поврежденных боевых кораблей прибыло 1600 рабочих. Они до последнего дня защиты крепости оставались вместе с моряками.

Дома раздвинулись. За Гаванью мглистый простор Финского залива. Косо взвилось крыло морской чайки.



ИЗ ОДНОГО ДАВНЕГО СНА

Косая линия и наше морское училище, как раз там, где, дребезжа всеми своими стеклами и железками, заворачивает трамвай. Училище – мрачно-кирпичный замок, осененный вековыми тополями. А пойдешь дальше по Косой да свернешь на Кожевенную линию, бесконечно голую, ни единого деревца, теснимую с двух сторон пыльными заводскими корпусами... Какое гнетущее место! Пустынное городское ущелье. Поперек улицы, над мостовой, из здания в здание протянулся тяжелый кирпичный мост-короб. А запах здесь! Невыносимая вонь. Эту вонь источает кожевенный завод имени Радищева. И, кажется, деться отсюда некуда. Ты попал в западню. Смотришь: улице нет конца, ни впереди, ни обратно. А ведь знаешь: где-то рядом залив. Совсем рядом. Открытое свежее, морское пространство, воздух, безбрежность. Белоснежное судно, океанский лайнер-лебедь, покидая Гавань, уходит в открытое море. А тебе-то никак не выбраться из этого дьявольского места. Никак, никак... И ты бежишь, зажимая нос от невыносимой вони, гулко стуча своими курсантскими башмаками по безлюдному асфальту. И, кажется тебе, этой вонью пропах весь город, все вокруг, вся жизнь. И ты бежишь в ужасе: опоздаешь к отпльтию – и прощай летняя плавательская практика. Чудесный, как мечта, белый теплоход уйдет без тебя.



Сергей Николаев



«Симург и К°» (Из стихов 2018 г.)

Николаев Сергей Анатольевич

Г.р. 1957, г. Ленинград

Автор 20 книг: поэзия, проза, драматургия, эссе, графика.

Закончил заочно рус. отд. филолог. ф-та ЛГУ.

Работал топографом, экскурсоводом, охранником, преподавателем и т.д.

Боевая ботаника

Будь ты амбал, качок иль мачо,
Хоть волком вой, хоть носом рой,
Тебя замочит он иначе,
Ведь он ботаник боевой!

По улице с Кустурицей

Всё непременно сбудется,
Вот только сколько ждать?
И мы пошли с Кустурицей
По улице гулять.

В витринных отражениях
Паноптикум идей
Весь в формулах движения
Таинственных людей.

Тут Бахусы и Босхусы
Пьют новостей вино,
Тут уникальных космосов
Всеобщее кино.

В нём лица окрылённые
Со всех восьми сторон,
В нём лица вовлечённые
В калейдоскоп времён,

Где светофорный давеча
Мигнул статс-секретарь:
«Здесь Милорада Павича
Хазарский ждёт словарь».

Балканского барокко джаз
У модниц в завитках,
И Вук Караджич как раджа
Волшебствует в гудках.

С Наташей Пьер тусуются,
Хайям звонит Ли Бо...
...Когда идём с Кустурицей,
То третий с нами – Бог!

В стране упущенных возможностей

В стране упущенных возможностей
Танцуют карты всех мастей:
Здесь дамочки без лишних сложностей
И козырь диких скоростей...

Я был когда-то в тонкокожести
И в безнадёжности был я,
Но плюнул я на непреложности.
А тут балдёжность бытия!

Не съёжился и не скукожился,
Рисково, как трофейный туз,
В стране упущенных возможностей,
Кум королю, не дую в ус.

Здесь ценят противоположности,
Не водку злобы – риски пьют,
Леча азартом искорёжести,
Такие же, как я, живут.

Нельзя ж так жить, без осторожности?
А мне плевать, что так нельзя:
В страну упущенных возможностей
Я приглашаю вас, друзья!

Поиски точки отсчёта

Ты до зомбоящика падок?
Покажут тебе сей же час:
И Золушек-свиноматок,
И платиновый унитаз.

Фортуны бомжей и даже
Печали бонзы во сне,
Гофмаршала лишь не покажут –
Гоббс-Гоббса на той войне,

Которой конца и края
Не видно. Кунштюк затая,
Тебе я скажу, что знаю –
Гоббс-Гоббса ландскнехт это я.

Во мне его механизмы
Скрипят как кривой тарантас...
Но выправят сердца призмы
И Сирия, и Донбасс...

Цирк новых состояний*(Для детей +)*

Цирк приехал к нам. Ура!
Крокодайл дудит в дуду,
Что всем зрителям пора
Превращаться в какаду.

Клоун ходит ходуном
Демонстрирует ходьбу,
С акробаткой и слоном
Иллюстрирует судьбу.

Та судьба – моя. Ура!
То в раю я, то в аду.
После слов: «Кар ра бар ра!»
Стал я суперкакаду...

Содвинем чаши!
Смех вместо снега!
За свадьбу наших
Альтер его!

Стансы с вопросами

Был кто-то всю демиургом,
Другому мир чист как слюда...
Когда-то в листве Петербурга
Я жил, но не помню, когда...

Я спорил с царём драматургов
И с мэтром ужимок-пружин...
Я жил на стволе Петербурга,
Но как в этом городе жил?

Вальпурги, Панурги, теурги...
Похмелье философем...
Зачем-то я жил в Петербурге
Под кроною, только зачем?

Не видел, как в будущей вьюге
Кровавистый ворон кружил...
Средь ягод-плодов в Петербурге
Я не на Сатурне ли жил?

Певцы и созвучий хирурги,
Ответьте, мы ж были друзья:
Живя на корнях в Петербурге,
Я это был или не я?

Борей, я прошу об услуге –
Дай весть мне балтийской трубой
На дереве ли Петербурга
Когда-нибудь стану собой?

И северной буквой-Симургом
Вплегусь ли в соцветие тем –
В театр на ветвях Петербурга,
Где символ, и миф, и тотем?..

Смутное предчувствие

В литературе бульваров
Сейфы в кубиках льда,
Шифр СПБ в портсигаре
И ты, кто ещё хоть куда...

От криминального яда
Кто здесь более рьян:
Леди с отстёгнутым взглядом
Иль браунинга барабан?

Кокс в экспрессе из Праги,
Секс в аэроплане в Дамаск:
Везде почерк леди в крагах
Фасона а ля Фантомас.

Будто бы нет революций
И бойни нет мировой...
Тут в казино смеются
Над судьбой игровой,

Здесь ты ещё не старый,
Здесь нет опасных идей,
С фишкой идёшь по бульварам
И ребусам площадей...

Но что-то не так здесь что ли...
И тем, кто в ночи кружит,
Фишкой на покерном поле
Твоя положена жизнь...

Отрывок

Я иногда бываю в тех местах,
Где я когда-то мечтал и печалился.
И хотя те мечты или сбылись, или нет,
И все печали тех времён позади,
Я всё равно продолжаю мечтать и печалиться,
Когда бываю в тех местах.
Однако, я чувствую в тех местах,
Что кто-то как бы за стеклянной стеной
Продолжает мечтать и печалиться обо мне,
Хотя все его мечты сбылись, или нет,
И все его печали тех времён позади.
И вот однажды...

Inferno

Теперь раскаиваться поздно –
Свершился дней круговорот.
 Я рифмовал с безумьем воздух,
 И час расплаты настаёт.

И съев мои иероглифы,
 Все фолианты обслунив,
 Меня по льготному тарифу
 Читатель (всяк, кто не ленив)

Доставит в ад. А тут, вестимо,
 Чадит корректорш чехарда,
 В дым иллюстратор в пантомиме,
 Кипит редакторши байда.

Куда там Римы да Парижы,
 Там всё на так... А тут легко:
 Издатель в стельку, критик с грыжей
 И чёрт в оранжевом трико!

Сценарист во времени

Пропавшие люди идут на войну,
 Пропавшие люди спасают страну,
 А после, в шалмане хлебнувши огня,
 Дебаты ведут про тебя и меня:

О том, что счастливое время грядёт,
 Что снова растает в сердцах наших лёд,
 Что крутится судеб синематограф,
 И видно на ленте, кто прав, кто неправ.

В шалмане вверяюсь я карандашу,
 Мне кто-то диктует, я что-то пишу...
 Пишу я, что «...в будущей нашей стране
Быть может, не стоит топиться в вине,

*А также, блуждая в табачном дыму,
 Не стоит искать то, что чуждо уму:
 Конец всех концов и начало начал,
 А нужно...»* Диктующий вдруг замолчал...

Что ж, зрителя этот сюжет не проймёт:
 Нет глянца и нет саквояжа банкнот,
 Пропавших людей лишь в стаканах огни.
 О, как бы узнать всё, что знали они!..

Между тем действительность
вновь обрела спокойствие калейдоскопа,
сопоставимого со спокойствием филобутониста,
то бишь коллекционера пуговиц,
выменявшего последнюю
неизвестную ему доселе пуговицу
на собственную смерть
и с удивлением узнавшего, что тот,
кто осчастливил его пуговицей,
ещё совсем недавно выменял
её на собственную жизнь.
И филобутонисту вследствие этого
наконец-то стало понятно,
почему, провозжая в последний статичный путь
кондуктора, оставшегося на тротуаре,
каждый в трамвае, движущемся к кольцу,
компостирует прощально
зубами счастливый билет,
и вследствие четырёх дырок от резцов
тот теперь отчасти напоминает пуговицу...

Ты, жизнь живя за здорово живёшь,
Прёшь на рожон (рожна какого всё ж?)
Жиркуя жадно, как наш жар поймёшь:
Мы любим ржать, и любим сеять рожь,
И корчим рожи (если невтерпёжь)
Тем, кто живут за здорово живёшь.
Но всё ж...

Того, кто родился в комнате смеха,
В кабинете ужасов или на чёртовом колесе
Вряд ли поймёт тот, кто там не родился,
А родившийся там, в свою очередь,
Вряд ли поймёт того, кто не родился нигде,
Но однако же пытающегося понять
И первого, и второго...

Перед географической картой

Зубровка братьев Лаптевых,
Водка Беринга,
Старка Головнина,
Спирт Шокальского...
На какой только ° не занесёт
При повышении °!

Весёлые нищелюды

Нищие с нищенками крутят романы,
Они не очень трезвы и не слишком пьяны,
Они не слишком разные, не очень равны,
Но весело хмыкают в зеркалах страны!

Не то, что б под ф-но, скорее под гитару,
Не то, что б молоды, хотя и не стары,
Они не шибко здоровы, не дюже больны,
Но весело фефекают в масштабах страны!

Уважают их бомжи за ретророманы,
Которые гротескны, но, в общем, туманны...
В умах библиотеки, в кошельках нули,
Смеются, как их ловко в 90-ых провели...

История его жизни

Жизнь напоминала ему Шапито,
Где женщины крылатые крутят авто.
С ними в рок-н-ролле фиалок и роз
Жизнь его весело неслась под откос.

Теперь он прячет мысли в коробке с лого,
Порой протирая их снов кислотой,
А статус кво-кво его в джунглях метро
Отраженьям кукиши кажется хитро.

«Кругом философия? Да неужель?» –
Так он проповедает детям бомжей.
Узрев, что философия – чушь-лабуда,
Отпрыски в драндулетах рулят кто куда.

Из его холодильника сбежала чума,
Прихватив два фунта эрзацного ума.
Но надпись в мозгу посолондней лавэ:
«Аз есмь Икс, живущий в твоей голове!»

Но шепчут временем взбухший Донбасс
И Сириус Сирии в сырых песках:
«Зажми орех головы в тисках,
Икс в скорлупе кракатукни сейчас...»

Февраль

Ты говорила: «Вновь февраль,
И ярче снег, и крепче нервы.
Он приведёт дорогой верной:
Кого-то в ад, кого-то в рай».

Я отвечал: «Ну, что ж, февраль...
Ну, в общем, всё не так уж скверно,
Всё закрутилось обалденно –
Коль выбор есть, так выбирай!»

Мы снова выбрали февраль,
И он отправил всех с антенной
В экипировочке отменной,
Меня так в ад, тебя же в рай.

...И вот мы там. А там – февраль!

Винт весны

Когда примеряю улиточный нимб
И даже нимб скоростной,
Весна примеряет любой псевдоним,
Весна идёт за весной.

Красна-весна – песнь других планет
Судеб непроявленных рой,
Она это фото тех, кого нет,
Но тех, кто всегда за спиной.

Весна крутит судеб азартных винт
Лентою новостной.
Весна-красна это высший инстинкт,
А ей слуга – основной...



ВИКТОР ПАВЛОВ

МЕТЕЛИЦА И АНАРХИЯ

(ЦИКЛ СТИХОВ)



Павлов Виктор Николаевич родился 9.05. 1954 г. в городе Павловске Ленинградской области.

Закончил Ленинградский институт точной механики и оптики (1977 г.). Работал в Государственном институте им. С. И. Вавилова.

Член СП России с 1999 года. Поэт и прозаик.

Печатался во многих московских и петербургских журналах. Автор 9 поэтических и прозаических книг. Основные книги "На развилке двух тысячелетий", "Песнь веретен", "Память"

Нынешний декабрь без перемен
В тихих человеческих селеньях:
Кислый дождь да заморозок редкий...
Чем занять себя? Почистить хрен,
Гнёт добавить в кадках для солений
И пошинковать на закуску редьку?

В подпол заползти за первачом,
Нацедить стаканчик и до днища,
Да и размешать всё в никотине...
Человечья сущность – ни о чём!
А тем боле в декабре, дружище,
Когда вся земля на карантине.

Впрочем, подсластит всё разгуляй,
То бишь, новогодняя пирушка:
Будет Анка строить козни Петьке,
А Чапай зальётся через край,
Разобьёт на ёлке все игрушки...
Впрочем, хрен совсем не слаще редьки!

Впрочем, что декабрь? Один из трёх
Месяцев на зимнюю отсидку...
Ну, а где же с бубенцами тройки?
Горки? Саночки? А между строк –
Кислый дождь... И надо сделать скидку
Для любителей шитья и кройки...

И опять придётся в подпол лезть
И, не чокаясь с «зелёным змеем»,
В одиночестве тоску глушить...
Красота земная, ваша честь,
Потому мы так зимой болеем,
Что надоедает вовсе жить...

КОРПОРАТИВ

На бражной новогодней вечеринке,
На нынешний язык – корпоративе –
Собралась всяка нечисть – стар и млад...
Сцепились поначалу как на ринге,
И не на жизнь, а на смерть! В перспективе
Всё дело должен бы решить булат!

Да, полноте... Яга остепенилась,
Кощей, тот перепил весь сектор Газа,
И вскорости уже уполз под стол...
Кикиморам явили Божью милость –
Под хануку подрывать, но отказом
Ответил им израильский посол!

И Леший Змей-Горынычу поллитру
Поднёс с изрядной дозой аммиака...
Хана Горынычу, и он не в счёт...
Киркоров, Басков, Алла и Лолита,
И Моисеев Боренька-ломака,
И всё при них – и деньги, и почёт!

Ату их, стриптизёрш и стриптизёров,
Катающихся по полу избёнки,
Что некогда ваяли аки сруб...
Ба, в дверь ввалился некий А. Невзоров,
Чей голос в девяностых перепонки
Рвал правдой-маткой, экий правдолюб!

Все в сборе! Двери на засов! Геть страху –
На язычке нагарно-фитилёвом,
Уже корпоратив на разворот!
Чу! Бьют куранты! Голос Нетаньяху,
И сколь веков стал идиш Русским Словом?
Немотствуй, тамада, разинув рот!

Немотствуйте, царь Пётр и хмурый Сталин,
Среди братвы на бражной вечеринке,
Блажите, ведь глаголить вам нельзя...
Но голенища драить не устали,
Ослабив всеу зиппер на ширинке,
Сексоты и удельные князья...

Вся хрень расейского ареопага
И сказочного, и иного здесь
Выписывает с Ёжкой фортеля...
А опосля? Январским утром – брага,
Да и рассол капустный тоже есть,
Да и плевать, что будет опосля!

Рассол капустный: праздник среди буден!
И «рюмка водки на столе» от Лепса,
Не вечны таракании бега...
Пусть правит Русью Путин иль Распутин!
...За окоёмом царственного леса
Зашлись ветрами снежные луга!

БАФОМЕТ

Марципанами и цукатами
Золотились края желе
На роскошном барском столе,
И графин боками пузатыми
Искажал пурпур «божолé»!

Ананасы искрились срезями,
А бисквиты цедили хмель...
На пролётках с конями резвыми
Гимназисток уже нетрезвыми
Комиссары везли в бордель!

В том борделе, Расеей прозванном,
Верховенствовала ЧеКа...
У вазона с шикарной розою –
Маузер и статья опросная:
– *Барышня, глоток коньячка?*

Стол с особым шиком обставленный,
А за ширмою – тайный глаз,
И оконце прикрыто ставнею...
И Дзержинский, как волк затравленный,
За указом строчит указ...

Обрастут приговоры сплетнями,
Но горяч комиссарский пыл:
Не побрезгует малолетними...
Над Расеей ночами летними
Чёрный дым от пожарищ плыл!

А в туманных кварталах Лондона
Иль в тени италийских вилл,
Отослав циркуляры подданным,
Седовласый гроссмейстер ордена
Комиссарской рукой водил...

За семнадцатый год заплачено
Из масонского общака
Белокаменными палатами,
Изумрудом, алмазом, платиной
Шёлком девичьего чулка!

«Бафомет» на цепочке скалится,
Чистки, пытки, голодомор...
И слеза гимназистки скатится
На разорванный вырез платъица,
Глухо звякнет в ночи затвор!

...А теперь вожди вороватые
Проклинают на всех углах
«РевЧеКа», за свободу ратя,
И с Лубянки убрали статую...
А в глазах гимназистки – страх!

Слава Богу, иные выжили
И в своих трущобных шале,
Ананасы кружками выложив,
Коньяку могут выпить или же
Из графинчика «божоле»...

Поросёнок скворчит на вертеле,
От посуды звенит буфет...
Восемнадцатый люди встретили,
Веселились и не заметили,
Что в дверном глазке «бафомет»...

МЕТЕЛИЦА И АНАРХИЯ

Поменять бы скуку на веселье!
 Скоро из землянки переселится
 Новый Год в чертог, светясь и ахая...
 И зайдут отметить новоселье
 Падчерица – белая метелица
 С мачехою – чёрною анархией!

Станут от жратвы столы ломиться,
 Всевозможных яств и вин – не меряно,
 Фрукты, что в далёких странах взрощены...
 Не успели толком помолиться,
 Глядь в оконце: на поджарых мерилах
 Скачет по безлесию махновщина!

Делать неча, отворяй воротца,
 Бей поклоны Нестору Иванычу,
 Хлеб да соль владыке гуляйпольскому!
 А метели поплясать охотца,
 Не на шутку расстаралась панночка,
 Ох, видать, не подфартило кой кому!

И погнулись в дровенках оглобли,
 И сорвались мерины хвостатые
 Кто куда «среди долины ровныя»...
 Хлопцы онемели и оглохли,
 Подхватили мачеху-анархию,
 Ох, и поглумилась та над дворнею!

Батька салом закусил горилку,
 Оглядел недобрый взором зданьице
 И «тю-тю на Воркутю» по-тихому...
 Дале в ход пошли ножи и вилки,
 Тамада всю ночь шарашил здравицы,
 Жёг бенгальские огни с шутихами!

А под утро, опростав всё зелье,
 Гости разбрелись по узким тропочкам,
 Благо, и мегели опостылело
 Это новогоднее веселье!
 Новый Год с устатку дёрнул стопочку
 И в землянку зашагал пустынную...



ЖЕСТОКИЙ РОМАНС

Повиниться бы да покаяться,
Перед миром и перед Богом,
Водку с пивом – лихой купаж –
Хлобыстнуть по полной вдогонку,
Троекратный крест на иконку!
Жизнь – шикарная бесприданница:
Михалков Гузееву боком
Обходил – не его типаж...

Значит, надо виниться заново,
Новый Год жестоким романсом
Выдал тундре закон игры,
Причитанья аж до Тюмени...
А куда убрели олени?
Ах, шаманский изыск Рязанова,
Повинился хант перед мансом
На просторах ночной Югры!

А по храмам Югры – моления,
Неприкаянность спин согбенных,
Хор на клиросе – тенора:
«Отче наш» и «Верую» следом!
А котёнок уснул под пледом...
Маринад супротив соления,
Дифирамбы напитков пенных,
Путин, пять минут и... «Ура!»

Новый год – не калика-странничек,
В армяке и потёртых пимах!
Галстук-бабочка, чёрный фрак,
Звон бокалов, осколки рюмок...
Что ты щеришься, недоумок,
Зажимаешь в объятьях старческих
Всех обиженных и гонимых...
Ах, ты взбалмошный вертопрах!

Огудалова – не Гузеева,
Михалков – не делец Паратов,
Фильм Рязанова – nostalgie...

А по храмам толпится молодежь:
Руки греет у свечек: холодно ж,
Эх, вы, игрища ротозеевы!
А на Спасской скрипят куранты,
Что над пропастью да во ржи...

И январь наделит сосульками,
И ещё побалует вьюгой:
Гидрометецентр прогноз
Выдаст страждущим, эка лапочка,
Для гостей новогодних тапочки...
Диск жокей загружать танцульками
Всех любителей «буги-вуги»
Станет до Рождества, прохвост!

Танцы-шманцы да с обжиманцами –
Это всё для совков, коллега...
Ну, а в обновлённой ЭрЭф –
Перспективы куда весомее:
В январе назначить пособие
Не какими-то там романсами,
А деньгой юрода с калекой
Отоварит товарищ Греф!

А в вогуло-остякском стойбище
Всё югорские ветры свищут,
Носят прелье ягеля...
Новогоднее попадалово:
Ведь Гузеева – Огудалова,
И Никита – Паратов стоящий
Не подкинут олешкам пищу
Не сей день и не опосля...

МИЛИТАРИСТ

Погрузись в послепраздничное забытьё,
Пусть теряется явь: конный ты али пеший...
Новый Год отбрехал, надоедливый леший,
А в районной гостинице наглый портье...

Выбей зубы портье, пусть ведёт себя чинно,
Пусть сдувает пылинки с крахмальных жабо...
А на чёт или нечет сыграть не слабб,
Если ты – правдолюб, настоящий мужчина?

Если чёт – раскумаренный степью буран,
Ну, а нечет – призывы прелестной красотки...
Но мечту не узреть со столичной высотки,
Сколь не переключай новогодний экран!

Поразвесила ночь дорогие монисто
На ключицы небес... Ну, такая тоска!
Если б «*вжикнули*» граммы свинца у виска,
То-то б вздрогнула душенька милитариста!

Разберись с суетою и... марш в «*ВэДэВэ*» –
Заслонить мать-Россию от происков НАТО...
Эх, платили б контрактникам больше зарплату,
А берет голубой – не жене, не вдове...

А пока снег в наличии, до Рождества
Погости в деревеньке близ города Энска...
А когда принесёт письмоносец повестку:
В сей же вечер отыщет гулёну братва!
И зажгутся огнём полинялые вежды,
Откупоривай, тещенька, свой самогон!
За прошедшею юностью мчатся вдогон –
На заставу Мечты, на высотку Надежды!

Удавься же, Арбат, за свои медяки,
Макаревич в кудряшках, но лыс Окуджава...
А «*спецназ*» укатил воевать за Державу,
Вспомни, милитарист, золотые деньки!

ПАНСЛАВИЗМ

Осень убаюкает дождиком
 С подвыванием, нараспев
 Кроны вековечные дерев...
 А вовнутрь ковырни-ка ножиком –
 Гниль, труха, половá, «*psyu krev*»!

Мёртвый бор не раскрасит вереском
 Очищающий катаклизм...
 Не смогли отыскать средь корней своих
 Хомяков, Аксаков, Киреевский
 Корешок живой – панславизм!

Что за бред распевать о силище,
 Заповеданной бунтарём?
 Мы давно не поём – орём!
 Дух давно поспешил в чистилище,
 Что меж долларом и рублём...

Что меж злым, левом и гривною,
 Что меж буквиц – от «аз» до «ять»...
 «Дай на лапу» мне, и продвину я
 Богоданную неразрывную
 Панславянскую благодать!

Дураков не послать «по матери»,
 И не помнит Иван родства,
 Лишь ругательные слова...
 Осень дождиком разлохматила
 Поседевшие дерева.

Не вернётся память с повинною!
 Ведь родство – многосрезный ствол
 С заболонью и сердцевиною,
 Что давно поражён струпниною,
 Как и весь панславянский дол!

Русь – сударушка волоокая,
 Пусть Европа – твоя свекровь –
 Машет скалкой, не прекословь,
 Отмахнись... Но с поволожским оканьем
 Спой частушку про «*пёсью кровь*»!

БЛУДНИЦЫ БУНТА

*«Ужели не сгинем мы на лобном месте
И от Сенатской залетим в бордель?»*

О чём писал в своём предсмертном тексте
Вожак восставших Пал Иваныч Пестель?
Дневник не рассекречен и досель.
Как и указ Святейшего Синода...
Историк, отутюжь свои мозги!
Как переводится на русский – *modus*?
А на Сенатской – толпища народа!
А на Сенатской не видать ни зги!

Нет, тۇльчинский полковник плац не мерил
И в Милорадовича не стрелял,
Холёный немец в лютеранской вере
Молоденьких кокоток на *plein air*,
Поллюбливал и... уводил в астрал!

Астрал с «Астреей» – однокоренные,
Но я в капитул ордена не вхож...
Герои декабря – сыны России,
Намылена петля на вашу выю,
Любимцы женщин из масонских лож!

И рвали в клочья ядра самодержца
Служивых – хладный иней на щеках...
И тишина! И проскрипели дверцы,
И вышли из шикарного дормеза
Красотки в белых шёлковых чулках!

Не бойня – бал! И по зеркальной глади –
Картечь как фейерверки, вжик да вжик...
«Ах, одалисочки, будь ты неладен!» –
Шептал восторженный поручик... *«Бляди!»* –
Мотнул башкой зачуханный мужик...

И он не матерился, конопатый,
В треухе и потёртом армяке,
Он ведал падших баб не за бесплатно,
Ведь сам когда-то отслужил в солдатах
Здесь, на холодной северной реке...

Какая смуга в нашенской державе
Обходится без крови и без баб?
Ещё торосы невские дрожали,
А власти правдолюбцев задержали
И по статье «измена» – на этап...

А пятерым, особенно ретивым,
Повешенье на кронверке избрать!
И пусть без страсти наша жизнь – рутина,
Но отчего знать и простолюдины
Так часто повторяют всуе «блядь»?



**Меньшиков
Владимир Петрович**

**ЗООДЕРЕВНЯ
(СТИХИ)**

**КЭТ, ВРЕДНЫЙ ЙЮРИК
ИЛИ
ПРОГУЛКИ С ОВСЯННИКОВЫМ
(МИСТЕРИЯ – БУФФ)**



Владимир Меньшиков родился в Пинежском районе Архангельской области в сентябре 1953 года. После школы работал в лесоустроительной экспедиции, служил в армии, потом закончил Ленинградский пединститут, факультет истории. Живет в Петербурге. Член СП России с 1993 года.

Автор поэтических книг «Оккультная оккупация», «Звероисповедание», «Гармонь снопа», «Стихотворения», «ГОЭЛРО горла», «В начале тысячелетия», «Русский простор», «Прорыв», «Приладожье», «Труд и пруд»... Печатался в журналах, награжден юбилейной Есенинской медалью. Лауреат литературных премий России (1997) и (2002).

О чем пишу

Я наездом в деревнях живу
С мая по октябрь-ноябрь примерно.
Около избы кошу траву,
Улыбаюсь и ругаюсь скверно.

Патефон полей заглох опять,
Все пластинки в травах-переростках.
Музыкальным иглам не гонять
Змей да крыс в заигранных бороздках.

Ставлю «Панасоник» на окно,
Направляюсь к грядкам, взяв лопату.
Сельские труды пою давно
И продолжу так же – до упаду.

Всё из деревень произросло:
Ряд Побед и тот же гордый город,
Что извечно давит на село,
Учинив «национальный голод».

Петербург окаменевший зля,
Взялся я за почвенные темы.
Ведь пишу не то чтоб про поля,
А про общерусские про(м)блемы.

На Дворцовой свистну озорно,
Перед Смольным заблажу о рае.
Может быть, деревня – то зерно,
Что, родив цивилиность, умирает?

В Сельском Океане

Повкальвав, с Танюшкой
Направился на луг.
Зеленою лягушкой
Листва соскочит вдруг?

Такую громадину
Не сбросить, словно лист.
Не вычистить в прохладину
С костюма будет слизь.

Скажи-ка, жизнь хорошая,
Откуда взят костюм,
Когда судьбиной брошен я
На дно иль в сельский трюм?

В шторма летят из ящиков,
Из бочек на меня
Лягухи, змеи, ящерики,
И в этом – в весть – весь я!

Ах, ящички-боченочки,
На дне и облаках.
Какие тут девчоночки,
Когда ты в ярлыках?!

Язычника любовницы:
Лягуха и заря,
От их любви опомниться
Рассчитываю зря.

Шла тропами-дорожками
За лирика борьба.
Стучала девка ножками
В постельный барабан.

Село

(океанизм-космизм)

Ранним утром идти на рыбалку,
Но в гостях не до крепкого сна.
Не пора ль зашвырнуть зажигалку
Вместе с пачкой «Стрелы» из окна?

Опостылело делать затяжки
Да посмотреть на село при луне,
Словно рыбины, двух-трехэтажки
Неподвижно стоят в «глубине».

Хорошенечко им погрози я,
Поплывут, погребут в никуда?
Держит рыбин собою Россия,
Так как нас затопила беда.

Надо чтобы на рыбах держалась,
Как в древнейших легендах, земля!
Океания в дело вмешалась
И мальков запустила в поля.

Не сказать, что равнинное в глыбах,
Но крестьянин – Емеля и плут:
Словно в сказочках, пашет на рыбах,
Потому что плавник, словно плуг.

Мужики – анекдотчики, черти –
Пустьят в полюшко Щуку, и ей
Воля-волошка. Жирные черви!
Все распашет за несколько дней.

Заблестит чешуя под лучами,
Будто бы космонавтов впрягли.
Что рыбалка... Я рыбу ночами
Наловлю напрямую с земли.

Деревенский кит

Тех, кто властвует не так,
Нелитературно крою...
Луг, березы и большак
Любы сельскому герою.

Пролетает рыба-кит
С артиллерией на Киев!
Мужику и мне влетит
За метафоры такие?

Как дурак смеется он
Над Концом времен и света,
У него ж Армагеддон
За ширинкою кальсон
Провисеть готов пол-лета.

Ну, года! Ну, и лета!
Ну, народ!.. свежо и юно
Любят более Христа,
Чем люблю я Власть Коммуны.

Ладно, Власова не чтят,
Но Велеса ли, Сварога
Представлял в кругу ребят
Как приладожского бога.

В небе солнце – желтый ком...
От незнания любят люди
Либеральнейший «Ленком»,
А вот Ленина не любят.

Популярный бренд, фальшак
В телевизорах мелькает.
Я люблю луга, большак,
Пруд с китами и мальками.

Солнце-лев

Будто бы какую крысу,
Меж березовых ветвей
Придавило солнце крышу
Желтой лапою своей,

Но проглатывать не стало.
Потому что солнце – лев,
Не хотящий чем попало
Обжираться, охудев.

До него разрушен птичник,
Опоздал на лов наш лев...
Помню вас, афрозычник –
Стихотворец Гумилев.

Помню джунгли, водопады,
Львов, драконов и змею.
Это «втягивать» не надо
В местность тихую мою.

Можно бы сравнить с натягом
Водопад и нашу ГЭС,
Что работала под флагом
На технический прогресс...

Лезу с джунглевой сказкой
В грустный быт равнинных мест.
Что с венковой повязкой
Одноглазый видит крест?

Абордаж крестов-пиратов
Корабля моих краев?
Строки сматывать пора, тов.
Император Гумилев?

Мы – ладожские змеи

Печальны эти доли, эти шири!
Но выучи древнейшее полней.
Ведь мы, уведомится всякий сирий, –
Носители энергии полей.

Не то чтоб для округи абсолютны,
Но надобны, и высмотреть сумей
В параболах советского салюта
Крестьянско-пролетарских славных змей!

Нам Ленин дал командные высоты,
И в стойке гипнотической такой
Стояли, но «родные» самолеты
Крылами искромсали над рекой.

Под землю загоняет нынче осень
И в храм, где на трагедию мою
Иконный, роковой Победоносец
Копьем пронзает Русскую Змею.

Благостное стихотворение

Появляюсь на крылечке сонно,
Поразмяв, как сигарету, сон.
Лаптем дедовским поднялось солнце,
Значит, вышел дед на небосклон.

Он Бессмертный. Он раздавит лаптем
Внука чистородистых кровей,
Потому что выйдя из полатей,
Воспеваю змеек и червей.

По тенечку проползают черви,
По песочку ящерка трусит.
От кого-то, из чего-то черпать
Надобно здоровье для Руси.

Красный червь совсем не символ тлена.
Он для подземелия – свеча.
Свет и тяга метрополитена,
Названного в славу Ильича.

Заявлю черемуховым маем,
Что на метрополитен-червя
Мы саму Атлантику поймаем,
В шутку «красной рыбой» назоя.

Не оброс крестами и вещами,
Не зарос щетиною, как дед,
И, возможно, за чревовещанье
Изберут в космический комбед...

– Девушка, уйди, иначе в чувство
Невозможно будет привести...
– Дедушка, так восхваляют буйство
Древнего мужицкого пути.

Знает дед, что просто не дается
Темное, земное воспевать.
Пролетают зимушки да весны,
Мысли поворачивая вспять.

Опера-тивная замена

Трава мята – Травиата...
А немятая трава
Предо мною виновата,
Перед Танькой не права.

Посговорчивей подругу
Подыскать себе готов
Для катания по лугу,
Для валянья среди цветов.

Загулять с Беловой Ирккой?
Раскатаем черный плед,
И под ним, – как под копиркой,
Отпечатается след.

Это копия такая,
Очевидный компромат.
Отобьюсь, не привлекая,
Словно довод, добрый мат.

Трава мята – Травиата...
Загорланю под конец
Деревенского привата,
Словно оперный певец.

Второй голос

Я слышу пение июльских птах
Березового берега и сада.
Пути бродяги в полевых цветах.
– Чего тебе ещё от жизни надо?

А нужен красноезвездный черный гроб,
(Пурай я буду птахами освистан,
Губами волн оплеван), только чтоб
Считали после смерти коммунистом.

Хочу, чтоб из деревни гроб несли
По Питеру вблизи «Электросилы»...
– И так, по боевым путям земли
Тебя, счастливца, странники носили.

(Планета – мяч, что вброшена в игру
Руками под космические бутсы).
Тебя ж не уронили на ветру
Для растерзанья мальчишкам из бурсы.

Высоко руки сильные подняв,
Как будто бы сдаются, шли тропюю,
А на ладонях – змей или удав,
Который был мистически тобою.

Склонялись перед мраморным дворцом,
Где сладко поживают новоруши,
Чтоб ты дворец охватывал кольцом,
При чем его колонны не порушил.

– Какой-то афро-азиатский миф.
К чему носить по весям? Ведь не знамя.
Коль я – змея, то на просторах нив,
В лесах и на болотах ползал сам я.

Старая, мудрая змея

Да, я – змея. Но я ползти устал,
Не следует за мной поддержки свита.
Я выдохся. От нового отстал,
А старое знаменами покрыто.

Народу страшно флаги поднимать:
Там сгнившие коммуны или змеи?
С чего верзила поминают «мать»,
Что делать в деревнях всегда умели.

Иссушены жарущею места.
Лишь на погосте, словно холодильник,
Стоит массивно-белая плита,
Собою метя родовой могильник.

Силенок нет, чтоб уползти в кусты.
Такого можно удавить тулупом.
Над гадиной поникшие цветы
Головками качают, как над трупом.

Возможно, и не сдвинуться уже.
Я распрямился. Желобок – мой гробик.
Пускай забудет здесь о мятеже
Последний партизан, лазутчик, «фобик»...

Красный Червь

За что деревню полюбили
От всей чувствительной души?
За то, что деревеньки были
И в непогоду хороши.

В каком бы не были наряде,
Какие б не выли ветра,
Проголосить, как на параде,
Хотелось весело: «Ура!».

Заря разжиженно алеет,
Но хоть реформы на дворе,
Провинциальным Мавзолеем
Зовем постройку на горе.

Упразднены парады ныне,
А к той постройке баламут
Пролез сквозь гору... А в долине
Толпою к Ленину идут.

Обратно парню – вновь под землю,
В кривой и лопуховый лаз,
Но я идею не приемлю,
Чтобы не выбрался, увяз.

Коль не нашел сундук сокровищ,
Пускай выводит без муштры
Вождя, армейцев и Чудовищ
Из мавзолеевой горы.

Как в сказке той, на монстра ставка,
На змея и на червяка.
Из поэтического главка
Приказ: помалкивать пока.

Но мы – языческие черви
С идеей красной от земли
Являемся для сельской черни,
Покуда в грунт не уехали.

Космокаша

В. Чернышеву

Подо мной июльская тропа,
Что ведет за деревеньку нашу.
Надо мною звездная крупа, –
Заварить космическую кашу?

Остановку делаю в пути
Возле разоренного амбара,
Чтобы здесь призвание найти
Кашевара ли, кошмаровара?

Ну, тогда бы надо поскорей
Небо кипятить в старанье спором,
Словно не хватает пузырей –
Куполов отстроенным соборам.

Что ж до каши, крупы в небе есть,
К ним добавь ракету с человеком,
Что не защищает нашу честь
Перед жутким 21 веком...

Каша эта – будет на «ура!» –
Из всего небесного-земного:
Фабрик, ферм, коров и «Топора»,
Взятого у *Васьки Чернышева*.

В брызги, словно купольный пузырь,
Эта кулинарная идея.
Как здесь оказался «нашатырь»,
Не пойму, собою не владея.

В ноздри с отвращеньем понесло
То ль гнилой травой, то ли парашей.
Не ходи за бедное село
За небесной манной или кашей.

Нет, крестьянский космос – это блажь,
Да, и правда, будь я космонавтом,
Получил б Звезду, коттедж и аж
С продуктовой рекламой авто...

Красно-коричневая могила

А. Медведеву

Выпил полрюмахи через силу,
А потом пошло...
Выбрал на заросшую могилу,
Что через село.

Тормошил ее: «Михайлыч, едем!
«Вольво» под уздой!».
Вдруг могила поднялась медведем
С красною звездой.

Направляется Михайлыч с нею,
Словно с кистенем,
Чтобы распугать буржуазю
Постсоветским днем.

О, медвежья вековая сила
Сел и деревень!
Но медведь-то в сущности – могила –
И вчерашний день?

«Падали твои ресницы елкой
На берлогу глаз,
А сейчас перед борьбою долгой
Бодрый напоказ
Напеваешь буреломный блюзник,
Мысли отстраня»...
Но медведь (или могила) – узник
Нынешнего дня.

Красную могилу черной цепью
Обмотали те
Разве к одному великолепью,
К скорбной красоте?

Ночь

Зачем по-большевистски
С языческой тоской
Веду себя вождистски
С молоденькой такой?

Про серп и красный молот
Раздумья пресекла,
Явившись в летний холод
С окраины села.

Мятежность и прохладность
Изящного лица!
– Прости за непарадность
Каморки и крыльца.

Охота по-дворянски
Ухаживать сейчас,
А я-то по-крестьянски
Да как рабочий класс.

Прости за телогрейку,
А в домике пустом
Потратил на оклейку
«Манер хороших» том.

– Не подхвати простуду!
Не стой так, а зови!
Я изменилась. Буду
Крестьянкою любви.

Твоих теорий молот
Меня перековал.
– Ах, Ирочка не молод
Законченный бахвал...

Зачем конторской Ире
Внушал, сжимая грудь,
Что есть в подлунном мире
Простонародный Путь?

КЭТ, ВРЕДНЫЙ ЙЮРИК или ПРОГУЛКИ С ОВСЯННИКОВЫМ

1

Широкий и раскидистый парк, который может миллионами своих зеленых листьев одновременно сделать «шарк», то есть расшаркаться по воздуху перед приземленным народом, находится на юго-западе Петербурга, недалеко от станции метро «Проспект Ветеранов», и носит музыкальное название «Александрино». В то июльское жаркое воскресенье 2018 года в нем проводила свой творческий вечер (а правильнее, «полдень», так как мероприятие происходило в середине дня) талантливая молодая поэтесса Кэт Второва, и на этот бесплатный и открытый для всех полдник, состоявшийся на самом красивом месте культурного массива с прудами и серебристыми ивами, пришло много любителей поэтического компота и литературных печенюшек.

Неповторимая Кэт не только читала стихи. Дай ей волю, она шокирующе продемонстрировала бы в «Алексан-дрин-о» даже безжалостно-капиталистический дрын народу. И показывала... Устроила целый балаган, цирк-балет (билетов нет). Внезапно превращалась в пяти, – а то и в десятиметровую гимнастку и, запрокинувшись назад, делала над парковыми прудами «мостики» или «Литераторские мостики». При этом одна из ее грудей, обозначившись через ткань акробатического трико, напоминала шарообразное надгробие захороненного на тех «мостках» убиенного в молодом возрасте чиновника Михаила Маневича. Здесь же был представлен и художник Малевич малоформатной репродукцией его «Черного квадрата», которую принес искусствовед и литературный критик Александр Медведев, живущий в одном из высотных домов, соседствующих с парком, и заставивший держать картинку одного из своих учеников. Данный квадрат оказался бы вдвойне уместным, если бы на его черном изображении нарисовали несколько белых кругов (один в другом) разных диаметров, но мишенью (да, да, мишенью, а не вермишелью на ушах дня) этакой великолепной Мисс-шельмой пожелала или напросилась стать сама Кэти. Она не побоялась попасть (попой тоже) как в прицелы литературной критики, так и в ружейные окуляры стрелков-любителей, которым позволили бесплатно и беспардонно «лупить» (используя лупы-прицелы) из импровизированного, быстрехонько организованного здесь же тира типа трактира. Велась пьяная, можно сказать, оголтелая пальба по десятиметровой Кэт, чтобы она, давшая письменное согласие на подобный отстрел, перевоплотилась в юную, убитую внезапным выстрелом московско-кремлевскую балерину Люсинскую, которая, изящно вытянувшись в классическом шпагате, артистично перелетала, перепрыгивала через пруды. Ту малолетнюю и гибкую Людмилу, обладавшую широким шагом и талантом в исполнении высоких прыжков, так и изображали на картинах, а так же на черной могильной стеле – безжалостно подстреленной во вдохновенном балетном полете...

Нет, мы не летали, а со стороны проспекта Стачек по-стариковски прилепали вместе с популярным прозаиком Вячеславом Овсянниковым на это проафишированное поэтически-театрализованное представление, которое давала Кэт Второва. Знали, что девушка не станет ни повторяться, ни притворяться разнеженным котенком или китенком, а свою программу на лугу и на пруду отработает честно, а если попросят, то и жестко. К тому же в александрийском «лесу» хотелось потоковать, потолковать. Вячеслав, как известно, значится автором большой мемуарной книги «Прогулки с Соснорой», так вот мы и пришли к соснам и прудам, и к шутливой мысли, что не только Синявскому и Вячеславскому, но и мне не мешало бы сочинить свои гулки «Прогулки». Но, может, «Прогуль», поскольку постоянно волынили от непосредственной литературной или писательской работы? В это воскресение прогулки можно было назвать еще и «проголками», так как по ходу говорили «про голы», ведь в России и в Петербурге, в частности, продолжался чемпионат мира по футболу, забивались великолепные голы. Вячеслав был болельщиком не ахти, а я не ахти каким футболистом, и при всем желании во время прогулочной ходьбы продемонстрировать, как по мячу бьет очаровавший всех Черышев, у меня с моей онко-одышкой ничего не получалось. Низкорослому и узкокостному Славе оставалось от смеха хвататься за живот, словно высоченному вратарю при приеме футбольного мяча.

Конечно, мы в данный солнечный полдень придерживались принципа «котлеты отдельно, и мухи тоже», так же как футбол и литература. Постоянно производили словесные пасы в сторону прозы и поэзии, делились некоторыми впечатлениями, обменивались репликами или «реп ликами», словно ликами пареных реп. Но писатели – это большею частью люди, глубоко погруженные в себя, то есть потонувшие в себе, поэтому молчаливы, как под водой, и часто слова из них надо вытягивать чуть ли не водолазами, а так же клещами (металлическими), а еще же одноименными насекомыми, яростно вгрызающимися в людей проходящим летом. До клещей дело не дошло, изъяснялись довольно вяло, а к нашим словам о России и ее литературе не прислушивались, затаив при этом летнее дыхание, не только обширный, обширканый женскими юбками и мужскими брюками парк, но и весь гулкий воскресный Петербург.

Конечно, раз на раз не приходится, в предыдущие прогулки выдавали такие экспромты, что словесные пенки до сих пор висят на ветвях мощных парковых деревьев, как мертвые птицы певки, но в этот день концерт, гастроль (не гаснущую роль, хотя кругом пруды) давала Екэтерина Второва. Вскоре, подойдя к водам, и не разойдясь по зрительским взводам, мы тоже стали зрителями ее шоу. Как раз в это время Кэт выдавала номер типа «помер» или «померла так померла». Она и еще несколько молодых людей из писательского сообщества «Молодой Петербург», активно работающего при СП России, сели в небольшую белую моторную лодку и стали с незначительной скоростью накручивать круги на главном пруду. Вдруг прилетевшая с Балтики белая птица, снизившись до поверхности воды, превратилась в большой пароход-колесник «Чайка», что проплыв несколько

метров по водоему, врезался в лодку-белянку, у которой заглох лох-мотор, и опрокинул ее. На бережок и на прибрежный зеленый лужок выплыли все, но Кэт через минуту после других.

Она в данной «сценке на водах» и еще до того как сели в лодку, изображала на луговой площадке молодую и одаренную петроградскую балерину Лидию Иванову, утонувшую в июне 1924 года во время лодочного катания и столкновения с пароходом на Финском заливе. Изображала, но не до скорбного финала. Упав с лодки и погрузившись в воду, пробыла в ней такое количество времени, за которое зрители, изрядно забеспокоившись, громко зароптали «Утонула!», но она на радость всем вынырнула (как в своей книге «Погружение») и с простреленной головой, на которую художником-имитатором был нанесен красный подтек, благополучно выплыла точнехонько на аплодисменты публики. Как поэтическая богиня, как гусыня. Мол, для нее – поэтессы смерть, потопление-погружение, как с гуся вода. Вода-то водой, но как быть с подрисованной струйкой крови? Кэт хладнокровно и прилюдно смыла ее с виска и щеки и, вновь став балериной, продолжила демонстрировать невероятный шаг, бурный размах движений и поразительно высокий и красивый полет, которым славилась выдающаяся, реально существовавшая двадцатилетняя Лидия Иванова.

Потом Кэт превращалась в шикарный парусник «Катти Сарк», названный в честь шотландской ведьмы Нэн Короткая Рубашка, которой стращали детей. Побегала Катя-фея по изумрудной лужайке и в мини-сорочке, и в мини-бикини, но не испугала даже невесть откуда взявшегося семинариста в рясе и в клобуке. Потом сыграла с «младопетербуржцами», в том числе с Баронец и Горшениным, некую комедийную политическую сценку, за что я обозвал ее Комик Сар (почти комиссар, красный или белый). Мое лицо, тем более полуприкрытое очками, не выражало особых чувств, а вот Вячеслав-Слава повеселился на славу. Спокойствие испытывал только наш незабвенный Николай Шляпников, который, вдруг вспомнив одну из своих ранних пролетарских специальностей, подрядился чуть ли не даром при помощи электросварки (она же заменяла и пиротехнику на поэтическом празднике) соорудить высотный трамплин в виде буквы «Л», – с которой начинается знаменитое слово «Любовь». В данном случае православная, так как по сценарию мероприятия Кэт должна была завершить свое выступление прыжком (на лыжах?) в небо и с крестом в правой руке. Всё как сценарист написал. Хм, «сеножрист»! А как ход этого праздника соотносится с эпизодами из моей статьи «По грудь жжение», которую я написал после прочтения Катиной книги «Погружение»? Вспомнил такой отрывок из нее:

«По рисунку на обложке понятно, что погружение будет тяжелым: одна подземная река, потом слой земли, еще река. Но как такую многослойность преодолеть? На батискафе, как предлагает критик Круглов, не получится. То есть погрузишься до дна одной реки, а снизу постучит в дно твоей камеры тот же Круглов и запищит, мол, давай ниже! А ниже никак, так что идея с батискафом – полное днище! Тут надо использовать метод, которым пользовались раньше при строительстве малых и больших надводных мостов: забивали в дно сваи. Брали в руки «бабу» и ею двое

или несколько мужиков долбили по верху вертикально поставленного бревна. В результате задалбливали и свою «бабу» и не одну. Так что аналитику-технарю Роману Круглову надо было вместо статьи «Устройство батискафа» написать «Устройство «бабы», – но без использования учебных пособий и плагиата».

И действительно теперь на берегу пруда с подобной деревянной «бабой» возился наш старательный Рома Круглов. А его малость бухнувшие дружки, не удовлетворившись дубовой «теткой», устремились изучать устройство настоящей крупной девки, потащив ее, голую, за ближние кусты. Другие из поэтических молодчиков, кто сызмальства страдал алкогольной зависимостью, изрядно нахлебавшись водочки чуть ли не из волшебного пруда, направились кто в полный рост, кто на карачках в глубину александрийского слово-березового парка ловить «белочек».

Стати, насчет, выпивки. За Кэт постоянно ходил бармен и наливал для смелости поэтессе по первому требованию.

Время пьет наши жизни, как в баре мы пьем свой джинн-тоник,
И уносит бармен опустевшие рюмки имён.

Так что у Кэт имелся личный бармен, а остальные занимались самообслуживанием. И получилось, что в подпитии кто в кусты за бедовыми девочками, кто в лес за бедовыми «белочками».

Вспомнился, пусть и в неточном изложении, но еще один нравоучительный эпизод из той же статьи: «При чтении создается впечатление, что Екатерина и ее сверстники боятся произнести такие слова, как Россия, Родина, отчизна, патриотизм и т.д. и т. п. Возможно, таких слов у них нет не только в лексиконе и словаре, но и в хорошеньких, умненьких головках? Не стесняются ли они написать «Россия», может, им некомфортно чувствовать себя русскими?». И, правда, нет бы по всему лугу (или хотя бы по периметру, чтобы Екзетерине-балерине не наткнуться на них) вбить в травяной грунт колышки или столбики с табличками «Россия», «Родина», «Патриотизм». Ничего подобного, Екзетерина выступала, как вся наша преданная страна на зимней олимпиаде в Южной Корее, без Флага и исполнения государственного гимна.

Именно такую особенность выделил зоркий критик и наш территориальный сосед Александр Медведев, присоединившийся ко мне и Вячеславу Овсянникову по безалкогольному принципу: «Третьим будешь?». Он проживал рядом, в одном из домов (казарм?), построенных здесь недавно и находящихся под управлением ЖСК «Воин», и как уставной, послушный генерал-солдатик зачем-то выполнял ничем не выделяющуюся, почти неприметную роль статиста, который держал, пока не осатанеет, на уровне своей груди, при этом закрывая значки, репродукцию «Черного квадрата». По окончании первого часа держания картинки по скрипучим мосткам мозгов дошло, что его могут запросто обвинить не только в махровом национализме, но и в фашизме и в расизме. Ведь если при произношении словосочетания «Черный квадрат» злополучное «ква» отдать на озвучивание зеленым лягушкам из ближнего пруда, то ему, Александру из «Александрино»,

останется выкрикнуть лишь «Черный драг», то есть «черных драг». Экстремизм да и только. Так что уважаемый критик, отказавшийся играть в Малевича, как в «мальчишество», хотел было отнести ватман с репродукцией, словно квадратный коврик, к белым ногам Кэт, но, передумав, свернул его в трубочку и положил под куст крыжовника. Вернее, швырнул. Вот если бы принес в парк протестный плакатик против повышения пенсионного возраста, то отнесся бы к нему, наверно, бережнее.

Нет, подойдя к нам, он не назвал язвительно это воскресное выступление цирком, а себя коверным медведем, а как пиар-мастер заявил: «Это с нашей подачи Кэт на всю катушку раскрутилась!». С другой стороны, мы все трое понимали, что перед нами настоящее «шапито», но без национальных медведей, которые, предав фирму «Леса России», подались на подработку в толерантную партию, которая ранее обманно называлась «Медведь», а потом получила ядреное название «Единая Россия». Впрочем, и на артиллерийском ядре, лихо оседлав его на лету, Кэтерина сделала несколько кругов над парком. Вскоре ядро упало в синий пруд, вызвав громкое шипение и образовав паровое облако, а поэтесса умело прыгнула с него и начала раздавать самым маленьким зрителям книжки приключений барона Мюнхгаузена (в своей редакции).

После падения ядра, хорошо, что не атомного, пруд заметно обмелел. Под громко раздающуюся здесь же песню Шнура «В Питере пить» Вячеслав, усмехнувшись, процитировал Высоцкого: «В Ленинграде нет воды...». Я тут же подкорректировал. А в окончательной версии, авторство которой принадлежит берложье-толерантному Саше Медведеву, известное двестишести стало выглядеть так:

В Петербурге полные пруды,
Воды в них похожи на Word-ы.

После Сашиного слова «ворд» возле нас уже в «пдф», так что не стерёшь, словно черт из табакерки, появилась двойница Кэт и начала строить глазки. Но мы не соблазнились на прелести стройняшки, а улыбочиво отправили ее к нашему же Николаю Шляпникову, который неподалеку от усадьбы Шереметьева-Чернышева возводил при помощи сварки прыжковый трамплин в виде любовной буквы «Л». Талантливый прозаик Всадников являлся непревзойденным певцом любви. Но его возможная засветка в тени под кустом кры...жопника оказалась бы глобально-провальной, чему только порадовался бы стоящий на огневом рубеже лугового, но не бутафорного тира, из которого уже больше часа безрезультатно стреляли по неуязвимой Кате искусные питерские стрелки, поблескивая очками и зеркальной оптикой прицеленной винтовки сам Дмитрий (Дима) Тимошин. Но он целился, конечно же, без намерений убить, вовсе не в Кэт, ни в ее двойницу и не в Овсянникова и Медведева (занесенного в красную нацболовскую книгу), а в меня, Меньшикова...

Это чуть позднее мы с Овсянниковым, словно Шерлок Холмс и доктор Ватсон, расследуя поступки Тимошина и Второвой, использовали криминалистический термин «Дедух-кция».

2

Предыдущая главка написана летом 2018 года, а история моих литературных отношений с Кэт Второвой началась на полгода раньше, зимой. Тогда вышла в свет ее книга «Погружение», на которую я написал рецензию с эротическим налетом, с чувственным ощущением «По грудь жжение». Вот ряд выдержек из этой статьи:

«Современные молодые стихотворцы – сама самость: они самодостаточны и самонадеянны. Послушайте, к примеру, восклицание нашей Кэт: «Все есть в тебе, и с богом равен ты».

Это что ли в свои двадцать-тридцать лет равны с небожителями типа Пушкин, Есенин, Ахматова и т.д.?

Понятно, что поэтесса имела ввиду нечто другое, но и это тоже подразумевается и прочитывается.

Но она, Екзетерина Второва (Великая?), ни в чем не виновата (Не виновата я, он сам пришел! Кто пришел? Фарт? Успех?), просто время через нее, через ее стихи ее же саму и ее сверстников погружает, опускает – с небес на землю или наоборот. Ввязалась в эту историю с Литературой, так пописывай да иногда попискивай.

Писатели – это одиночки. И вот снова остаюсь один на один с Кэтериной. Ой, что я сейчас ней сделаю! Да ничего, так пройдуся без особого нажима по облакам и земным тропам ее строк. Если вернуться к той строке о равенстве с небесами, с богом, то добавлю, что про такое тождество, от которого может сделаться тошно, позволительно писать в глупеньком пятнадцатилетнем возрасте или абсолютно прикольно в зрелые года, иначе получается явный перебор и уплыв через все фильтры и отстойники, и «коридорные камеры»-батискафы (о которых писал Р. Круглов) в престижный дурдом на Пряжке, то есть на той речке, где можно поупражняться, если воду откачают, в самых разнообразных погружениях.

Честно говоря, я смотрю на это поколение Кругловых и Второвых и не знаю, что с ними делать. Жалость они не приемлют, критиковать их в принципе не за что, ну можно в двух-трех статейках «продернуть», но хорошего помаленьку. И вообще, откуда молодой женщине знать, кто такой бог, если только он не бог в постели? Как будто от нее требуется обязательно написать о всевышнем и небесах. Однажды, в раннем возрасте, Маяковский написал «Облако в штанах», и быстро закончил творческий путь.

Вот сам чувствую, что идет какая-то оккультная игра, вроде не хочешь фамилии наших молодых ставить рядом с фамилиями классиков, но они сами лепятся, например Петров и Сидоров, а не Круглов, к Ахматовой, а Семенова и, ах, да, Второва к гиганту Маяковскому. Но какие они великие, если совсем не употребляют в своих стихах слова «Родина», «Россия»?

В открытую молодыми почти ничего не высказывается, но зато как выказывается. Как они показательно неточно рифмуют, словно вытребовали у Госдумы и премьера право на такую рифмовку, и у той же Кэт таких вольностей просто уйма – «фраз-игра, зарыть-мглы, сны-мысли, было-тело». Даже пьяный поэт-сапожник так не рифмует, а ставит туфли и лапти попарно.

Помнится, по ходу трех революций в России одно небезызвестное племя завоевало для себя всякие послабления и льготы, так и наши молодые, но только бескровно и почти бесконфликтно выбили для себя пусть не политические, но поэтические права и свободы рифмовать как бог на ухо пошлет. Это меня в начале забавляло, а теперь прямо-таки страшит при виде того, как ребята и девчата – ловкачи упростили для себя сложную задачу превращения в великие. Они, словно смеясь, придумали новые правила, чтобы в облегченном режиме перейти в касту выдающихся и непререкаемых. Так же молодняк выбил для себя право зачитывать свои суждения по бумажке на семинарах и секциях. Особенно это мило смотрится и звучит в исполнении писателей, закончивших высшие учебные заведения и имеющих существенную преподавательскую, то есть разговорно-лекторскую практику.

Эх, молодежь-молодежь, скрытная и отчаянная! Кэтерина вдруг начинает гнать чернуху о себе, показывать подноготную, резать правду-матку, например, в стихотворении о посещении молодежью, скорее всего, студенческой, ресторана: «Назаказали разных блюд, не расплатиться». И призыв: «Держись ровнее – счет несут». Но как прямехонько ни держись, вряд ли пронесет, скорее всего, что подойдут и нагнут. В литературе тоже надо заказывать звания и красивые должности соизмеримо таланту и призванию.

Подводя итоги, скажу, что так слепо погружаться больше не надо, тем более что на поверхности жидкого вещества, в которое погружается Д., то есть на воде (а на чем еще, умники?) хватает желтой пены, опилок, пустых и еще не разбитых бутылок... А вообще-то, за плавание, за погружение неплохо шлепнуть бы бутылочку шампанского о борт! Но погодим. Лучше погрузим, всплакнем! Например, когда я прочитал екатеринину строчку: «Человечек ложится на крест и становится птицей», мне от этой, позаимствованной с палаческой простотой библейской идеи – вместе с Вараввой и Шуриком из «Операции Ы» захотелось заплакать и запричитать: «Птичку жалко!». Мне и себя жалко, и свои молодые и не очень годы, когда я тоже писал про всякие погружения и, слава богу, всплытия. Вот, например, у меня имеется такой стих, перекликающийся – под водой с пусканием пузырьков – с идеей книги «Погружение», о которой я пишу в этом немного строгом, но все же дружеском эссе:

На месте исчезнувшей пристани

Такое прозвучит как небылица,
Но вспоминается давнишний год,
Когда являлся к пристани молиться
Величественно-скромный теплоход.

И теплоход, и храм плавучий сняты,
И выплеснута вера из реки,
Идут по дну подводные солдаты -
Холодные душой еретики.

Они своих дорог не выбирают,
Одна у них дорога – на костры,
Но в пламени высоком не сгорают,
Настолько вдохновенны и хитры.

Вступаем на реку с нетленным Толей,
Который по комплекции – медведь,
И ежели не рухнем, не потонем,
Погонят на огнище, словно ведьм.

Успех не катит, фарт с небес не валит...
Краснеет на поверхности воды
Беретик то ли танин, то ли валин
Как символ погружения, беды.

(Возможно, только после обнаружения у себя этого стиха, я и надумал писать данную рецензию).

Напоследок скажу, что книга талантливая. Ей, как мне кажется, несмотря на (хорошее, между прочем, – не «Поглупжение» ведь) название, не грозит погружение вниз или даже на самое дно книжной кипы или стопки. Она заслуживает того, чтобы пользоваться читательским спросом, ее будут перечитывать»...

Вот мы с Вячеславом Овсянниковым и решили ее частично перечитать этим летом. Конечно, получилось случайно, взяли одну (книгу) на двоих и словно завязые неоязычники-хохмачи встретились, как всегда, около православной мини-церкви св. Петра, находящейся в ста метрах от парка. Хотел было вслух обсудить вопрос, сколько должно быть грудей-главок, две или больше, у церкви-невесты Христа, но воздержался. Да и вообще рассматривал ближние пейзажи без комментариев. Например, глядя на бугор, на котором недавно скосили траву, посчитал, что его забрили налысо и как бы забрали в армию. Только никуда его отсюда на службу не повезут, проходить ее будет тут же. Соорудят на нем ДОТ в виде водочного стакана, прикрытого бетонной плитой, словно куском хлеба, поставят в беспешно вырытые окопы зенитки старого образца. Пусть лысый бугор обрастает стволами орудий, словно волосами. Именно такие милитаристские мысли государственного масштаба посещали не только башку-башню городского бугра, но и мою «страте-кическую» голову. Вскоре захотелось какой-нибудь незамысловатой лирики. «Да, сколько угодно» – произнесли город и его парковая природа и продолжили одаривать меня новыми зрительными образами.

Еще находясь на территории церкви, увидели женщину, одеяние которой заставило вспомнить Пасху. Просто платье встречной толстушки своей формой и серебристостью напоминало яичную скорлупу. Со смешком подумалось, что какой-нибудь пьяненький или сумасшедший прихожанин возьмет с дороги кирпич и расколотит такую скорлупу... Нет, нет, он всем своим массивным телом ударится об тетку, разобьет при столкновении ее одеяние, «выиграет» эту женщину-яйцо, присвоит, возьмет домой... Когда подходили к парку, то около крайнего дома узрели муки туповатого

петербургского мужчины, который, стоя возле синего дворового столика, не знал, как правильно поставить объемный букет пестрых придорожных цветов в трехлитровую банку. Пробовал засунуть так и сяк, ну не получалось, как бывает в бытовом сексе. В самом парке обратили внимание на сухую березу, концы нижних сучьев у которой были измалеваны красной краской, то есть наманикюрены. Такая вамп-береза могла в приступе истерики исцарапать желтую луну, словно она – округлое лицо ночного неба.

Если бы Кэт Второва узнала, что мы направились с ее книгой в «Александрينو», чтобы там «изнасиловать» текст, то бросилась бы туда и искарябала бы наши языческие рожи. Но мы вели себя культурно. Я зачитывал какой-нибудь образ, и оба комментировали. Стихи из второй половины шестидесятистраничной книжки отбирал уже Вячеслав и выносил на обсуждение. Не измывались, не хохмили. Даже похвалили некоторые строки, такие, как «Затуши поскорей разговор о мою тишину». Хотя такие слова не являлись ли садомазохистским призывом Кэт затушить сигарету о нее саму же, об ее плечо? Или «Я – плывущая лодка, что в тихую бухту к причалу, миновав океан, всех, кто дорог, должна довести». Отметил строфу: «А случись потом интереса для Бог оставит меня одну – За тебя обнимет меня земля, Распахнув свою глубину». Четверостишие

«Растоптан желтым сапогом жары.
И о зиме уже не вспомнят даже.
Под ребра снова мысль кольнет, что так же
И я бесследно выйду из игры» –

не понравилось, потому что бесследно ни из чего не выходят.

3

Прошло два раннеиюльских солнечных дня. Наступил пасмурный. На душе скр-еблись кошки, а в паху – кот. Как же, в начале июня поругался с подругой-поэтессой Люсей Бовиной, миновал почти месяц, а о примирении речи не идет. Как грустный идиот гулял в двухстах метрах от своего дома, причисленного к не такому уж и стихийному проспекту Стачек. Городская природа поблекла. На невский мегаполис, несмотря на его острые шпиль и газпромовскую четырехсотметровую иглу, уселась серость. Как пепел от сгоревшего солнца, кружились темнокрылые птицы. Около пятиэтажки в спальном микрорайоне, где я бродил и таскал за собой, как низменную таксу, тоску, увидел на траве настенные часы, изготовленные в виде тарелки. Их, видимо, сбросили с балкона, чтобы разбились на счастье, а так же на минуты и на секунды. Однако не разлетелись по земле, но и не ходили, а то бы пошли, покатались за мной, по мне...

На балконе третьего этажа соседнего дома сушились со своей подмоченной репутацией красноезвездная буденовка, в которой хозяин квартиры, по-видимому, частенько навещался в парилку. Неподалеку от главпартийного головного убора висела кучка или связка готовых к употреблению березовых веников, которые своей формой, но в приплюснутом, в спрессованном красной атеистической прессой виде, были похожи на купола как бы

повешенного над землей крохотного собора, и так же напоминали, но это в совокупности с моими мечтаниями о посещении бани, романтический и прагматический воздушный замок.

Но подлинно надземным фантастическим замком являлся монитор компьютера, находящийся в моей квартире. Вернувшись в нее и включив комп-устройство, я открыл сайт «Дом писателя» и в очередной раз прочел статью А. Тимохина, написанную вслед моей рецензии «По грудь жжение». Странная статейка. Клоунская, дразнящая, но вреднющая. Как же так, – я возмущался тому, что молодые поэты не пишут о России-Родине, а завзятый патриот Тимошин еще и ерничает надо мной и моими принципами? Той же весной я разразился статьей **«Погружение и текучка»**. Вот один из отрывков: «Слишком рано Тимошин со своей статьей-дразнилкой объявился, ведь еще весна, апрель, «текут ручьи...», паводки и «па» с водки, половодье нереализованных любовных чувств, бездорожье... И совершенно новая для меня проблема, как по такому бездорожью и послевыборной распутице въехать в смысл «накатанного» вроде бы не дрожащей рукой текста «Подражания»? А, может, все же длань, как лань, дрогнула, когда в воображении автора родилось в весенней толкучке и апрельской текучке странное и многозначительное слово «подражание»?

Я, право, совершенно не знал, что с этим словом делать. Тут позвонил мой приятель Виктор Павлов и объяснил, что автор имел в виду «подорожание моих литературских акций», что мой авторитет и вообще творческий уровень в глазах Тимошина вырос до поэтического и исследовательского уровня Есенина, Рубцова и других известных деревенских поэтов, и поэтому суждения Тимы – это не камень в мой крестьянский огород, а самое настоящее ученическое подражание, мол, оппоненту нисколько не обидно, а даже престижно этим заниматься. Но я не повелся на такое легкое пояснение и, хмыкнув в сторону приятеля, заявил, что в подавki не играю и продолжил размышлять о том, какая все же нужда заставила Тиму-Диму перепевать меня?

Я сначала подумал, что это дружеский шарж, новый литературно-скомороший жанр, нечто невиданное, некое «откровение» – написанное весенней хмельной кровью? То ли это детсадовская дразнилка, то ли принудительная письменная работа по чистописанию для выработки оригинального авторского почерка, то ли десятиминутка заучивания пройденного материала, как это делается в некоторых школах?

Это же надо додуматься, чтобы почти один в один переписать меньшиковский материал в 3-4 страницы формата А-5. Что за ученичество? А ведь он мог бы уже ходить не в литературных учениках, а в Учителях человечества, в гениях русской литературы, если бы подобным образом, производя совершенно незначительные изменения, переписал «Войну и мир» Л. Толстого или книги своих коллег-прозаиков по СП Коняева и Овсянникова, Тропникова и Чернышева, чтобы выйти на их уровень».

Или такой отрывок – «Я не совсем забыл, я еще вроде бы помню, что пишу о Кэт Второйой. Это, наверное, для Тимошина она яхта «Екатерина» или катер «Катя», на которых хотел бы красиво пронестись, отсвечивая своей лысиной, пропитанной лосьоном «Лось», по великолепной невской

акватории. Да и как можно забыть Екатерину, если для заставки к материалу подобрана такая фотография, где она похожа на Мону Лизу с таинственной улыбкой, про которую и про саму ее носительницу будут еще долго писать свои любовные вирши все поэты и критики эстетики-России. Окстись, как тут не повестись! То, что про нее уже написано шесть статей – это цветочки, ее завалят и задавят буквально грудями и грудями цветов. Ага, ревнивые женщины-поэтессы, еще более талантливые, чем она, сначала ее завалят просто на землю, а потом – уже прольют слезы и положат розы. Катя встанет и, сделав балетную стойку и улыбнувшись, как Мона Лиза, скажет им «сэнк ю» или «плиз». И такие «плизы» и «девушки-сюрпризы», как наша Девух, будут повторяться до тех пор, пока наши возрастные поэтессы сами не станут заниматься критикой и написанием эссе.

Возможно, такая «дразилка» написана, чтобы сбить мой критический прицел и перенаправить его на мнимый субъект, и в качестве такой новой мишени решил выставиться сам Тимохин? А может, такой невнятный опус является по форме акrostихом, и при более внимательном просмотре, складывая начальные буквы предложений, я смог бы прочитать призывы типа «Да здравствует Владимир Меньшиков!» или «Патриоты России, объединяйтесь!»? Как-то «Подражание» написано слишком спешно, слепо. Создается впечатление, Тимошин абсолютно не желает замечать, что творится кругом. Он словно белый лебедь с черной повязкой на глазах. Как будто не видит проблем, о которых я пишу в эссе: это и вроде бы вечный конфликт поколений, непонятное отношение молодых к таким понятиям как Россия, Родина, индифферентное отношение к патриотизму.

В своем материале он почти не пишет о творчестве Кэт. Может быть, поэтому молодая Е. Дедух, ставшая в одночасье популярной, как Евтух, вдруг в ходе выяснений между Меньшиковым и Тимошиным как-то потерялась, погрязла, погрузилась в узкие пространства между слов и строк-волн. И я к ней без особого трепета относился, да и Тимошин не особо ее восхваляет. Она все же как-то неожиданно возникла между нами, а потом умно, как Мона Лиза, вылизула и ушла, погрузилась в бездну, а мы, продолжив следить за ее подземным улетом, въехали друг в друга. Ха-ха, получается, что это она нас столкнула лбами. Я бы, конечно, предпочел, чтоб Тима ударился своей головой с кем-нибудь другим, но сшибка уже произошла. Как вы сами обратили внимание, Тимошин не бросился с открытым забралом, словно романтический Дон Кихот на защиту Екатерины Тобосской. Этот Петербургский рыцарь печального образа, этот улыбчивый всадник Георгий, сидя на своем заезженном Росинанте, так и не протянул Кате, погружавшейся в апрельский вспученный водоем, конец копыя, а разгребая этим наконечником пену, мусор и пустые пивные бутылки, плавающие на поверхности, написал им же по воде нечто мутное, непонятное».

Да, сейчас смотришь через призму этого эссе на книгу Е. Дедух «Погружение» и задаешься вопросами: «А погружалась ли девочка? А была ли, вообще, девочка?». Если потребуется, то стану искать ответы на эти вопросы и задавать новые на тему «Погружение» и в последующих статьях. Уже отмечал, что «Подражание» написано спешно и неряшливо, как порой

небрежно наносят или рассыпают пудру обеления. Как-то надо аккуратнее это делать. Вообще же материал написан довольно корректно, ну в одном-двух местах автор малость уколол меня, но как-то банально, скучно для себя самого, без злости. Понимал, что лучше не утомлять себя попусту и даже не пробовать очернять меня, поскольку еще незабвенная прима словесного балета Татьяна П-лест-ещкая заявила в вроде как нас объединяющих с Тимошиным «Комментариях», что в деле навешивания ярлыков и всевозможных перлов-приколов Меньшиков «специалист». Под конец выскажу такое пожелание: меньше серости и суеты, а больше серьезности, – мне, например, надо завершить работы по исследованию творчества поэтов нашей организации И. Сергеевой и В. Морозова. Так что к делу. Пока!

4

Нет, я позавчера недостаточно точно выразился, когда сравнил светящийся монитор компьютера с воздушным замком. Ведь над столом он возвышался всего на двадцать сантиметров. Мог бы его поднять и повыше, даже к самому потолку закрепить, хотя тогда придется подбородок да нос задирать до предельной нескромности и неприличия, что вообще не позволит работать с текстами. Совсем другое дело огромный экран в фанатской зоне на петербургской Конюшенной площади, учрежденной властями для массового просмотра матчей ЧМ по футболу, проводимому нынешним летом в России и так же в Петербурге.

Вот на такую зону всеобщего боления и футбольного сумасшествия я и направился вместе с Овсянниковым после обеда во вторник. Вообще мы в эти дни на удивление много общались, Вячеслав даже свозил меня на электричке в поселок Можайский, это сразу за Красным селом, где он провел свои детские и юношеские годы. Там мы с интересом смотрели, хотя надо было в него нырнуть, в гигантский, овалообразный монитор Дудергофского озера, а так же в сторону пусть не воздушного, но все же высокого замка, который при нашем писательском гипертрофированном воображении не сложно было представить на вершине знаменитой Вороньей горы. О, если бы я со своей легочной онкологией, а Вячеслав со своими болячками поднялись, доползли до вершины этого гигантского холма, то полетели бы оттуда в Петербург не как зловещие чернокрылые вороны, а как радостные веселокричащие чайки.

Хорошенько можно было покричать и в фанзоне, но опять-таки не нам, старикам, побывавшим неоднократно у лоров, а молодым гларам-болельщикам. Вот они и орали, пересматривая в повторе вчерашний матч. Но не все неистовствовали. Например, молодой негр улыбочиво полеживал на асфальте, словно просмоленная лодка, предлагая на него сесть питерской блондинке, укачать ее и увезти куда ни пожелает, хоть в дебри Амазонки, в тамошние хохляцкие мазанки с «вмазанкой». Около стены здания стояли метровые кубы странного вещества телесного цвета. Я подумал: «Если их побросать один за другим в жаркий котел тутошнего футбольного боления и варить, то получатся дополнительные болельщики». Количество фанатов в зоне возрастало с каждой минутой. Не являлось бы детской неожиданностью, если бы кто-то обделался от вида такого количества помешанного народа.

Дресс-код в зону можно было назвать дресс-кодом... Болелы не давали мне с Вячеславом негромко обсудить внезапно прилетевшую, как футбольный мяч, тему, связанную не с серпом, который бы запросто проколол мяч, а с писателем Тимошиным.

– А интересно ли болеет ли наш Дима за сборную Сербии? Или он топит только за Катю-китенка и то исключительно за «катеньки»?

Что такое «катеньки» для нашего энциклопедиста Овсянникова, объяснять не пришлось. Он лишь добавил с замедленной улыбкой:

– Еще за катанки, то есть за валенки. Готовит сани летом.

– А сборная Сербии между тем первые матчи провела плохо, может вылететь. Так что некачественно болел Димон за братьев-славян.

Вячеслав хмыкнул: «Хотя славяне и другие европейские братаны за нас совсем не болеют, мы пока выигрываем. Правда, слабеньких дернули, Саудию и Египет, но все же».

– Но если сборная России выйдет на сербов или хорватов, интересно, за кого Тима будет переживать? А он хоть «болела»?

Вячеслав, пробуя перекричать заведенных на ор фанатов, гаркнул мне в ухо: «Теперь все болелы. Болельщицкий бум, дурдом. И меня втянули!».

Да, втянули-то нас всех власти и оттянулись почти на всех... Это я о повышении пенсионного возраста, с предварительным указом по которому премьер Медведев подло ознакомил россиян сразу после открытия чемпионата мира по футболу. Впрочем, уже теперь можно объявлять Россию чемпионом мира по обману населения (по наебаловке, второе можете зачеркнуть).

О чем-то с Вячеславом перекрикнулись еще, но поскольку ор в поросятнике с болельщиками стоял шизоидный, порешили быстренько отсюда смотаться. Так и поступили. По ходу продвижения от собора Спаса-на-крови к станции метро «Канал Грибоедова» успели кое на чем остановить свои разгоряченные от жары взгляды и обсудить увиденное. Например, хотелось, чтобы бугафорные футбольные мячи, сделанные из пластмассы или из спрессованной бумаги, и которые то там, то здесь пребывали или специально изготовленных под них неглубоких чашах или больших тарелках, резко сменились на подобные по диаметру шары мороженого с прилагающимися к ним ложками, чтобы ими тут же в зной поглощать этот вкуснейший прохладительный продукт.

Вячеслав, быстро найдя после моего прикольного афиширования гигантских мячиков из разноцветного пломбира, показал на шар куда большего размера, который возвышался над домом Зингера или нынешнего Дома книги и прокомментировал: «Ну, на такой просто с ложками не накинешься, надо забираться, лестницы приставлять, пожарные машины со стрелами подгонять».

А я в какой-то своей питерской повести уже писал про этот шар Z или Зингера, почти «зиг хера» и, сравнивая его с гигантским черепом, говорил о трепанации, о...трепе нации, особенно актуальном в эти дни, когда на страну обрушили весть о скором повышении ПВ. Это, считай, геноцид, а народ и вся нация треплется и сумасшедше болеет за людешек-миллионеров, катающих по зеленой травке какой-то говенный футбольный мячик.

– Вот я и говорю, Вячик, что под этот Указ попадут миллионы русских терпил, но не один из них, повторяю, не один из них не найдется, чтобы с канистрой бензина забраться на Казанский собор или на крышу этого дома, чтобы выставить народный ультиматум монстрам Путину и Медведеву и их министрам. А ведь помнится, в годы перестройки кто-то забирался на этот шар, ну, почти на него и выдвигал под угрозой самосожжения требования к властям.

Вячеслав кивком головы подтвердил: «Было дело!».

Дел-то было наворочено в России немало. Сразу в моей голове промелькнули картины расстрелов мирных протестных шествий в 1905 и последующих годах. Представил, как теперь с зданий Думы и Гостиного двора по демонстрантам стреляют автоматы и пулеметы. Российские власти в смысле расправ над народонаселением традиционно последовательны...

– Эх, не лучше ли от горьких видений и предположений вернуться к сладенькому мороженному и весело стучащим футбольным мячам? – предложил я и продолжил в паре шествовать к станции метро или «ведро». Последнее слово на этот раз прозвучало уместно, поскольку проходя возле Русского музея увидели сине-красно-белый плакат, приглашавший (всякую шавку?) на выставку Ведрова-Водкина. Да, неплохо было бы, если бы нам налили ведро водки, чтобы в нем потопить, погрузив, как в «Погружении» Е. Дедух всю нашу русскую классическую тоску. Но тоска-доска не тонет... В находившейся в десятке метров от нас толпе тоже не вопили душе-раздирающе «Долой пенсионную реформу!» с ярким желанием немедленно угопиться. Россия «гопила» за мировой футбол. По вонючей глади канала пронесся глиссер, как реактивный глист-сэр. Я вспомнил про другие водоемы великого Санкт-Петербурга, стоя у парапета на набережной канала. Вдруг в голове заплескался, бурно заштормил стих **«Пирь Питера»**:

А в городе жратвы-то!
Ведь из Европы всей
Навалено в корыто
Для питерцев – «свиной».

Прочтут и оскорбятся,
Что высказал «без ширм».
И все ж не затолпятся
У деревенских фирм.

Не ринутся на запись
В помощники села,
Но есть такая напасть -
Крестьянские дела!

Об этом каждой ивой
В любой строке-реке
Прописано в пытливой
Пророческой тоске.

Вы, смотрите на реки?
 Читаете, вы, их?
 Ведь в селах не огрехи,
 А вывих, ли вывих!

Конечно, коль на Невке
 Показы и галдеж,
 Балы судов и девки,
 То разве что прочтешь?

Искренья там и брызги,
 И визги баддежа,
 Но будут, будут иски
 Из стран зарубежа.

С такого аппетита
 Не видит жадный взгляд,
 Что посреди корыта
 Стоит петровский град.

Туда полезли слепо
 Набить желудки, чтоб
 Воскликнуть: как нелепо
 Попали в этот Гроб.

А потом «до кучи» прочел Вячеславу стих про парня, которому и в 40 лет не найти работу, а не то что в 65 годов.

Питерский знакомый.

Плохо нынче этому товарищу.
 Он уволен. Он – лишенный средств.
 У соседей суп хороший варится
 Из животно-овощных естеств.

Бросили «лаврентия» и перчику,
 Вот хлебнуть б, но мир жаднующе-сер.
 С этого тоска по револьверчику,
 Но ни револьвера нет, ни вер.

Откипели майская черемуха
 И сирени распахучий суп -
 Сладким пропитанием для олуха,
 Но без мяса он, считай, что труп.

Объявленья о труде «торжественном»
 Из-под типографских резакон -
 Пластики капусты, чтоб в общественном
 Чане щи варить для бедняков...

Бредит, как поэт, равнинной кухней
С клевером, полынью, беленой.
Был не то чтоб шутником и ухарем,
Но раздавлен русскою бедой.

Не смотреть б на этого товарища.
Тащится понуро, словно дождь.
– Неужели, ты, на суп наваристый
Сто рублей проклятых не найдешь?

Ведь прошла совсем недавно Троица.
Только был морально не готов
Хоть на три, на два денька устроиться
Продавцом кладбищенских цветов.

5

Надо же, получилось так, что я прокололся на Диме Тимошине. Нет, не на острослове, а на островзоре-писателе, хотя он подслеповатый и ходит в очках, даже в двух, этакий Дмитрий близорукий и дальнзоркий одновременно (а то что Длиннорукий как основатель новой литературной Москвы я бы не сказал). Вообще-то двумя очками со стеклами разных диоптрий он пользуется на работе и на мероприятиях, когда требуется что-либо зачитать. На улицу выходит в одних очулярах. Но это так, мелочи. Но и совершенно не крупной неприятностью, а так, мелким проколом явилось то, что он меня увидел на улице, а мы живем не так уж и далеко друг от друга в Кировском районе, с моей новой любовницей. Тридцатилетний возраст, пышные формы, мини-юбка, жестикуляция и неизменная сигарета в «девственной деснице» – всё выдавало в ней простую молодуху, очень далекую от литературы. Мы, матюжно разговаривая, шли по тротуару, и как-то незаметно, но величаво перед нами выплыл пешеход Тимошин, точнее Мимошин, который не показывая эмоций, прошел мимо и попылил дальше. Ага, такой сосредоточенный, пеший патриот Пьеро с длинными крыльями-рукавами, в каждом из которых он прятал по длинноствольному дуэлянтскому пистолету девятнадцатого века.

Ну, не на дуэль же его вызывать за то, что он увидел меня с пышногрудой девицей пролетарско-ларечного вида? Это в пору ему адепту русского классицизма делать мне вызов, ведь я, громко раскритиковавший гения чистой красоты К. Второву, крутил такую сексапильную любовочку-морковочку, как на столе, на глазах праведной уличной публики. Но такие мысли о возмездии, о благородстве и дуэли (непреренно между парковыми прудами) возникли после встречи, а до этого мы с дневной и не очень уж вульгарной Вальпургией гуляли по улице Козлова (*Тимошин ответит и за Козлова*), с одной стороны которой стояли желтые бетонные «корабли», а с другой стороны (четной) разливалось зеленое древесно-лиственное море парка «Александрино». Естественно, что при мощном ветре кроны деревьев ходили, как высокие волны, в которые в полной безнадеге, но и со слабой надеждой на счастливое спасение могли броситься из окон и с балконов

пассажиры и матросы близстоящих домов-теплоходов, но не пароходов, поскольку еще в Ленинграде было упразднено дровяное отопление, хотя трубы на крышах остались и замерли в почетно-печных караулах памяти по давним теплым годам социализма. Кстати, тем Козловым, в честь которого назвали улицу, являлся Г. И. Козлов, бывший председатель Ленинградского облсвета. Тут ведь вообще имеет место быть «козлийный уголок» Петербурга, поскольку параллельно улице Козлова проходит улица солдата Корзуна, которую местные алкаши называют улицей Козлуна. И так далее...

Короче, мы шли с подружкой Томочкой (а существуют ли небожительница Томочка и подводница Кэт?) и смотрели то на «корабли», то на зеленые волны парка. Нередко пролетали птицы, словно черные мысли белого козла (всё, мне от козла теперь не отвязаться, как Вовочке-веревочке). Вечер вскоре должен был разжаловать светлое небо, как белогвардейского генерала в безропотного рядового Краснозакатной армии. Почему-то вспомнился синеглазый солдатик, упавший на колени перед пучеглазым генералом Хлудовым (из фильма «Бег»). Естественно тут же мне привиделся гигантский Бафомет с козлиной рогатой головой, с женскими грудями и с красной звездой на лбу. Он смотрел на меня не очень-то зловещим взглядом (видимо, принял за своего) со стороны окраинного проспекта Народного ополчения. Не знаю как теперь, но тогда на углу того проспекта и улицы Козлова располагалось сельскохозяйственное училище-путяга (имени Путина в простонародьи), и как тайно информировалось, воспитывало законченных сатанистов, которые, отправясь по путевкам на работу в села, там как козлы вытаптывали капустные поля и увечили своими копытцами младенцев, лежавших между кочанами. Если бы в обширном парке «Александрино» располагалось кладбище, его бы напрочь снесли железные вандалы из этого сельхоза, откуда выпускались сплошь козлы и козы. Но ничего, училище благополучно функционировало под патронажем и крылом Бафомета и еще под сенью мистического Алекс-парка, где росли березы, дубы, липы, и где прививалось дубовое и липо-клиповое мышление. Местные жители, конечно, не ощущали дьявольского влияния и давления непосредственно Сатаны (может, и сам Тимошин является учеником Бафомета-дьявола, не смотря на то считается примерным прихожанином), но с неприкрытой злостью относились к всяким сельхоз-колхоз-козлушникам.

У многих людей появлялись слезы на глазах, некоторые впадали в истерику от сообщения, что на углу Козлова и проспекта Ветеранов будет возведен памятник узкоглазому дьяволенку Виктору Цюю, бывшему жителю микрорайона, ведь без особого напряжения мозгов можно было спрогнозировать, что здесь начнутся круглосуточные дикие п(б)еснопения, оргии и «кумары» в память кумира. Но такова матрица – мат, лица. Я тоже был хорош, если говорил своей знакомой Томочке прямо в томные очи: «Чист твой взгляд, как подтертый зад» и еще нечто комплиментарно-жгучее и бесконечно вонючее.

И только тогда, когда мимо нас проскочили юноши и девочки, похожие на подписчиков «В Контакте» и «Фейсбуке», до меня дошло, что я могу догнать Тимошина и предложить ему на полчаса за мои деньги мою же небесплатную

Томочку, чтобы оценил широкую княжеско-меньшиковскую натуру, мол, я не жадина и не сквальга, а раскрепощенный, сердечно-открытый современный человек? Что его статья-наезд на меня из-за Второй – пустяк, что я не ревнивец и готов поделиться с ним своей (ничьей) подружкой?

Но и от такой мыслишки-пустышки я тут же отказался, поскольку лет пятнадцать назад давал зарок никогда не делиться с приятелями-писателями своими уличными красотками, которых у меня было пруд пруди (десятками). Просто как-то дал в сексуальный долг на час такую смачную биксу нашему якобы секс-символу, говорливому Никите Васильеву, который божился (крест на пузе) что через неделю мне подгонит такую же. Но прошел месяц, год, десять лет, а от Никиты красотки нет. Подсылал какую-то костлявую, но, дешевка, не смог паренек достойно ответить. Никаким секс-символом оказался, хотя хлестался, что уломает кого угодно. Развевал о себе долгоиграющий миф, в долгу остался. Нечего было из себя передо мной Козланову строить.

В-общем, хрен им, нашим якобы высоконравным писателям! Перебьются и возле супружеских постелей перетопчутся. Ни к чему баловать, все равно сочтут такие секс-подарки за божью милость. Да к тому же они в женщинах прелестях ничего не понимают. И все же я решил направить к нему через неделю подружку, но не в качестве жрицы любви, а в ампула девицы-пропагандистки, чтобы передала ему (пусть даже скажет, что видел с Меньшиковым на улице Козлова) персональное приглашение на городской митинг против повышения пенсионного возраста. Интересно, побойтся ли прийти в указанное место и в назначенное время или нет? А то ведь тоже себя позиционирует как бесстрашного лидера-борца с антинародной властью.

Имелось у меня еще одно стремление: легонечко поиздеваться над каким-нибудь произведением Тимошина, как он над моим эссе о Кэт Второй в статейке «Подражание Владимиру Меньшикову», то есть проделать едва заметные манипуляции с текстом, произвести исправления, внести вкрапления, совершая такую мистическую ворожбу, продолжая вражду, например, над чувственно и политически возбуждающим, рафинированно-патриотическим, сусально-сексуальным, предрождественским рассказом «НеоНовый год», но не стал этого делать.

6

Что-то я разгулялся, разъездился, а совсем недавно, осмелев, махнул совместно с Вячеславом Овсянниковым аж на дачу поэта Виктора Павлова, находящуюся на окраине прекрасного, классически-дворцового и паркового городка Павловска. Встретились на Ленинском проспекте, доехали до Московской площади, а уже оттуда на маршрутке-закрутке домчали до места назначения. Виды с Пулковских высот открылись неописуемые. Как же, в низу – спальные, а кое-где и промышленные зоны Петербурга, а чуть выше нас, в незначительном отдалении, виднелись купола обсерватории и крыши каких-то новых зданий. Вокруг – места боев Великой Отечественной войны, везде стоят монументы, бетонные знаки памяти и славы – и это всё на фоне широких пригородных полей. Поэтому неслучайно вспомнился в сокращении мой старый стих «**Купола и шляпа**»:

Это поле поет не медь,
А за наши карманные зерна.
Вот мешок бы со склада спереть,
Но подстрелят меня поднадзорно.

Ведь собор, что понес купола,
Как мешки с золотою пшеницей,
Краснофлотцы лупили со зла
Беспардонно своей гаубицей.

Иль астрально пальнут с куполов
Закрапивленных обсерваторий
Изо всех телескопов-стволов,
Чтобы кто-то обсер...ся до хворей

Ранней осенью зерна вернем,
Отведя подозренья от флага.
Но зачем колымагу с зерном
Опрокинули в шляпу оврага?

Эх, возница, да чтобы ты сдох,
Где ты высмотрел поле – да в шляпе,
На каком перекрестке эпох,
На каком сумасшедшем этапе?

Вдогонку стиху о колымаге прочел и стих о иномарках:

Не тарантайки и не дроги,
А иномарки ездят тут.
Теперь хорошие дороги
В районный городок ведут.

Поездки – это нервы, «невро»...
Доехать б только без стрельбы
Да в кабачок стандарта «евро»,
Где выпить водки без гульбы.

Те заведенья без клиентов,
Хотя бывают в них пиры.
Нет спившихся интеллигентов
Советской вермутной поры.

Нет методиста из глубинки,
Что мог «разлиться» по столу,
И чьи дырявые ботинки
Опять бы «чавкали» к селу.

Но вот как раз Витя Павлов, к которому мы ехали, и «разлился» по крышке стола. Впрочем, вовремя оклемался и, встретив нас на нужной остановке маршрутки и пересадив в свой неплохо сохранившийся

микроавтобус «Фольксваген», с песнями и плясками на танцевальных пятачках автомобильных педалей доставил на свою шикарную дачу, где теремообразные дом и постройки по его словам он соорудил собственными руками. «Если бы не топор и мох, был бы плотник плох» – срезюмировал мудрый Вячеслав с неизменной добросердечной, но все же иронической улыбкой. Невысокий, худой, но жилистый, он своей телесной фактурой напоминал поэта Людина, говорил немного, его спокойствие и улыбочность убаюкивали собеседников, но в этом «овсе» ползали и порой зло и громко шипели еще те змеи.

Наоборот, в отличие от несколько флегматичного Вячеслава Виктор является человеком мобильным, быстро меняющимся, он после непродолжительного застолья внезапно протрезвел, превратился из гидры народной революции в гида-экскурсовода и повез нас осматривать великолепный павловский парк. Тусуясь с нами возле Большого дворца, он упомянул и про уничтоженный Константиновский дворец, а потом показал широкую мраморную лестницу на склоне, временно перекрытую, поскольку на ней поскользнулись и не собрали костей несколько почтенных экскурсантов. Таким образом осмотрели половину парка.

У нас был кворум или «хворум» больных, но еще действенных мужичков. Так же предлагалось соблюдать равное представительство по количеству произнесенных реплик и спичей. Например, Слава давал решительную отповедь всем березоненавистникам, объясняя сакральное значение березы в мировой истории: «Я не собираюсь вешать вам на уши веточки, но расскажу, что вокруг рукояти секиры (при создании символа Древнего Рима, которому поклонялись Муссолини и Гитлер) выкладывали березовые прутья и связывали веревочкой... Образовывался пучок, как фашизм, как объединение, а в случае с березой – березовый фашизм. Секира – вертикаль власти, связанные в пучок ветки – народ». Я тоже пытался вставлять свои шесть копеек или шестиконечную монетку в разговор, но не всегда удачно. Павлов, попивавший пиво из бутылки, однажды язвительно пресек меня, советуя почитать книги о Петре и Павле для расширения горизонта, на что я ответил: «А это ничего, если я останусь с горизонтом узким, как горлышко твоей бутылки? А тебе желаю меньше ходить по обкультуренному парку, а больше заниматься на даче обустройством сада или собственного зада. Это по нему плачет, аж капли катятся, весло советской скульптурной девушки Кати». Вот так прикалывались.

Да, выходит, прикалывались, а не общались и не изливали (и не разливали на троих) попеременно свои большие писательские души, наполненные русской печалью и безысходным весельем. Должен признаться, делая в этом месте не лирическое, а скорее техническое отступление, с укоровной в собственный адрес, что вместо хотя бы и краткого описания прогулок по ровным аллеям и горкам павловского парка мог бы, как и полагается прозаику, заняться изложением достаточно смелых и небезопасных проходов по светлым и темным дорожкам и задворкам писательских душ Овсянникова и Павлова. Даже о Вячеславе, которого, как условного героя произведения, персонажа «протащил» уже через несколько главок, я практически ничего не написал как

о личности с характерными чертами и индивидуальными признаками, не говоря уже о Викторе, появившемся только на этом отрезке повествования. Кто они, чем, с кем живут?... Вообще-то, читателю должно быть понятно: для того чтобы их показать во всей человеческой полноте, живо и объемно, а не плоско и схематично, полагается писать про их поступки, принципиальные встречи с теми или иными людьми, что в мои задачи как метафориста изначально не входило. Понимаю, что мой первоначальный замысел если и прокатывается, то тяжело, со скрипом. Герои Вячеслав и Виктор оказались не прорисованными, пунктирными, плоскими, словно выпиленными из русской фанеры импортной ножовкой. Этакие аппликации, выкройки-вырезки. Несложно на каждой из этих фанерных фигур (хоть они-то неодинаковые, Слава значительно ниже и тоньше) начертать черным фломастером карманы, в которые можно как бы засунуть свернутые листы А-4 с развернутыми биографиями, с перечнем книг, написанных ими, из которых узнать об этих ребятах-писателях намного больше, чем знаю я, но если только часть этих сведений разместить в моей повестушке, то они будут выглядеть громоздкими и даже неестественно выпирающимися.

Но вроде бы нашел выход! А что, если нарисовать на их фанерных головах по фуражке, ведь оба моих приятеля какое-то время в своих непростых жизнях отбарахали на силовые структуры? Уже теплее, поконкретнее. Теперь попробую привычно поупражняться в словотворчестве или в рифмовке. Фуражка, фураж (довольствие), кураж (удовольствия), гараж... У Виктора тачка есть, насчет Вячеслава точно не знаю, однако, решив потянуть за ниточки или, вернее, за веревочки дыма, исходящего из «выхлопных» труб автомобилей, можем вытянуть все «нутро», вывести всё не только про машины, но и про их хозяев, насколько они хорошие или плохие. Но если разузнать все о достоинствах и недостатках Овсянникова и Павлова, то есть будем иметь об них полное, а не плоское представление, что от этого изменится, как это повлияет на структуру повествования, ха-ха, на ход истории пафосно-горемычной России?..

Между тем наше пребывание в Павловске приблизилось к завершению. Больше всего мне запомнилось то, что в этот раз Виктор и Вячеслав, как сговорившись, хотя я их в начале не поправляя, называли меня Меньшиковым – без мягкого знака, как будто мой великий однофамилец владел не только Ингерманландией и Ораниенбаумом, но еще и будущими городками Павловском и Пушкиным. Оказалось, что так говорили они не спраста. Когда вернулись в Петербург, то обнаружил на писательском сайте заметку критика Медведева об использовании исторических «яты» в произведениях Тимошина. Оперативно ответил:

«Здравствуй, Александр! Прочитал твою статью.

Как всегда умно, остро! Но пишу не отклик, полемизировать не стану, хотя у меня имеется свой взгляд на «яти-прибамбяти» Тимошина. Считаю, что это какая-то дикость, претендующая на цивилизность, vir-выпендрезж, проба оживляжа убитых стихов Тимошина через мертвые буквы.

Эти стихи – пляска на надгробных плитах дореволюционных поэтов, эпитафии на которых написаны с использованием «яты».

Графомания, стилизация, фарс, **пародия**, которая якобы должна сработать на выдохшемся, сдохнувшем **пару**.

Все эти «яти» и «i» являются начинкой убойной поэтической и политической бомбы, которую автор для показа своего величия, хотя и упорно отнекивается, хотел бы сбросить на современных читателей и на большевистствующих единороссов и либералов. Тимошин ведет себя лживо, ведь используя «ять», пытается показать себя намного большим писателем, чем есть на самом деле.

Реальное употребление «ятей» и «итей» в наше время это как признать, что в 2018 году функционирует не только мощный союз черносотенцев, но и пролетарско-еврейская организация Бунд, а так же троцкистско-зиновьевский блок – трозин – как транзит в старые и будущие времена. Вообще, эта тема мертвая. И хорошо, что ты, Александр, в статье остаешься самим собой и ставишь ребром свои крутые медведевские вопросы: имеется ли поэзия в таких стихах Тимошина или всё это за«ятенная» публицистика?

Может, через месяц напишу эссе по этому поводу»...

Мне было совершенно непонятно, почему Медведев пиарит Тимошина. Значит, преследует какие-то цели. Ну и что. Мы все что-то выкручиваем для себя из того или иного устного или письменного посыла. Вообще, критики – народ малопонятный.

Я, раздумывая, подошел к окну и глянул. На улице всё зеленело и, надо же, плохо пахло. Просто прошла вонючая тетка из нашего дом по прозвищу Работящая – «Рыба та еще», трудолюбивая продавец близкого рыбного ларька. Далее протащился старый бухарик Фейс-бух. Возле желтой стены противоположного дома бомжи пересчитывали бутылки. Один из них, видимо, самый трезвый и самый безумный стал составлять из них на асфальте зеленого змея. На молодой пьяной бомжихе было надето застиранное до дыр белое платье в коричневый горошек. Если бы спившемся громиле завалить эту деваху на черный асфальт, то можно было бы выстучать на клавиатуре горошин любую петицию Путину, только заранее не забыть вставить лист белой бумаги ей в какое-либо переднее или заднее место.

Хм, отвлекся. Так, на чем остановился? Ах, критики – народ малопонятный. Вот некоторым из них краткие характеристики:

Чернышев. Он же Чернь-нышев из-за неравнодушного отношения к слову «чернь». Человек крайностей и самых широких взглядов, как политических, так и философско-религиозных. Не Враг, а Врач нации, выписывающий ей регулярно эпикризы, чтобы преодолевать эпические кризисы. Будучи героическим, Василием Ивановичем является безусловным персонажем пелевинского романа «Чапаев и пустота». Но если с него собьем или смахнем налет или флер революционности, то самим станет скучно и захотим тут же найти точно такого же Василия Ивановича.

Орлов. Великий реалист и большой мечтатель, желающий на своих орлиных крыльях принести нам с неба солнце или счастье. У Орлова имеется свой Кодекс чести. Он человек с большим масштабом личности. Невероятно широк в воззрениях на литературу и на людей, порою себе же во вред.

Коняев. Ведет себя самонадеянно. Отказывается от приглашений приехать в гости. Лишается последних доброжелателей. Проигноировал мой стих с посвящением и со строкой «Каждый день за Россию погибаю», чем показал, что ему по хрен русский поэт Меньшиков, а, может, и вся Россия. Но отдаст или уже полностью отдал душу за инородного Христа.

Круглов. Если бы критик и художник Медведев изобразил его на одном из своих ревлакатов в виде нацбола, то это бы сняло многие из моих вопросов. Пора Роману понять, что демократия – это болезнь, чаще всего наследственная, она способствует появлению эпидемий ненависти к России и к русскому народу.

7

В парке «Александрино» – Малая вода, а в Неве (ограничимся рамками города) – Большая вода. И меня потянуло от мелкой воды к большей и от паркового названия к созвучному, из «Александрино» – к Александринскому столбу. Там, на Дворцовой площади, должна была привычно, то есть снова в полдень, зазвездиться наша неподражаемая Второва. Даже собралась независимая городская комиссия по проведению Екатерининного дня, которая попыталась утвердить оптимальный вариант прочтения поэтессой стихов со Столба с последующими крен(или хрен)делеvidными прыжками с оного. Если со стихами определились сразу (катины плюс александропушкинские о нерукотворном памятнике, а о чем еще нерукотворном?), то насчет прыжков пришлось поломать черно-асфальтовые чиновничьи головы. Но и на Дворцовой покрытие булыганное или балаганное, а для безопасности прыгуны требуется хотя бы водяное, высотой или глубиной минимум в десять метров, а так залить площадь не сможет ни одно из рекордных балтийско-петербургских наводнений кроме великого потопа. Так что стой на столбе-коле, пока не околешь, как царь Ни-колашка, и жди начала ВП (Великого Потопа), как окончания правления В.Путина.

Правда, можно было бы около колонны поставить разноцветные пластмассовые резервуары внушительной емкости под воду, но посчитав и такие затраты начетистыми, предложили вариант катиных прыжков с голубого вертолета в глубинную Неву, полную рыб-голубей. Или развернув Дворцовый и Благовещенские мосты не поперечно, а продольно по середине Невы, позволить десятиметровой Кэт (а она во время своих поэтически-театральных шоу меняла свой рост до десятиметрово максимального) разбежаться по этим двум сомкнутым мостам и, высоко выпрыгнув, исполнять в воздухе непревзойденные кульбиты. Но какой-то, видимо, проголодавший ко времени принятий глобальных решений оппонент, глотая слюни, выдвинул жутковатое предположение, мол, при высоких, как салют, сальто мортале Кэт, не рассчитав траекторию, может упасть на золотистый шпиль Петропавловки и оказаться нанизанной на него, как кусок мяса на железный шам-пур. А поскольку в непосредственной близости высятся ростральные колонны с огнями, то Кэт просто-напросто поджарят, как шашлык, и коллективно сожрут. К тому же совсем недавно депутатов из «Единой России», проголосовавших в Думе за ППВ, нарекли людоедами, и канибальские настроения и аппетиты, как во время эпидемии,

распространились и на большие группы населения. Такие вот Беда-Бедуха и возможная по такому случаю поедуха.

По ходу заседания, словно уже обглодали катины косточки, один из организаторов шоу позволил себе метафорическое сравнение ростральных колонн с горящими факелами, которые якобы могут нести в своих красных пастях жуткие собаки, изображенные на гербах Тайного ордена монахов-доминиканцев «Псы Господни». От информации о предполагаемых размерах новонарождённых злющих собак, для которых колонна не намного больше их клыкастых пастей, становилось жутко.

Рослые собаки, многометровые монахи-доминиканцы в черных балахонах с капюшонами... Но члены разрешительной комиссии не являлись законченными инквизиторами и яростными борцами с ересью на водах и позволили поэссе резвиться на Неве довольно раскованно, но с наполнением программы «Кэт-шоу» картинками максимально романтическими и позитивными. Можно было бы, конечно, ей понырять с Зимнего да и с тех же ростральных колонн не так ажиотажно и скандально, как делала, но вокруг нее крутилось и вертелось, как смелость, несчетное количество катеров на хулиганских скоростях, что заводили и ее на неоправданные лихость и улетную прыжковую дикость.

Прыг-скок, прыг-скок, обвалился потолок. А ведь на заседании комиссии устроители продвинуто-экстремальных мероприятий просчитывали и варианты полетов Кэт над городом. Специальный гигантский самолет под ее десятиметровые габариты конструировать было бессмысленно да и поздно. Решили на крайний милитаристско-захватнический случай арендовать десантно-транспортный аэробус.

Был рассмотрен и проект ее самостоятельного полета в виде дирижабля, но как представили, что питерские приколисты начнут с земли орать «Дыру жаль, дыру жаль!», что прозвучало бы вульгарно для ангелоподобной Кэт, наложили вето на предложение это.

Было высказано так же популистско-консервативное мнение запустить Второву в воздушное плавание в устройстве, напоминающем большегрудый и крупнозadayый вертолет, а в качестве пропеллера использовать заводного публициста Веллера, но побоялись, что Миша неким методом поспособствует посадке машины в зверином вольере находящегося неподалеку петербургского зоопарка.

Вскоре решали и в самом деле опустили девушку с неба на землю, а, вернее, на воду. Некому экстремалу-экстремисту чрезвычайно понравилась идея, чтобы гигантская Кэт-Гулливёрша стала продвигаться по пояс (а кое-где и по обнаженные груди) в воде и тянуть за собой то ли на тросе, то ли на обычной веревке крейсер «Аврору» к Зимнему дворцу. Кто-то возмутился: «Сколько можно к Зимнему? Не пора ли к Смольному, поближе к властям!» Но никто не поинтересовался у Второвой, каким маршрутом ей самой хотелось бы следовать, передвигая свои легкоранимые балетные ножки по неровному невскому дну. Вдруг направление к Смольному ей категорически не подошло бы, так как на пути от Нахимовки встретились бы жуткие памятники-призраки прошлого: монумент Ленину на набережной возле

Финляндского вокзала, потом краснокирпичная тюрюга «Кресты», далее корпуса ЛМЗ, некогда носившего имя Сталина. Может, ей об этот МЗ совсем не хочется мазаться?

Имелось еще и третье направление помимо Смольного и Зимнего с поворотом направо от стрелки Васильевского острова: это надо пробираться вброд по Малой Неве, перешагивая мосты и обходя стороной по заливу стадион «Зенит-Арена», приблизиться к высоченной сопернице – четырехсотметровой остроконечной башне Газпрома и, хватая за неимением громадной пролетарской кувалды, подвернувшиеся под руки катера и водные скутеры, швырять их в стеклянную гигантскую постройку до ее полного разрушения, как Вавилонской башни.

Кэтерина – великая ревнивица, но чтобы ее посчитали и правда Великой, ей нужны сверхуспехи. Например, немного изменив ход истории, на примере выдворенного из Зимнего дворца в 1917 году Временного правительства теперь под командованием мятежного единоросса – матроса Железняк – этапировать нынешнее правительство Медведева в Петербург и заточить его, нет, не в Петропавловку, а в кабинеты того же Дворца, под окнами которого поставить на длительный прикол грозный революционный крейсер «Лариса Рейснер». Или можно быстро на окраине города силами газ-тербайтеров выстроить из фанеры макет московского Белого дома, а из реек Рейхстаг и взять их при помощи питерского ОМОНа. Или воздвигнуть в Новой Голландии или в Новом Египте гробницу, как у Тутанхамона. Мол, Кэт, как не вертите, вы – Нефертити, а ваши дружки – это жуткий Эхнатон и ОМОН. Такие вот, Новый Египет и новое рабовладение.

В этот солнечный, позднейюльский день Кэт было по-настоящему жарко. Она расхаживала или просто плавала в водах питерского ажиотажа. И на фиг ей была нужна какая-то дохлая Таврида? Лихо забиралась на Зимний, ростральные колонны, Адмиралтейство и прыгала в Неву, совершая сальто. У меня про подобную женщину и ситуацию даже написан стих «Доля-дроля»:

Я, пожалуй что, схожу с ума
От любви. Любовь ж ко мне не сходит,
Хоть читал амурные тома
И горячие сонеты, оды.

Я еще заметил по весне,
Что не доставать мне стало фарта.
Вместо Революции ко мне
Вдовушку зашлите для азарта?

Так что, Петербург, я жду когда
Лопасты, вертушки, карусели,
Раскружившись, зашвырнут сюда
Женщину Моей высокой цели.

Пусть летит она ногами вверх
С юбкою, упавшею на груди,

Символом небесно-низших вер.
Это возбудит меня, разбудит!

Город Питер свят (но не экс-Рим),
И святые карты мною биты.
Пусть летит! Мне нравятся экстрим,
Аэроциркачество, кульбиты.

Пусть же в поднебесье крутит плоть
Сальто под названием «мортале».
Я люблю больших убойных тетъ,
А не тощих, тех, что за мор талий...

Кэт – в фаворе, на плаву, словно деревянный, но хорошо забивающий голы, как гвозди, зенитовец Дзюба. К ней постоянно подкатывают катера и подлетают вертолеты, с которых агенты через мегафоны упрощивают бенефициантку заключить супердоговоры на размещение рекламы на ее лифчике и на трусиках, а так же на обнаженных участках тела. А за использование площадей под бикини обещали вообще...

Притомившись, Второва решила отдохнуть на Литейном мосту. Если бы она присела на его краешек и перекрыла только букву «Л», получилось бы «Литейный». Ничего себе, «Идейный»! На котором восемь лет назад во время ночного развода члены московской арт-группировки «Война» быстренько нарисовали гигантский «кукиш», который поднялся прямо под нос богу. Такие вот богохульники, Христа и «Крестов» на них нет. Когда же угонченная поэтесса, передохнув, подняла задницу с краешка моста, то все увидели, что в его название «Литейный» вместо буквы «Л» отпечаталась катиной попой буква «П», и получился «Питейный», и этот казус произошел рядом со зданием местного отделения Общества трезвости и буквально в сотне метров от Большого (полицейского) дома.

Нет, Кэт не матерщинница, не хамка. Могу доверенно сообщить, если вы не знали, она – луч света в темном петербургско-российском царстве. Она – персонаж моей повести «Кэт, вредный Йорик и новая русофобия», а так же героиня старой испытанной, в том числе и на водах, драмы «Гроза». Образ Кэтерины, хотя она пока что не утопилась, расписал я, но в соавторстве с Александром Островским и Николаем Островским, автором книги «Как закалялась сталь». Закалялась, не в смысле заголялась, хотя, правда, когда выбиралась...

А выйти из Невы ей хотелось около Летнего сада, при том уменьшившись до своих обычных размеров. Да, имеется такой сад. Большой Академический. Балетный сад. Кусты и горизонтальные деревянные ограждения в нем можно теперь преодолеть, пожалуй, только с помощью прыжков, балетных или конных. Совершать конкур! А что, Кэт в костюме наездницы смотрелась бы очень мило. Тем более со стеклом в руке, хм, чтобы с возмущением хлестать им почти голых невских купальщиц, которых теперь сама и представляла...

Шоу продолжалось. Кэт носилась по реке, брызгалась, плавала. Но все это

надводные цветочки, разноцветные бучечки– металлические кулечки-ягодки. А где же, так сказать, водоросли, донная корневая система, ведь что за Кэт без «Погружения»? Это же как песня без баяна и старый Петербург без складских островов Буянов? Как ее будем погружать, по какому обряду: по православному или мусульманскому? Ведь только подумал о спуске на невшкое дно, почему-то сразу вспомнился хрустальный гроб со спящей царевной? Ой, не надо! И семь богатырей ни к чему. Пусть не погружается в реку Лету (или в Зиму напротив Зимнего Дворца) ни с аквалангом, ни в батискафе. Пусть всегда пребывает на поверхности, всегда на виду. «Луч света» не должен светить со дна, из подводного хрустального гроба, словно в «Погружении», а надобно, чтобы исходил с небес. И если потребуется, мы переправим девушку в небо, так сказать, вознесем. Не станем с Кэт играть «в темную», а дадим ей самое большое в мире полотенце, сделанное фабрикой «Нева», пусть вытирается, одевается и неспешно идет домой. Там ее ждет письменный стол и заготовки к новым стихам в цикл или в непотопляемую книгу «Погружение-2».

Не успел я выпроводить с набережной не на шутку разыгравшуюся Кэт, как на Неве появился не кто-нибудь, а сам Дмитрий Тимошин. Нет, он не тот, незапоминающийся незнакомец, бросившийся с моста в остросюжетном прологе к роману Чернышевского «Что делать?». Он еще послужит России, он еще заплывет в форточку в спальню к забывенной Вере Павловне, чтобы сделать светлее ее чернушные сны о кошмарном настоящем России. А в данном случае он появился в таком виде, в котором я изобразил его в статье «Погружение или текучка». Читаем: «Это для Д. Тимошина наша молодая поэтесса, словно яхта «Екатерина» или катер «Катя», на которых хотел бы красиво пронестись, отсвечивая своей лысиной, пропитанной лосьоном «Лось» или «Олень», по великолепной невшкой акватории». Нет, теперь Тима появился на Неве на моторке «Евруссиния», заложил несколько залихвацких кругов, а затем укатил за Дворцовый мост. Снова проявился и был похож на Георгия Победоносца, не с копьем, а, словно Нептун, с трезубцем в руке. Воткнул его в зазевавшуюся блондинку-русалку и уволок ее уже под Литейно-Идейный мост.

Через десять минут напротив Зимнего дворца вдруг заплывали белые лебеди в виде большущих твердых знаков, и я сразу заметил, что на каждом из этих «ятей», обнимая птиц за шеи, сидело по очкастому, плешивому Тимочке Тимошину. Как ни крепко они держались за эти знаки, словно за дореволюционное патриархально-православное прошлое, но внезапно исчезли и лебеди, и все Димоны-Демоны. Вскоре и вода в Неве напротив Зимнего дворца куда-то делась. А пространство между гранитными берегами заполнилось многомиллионным количеством таких же золотистых и блестящих очков, которые носил Тимошин. Если по ним пустить «Аврору» или ледокол «Красин», стоящий около Горного института, то все подавят, искрошат в мелкие стекляшки с противным хрустом. А если бы командированный Иисус решил пройти босиком по такой реке, аки посуху, то через метр изрезал бы пятки до крови.

Вдруг на набережной передо мной возник критик, искусствовед и

художник Александр Медведев и вместо заказанных мною плакатиков с протестными карикатурами и надписями, осуждающими правительственный курс на повышение пенсионного возраста, начал показывать одну за другой небольшие репродукции картин живописца Николая Ге (после оргии) «Петр Первый допрашивает царевича Алексея в Петергофе», «Голгофа», «Что есть истина?». Я знал, что по утверждениям Тимошина истина – это Иисус, и его в этом плане совместно с гениальным Ге мог поддержать критик мордovorот Мордовцев.

Вскоре Медведев вместо живописных работ стал демонстрировать произведения агитационного жанра и почему-то яростно кромсать их когтистыми лапами. Тут же превратился в медведя, вежливо и культурно обрывающего контрольные полоски с билетов перед входом (почему-то платным) в парк «Александрино», куда я вдруг совершенно тихо и бесппроблемно телепортировался.

8

Июльский Петербург изнывал от жары. Зимний дворец обливался потом. Везде воняло пивом. На темно-синем капроне Невы еще явственнее обозначилась стрелка Васильевского острова. Буржуазные народные массы текли, как желтоватое масло (подсолнечное). Как только с перегрева не догадались покрошить огурец Александрийского столба и луковицы соборов, перемешать и дополнительно обсыпать это салатоподобное месиво кругляшками цветной соли, то есть футбольными мячиками продолжающегося здесь ЧМ по футболу.

На Невском проспекте газетные киоски напоминали многочисленные разгерметизированные космические капсулы, из которых спешно выбирались инопланетяне и стремились или непосредственно на матч, или в фанатскую зону на Коношенной площади. В руке одного из них находилась «Газета с того света». Так же на Невском воришки чистили карманы прохожих, как карму. У Гостиного двора, на стыке с Садовой улицей столкнулись две иномарки, причём «ФольксВАГЕН» взлетел в воздух, словно балерун, закончивший Вагановку. Около «катькиного сквера» по тротуару маскарадная лошадь с молодой наездницей побежала то ли рысью, то ли крысью. Вспомнился балет «Шелкунчик» в постановке Михаила Шемякина с его шизоидно костюмированными людишками, гоблинами, крысами...

Съездив по делам в центр города, я уже с гораздо менее серьезными намерениями вернулся через станцию «Проспект Ветеранов» в наш Кировский район, а точнее, на улицу Голи Леникова, пардон, Лени Голикова – с Вячеславом Овсянниковым повстречаться и творческой энергии набраться. Он как старший литературный товарищ и городской сосед как-то умел настраивать меня на написание последующих произведений без длинных назиданий и пафосных призывов, используя лишь краткие реплики и метафорические формулировки, например, поэзия и проза должны быть розовошековыми девками с большими грудями, за которые хотелось бы подержаться да так, что не оттащить. Вот и теперь мы сидели в тенечке на скамейке возле его хрущевского дома, попивали из банок водичку и, как водится, трепались. Я опять заговорил о Тиме:

– Повторяюсь, Вячеслав, но еще зимой я, Тимошин, председатель Орлов и другие выступили единым политфронтом против Сабилы на сайте «Литературной России», а потом – шерше ля фам. Появилась какая-то девочка Катя Дедух, не очень даже смазливая, с неочевидно талантливыми стихами и расколола напрочь этот писательско-патриотический фронт, блок. Мона Лиза – Моная и Лайза... Тима написал какую-то непонятную статейку против меня, где перепел меня же, что оказался подставой против самого себя...

Нет бы мы с Вячеславом тотчас оказались в находящемся рядом парке «Александрино», там разговор был бы предметнее. Впрочем, Овсянников в диалог по поводу деятельности Тимошина не вступал. А я продолжил:

– В-общем-то, у меня перепалки-стрелялки с Тимой совсем не из-за Кэт, которая поэт. Просто он несколько раз заявил, что я слабый прозаик. Сам знаю, что слабый, поскольку почти везде пишу от первого лица, но он в том же самом уличен. Помнишь статью Бубновой?

Я продолжал усиливать критическую волну: «Он погнался не только за дешевизной, но и за выгодой. Настроив статейку против меня и вступившись за либералку Второву, пытается показать, что лояльно относится к русофобии... Вообще-то, по отношению к Кэтрине на его кислом клоуновском лице или черепе бедного Йюрика возникло выражение, что ему все надоело. И, правда, со статьями об этой Кэт получился явный перебор».

Теперь и Вячеслав согласился: «Действительно, о молодых авторах слишком много пишут. Целые пиар-компании совершенно не по заслугам и не по делу устраивают»...

Метрах в трехстах от нас, за домами-пятиэтажками находится здание бывшего театра «Орбита», а возле скамейки, на которой сидели, валялся оконный переплет или перекрестье рамы. Он был похож на мачту, и я представил, как из окна третьего этажа выплывает или продирается корабль и затем выходит на «Орбиту»... Всё! Началось шизодействие, грандиозный переполох в спальном микрорайоне и еще в первой половине рабочего, будничного дня, хотя в это время и в этом месте малоллюдно и тихо. Начался крикливый диалог балконов. На один из них выбрел парень в «красно-белых квадратиках» хорватских трусах и заорал соседу:

– Марко Балотелли находится на бюллетени от перегрева и перепоя. Дизель, иди ко мне, у меня «Балтика» есть... Вливайся!

У меня в связи с тем, что в Петербурге проводились матчи ЧМ по футболу, тоже возникли некоторые образы:

– Вячеслав, помнишь стихотворение Михаила Дудина «Снегири» про Можайск и Воронью гору?

– Конечно. Прекрасное стихотворение.

– Хм, так вот я опошил его. У меня снегири из-за футбольного чемпионата мира – это сингерийцы – чернокожие футболисты и их болельщики из Нигерии, бесснежной африканской страны.

– Ну да, опошил неплохо. Можно сказать, талантливо.

Я не стал извинительно улыбаться, а, хмурясь, продолжил мысль: «Я-то что, а вот как сам Миша Дудин-сын Занудин опорочил, облажал свое творчество, когда подписал письмо интеллигенции «Раздавить красную

гадину», то есть расстрелять Белый дом вместе с его защитниками. Эх, сколько у нас во все времен было начальствующих национал-предателей, патриотов-изменщиков!».

Что ж, вроде бы стихийная логика разговора тем не менее меня вполне закономерно вывела на цель, которую преследовал я, явившись на встречу с Вячеславом в довольно спокойный микрорайон на улице Голикова. Неподалеку находятся медицинский диагностический центр и травматический пункт, куда могли бы стремглаз доставить, если бы что-то кардинальное случилось с моей головой. А как будто не случилось? В такое время и с такими правителями живем. Сплошная неволя, а еще пишу о птицах свободного полета, например о том, что находясь в Можайском, хотели с Вороньей горы в виде белокрылых чаек махнуть в Питер. Но если взмыли бы над холмами и озерами, то уговорил бы Славу слетать в недалекий Ломоносов-Рамбов к памятнику нашему общему знакомому Николаю Шадрунову, где он изображен сидящим в шинели и очках на скамье рядом с огромной «красной вороной»-попугаем. Попка-дурак! Красный попка любил повторять за коммунистами лозунги а честь партии и ее вождей, и эта совдеповская традиция, увы, сохранилась, теперь другие пропагандистские попки восхваляют «Единую Россию» и ее лидеров Путина и Медведева. Поэтому-то народ и не поднимает голос против этой летней словесной пурги, молчит и не ходит, дурак, на митинги, которые, правда, в Петербурге запретили проводить до завершения ЧМО по футболу. Недавно попросил Александра Медведева нарисовать фирменный плакат, с которым я стал бы посещать протестные акции, Саша думает. И хотя у меня из-за этого имеется отмазка, чтобы не являться на митинги, я непременно поползу, полечу на первый же из них!..

Я достал из коричневого полиэтиленового мешка листок офисной бумаги. Через полминуты Вячеслав начал читать текст «Новая расстановка»: «После того как власть объявила об намерениях повысить пенсионный возраст (ППВ), то есть совершить покушение на святое – на пенсии россиян, страна разделилась на два лагеря: «за» и «против», «запутинцы» и «противопутинцы». Но лучше: «народники» (кто против повышения) и «антинародники». Своеобразие момента состоит в том, что так называемая «еврейская духовная элита», демошиза и прочая либерастия выступили в поддержку русского народа и в союзе с «генетическим отребьем», быдлом и ватой, быстро став «народниками», протестуют против путинского реформизма.

Получается, что пресловутые евреи, демошиза – с нами! Ура!

С другой стороны, почти все русские чиновники из окружения Путина, из правительства, из министерств и ведомств, из армии и МВД, из «Единой России», согласившись с ПВ, выступили против своего народа и образовали не такую уж большую антинародную, но поддержанную силовиками-генералами массу, став «антинародниками». Недавно созданный Народный Фонт тоже оказался анти... т.е. антиком-бантиком.

Выходит, что против русского народа (за его крайнее обнищание, закабаление, геноцид) выступают не евреи-жиды, а высокопоставленные продажные русские люди. Мы должны на такую группу людей обратить особо пристальное внимание. Это и есть Новая Пятая колонна, Новые враги народа. Теперь у

врагов народа другое лицо – русское. Борясь против таких русских, я автоматически выпадаю из-под определений «фашист» и «патриот» и становлюсь «евреем», русофобом, либералом, «деможидом», «майданщиком»?

Ведь какой я нахрен патриот в путинском понимании, если желаю полнейшего вывода российских солдат и прекращения наших огромных денежных трат в Сирии и Донбассе? Но нафиг мне такой патриотизм, из-за которого происходит резкое обнищание моего народа, его закабаление, геноцид?

Да, такой новый расклад, когда министр-государственник становится предателем Родины и народа, а вчерашний демошизик – патриотом и народником, поскольку выступает против ППВ.

Теперь я не стану утверждать, что во всех бедах и нищете русского народа и России виноваты жида, а говорю, что виноваты русские своими скупостью и трусостью, расчетливым, даже ненавистным отношением друг к другу, к братьям своим бедным.

Будем орать не «бей жидов», а «бей русских». Действительно русских, видимо, еще мало били. Пора русским чиновникам обратиться не жопами, а лицами к стране, к людям. Благодаря пассивности национальной номенклатуры масоны провели ВОР 1917 года, переворот 90-х годов и т. п. Хорошо, что хоть теперь все маски сорваны, и мы увидели кто есть кто. Получается, что русские начальнички хорошо воруют и гнобят, а евреев держат за козлов отпущения и козлов повышения. Конечно, надо не забывать про их специфическую активность и про то, что они тоже никогда не забывают про себя, придя к власти. Но хотя бы на этом этапе, периоде борьбы с ППВ надо объединиться! Я не знаю насколько жизнеспособно такое содружество, сколько может (месяц, полгода?) просуществовать подобный союз, но от попытки заединения нельзя отказываться ни в коем случае, ни при каких невероятных раскладах и суровых доводах.

Повторяю, что если введут в силу проект ППВ в такой редакции, которую СМИ озвучивают сейчас, то заявлю, что русская чиновничье-министерская номенклатура, то есть русский начальственный состав в верхах, в армии, полиции нагло предал свой народ и страну!..».

Вячеслав завершал чтение текста, а я, увидев на доске скамейки надпись «наси», вспомнил что на мемориальной дощечке, приделанной к стене одного из питерских театров значилось, что там часто выступал НАСРА – Народный Артист СССР Рыдалов Антон. Как упоминалось, неподалеку находится здание бывшего кинотеатра «Орбита». Если бы при мне имелась дощечка «Орбит», я мог бы пожевать одну из них, после чего стал бы обсуждать предложенный Вячеславу для читки текст – не так воняло бы изо рта. Впрочем русофобскую, антирусскую вонь навели по всей России и Петербургу вовсе не подобные мне, а Путин с Медведевым.

Вячеслав дочитывал. Подошло время мне достать авторучку из кармана и предложить Овсянникову подписать эту бумагу. Но авторучка куда-то исчезла, а позднее улетучилась и сама идея перегонки данного текста в формат письма-послания или петиции.

Геннадий Станкевич

СУД ПАРИСА
ПОВЕСТЬ



*«Три девицы под окном
Пряли поздно вечерком...»
(А. С. Пушкин)*

*«...Как черный глаз незрячий
Блеснуло озеро вдали –
Таинственно и странно...
А на горе, на дальнем берегу
Раскинулось роскошное поместье...»
(Янис Райнис)*

Глава I. Янис Банга.

Некогда в стародавние времена на улицах славного торгового города Риги было и темно, и грязно, и не хватало удобств. Но хотя бы одно было наверное: люди тогда лучше нынешних разбирались что есть ночь, а что – день. Дежурные стражи порядка ходили по городу с наступлением одиннадцати вечера и распевали – как умели – такой вот незамысловатый куплет:

*Одиннадцать давно звучит,
Наш древний город крепко спит.
Заметьте, это поздний срок,
И на другой ложитесь бок!*

Так было раньше, давным-давно, во времена стилетов, колетов, беретов, бубонной чумы и религиозных войн. Не то теперь: технический прогресс, этот сказочный Санта-Клаус, притащил в своем мешке, купно с другими подарками новому времени хроническую бессонницу...

В сей поздний час младший инспектор рижского уголовного розыска Янис Банга был занят тем, что, подперев щеку ладонью и выстукивая карандашом по папке с бумагами турецкий марш, предавался воспоминаниям о минувших выходных.

В тот солнечный воскресный день Янис Банга вырядился заправским щеголем: чего стоила только светлая фланелевая двойка! А галстук, повязанный эдак небрежно, словно шейный платок! А шляпа под цвет костюма, надетая чуточку набекрень! Точнее, это костюм шился специально под шляпу. Эту превосходную, легкую шляпу с широкими, элегантно заломленными полями, он приобрел прошлой зимой в Вене. Вместе с другом детства Эгилом Стренгой они блуждали тогда слегка навеселе по грязным улочкам старой Вены и от нечего делать забрели в какую-то маленькую еврейскую лавчонку.

– Давай купим что-нибудь на память, – предложил Эгил.

– Давай... - согласился Янис. – Вот хоть по шляпе на брата, шутки ради!

Эгилу шляпа, по правде сказать, не очень-то шла, поэтому он повесил ее на гвоздь в своей каморке на улице Марсталлю – как напоминание о веселых денечках. А вот Янису шляпа оказалась к лицу, и жаль, что одевать ее приходилось не часто, а лишь в особых случаях, как, например, тот солнечный воскресный день.

Можно смело утверждать, что Янис Банга и без купленной в Вене шляпы был малый хоть куда: статный, широкоплечий шатен с синими глазами и четким, почти античным, профилем. Немудрено, что девушки зорко следили за свободным кавалером столь привлекательной наружности.

Мысли самого Яниса были далеко не столь поэтичны и даже весьма тривиальны: он думал о службе. Вот уже второй год пошел, как он, сын знаменитого в свое время следователя Освальда Банги, состоял при рижском уголовном розыске в чине младшего инспектора. А интересного дела нет как нет. Вот его отцу, например, так тому сразу же достались два таких крупных дела, что они вошли в анналы следственных органов. Их даже проходили в университете. А он, Янис, просиживает штаны в управлении да изредка выезжает с дядей Стефаном на убийства и кражи, где старик преподает ему лишь кое-какие уроки ремесла, а все остальное забирает себе.

Стефан Куролис был старинным другом и земляком Освальда Банги. В юные годы они вместе ловили треску в Куршском заливе, вместе же пришли в Ригу, когда жизнь в родных местах несколько изменилась. Старик был крестным Яниса и потому считал своим долгом заботиться о нем, как о родном сыне.

« Я уж и не мечтаю о чем-то сверхинтересном, как то: убийство дядюшки-банкира племянником, переодетым племянницей, – с досадой думал Янис, – но хоть что-то, достойное выпускника университета, чтобы можно было хотя бы немного пошевелить мозгами...»

Размышляя таким образом, он шел по дорожке центрального парка, опустив голову, заложив руки в карманы широких, по моде, брюк и то и дело подкидывая носком ботинка палую, осеннюю листву.

Сам еще не зная зачем, Янис остановился, поднял голову и посмотрел направо. На скамейке под раскидистым каштаном в полном одиночестве сидела девушка. «Боже, какие ноги!» – мелькнуло в голове Яниса. Он уже успел разглядеть и статную фигуру Юоны, и гордо посаженную аккуратную головку со светло-золотистой косой, уложенной венчиком, и несколько бледное лицо с безупречными чертами. Ее светло-карие глаза смотрели на Яниса насмешливо.

– Ну что же, молодой человек, так и будете стоять? Может, присядете – здесь места хватит, – услышал Янис довольно приятный, хотя и немного резкий голос.

Янис не без удовольствия повиновался. Подойдя к скамейке, он приподнял шляпу, улыбнулся и представился:

– Янис Банга.

– Ирма, – отвечала девушка, чуть краснея. – Ирма Ледогорова.

– Какая звучная у вас фамилия, – заметил Янис, присаживаясь как можно ближе к девушке. – Вы русская?

– Мой отец был русским, из Архангельска, – отвечала она.

– Наверное, он очень красивый человек... Или вы пошли в мать?

– Нет, в отца, – чуть кокетливо отвечала Ирма. – Кстати, вы на него чем-то похожи, правда – правда!

– Что ж, это делает мне честь...

Какое-то время они болтали о всяких пустяках: о погоде, о работе, о том, что погода в этом году необычайно красива... Разговор явно затягивался. Девушка уже начала рассеянно поглядывать по сторонам, когда в светлую янису голову пришла та спасительная идея.

– А знаете что? – весело сказал он, сдвигая шляпу на затылок. – Пойдемте-ка пить шампанское!

– Никогда не пила шампанского, – смущенно призналась Ирма. – А это вкусно?

– Это очень вкусно! Оно знаете какое... легкое, чуточку терпкое, в нем много-много пузырьков, которые, взрываясь, орошают ваш носик шаловливыми брызгами... А еще оно бывает белым, золотистым и розовым!

– Даже розовым? – рассмеялась Ирма. – Тогда вот вам моя рука, и ведите меня туда, где пьют шампанское!..

После первого бокала Ирма вдруг сделалась грустной. После второго она, прильнув к плечу молодого человека, прошептала:

– Что-то зябко...

– Ничего. – Янис обнял девушку. – С непривычки это бывает, но очень быстро проходит.

– Не в этом дело, – Ирма теснее прижалась к его плечу. – Просто... – взглянув Янису в глаза, она неожиданно спросила: – А вы хороший человек?..

– Хороший! – уверенно отвечал Янис. – Я даже опасаясь, как бы не попасть в сонм святых... А что такое? Что-нибудь случилось?

– Случилось? Пока еще нет...

И тут Ирма принялась немного туманно рассказывать что-то о своей матери, о ее богатой компаньонке...

Янис слушал ее в пол-уха, более наслаждаясь движениями ее красиво очерченных губ, блеском светло-карих глаз...

Встрепенулся он лишь, когда услышал знакомое слово «наследство»:

– ... все это мы можем потерять из-за одного только упрямства матери... Посоветуйте, что тут можно сделать, ведь вы юрист?..

Янис пожалел, что слушал девушку невнимательно, но, поскольку признаваться ему в этом не хотелось, он попытался отделаться ничего не значащими фразами, вроде: «Об этом стоит подумать, а при следующей встрече обсудить...»

– Ну что ж, – Ирма выглядела какой-то потерянной, почти несчастной.

Янис во второй раз пожалел, что не слышал ее истории, и, прижав ладонь девушки к своим губам, пообещал:

– Да не отчаивайтесь вы так, обязательно что-нибудь придумаем! Ну честное слово, я буду думать о вашем деле денно и ночью!..

– Ты знаешь, – Ирма неожиданно перешла на «ты», – стыдно признаться, но я ужасно проголодалась.

– Я тоже, – рассмеялся Янис, – и мне совсем в этом не стыдно признаваться... – Пошли, – сказал он, поднимаясь со скамьи. – Я знаю неподалеку одно смешное местечко. Там кормят настоящей латышской едой...

Это, в сущности, было обычное кафе, но оборудованное под трактир, судя по некоторым деталям, – конца XVI – начала XVII века: зарешеченные оконца с аляповатыми витражами, грубая дубовая мебель. На стенах, тускло озаренных светильниками, кое-где висели писанные маслом картины, изображающие сценки из старинной жизни.

– Вот тут-то мы и отобедаем на славу, – сказал Янис. – Я уже давно облюбовал себе это местечко.

– Не только ты, – шепнула Ирма, – сестрички мои тоже здесь. Вон там, в дальнем углу. Причем обе и с кавалерами. Хочешь, познакомлю?

– Не дожидаясь ответа, она взяла Яниса за руку и провела через узкий проход между столами в дальний конец зала.

– Ба! Ирма! Какими судьбами, моя милая монашка? – так приветствовала сестру крепкая, розовощекая блондинка рубенсовского типа. При этом она довольно откровенно смерила Яниса от шляпы до носков ботинок искристым взглядом голубых глаз.

– Это Полина, наша младшенькая. И, если приглядеться, на носу у нее веснушки!

– Ах ты стерва! – с притворным гневом вскричала Полина. – Всего-то несколько штучек. И, между прочим, мужчинам это нравится. Они говорят, что это пикантно! – Она игриво посмотрела на Яниса.

– На вашем носике, мадемуазель, все будет выглядеть пикантно, – отвечал ей Янис.

– Меня, как я понимаю, никто не собирается представлять. – На Яниса в упор смотрела светловолосая, изящная девушка с темно-карими, почти черными глазами. Он только успел открыть рот, когда она, тряхнув чуть не доходящими до плеч кудрями, убранными перламутровыми шпильками, томно-изысканно протянула молодому человеку узкую, холеную руку, унизанную перстнями. – Марианна, – сказала она с легкой улыбкой.

Она хотела добавить что-то еще, но тут вмешалась Ирма. Обращаясь к обеим сестрам сразу, она сказала:

– Представьте же нам своих кавалеров.

Один из них был довольно щуплый блондин с глазами, словно посаженными глубоко в тень, отчего было весьма трудно разобрать их выражение.

– Ивар, – небрежно бросил он, пожимая руку Янису.

Ладонь Ивара оказалась отменно сухой, пальцы тонкими и длинными, как у девушки или пианиста.

Второго звали Гунар, и он являл собой полную противоположность товарищу: широкоплечий, смуглый брюнет с бычьей шеей. Этот вот смуглый

цвет лица, широкие, лопатой, скулы, чуть приплюснутый на кончике нос и узкие, черные монгольские глаза наверняка привели бы в восторг какого-нибудь антрополога: настоящий лив! Рукопожатие Гунара было крепким и долгим. Янис также не торопился отпускать его руку. Во взглядах обоих мужчин угадывался какой-то иронически-двусмысленный вопрос.

– Милости прошу к нашему шалашу, – хитро щурясь, сказал Гунар. – Места хватит на всех, еды – тоже.

– Это точно, – мест на всех хватит, – согласился Янис.

Усадив Ирму, он привычным жестом подозвал официанта. – Зеленый салат, – диктовал Янис, – горячая лососина с луком и хорошо обжаренной картошкой. Пожалуй, бульон с гренками... – он вопросительно посмотрел на Ирму. Та согласно кивнула. – Кофе, мороженое, ягоды на десерт. Две бутылочки «Валмиерской»... Что будем пить?

Ирма неопределенно наклонила голову, предоставляя выбор кавалеру.

– Тогда принесите бутылочку «Молока Мадонны»... Может, «Рыбацкой горькой» за знакомство? – подмигнул Гунару Янис

Тот удивленно поднял бровь:

– Водку при дамах?.. А вы не находите, что это не совсем комильфо?

– Правда ваша, – Янис сокрушенно покачал головой. И, уже обращаясь к девушкам, заинтересованно наблюдавшим за словесной перепалкой, сказал:

– Извините меня за мою неловкость. У нас, у рыбаков, так уж принято: пить за знакомство «Рыбацкую Горькую».

– Ах, так вы рыбак? – Гунар сделал нарочито серьезную мину. – Тогда все понятно!..

Ивар, молчаливый, непроницаемый, смотрел в сторону, попыхивая крепкой русской папиросой. То, что происходило за столом, его как будто вовсе не интересовало...

Янис и Ирма покинули трактир еще до наступления темноты, «часа фонарей», когда на улицах веселого города Риги становится небезопасно. Особенно для юных девушек, особенно для юных девушек со средствами. И особенно, если эти юные девушки прогуливаются без кавалеров. Впрочем, и с кавалерами также бывает небезопасно на тихих, узких улицах веселого города Риги, если, конечно, они не такие, как Янис Банга...

... Эти приятные воспоминания прервал резкий звонок телефона. Отбросив карандаш в сторону, Янис схватил трубку.

– Скучаешь, сынок? – услышал он ворчливый голос старшего инспектора Куролиса.

– Скучаю, крестный, – вздохнул Янис.

– Взбодришь немного, сынок, – и на выезд. Едем в Северный парк – это неподалеку от клиники Бауманиса.

– Опять, что ли, изнасилование проститутки или кража кошелька с использованием газовой горелки?..

– Убийство, сынок. Так что поторапливайся. Машина через пять минут...

Была среда, 23.30.

Глава 2. Воскресенье. Сестры.

Вернувшись в тот воскресный вечер домой, Ирма даже не наведальась как обычно к матери, пожелать спокойной ночи. Быстренько раздевшись, она покрутилась нагишом перед зеркалом и, стуча зубами от холода, прыгнула в свою одинокую постель, поплотнее заворачиваясь в теплое ватное одеяло. Мысли ее витали сейчас вокруг одного единственного предмета, и предметом этим был не кто иной, как Янис Банга.

«Что за мужчина! – с тихим восторгом думала Ирма. – Красивый, мужественный и, кажется, умный. Неужели мне наконец-то повезло?..»

Она пожалела, что немного прохладно попрощалась с ним: позволила только поцеловать себя в щеку, когда Янис усаживал ее в такси.

– Скуchnоватый выдался вечерок, зевая, проговорила Марианна, устраиваясь поудобнее в комнате Полины на широкой кровати, покрытой лиловым шелковым покрывалом.

– Да, Мари, – согласилась Полина, расплетая перед зеркалом свою пушистую -рыжую косу. – Кавалеры так себе, умом не блещут. Особенно тот второй, Ивар, – противный тип!

– Да уж, малосимпатичный... И откуда ты только его выкопала?

– Гунар притащил.

– А чем он занимается? Если судить по рукам, похож на карточного шулера.

– Не знаю, может, он конечно и картами пробавляется, – Полина повела округлыми плечами, – но вот что мне стало известно: пьяный Гунар однажды проболтался...

И, склонившись к сестре, она что-то прошептала ей на ухо.

– Боже милосердный, страсти какие! – воскликнула Марианна, прикрывая рот ладонью. – А с виду такой щупленький: дунь – и улетит.

– Щупленький, ага! А ты заметила, какие у него глаза?

– Да-а уж... А когда улыбается, просто мороз по коже... Брр! Мерзость какая!.. Больше мы с ними не встречаемся.

– Но вот что я у тебя хотела спросить, дорогая Мари: как тебе понравился ухажер нашей Ирмы?

– Н-ничего себе... И, по-моему, Ирма влюблена в него по уши!

– Мне тоже так показалось, – хихикнула Полина. – Но еще мне показалось...

– Ну что тебе показалось, маленькая болтушка?

– Сама, небось, знаешь...

– Ах ты, скрытница!

– Ах ты, болтушка!

И сестры весело засмеялись.

... – Что-то я проголодалась, – через некоторое время сказала Полина, поднимаясь с помятой постели. – Пойдем, перекусим? Аннушка, наверное, еще и печь не загасила, можно будет поесть горяченького... Ну же, пошли! – принялась она тормошить сестру.

– Иди, ты ведь у нас обжора, – лениво отвечала Марианна, – а я спать хочу. Я останусь у тебя сегодня...

Уже у дверей Полина обернулась и, посмотрев на сестру долгим, ласковым взглядом, с восхищением проговорила:

Какая ты все-таки красивая, Марианна!

Глава 3. Воскресенье. Хельга.

То воскресенье сентября выдалось солнечным и бодряще прохладным. Порывистый ветер трепал раскидистые кроны каштанов, осенявших северное крыло старинной усадьбы. Разноцветная листва, кружась в прозрачном осеннем воздухе, с тихим и грустным шорохом ложилась на красную кирпичную дорожку, ведущую от чугунной ограды сада к высокому парадному крыльцу.

В этот день Хельга Ледогорова, в девичестве Альвинг, удобно устроившись у окна в глубоком плетеном кресле, читала старую книгу с потемневшими от времени и частых прикосновений страницами. То была драма «Привидения» знаменитого норвежца Ибсена. Некогда властитель дум юной Хельги, он сделался затем ее единомышленником, а потом просто старым хорошим знакомым, с которым, чтобы понимать друг друга, не нужно много слов, иной раз достаточно и красноречивого молчания.

Так многое роднило Хельгу с призрачным миром великого норвежца, миром дождей и туманов, миром, где так редко светит солнце... Она испытывала какое-то томительное, сумрачное наслаждение, наблюдая за тем, как все эти горестные создания, только лишь похожие на людей, терзаются, любят, философствуют и неизменно гибнут в тенетах собственных роковых страстей, потаенных грехов и строгой морали. Ей не было жаль их, как не было жаль и себя. Разве не всех и каждого ожидает одна и та же участь: покинув однажды этот теплый земной дом, уйти навсегда в холодную неизвестность небытия?..

Хельга была умной женщиной. С юных лет обнаруживала она склонность к философствованию и, после долгих наблюдений за окружавшими ее людьми, обитаемый мир представлялся ей неким странноприимным домом, в который однажды являются невесть откуда эти странные, сморщенные, голенькие существа. Кто остается на час, кто – на год, а кто – лет на сто... Срок пребывания никому не известен, а цель – отчаянно невнятна.

«Отсюда, – считала Хельга, – это роковое триединство: скука, похоть, продолжение рода... Словом, иногда смешное, иногда страшное, а в целом довольно унылое недоразумение – этот мир, населенный людьми...

Отложив книгу на столик из карельской березы, Хельга посмотрела в окно, в сад, где хромой садовник Микелис отчаянно боролся с опавшей листвой, а той все прибывало и прибывало...

«Скоро зима, – как бы между прочим подумала Хельга. – Судя по осени, она должна быть суровой. Переживет ли ее Анна-Лиза? Интересно, что сегодня скажет этот коротышка – доктор Шварц?» Вздохнув, она откинулась на спинку кресла и принялась массировать уставшие глаза.

Хрустальный бой часов оповестил, что уже довольно длительное время доктор Шварц и ее старшая дочь Ирма находились у постели больной Анны – Лизы, хозяйки этой усадьбы и подруги Хельги с детских лет. Почти десять лет прошло с тех пор, как после неожиданной смерти мужа Хельги, Афанасия Варлаамовича Ледогорова, Анна приютила вдову и ее дочерей.

Неожиданно ладони Хельги крепче жали подлокотники кресла. Наконец-то! Сомнений быть не могло: послышались шаги. Вначале невнятные, отдаленные, они постепенно становились все ближе и отчетливей. Хельга не могла не узнать четкий, твердый шаг своей старшей дочери Ирмы и короткие, неровные шажки того смешного доктора Шварца. И сам доктор Шварц, и юная Ирма Ледогорова состояли при клинике Яна Бауманиса. Это была очень уважаемая клиника, а доктор Шварц слыл в ней знатоком грудных болезней. Ирма была в клинике на хорошем счету, и Хельга знала: ей симпатизирует сам великий Бауманис. Положительно, только старшая, Ирма, могла внушить матери некоторое уважение и надежду; средняя и младшая, Марианна с Полиной «никуда не годились». Была в них какая-то ослабленность, не свойственная ни ей, Хельге, ни их покойному отцу...

Когда раздался осторожный стук в дверь, на бледном лице Хельги не отразилось никаких чувств. Спокойным и бесстрастным, разве чуть более хриплым голосом, она произнесла:

– Да-да, войдите, пожалуйста!

Доктор Шварц, скрестив крошечные ножки и поигрывая словно бы от нечего делать короткой пенковой курительной трубкой, примостился на венском стуле возле кафельной печи. Высокая, стройная и, кажется, чересчур бледная, Ирма стояла прислонясь к стене и заложив руки за спину. Она не хотела садиться в присутствии матери.

Вообще, отношение всех троих дочерей к своей родительнице следовало бы определить так: чуточку любви, немного больше уважения и еще больше страха. Почему так случилось? Хельга никогда не была дочерей и даже не повышала на них голоса, тон ее на протяжении всех этих лет оставался спокойно-суровым, требования – естественными и не превышающими морально-допустимых норм... Но ведь дети, особенно девочки, такие капризные, загадочные существа. Кто знает, что у них на уме, что ждут они от своих родителей?..

– Ну что же, так и будем играть в молчанку? – спросила Хельга, откидывая волнистую прядь со лба. – Может вы, доктор Шварц, наконец соизволите мне сказать, что с Анной - Лизой?

Эти ее спокойные и даже как будто окрашенные иронией слова действовали на Ирму как удар током. Девушка вздрогнула и, поджав губы, устремила на маленького доктора умоляющий взгляд. Доктор Шварц, убрав для начала в нагрудный карман свою пенковую трубку, переместил затем справа налево свои коротенькие ножки и, громко шмыгнув довольно крупным для его габаритов носом, произнес первые слова:

– Не поймите меня превратно, госпожа Ледогорова. Дело в том... дело в том, что больная слишком поздно обратилась к нам в клинику. Метастазы быстро прогрессируют и уже достигли бронхов, отчего и происходят известные вам параксизматические явления в виде кашля, удушья, рвоты и так далее... Пока это имеет характер периодический, то есть, в периоды улучшений больной кажется, что она выздоравливает... Но еще неделя, от силы – месяц и.... Короче говоря, мужайтесь, госпожа Ледогорова, жить вашей подруге осталось очень недолго.

– Господи ты боже мой, неужели ничего нельзя сделать?! – Хельга непроизвольно повысила голос, хотя крайне редко позволяла себе это в общении с людьми, независимо от их положения в обществе. – Столько новых лекарств появилось, – продолжила она, хмурясь и потирая переносицу. Затем с некоторой надеждой спросила. – А если операция?

Но доктор Шварц был неумолим, как сам Радамант.

– Как я уже говорил вам, госпожа Ледогорова, болезнь слишком запущена. Операция принесет больной лишние страдания, не более того. Стоит ли мучить человека, и без того уже достаточно измученного болезнью?.. Так что, искренне сочувствую вам, госпожа Ледогорова, и вам, милая Ирмочка! – тут маленький доктор сделал короткий поклон в сторону Ирмы, которая по-прежнему стояла, прислонясь к стене, бледная и неподвижная как изваяние. – Но сделать ничего нельзя, ровным счетом ничего! Остается ждать и готовиться, ибо, как говорили мудрецы: «Самое серьезное в жизни – это смерть...»

– Жестокие ваши слова, – вполголоса произнесла Хельга. – Анна-то надеялась, что это последствия простуды.

– Госпожа Озолина и теперь надеется на это, – улыбнулся доктор. – И это естественно, и это хорошо!.. Но проблема в другом: больная захотела знать всю правду...

Ирма снова бросила на доктора умоляющий взгляд, и тот продолжал:

– Видите ли, госпожа Ледогорова... – доктор снова вытащил из кармашка свою трубку, зачем-то потрогал ладонью печь. – Видите ли, в связи с этой ее уверенностью на благополучный исход возник некий казус... Это не мое дело! – воскликнул вдруг маленький доктор и, как римский оратор, поднял вверх открытую ладонь. – Повторяю, это не мое дело! Но вот Ирмочка, которую мы все так любим и уважаем... Ирмочка просила помочь ей в решении одного деликатного вопроса...

– Что это за вопрос? – спросила Хельга, метнув в сторону дочери суровый взгляд.

– Что за вопрос? – эхом повторил доктор Шварц. – Да, в сущности, он

столь же прост, сколь и деликатен... Просто-напросто уважаемая госпожа Озолиня до сих пор, насколько нам известно, не удосужилась оставить завещания по всем правилам. По ее собственным словам – и в этом я лично готов присягнуть – она просто-таки мечтает оставить и дом, и содержание вам, госпожа Ледогорова, и вашей семье.

– Хорошо. – бесстрастно отвечала Хельга. – В чем же казус?

– А в том, что она хочет двух взаимоисключающих вещей сразу: знать правду и утешаться ложью. Подобный каприз, скажу вам как врач и врач давно практикующий – явление весьма распространенное среди подобного рода больных... Но вернемся к делу. Итак, в первом случае, то есть, узнав правду, госпожа Озолиня составляет завещание – и вы и все ваше семейство становитесь полноправными владельцами этого дома и всего того, что к нему прилагается, то есть, как я понимаю, немалой суммы денег. Она ведь богатая женщина? – не дождавшись ответа, доктор продолжал. – Во втором случае больная по-прежнему верит в выздоровление, и тогда ей бы очень не хотелось преждевременно омрачиться составлением столь мрачного акта. Что поделаешь – все мы любим жизнь!.. Стоит ли говорить, что во втором случае вы теряете прекрасный шанс обеспечить свою жизнь и будущее своих дочерей. При этом, заметьте, абсолютно честно, по желанию самой завещательницы...

Не понимаю, что вы от меня хотите?

– Я-то, собственно... – он посмотрел на Ирму и так закончил свою мысль. – Я бы, со своей стороны, принимая участие в судьбе Ирмочки и отдавая дань ее способностям и добродетелям, посоветовал вам открыть правду умирающей... Очень надеюсь, госпожа Ледогорова, что вы согласитесь со мной... А теперь, – он посмотрел на часы, – прошу великодушно меня извинить. Пора в клинику.

– Конечно, доктор Шварц! – сказала Хельга, поднимаясь с кресла. – Ирма, проводи доктора, а затем возвращайся. Мне надо с тобой кое о чем поговорить.

После этих слов Хельги, произнесенных таким властным и не терпящим препирательств тоном, Ирме и маленькому доктору оставалось лишь обменяться грустными взглядами.

Стоя у окна, Хельга наблюдала, как ее дочь провожает до ворот усадьбы этого коротышку, доктора Шварца. Непроницаемым оставался взгляд ее темных глаз, и внимательный наблюдатель не смог бы и с половинной уверенностью сказать, о чем она думает в эту минуту.

... Разговор между матерью и дочерью был предельно кратким – насколько это было возможным при решении столь серьезного вопроса.

– Послушай, мама, – осторожно, превозмогая врожденный страх перед матерью, проговорила Ирма, – мы ведь все так любим этот милый старый дом. Нам здесь хорошо... Что же стоит сделать такую малость – сказать правду!?

– Не может быть и речи, – спокойно, не задумываясь ни на минуту, отрезала Хельга. – Лишать человека последней надежды, последних, хоть

сколько-нибудь счастливых дней ради собственной выгоды – это верх аморальности. Только очень дурной человек способен на такое! Запомни: всегда и во всем не нам решать, что будет и как будет. Останемся же смиренными, станем больше молиться за нашу Анну-Лизу... и за себя тоже.

– Но, мама, – сделала последнюю попытку Ирма.

Хельга, точно не заметив этой рассеянной фразы дочери, сказала:

– И еще: ни слова сестрам о том, что здесь говорилось. «Анна-Лиза болеет. Скоро поправится». Ты хорошо поняла?

– Да, мама, – Ирма опустила глаза.

– Вот и славно, – Хельга внимательно посмотрела на дочь и, как бы между прочим, заметила, – ты очень бледна, Ирма. Мало бываешь на воздухе. Работа, занятия медициной – все это хорошо, конечно, но надо уметь и развлекаться хотя бы иногда... Ну-ну-ну! Не дуйся!... Съезди в Ригу, проветришь...

Когда Ирма покидала комнату матери, ей показалось, что кто-то торопливо отошел от дверей. Выйдя на пролет лестницы и оглядевшись, девушка увидела толстуху Аннушку, которая с несколько напускным рвением натирала воском дубовые перила лестницы, мурлыча себе под нос какую-то чангальскую песенку.

Анну Кейшу Ледогоровы привезли в этот дом с собой. Они не могли бросить старуху на произвол судьбы, ведь та была кормилицей девочек, а потом так и осталась служить в доме. Анна-Лиза ничего не имела против того, чтобы избавиться, наконец, от собственной служанки, неряхи и пьянчужки.

– Бог в помощь, Аннушка! – улыбнулась Ирма, пристально вглядываясь в физиономию толстухи. И от наблюдательной девушки не укрылось, что щеки у Анны Кейши порозовели чуть более обыкновенного и что как-то странно она прятала взгляд, когда отвечала:

Помогай он и вам, милая барышня!

– «Нет сомнения, – подумала Ирма, – наша Аннушка слышала весь разговор. Что ж, может это и к лучшему...»

Глава 4. Воскресенье. Анна-Лиза.

Хельге было теперь не до дочерей. Она даже и не заметила, может, впервые в жизни, как вернулась с прогулки Ирма.

Весь остаток дня Хельга провела у постели умирающей подруги то читая ей вслух книгу старинных скандинавских баллад, стихи Гете, любимого поэта Анны-Лизы, то занимая ее тихой беседой, то просто сидела молча, держа в своих крепких ладонях иссохшие, желтые, как пергамент руки Анны.

– Как славно щебечут птицы в саду... – еле слышно прошептала Анна-Лиза. – Теперь, должно быть вечер, сумерки... Помнишь, как это сказано у Гете:

*Уж вечер плыл,
Лаская поле...*

– Как нестерпимо это, Хельга, быть прикованной к постели, зная при этом, что там, за окном, на вольной воле, гуляет свежий ветер и шумят деревья. Что тихие, мечтательные сумерки сменяются там звездной ночью, а ночь – росистым утром... – Ее лицо страдальчески сморщилось, а уголки глаз увлажнились слезами. – Как не хочется умирать, великий Боже! – Анна-Лиза утерла глаза кружевным платочком. – И все-таки, заклиная тебя, Хельга, открой мне правду, – сказала она, заглядывая в глаза подруге. – Ведь у меня рак? И я скоро, совсем скоро умру? Ведь так? Скажи, умоляю тебя...

– Успокойся пожалуйста, – отвечала Хельга, поправляя сбившиеся одеяло. – У тебя никакой не рак, и ты это знаешь не хуже меня. Ты ведь всегда, сколько я помню, была подвержена этой противной простуде, вот она и обострилась... Правда, в нашем с тобой возрасте это, конечно, тоже не подарок... Но не волнуйся, побольше спи, принимай свои лекарства и ни в коем случае не вздумай вставать!

– Даже для того, чтобы посмотреть, как восходит и заходит солнце? – грустно улыбнулась Анна-Лиза. – Ах, как это жестоко... Ты ведь знаешь, как я люблю солнце и как страдаю, когда выпадают особенно темные, глухие зимы. Раньше я бежала от них на юг, и мне бы не возвращаться оттуда никогда, но, увы, я всегда была слишком привязана к родине... Это и сгубило меня. Да, сгубило...

– Опять ты говоришь глупости, моя дорогая, – уже несколько утомленно отвечала Хельга. – Мы с тобой еще много-много раз будем радоваться твоему любимому солнышку. А теперь давай-ка я сделаю тебе укол, и спи себе спокойно до самого утра, моя милая подруга.

Ты – чудо, моя добрая Хельга, – прошептала Анна-Лиза, целуя на прощание руку подруги.

Что до Хельги, то, покидая комнату умирающей, она подумала, что надо бы ей все-таки навестить самой к доктору Бауманису.

Глава 5. Среда.

С самого утра Анна-Лиза почувствовала себя как никогда плохо, и Хельга, наконец-то, решилась, удивляясь самой себе, что не сделала этого раньше, отправиться в клинику Бауманиса, чтобы с глазу на глаз потолковать с самим «богом медицины», а не с каким-то там Шварцем, который только то и умеет, что совать нос в чужие дела.

Была среда, полдень, когда, закрыв дверь в комнату Анны-Лизы и захватив с собой ридикюльчик, в котором находились носовой платок, паспорт, флакончики с духами и нюхательной солью, пудра, помада и немного денег на проезд, Хельга вышла из дома. Пройдя по красной кирпичной дорожке, она несколько чопорно кивнула садовнику Микелису, который аккуратнo прикрыл за ней чугунную калитку.

Через старый, сумрачный парк Хельга направилась в сторону трамвайной остановки. Пригожим выдался тот день последней декады сентября: с Даугавы дул свежий, пахнущий морем, ветер, торжественно шумели деревья, роняя на тропинки желтую и красную листву. Близились холода, и уже нежаркое солнце рассеянными бликами играло в нестриженных кронах деревьев, на узких, путаных дорожках и уютных полянках старого парка.

Была среда. Полночь.

Темноту больничного коридора тускло освещали лишь несколько лампочек. Одна из них горела над столом, за которым сидела сестра милосердия Ирма Ледогорова. По правую руку от нее покоился пухлый журнал для записей, по левую – учебник химии. Пахло карболкой и йодом. Скрестив ладони под подбородком, Ирма пристально вглядывалась в свое собственное отражение в темном окне. Казалось, она глубоко о чем-то задумалась.

Часы пробили двенадцать. Ирма зевнула и, раскрыв журнал, сделала необходимую пометку. Она потянулась, было, к учебнику, когда за ее спиной раздался тихий голос доктора Шварца:

– Все грызете гранит науки?..

Доктор сегодня дежурил по клинике. Устраиваясь на маленьком стуле возле Ирмы, он с нежностью посмотрел на девушку.

– Неугомимая, прекрасная Ирмхен... – проговорил доктор, словно беседуя сам с собой.

– Вы пришли делать мне комплименты? – усмехнулась Ирма.

– Ни боже мой! – доктор протестующе поднял ладони. – Вы в нихнисколько не нуждаетесь... Я только хотел сказать, что сегодня у нас была ваша матушка... Вы знаете об этом?

– Да, знаю. – Ирма инстинктивно напряглась, выпрямившись на стуле.

– Кажется, она нам не доверяет, – вздохнул маленький доктор.

– Не принимайте это близко к сердцу. Она никому не доверяет, даже себе.

И снова, скрестив ладони под подбородком, Ирма посмотрела на доктора Шварца в упор:

– У вас теперь обход?

– Да, Ирмхен, тяжкая обязанность – обходить чистилище в эту темную осеннюю ночь... – доктор Шварц снова вздохнул, грустно глядя на Ирму.

– Заходите после обхода. Выпьем кофе или чаю. Что вы предпочитаете? Впрочем, я заварю и то и другое.

– Хорошо, – доктор кивнул, посмотрел на часы. – Пора, – сказал он, поднимаясь со стула, и засеменил по длинному больничному коридору.

Проводив Доктора Шварца взглядом, Ирма раскрыла учебник. Она прочитала всего несколько страничек, захлопнула книгу и снова стала изучать свое тусклое отражение в ночном окне.

«Лицо желтое, как у покойника, и надбровные дуги как-то уж слишком нависают, совсем не видно глаз, – подумала Ирма. – Поразительно, как меняется внешность в зависимости от освещения...»

Наверное, подул ветер, потому что ветки тополя, росшие у самой стены здания, глухо застучали в окно. Ирма нахмурилась. За многие дежурства она успела привыкнуть к ночным звукам, шорохам, но теперь ей отчего-то стало не по себе. Она вздохнула с облегчением, когда большой из третьей палаты громко потребовал утку...

Была полночь. Среда.

Глава 6. Среда, около полуночи. Убийство.

Когда многотерпеливый драндулет фирмы «Руссо-Балт» доставил на место преступления следственную группу, в ночном парке было светло от дежурных прожекторов. Вокруг трупа пожилой женщины выстроились сотрудники младшего состава следственного управления. Поблагодарив всех за оперативность и раскуривая трубку, Стефан Куролис кивнул медэксперту Альфреду Другису, чтобы тот начинал осмотр тела. Затем подозвал к себе белобрысого, круглолицего сержанта по имени Лудис Скуй.

– Ну что, сержант, делали предварительный осмотр?

– Тут такое дело, – начал сержант, откашлявшись и глядя попеременно то на старшего инспектора, то на младшего. И нетрудно было заметить, что, когда сержант смотрел на Яниса Бангу, в его круглых, бледно-голубых глазах сквозило восхищение, если не собачья преданность.

Крестьянский сын и в недавнем прошлом пахарь из земгальской глубинки, сержант Скуй благоговел перед всякого рода ученостью. Так что Янис Банга, человек, получивший даже не одно, а, по слухам, два университетских образования, казался сержанту полубогом – не то что старший, который всего-навсего выслужился. Выслужиться может и он, Лудис, если, конечно, повезет...

– Такое, значит, дело получается, – повторил сержант и, чуть понизив голос, добавил. – «Болотный огонек».

– Это тот залетный бандит? – спросил Янис крестного, но он, будто не слышав вопроса, снова обратился к сержанту:

– «Болотный огонек», говоришь? – и, показывая трубкой на покойницу, добавил. – У нее что, был солидный «груз»?

– В том-то и дело, – начал было сержант Скуй, но его прервал громкий голос мед-эксперта:

– Стефан, подойди-ка сюда. Здесь кое-что интересное!

Махнув доктору рукой, мол, «сейчас подойду», старший инспектор взял Яниса за локоть и сказал:

Пошли со мной, это и тебе будет интересно...

– ...Видишь этот след от удара ножом, – объяснял крестнику старший инспектор, когда они уже сидели на корточках возле трупа. – Крученный, снизу вверх и как будто клином? Запомни его хорошенько. И вообще старайся запоминать формы ножевых ранений: они редко обманывают. Этот вот удар мог принадлежать только одному человеку: Ясю по кличке «Болотный огонек».

– Почему «Болотный огонек»? – не понял Янис.

– Да потому что болотный огонек и есть: то тут мелькнет, то там. Никто о нем ничего толком не знает, кроме того, что я тебе уже рассказал, но это своего рода «фирменная метка».

– «Фирменная метка»? – Янис хмыкнул, покачал головой. – Что-то слабо мне верится в эти фирменные метки. Не мудрите ли вы, часом, крестный?... Вот смотрите. Предположим, некий Икс пырнул ножом некоего Игрек, и удар этот будет как две капли воды похож на удар «Болотного огонька», хотя сам Икс об этом ни слухом, ни духом.... Разве не может быть таких совпадений?

– Практически нет, молодой человек, – вмешался доктор Другис, который до сих пор с насмешливым любопытством наблюдал за процессом «обучения крестника крестным».

– Почему не может? – нахмурился Янис. – Объясните, пожалуйста, если я чего-то не понимаю...

«Да чему же тебя, сосунок, в университетах учили?» – хотел сказать Альфред Другис, но вслух произнес:

– Объясняю любопытному юноше. Видите ли, человек, как биологическая машина, мало приспособлен к идентичному воспроизведению чего бы то ни было. Природа вообще склонна к разнообразию: рост, вес, привычки, движения, система мышления, даже отпечатки пальцев – все имеет свою «фирменную метку», как выразился ваш крестный. Надо только уметь это видеть. Но в начале надо это понять.

– Угу, – промычал Янис, потирая шею. – Кажется, начинаю понимать... Благодарю за информацию.

– Разрешите доложить, – вмешался тут в разговор старший сержант Скуй. – При убитой нашли один лишь крошечный ридикюльчик. В него солидная сумма не влезет, на какую «Болотный огонек» падок. Да и сама убитая, прошу прощения, на богачку не тянет. Сомневаюсь я, что «Болотный огонек» ее порешил, старуху эту.

– Но удар-то его, Яся! – Инспектор Куролис хлопнул сержанта по широкому плечу.

– Ваша правда, господин старший инспектор, удар его, тут уж не поспоришь! – Лудис почесал затылок. – Чертовщина какая-то, с позволения сказать – да и только!..

Альфред Другис иронически хмыкнул, а старший инспектор Куролис подытожил разговор тем, что громко, обращаясь ко всем сразу, сказал:

– Ладно, ребята, хватит трепаться! Труп – в морг, вещдоки – на экспертизу!..

Глава 7. Четверг.

– Видишь ли, сынок, – объяснял вечером следующего дня старший инспектор Куролис Янису Банге, – «Болотный огонек» – не совсем обыкновенный убийца. Он убивает только ради больших или очень больших денег. А в ридикюле убитой дамочки среди прочего барахла – всего несколько лат и горстка паршивых сантимов. На приличную выпивку не хватит... Загадка... Но вот что нам удалось установить: дамочка эта убитая – вдова некогда известного коммерсанта, Афанасия Ледогорова... Может, слышал? Одним из богатейших людей в Латвии лет десять - пятнадцать назад был, между прочим...

При упоминании фамилии «Ледогоров» Янис, наверное, несколько изменился в лице, потому что, внимательно глядя на крестника, Стефан Куролис участливо сказал:

– Что-то ты бледный сегодня. Не заболел, часом?

– Да нет-нет, – отвечал Янис, – это с недосыпа... Так вы полагаете, тут есть какая-то связь?

– Все может быть, – старший инспектор откинулся на спинку кресла и, внимательно глядя на крестника, проговорил. – Вот ты и выясняй, где тут «собака зарыта» Раскручивай это дело, сынок, только не затягивай.

– Янис не верил своим ушам. Он даже рот раскрыл от удивления.

– Ну что ты на меня так смотришь? – крестный усмехнулся, поглаживая усы. – Пора обрабатывать казенный хлеб! А то засиделся в «девках»...

Для начала Янис пригласил к себе в кабинет младшего сержанта Лудиса Скуя. Во – первых, это именно он производил предварительный осмотр тела, но, главное, за внешней простоватостью сержанта Янис прозревал недоужинную крестьянскую смекалку. Он уважал мнение служаки – Скуя, который, к тому же, был на редкость исполнительным малым.

– Ну, что скажешь, дружище Лудис? – приветливо спросил младший инспектор. Он сидел, развалившись в своем кресле, и, словно бы от нечего делать, рисовал на синей линованной бумаге знак микрокосма.

Сержант, переминаясь с ноги на ногу, стоял рядышком, то и дело потирая круглый белообрый затылок.

– Так ведь это... – проговорил он, как зачарованный смотря на рисунок. «Экую штуку нарисовал младший инспектор! Иному и во сне не приснится – а он нарисовал... Вот что значит образование!»

– Да ты садись, дружище, – пригласил Янис, видя смущение сержанта и подсиживая меж тем буковки к знаку микрокосма.

– ...Я хотел сказать, что темное это дело, господин инспектор, – отвечал сержант, подсаживаясь к столу. – Как бы «глухаря» не вышло... Я это к тому, поспешил добавить он, заметив, что чело младшего инспектора начинает хмуриться, – традиция есть такая, чтобы не слазить, значит... А если

серьезно, никак я в толк не возьму, зачем это понадобилось «Болотному огоньку» ту дамочку жизни лишать. Что за интерес ему убивать старуху, у которой в ридикюльчике денег – кот наплакал?

– Да-а, кот наплакал... – Янис вздохнул и, отбросив карандаш в сторону добавил. – Между прочим, когда-то эта старуха была одной из богатейших женщин Латвии. Относится ли это обстоятельство к делу – вот в чем вопрос. Лично я сомневаюсь...

– Наверняка относится, – оживился Скуй. – Может, она убийцу чем обидела, когда богачкой была?..

– Думай, что говоришь! – младший инспектор постучал пальцем по лбу. – То когда было? Лет десять тому назад, никак не меньше. А «Болотный огонек» бесчинствует у нас года два, никак не больше.

– Ваша правда, – отвечал сержант, почесывая за ухом. – А что если тут политика замешана? Муж у нее русский был. Мало ли что: документы какие-нибудь, старые связи, деньги из партийной кассы?..

– Всякое на свете бывает, – пожал плечами младший инспектор, – но это вряд ли. Ведь Афанасий Ледогоров давно умер, предварительно, к тому же, успев разориться. Так что же, в таком случае, выигрывал Ясь? Даже если предположить, что он связан с неким русским подпольем. И потом, причем здесь Хельга? Она-то не русская.

– Может, Ледогоров передал ей все документы и тайные счета? – предположил Скуй.

– Тем более не имело никакого смысла ее убивать, – возразил младший инспектор. – Ведь мертвый-то уже ничего не скажет и ничего не отдаст

– Да-а, – опять правда ваша, – сокрушенно протянул сержант. – Но тогда, как уж хотите, остается одно: месть! Думаю, хотят они всю семью под корень извести.

– Эх тебя занесло, дружище! У нас тут, поди, не Сицилия. Кстати говоря, – спросил Янис сержанта, – этот «Болотный огонек», кто он по нации? Русский, поляк или все-таки из наших?

– Точнее всего получается, что поляк, – отвечал сержант. – Один подследственный – не знаю уж по какой причине, может зуб у него имелся на Яся – дал такую наводку: мол, есть у этого бандита две татуировки. Одна – на правом предплечье, там обыкновенная: «Ясь» и год рождения, – сержант на минутку задумался, – 1883, кажется. Вторая – на груди, и там написано польски. Эх, дай бог памяти... как же тот парень говорил... Ага, вспомнил! В общем, ежели язык не ломать, а сказать просто, по-латышски, то получается так: «Еще вольность не сгинула», – сержант Скуй даже пот отер со лба и шеи. Он ждал благодарности, но в ответ услышал нечто другое:

– И ты мне только теперь это говоришь, Олух Царя Небесного, не в обиду будь сказано! В общем, так: завтра же свяжись с поляками. Наверняка найдется у них его фото и анфас, и в профиль. Для верности пошли телеграмму в Литву. Наверняка он через Литву к нам заявился, этот чертов сын... Все понял?

Так точно, господин младший инспектор! – отчеканил сержант, вскакивая из-за стола.

– Да ладно тебе, садись, – махнул рукой Янис. И вот еще что. Будешь отсылать телеграммы, не забудь добавить, что жертвой оказалась вдова известного коммерсанта, гордости латышской нации. О том, что он был русский – ни слова. У поляков на русских «зуб».

– Понял! Все так и сделаю, господин младший инспектор!

– Ну и хорошо, – подытожил разговор Янис и неожиданно спросил. – Ты, случаем, есть не хочешь?

– Да, честно говоря, с утра во рту маковой росинки не было, – пробормотал сержант, сгорая от смущения.

– У меня тоже, – сказал Янис. – Вот и перекусим сейчас на пару, кофейку попьем, а уж завтра, с утра...

Да, я завтра с самого утра на телеграф и...

– Вот-вот, молодец, – похвалил его Янис, доставая из сейфа бутерброды. – Ты – на телеграф, а я тоже кое-куда отправлюсь... Да ты кофе-то не жалея, не жалея, наливай полную чашку.

Сержант Скуй буквально млея от нежданной чести трапезничать с младшим инспектором, «ученым» инспектором Бангой.

Глава 8. Замок. Пятница.

В тот день, ближе к полудню, Янис отправился по адресу, указанному в паспорте убитой. Выйдя из управления, он некоторое время шел пешком. «Неужели убитая – мать Ирмы, – думал Янис, – или это простое совпадение»? Не доходя немного до Немецкого театра, он остановил такси и, удобно устроившись на заднем сиденье, назвал адрес.

– Далекое будет, – пробасил водитель. – Это, почитай, пол дороги до Сигулды, а я всю ночь пахал!

– Ничего, ничего, – махнул рукой Янис. – Будут хорошие чаевые!

Если честно, Янису просто было жаль покидать теплое местечко и ловить другую машину.

– Ну что ж, за хорошие чаевые можно, – согласился таксист.

Это был старинный величественный особняк, скорее даже замок. Окруженный чугунной оградой, он стоял на вершине небольшого холма. Поднявшись по ступенькам, Янис обошел особняк со всех сторон, любуясь камнями стен, массивным фронтоном, пышно увитым пожелтевшей теперь, осенью, виноградной лозой, внушительного вида квадратной башней с длинным шпиком и флюгером в виде скачущего рыцаря. С южной стороны замка разросся великолепный сад.

Вернувшись к калитке, Янис обратился к подметавшему красную кирпичную дорожку колченомому мужичку в черной шляпе с обвислыми полями:

– Бог помощь, старина! А что, хозяева дома?

Пробормотав себе под нос что-то неразборчивое, мужичок перестал мести и, глядя на незнакомца с настороженным любопытством, сказал:

– А это смотря по тому, кто вам нужен, господин хороший! Я вот, к примеру, тоже хозяин кое – чего, только об этом мало кто знает...

– Мне нужна Хельга Ледогорова.

Мужичок отрицательно помотал головой:

– Этой нет. Да и не хозяйка она мне, к вашему сведению. А хозяйка моя болеет, не встает уж давно. Так уж и не знаю, чем смогу вам помочь, господин хороший! А что у вас за нужда до Хельги-то? Дочки, вон, ее дома. Может, они что подскажут...

– А ты, значит, так-таки ничего и не знаешь?

– Эге, а чегой-то ради я должен говорить, да и кто вы такой? Что-то я вас не припомню...

– Сейчас ты у меня мигом все вспомнишь, – сказал Янис и, поманив мужичка к ограде, показал ему свое полицейское удостоверение.

– Вот-те на! Да что ж вы сразу не сказали... – испуганно забормотал мужичок, открывая калитку. – Что до Хельги, так уж два дня ни слуху ни духу... А хозяйка моя, – мужичок понизил голос, обдавая Яниса винными парами, – и не спит вовсе, а померла она прошлой ночью, а может и раньше. А врача так до сих пор и не вызвали. Все будто ждут чего-то, а может напуганы до смерти... Я вот тоже с перепугу принял лишнего ... Эко дело: был человек – и нет человека... И то ведь страшно, что не кто-нибудь, а хозяйка! Что теперь делать-то? Работу в наши дни найдешь не запросто...

– Когда ты видел Хельгу в последний раз? – прервал излияния мужичка Янис.

– Микелисом меня зовут, садовник я здешний... Хельгу видел два дня назад, в полдень дело было. Быстро прошла через двор, мне кивнула: мол, здравствуй Микелис... И с тех пор так и не приходила домой. Исчезла, как в воду канула. Да-а, вот такие дела... А что, может вам что известно? – он с надеждой посмотрел на Яниса.

– Спасибо, Микелис, ты можешь мне еще понадобится. А пока ступай, занимайся своими делами.

Поднявшись на высокое крыльцо, Янис позвонил, но, словно бы не удовлетворившись этим, несколько раз стукнул в дубовую резную дверь массивным дверным кольцом. Когда на пороге появилась Ирма, Янис уже не был удивлен. Внутренне он был готов к этой встрече. Что же до девушки...

– Янис... Ты? – прошептала Ирма, перебирая янтарные бусы на груди. – Как ты меня нашел?.. Впрочем, что я говорю... Я так ждала тебя! – и в минутном порыве она прильнула к нему. – Ты мне очень нужен, Янис, правда-правда... У нас тут такое творится... Не знаю, что и думать, голова идет кругом...

Может, для начала войдем в дом? – Янис улыбнулся, нежно обнимая девушку за плечи

– Ах да, прости... Конечно же, пойдём...

И, взяв Яниса за руку, она повела его в полумрак замковых коридоров. То тут, то там открывались лестничные пролеты, грозно нависали мощные низкие балки, открывались глубокие темные ниши, таинственные проходы, ведущие бог весть куда...

– Ну и жилище! – вслух подумал Янис, оглядываясь по сторонам. – Тут, небось, на чердаке и совы водятся, и летучие мыши, а в подземелье полно крыс и скелетов...

И, уже обращаясь к Ирме, спросил:

– Не жутковато тебе здесь? Домишко-то, как видно, старый... Привидения по ночам не тревожат?

– Нет, что ты, – отвечала Ирма, – нисколько здесь не страшно. Я привыкла к этому дому, люблю его. У меня тут есть свои секреты... Между прочим, дом действительно очень старый. Это настоящий замок XVII века!

Они оказались в просторной, светлой комнате, откуда открывался красивый вид на широкое поле. Открытый всем ветрам, стоял там, мужественный в своем одиночестве, черный как смоль дуб. Чуть дальше, у самой гряды леса, поблескивало тусклым серебром небольшое грустное озеро...

Стены комнат покрывали обои из тисненой золотом кожи. Мебель вся сплошь была тяжелая, старинная – это Янис, дока по части столярного ремесла, мог определить на глаз, без напильника и лупы.

Посреди комнаты стоял огромный, овальной формы стол. Его окружали стулья с высокими резными спинками. По углам – несколько диванчиков, широкие и страшно неудобные для любителей поспать сидя, кресла. Еще несколько курительных и карточных столиков и в правом углу, у окна, настоящий концертный рояль.

«Наверное, – подумал Янис, гости и хозяева, разомлев от вечернего чая с пирожными, любили отдать должное музам»...

Ну, что у тебя стряслось? – спросил Янис, усаживаясь рядом с Ирмой на один из диванчиков. – Давай рассказывай, только по порядку, – он взял ее за руку.

– Ох, Янис, так трудно все это рассказать... – Ирма судорожно перевела дыхание. – Короче говоря, все было так... Два дня назад моя мама ушла из дома и до сих пор ее нет. Мы не обращались в полицию только из страха, что подтвердятся самые худшие опасения. Все ждем, все надеемся на лучшее... Поэтому мы ничего не сказали Анне-Лизе. Не хотели ее пугать, но, видно, она сама о чем-то таком догадалась, и сердце ее не выдержало... Когда сегодня утром я вернулась с дежурства, она лежала на полу возле кровати, мертвая, и на чепчике несколько капель крови... – девушка всхлипнула и прикрыла лицо ладонью. – Ох, Янис, мне так страшно! Можно я позову Аннушку? Она не покидала дом и сможет тебе все лучше меня рассказать.

– Кто такая Аннушка?

– Аннушка... – слабое подобие улыбки озарило бледное лицо Ирмы. – Она – все в нашей семье: и кухарка, и домоправительница... Когда-то она была нашей кормилицей и так привязалась к нам, что осталась даже, когда

отец разорился и умер. Она иной раз бывает грубоватой, но ты не обращай внимания. Она самое доброе существо на свете, наша Аннушка.

– Хорошо, – сказал Янис, – но как же мне ее называть, не Аннушка ведь? Есть фамилия у этой достойной женщины?

– Называй ее госпожа Кейша. Ей это жутко нравится. Она чуточку тщеславна – она ведь из Латгалии... Ну, я побежала, ага? Я скоро...

Оставшись один, Янис принялся от нечего делать изучать комнату. Обследовал карточные и курительные столики – ничего интересного: замусоленные карточные колоды, какие-то старые счета, трубки с обгрызенными мундштуками, которыми явно не пользовались уже много-много лет. В жестяных коробочках – несколько выветрившийся, но еще душистый табак... Еще щеточки, щипчики, пыжи и прочая дребедень – святая святых истого курильщика трубки.

Бросив это никчемное занятие, Янис подошел к окну.

«Какой истинно латвийский пейзаж получается благодаря этому мужественному дубу, – думал Янис Банга, сосредоточенно глядя в широкое поле. – А это грустное, неприметное на первый взгляд озерцо... Что-то в нем есть такое... Бьюсь об заклад, что и флотским линем не прощупаешь его дна...»

Тут Янису припомнился стишок, что еще студентами сочинили они с Эгилем Стренгой:

*Глубоки озера Латвии,
Глубже не бывает.
Прямо в ад они ведут,
Где огонь пылает.
Йо-хо-хо! Йо-хо-хо!
Где огонь пылает...*

В этот самый момент в комнате появились Ирма и Анна Кейша с большим подносом, на котором красовался старинный серебряный кофейник, блюдо с бутербродами и несколько чашек, расписанных розанами.

Анна Кейша, предварительно подстелив салфетку, чтобы не попортить дорогую столешницу красного дерева, водрузила поднос на столик, придвинув последний к дивану.

Ирма, успевшая за это время собраться с мыслями, принялась по-хозяйски наливать кофе в чашки.

Анна Кейша поглядывала на все это с видимым неудовольствием: «Вот ведь чем приходится заниматься, когда в доме покойник неубранный лежит! Да и с хозяйкой неведомо, что за беда приключилась...» – думала старуха, и мысли эти ясно читались на ее мясистой физиономии с густыми, еще черными бровями.

– Мне прямо сейчас все докладывать или дожждаться, пока господин хороший кофе напьется?

– Рассказывайте прямо сейчас, – сказал Янис, откусывая бутерброд, – мне

это не помешает. И главное: побольше подробностей. Любая мелочь может на проверку оказаться важным фактом.

Старуха заметила, что рассказать-то она, конечно, расскажет, только рассказывать-то особенно нечего.

– Это ничего, – подбодрил ее Янис. Между делом он расправлялся уже со вторым бутербродом. – Вы, главное, не тушуйтесь, госпожа Кейша, – здесь все свои.

– Свои? – серые глаза старухи стали совсем круглыми от удивления. – Я вот вас, сударь мой, первый раз в этом доме вижу, и кто вы такой знать не знаю!

Но Аннушка! – Ирма даже хлопнула с досады ладошками по столешнице. – К чему это упрямство? Я же говорила тебе, что это мой друг, он юрист, и ему можешь рассказать все, что знаешь.

– Юрист... Знаем мы этих юристов, – проворчала старуха. – Ладно, расскажу... Да только повторяю, что рассказывать-то, по новости говоря, нечего... Ушла хозяйка – ну Хельга наша – дай бог памяти... в самый полдень. Часы еще двенадцать раз пробили. Я подумала: «Погодка хорошая – чего б не прогуляться. Плохо только, что на пустой желудок пошла...» Хотела догнать ее, уговорить покушать на дорожку, да куда там! Она, Хельга-то, всегда скорая была: тук-тук своими каблучками... Смотрю, уже за калиткой. Ну ладно, – думаю, коли так, пускай себе идет не евши. Так вот два дня и ходит неведомо где... Только о том и молюсь, – старуха перекрестилась, – чтобы худа не вышло. Сами, небось, знаете, сколько мазуриков нынче развелось.

– Хорошо, – сказал Янис. – Ну а Анна-Лиза? Когда вы обнаружили, что она умерла?

– А перед завтраком! Понесла ей молочко – любила она тепленькое с сахаром по утрам. Ну и там прибрать за ней и все такое... Глядь – а она на полу лежит, и на чепчике-то – беленький такой у нее чепчик был – пятнышко крови: видно, ударилась обо что-то. Лежит и вроде бы не дышит.

Вроде бы... – вздохнув, пробурчал Янис. – Врача надо было вызвать, госпожа Кейша, врача!.. Ай, ладно, – он махнул рукой и обернулся к Ирме. – Ты-то что скажешь? Ты ведь медик. Ты ее осмотрела? Подавала она какие-нибудь признаки жизни?

– Нет, – Ирма отрицательно покачала головой. – Когда я пришла с дежурства, она уже была мертва. За это я могу ручаться... Видишь ли, Янис, дело в том, что Анна-Лиза уже долгое время совсем не вставала с постели. Мы с мамой попеременно делали ей уколы... А тут, видишь, все одно к одному: может, она встала, чтобы позвать Хельгу, когда та не пришла утром как обычно... А может чувствовала, что умирает и хотела напоследок посмотреть на солнышко... Знаешь, она очень любила природу: солнце, небо, траву... А тут эта болезнь... Она сильно тосковала. Все просила, чтобы ее хотя бы на часок вынесли в сад. Но доктор Шварц не одобрял этого – ведь сейчас уже прохладно... Бедная Анна-Лиза... Как все это грустно, – Ирма смахнула слезинку с покрасневших глаз.

– Ну-ну-ну, успокойся, – Янис принялся утешать девушку.

На какое-то время воцарилось молчание. Его прервал Янис:

– Анна-Лиза умерла, и мир ее праху, – сказал он, хлопнув ладонью по коленке. – Скажи, твои сестры дома?

– Они спят, – тихо отвечала Ирма.

– Разбуди их, пожалуйста. И пусть все соберутся в этой комнате.

Ирма внимательно посмотрела на Яниса и уже открыла рот, чтобы что-то спросить, но передумала и, обращаясь к няньке, сказала:

– Аннушка, милая, приведи сюда сестер. Янис говорит, что это необходимо.

– Ладно, – проворчала старуха, – приведу. Оно и верно: давно уж пора им просыпаться, засоням этим.

И, покачиваясь на ходу всем своим могучим корпусом, Анна Кейша отправилась исполнять приказание молодой хозяйки.

Наконец сестры были доставлены. С наспех уложенными волосами, без следов какой бы то ни было косметики, в легких халатиках и домашних туфельках, они выглядели очаровательно. Полина сразу рухнула в кресло, положив ногу на ногу. Марианна облюбовала себе маленький диванчик, где и свернулась калачиком.

– Что вам от нас нужно, чужой человек? – спросила она, зевая, и, тряхнув белокурыми кудряшками, добавила. – Какой сон не дали досмотреть...

– Ой, не говори! – вторила сестре Полина, расправляя на плечах кружева халатика и покачивая туфелькой с ярко-красным помпоном.

Вдоволь налюбовавшись проявлениями вечной женственности, Янис сказал, обращаясь к Ирме:

– Знаешь что, напои-ка их кофе! А то, боюсь, разговаривать нам будет трудно.

Кофе ли так подействовал или сестры так наигрывали, но скоро Янис почувствовал, что девушки способны отличить черное от белого.

– Всех прошу внимания! – Янис выложил на стол паспорт Хельги. – Пусть каждая из вас по очереди посмотрит на фотографию в этом паспорте и скажет, не напоминает ли кого-либо изображенная на ней женщина. Если вопросов ко мне нет – прошу! Ирма, начнем с тебя.

Едва он произнес эти слова, как Марианна, с проворством кошки спрыгнув с дивана, в мгновение ока оказалась возле стола.

– Что за черт! – воскликнула она, едва раскрыв паспорт. – Это же наша мама! Откуда у вас ее паспорт и кто вы такой, в конце концов?

Остальные молчали. Ирма молчала, покусывая губу. Анна Кейша – сложив на коленях жилистые руки и устремив взор в пространство. Полина – продолжая поигрывать туфелькой, не сводила глаз со своих красивых, несколько полных ног.

– Я еще раз спрашиваю, – настаивала Марианна, – кто вы такой и откуда у вас паспорт нашей матери?!

– Младший инспектор уголовного розыска Янис Банга – к вашим услугам. И, пожалуйста, без фокусов! У нас очень мало времени Ирма... Госпожа Кейша... Полина...

Он предъявлял паспорт остальным участникам дознания.

Получив положительный ответ, Янис спрятал паспорт обратно в нагрудный карман.

– Теперь слушайте меня внимательно и постарайтесь проявить максимум спокойствия. В среду вечером ваша мать была найдена мертвой в парке, неподалеку от клиники Бауманиса.

– Господи Иисусе! – воскликнула Анна Кейша.

– Сестры молчали. Они даже старались не смотреть друг на друга.

– Ладно, – сказал Янис. – С этим покончено. Теперь еще один вопрос: кто пойдет на опознание трупа?

– Я, – тихо ответила Ирма.

– Хорошо, – Янис кивнул. – А теперь, пожалуй, все могут быть свободны Ирма, а ты останься, я хочу задать тебе несколько вопросов.

– Скажи, Ирма, – начал Янис, поудобнее устраиваясь на диване, когда они, наконец, остались вдвоем, – ты хорошо помнишь своего отца? Он ведь умер, если я не ошибаюсь, лет десять тому назад?

– Да, я помню его...

– Не замечала ли ты чего-либо... Короче, я хотел спросить, не слышала ли ты в семье каких-нибудь разговоров о политике? Не был ли он в «Белом движении»?

– Нет. – Ирма покачала головой. – Насколько я знаю, отец интересовался только коммерцией. А в семье это был простой, веселый человек.

– Хорошо, – Янис внимательно разглядывал носок своего ботинка. – Ну а ваша мать? Не было ли у нее врагов, каких-нибудь недоброжелателей – из числа родственников, например?

Ирма печально усмехнулась:

– У нас не осталось родственников по линии Альвинг после смерти бабушки и дедушки. А что до врагов... нет, их у мамы тоже не было... У нее была только одна подруга, Анна-Лиза.

– То есть, можно сказать, что твоя мать была настолько одиноким человеком, что даже врагов у нее не водилось?

– Да, пожалуй, так. У нее никогда не было и друзей, откуда же взяться врагам? Она вела замкнутый образ жизни. Мало кого любила, никому не верила, порой даже себе.

– Скверно... – пробормотал Янис. – Теперь, Ирмочка, главный вопрос. Видишь ли... – он улыбнулся, – когда мы с тобой пили шампанское, ты мне рассказывала что-то о семейных тайнах. Должен сознаться, тогда я слушал тебя невнимательно. Каюсь! Но заслуживаю прощения: опьянел от твоей близости... Расскажи-ка мне еще раз, что это там за история с наследством?

– Имеет ли это значение теперь?..

– Имеет, имеет, и даже очень большое.

– Ну, если так... – Ирма пожала плечами. – Дело в том, что у Анны-Лизы был рак. Наверное, она догадывалась об этом, хотя предпочитала верить в осложнение после инфлюэнцы. Она очень хотела оставить имение нам, но, как это часто бывает, соглашалась оформить завещание в нашу пользу только

при условии, что Хельга откроет ей правду. Мать категорически отказалась. Я имею в виду, она предпочитала обманывать во благо самой же Анны-Лизы. Ну а я... я просто не знала, что делать...

В тот день, когда мы с тобой познакомились, я как раз нуждалась в чьем-нибудь совете. Я на тебя рассчитывала, а ты, оказывается, не слушал меня... Что ж, теперь уже Анны-Лизы нет, мамы тоже нет... Все, абсолютно все потеряно...

– Потеряно, насколько я понимаю, для вас, Ирма. Но ведь у Анны-Лизы или ее мужа, наверное, были родственники?

– Не знаю, – немного растерянно ответила Ирма. – Ни разу не слышала о родственниках Анны-Лизы или господина Озолса.

– Вот даже как... – Янис удивленно приподнял бровь. – Ладно, Ирма, благодарю тебя за информацию, хоть и неутешительную.

– Почему неутешительную?

– Да ухватиться не за что!

– А почему надо обязательно за что-то хвататься? «Бог дал – бог взял», как любит говаривать наша Аннушка.

– Так то Бог, а у общества свои законы.

– Все законы придумывают либо от скромности либо от жадности... – как-то отрешенно проговорила Ирма.

– Да вы анархистка, мадмуазель Ледогорова – усмехнулся Янис.

– Ага! Дикая утка... – Ирма невесело рассмеялась. – но скажи, только честно, неужели ты считаешь иначе?

– Я, как лицо заинтересованное, воздержусь высказывать собственное мнение, – улыбнулся Янис... А теперь вот что. Завтра тебя будут ждать на опознании. Пропуск закажем на 10.00. – Янис посмотрел на часы. – Я должен идти... Покажи, где тут у вас телефон: надо же в конце концов вызвать медиков...

Проводив Яниса до калитки, Ирма вернулась в дом. Немного помедлив, она поднялась по широкой винтовой лестнице на второй этаж.

– Ну что? – спросила Полина. Она сидела перед зеркалом, укладывая волосы. Марианна сидела рядом и курила длинную сигарету в янтарном мундштуке.

– Ничего особенного, – отвечала Ирма.

Присев в кресло, она вкратце поведала сестрам, о чем спрашивал ее младший инспектор Банга.

– Ерунда какая-то, – фыркнула Полина, внимательно разглядывая себя в зеркале.

– Ну отчего же, совсем даже не ерунда, – заметила Марианна, стряхивая пепел сигареты в большую хрустальную пепельницу. – Будь я на его месте, я бы, наверное, задавала те же самые вопросы. Вот только... – она не договорила. Неожиданно спросила. – Ну что, девочки, будем предаваться горю или повеселимся?..

– Ах, Марианна, Марианна! – Ирма покачала головой. – Неужели ты не понимаешь, что все потеряно. Мы на пороге нищеты... Ну ладно –

Полина: она выйдет замуж, это понятно. Я тоже свой кусок хлеба всегда смогу заработать. А что будешь делать ты, со своей мечтательностью и ленью?..

– Ты – добрая душа, Ирма. Ты из нас самая лучшая, – ласково отвечала Марианна. Ну не принимай все это так близко к сердцу. Как-нибудь выкрутимся. Не бывает безвыходных ситуаций. Бывают люди с безысходностью в душе – это другое дело... Ну, так что все-таки будем делать сегодня? Может, прогуляемся куда-нибудь?

– Вы как хотите, а я останусь ждать врачей... И потом, я хотела проштудировать сегодня химию... Как бы ни было это смешно, – сказала Ирма, поднимаясь с кресла, – но кто-то же в семье должен оставаться трезвомыслящим...

Ирма вышла из комнаты.

– Ну и зануда же наша сестрица! – сказала Полина, показывая язык закрывшейся за Ирмой двери. – Вылитая мамочка, царство ей небесное!

– В сущности, она права, – заметила Марианна. Она сидела, положив ногу на ногу и поигрывая янтарным мундштуком. – Именно поэтому мне ее особенно жаль. Наверное, это очень тяжело – все время оказываться правым.

Полина слушала сестру, открыв рот и часто моргая. Она явно не могла взять в толк, куда клонится разговор, который для ее житейского восприятия был чересчур высокомудрым.

– Послушай, Мари! Хватит с меня одной Ирмы. Скажи лучше, что теперь будет с наследством?

– Ты имеешь в виду этот замок?

– И замок, и все остальное...

– Не знаю, – сказала Марианна. – Замок, наверное, достанется какому-нибудь лютеранскому приюту. А что до остального: поживем – увидим!

– Ах, не все ли равно, – Полина махнула рукой и перебралась на кровать. – О деньгах Анны-Лизы я никогда не думала всерьез, даже не знаю, были ли они у нее. А эта старая дряхлая темница... Я только и мечтаю, как бы поскорее убраться отсюда куда-нибудь подальше... Знаешь, я недавно познакомилась с таким парнем... Между прочим, он капитан дальнего плавания!

– Наверное, еще чернее Гунара? – Марианна усмехнулась. – Смотри, докатишься так до какого-нибудь негра!

– Н-ну, он бронет... – задумчиво, точно припоминая все достоинства нового кавалера, проговорила Полина. – Крепкий такой, смугловатый, усы густоющие, жесткие, а глаза так и прожигают насквозь... Ах, сестричка, как бы мне хотелось уехать с ним туда, где круглый год лето! Так надоели эти распрोकлятые зимы. Ну что за удовольствие кутаться во всякое теплое тряпье, как старой бабе. Хочется весь год ходить в одном легком платьице! И чтобы вечнозеленые деревья, фрукты и всякое такое...

– Богатые у тебя запросы, – рассмеялась Марианна. – И в кого ты только такая уродилась?

– Как в кого? В папеньку! Ведь это он мотался по свету, наживал свои миллионы. Только мне повезет еще больше, вот увидишь!

Марианна ничего не ответила, вставила в мундштук новую сигарету. Подойдя к окну, она отдернула штору и долго, молча курила, глядя то на могучий черный дуб, то на тускло мерцающее вдали маленькое озеро.

– Говорят, оно бездонное, – тихо произнесла Марианна.

– Кто бездонный? – не поняла Полина.

– Да так, задумалась...

И, задернув занавеси, заметила, что пора бы чего-нибудь и съесть.

Полина с готовностью поддержала, найдя эту мысль единственно умной за все утро.

Глава 9. Завещание.

По дороге в управление Янис непрестанно думал о том, что рассказала ему Ирма. Насколько он мог понять из краткого замечания Ирмы, ее мать была женщиной не совсем обыкновенной, что называется, «со странностями». Отчего бы не предположить, что и подруга ее такова? Что если возня с завещанием – всего лишь каприз умирающей старушки? Может быть, она хотела испытать на прочность преданность своей подруги, а завещание давно оформлено и лежит там, где ему и полагается лежать: у адвоката семейства Озолс? Такой адвокат – фигура крупная, отыскать его не составит труда. «Наведаюсь к нему сегодня же!» – решил Янис.

Ивар Лиепинь, адвокат семьи Озолс, был пожилой, лысеющий, флегматичный человек с печальным взглядом светло-голубых глаз и с белой гвоздикой в петлице. Он принял инспектора весьма любезно и был готов отвечать на любые вопросы.

Знает ли он что-нибудь о завещании госпожи Озолини? Да, конечно, знает. Только – увы! Он не сможет предоставить его господину инспектору. Почему? Да потому, что оно изъято из его конторы и передано в другую. Да, по воле самой госпожи Озолини. В чем причина?

Господин Лиепинь, всплеснув руками и соединив их затем на груди пирамидкой, отвечал с тонкой улыбкой на бледных губах:

– Причуды богатых старушек!

Ему, господину Лиепиню, конечно, немного обидно. Как-никак, столько лет ему доверяли вести дела этой уважаемой семьи... Ну что ж, по роду своей деятельности он обязан быть терпеливым и превыше всего ставить желания и интересы клиента... У кого теперь завещание? Вообще-то, наипервейшим требованием Анны-Лизы Озолини было неразглашение этой тайны. Но к господину Банге, инспектору уголовной полиции, это, конечно же, не относится. Завещание передано в контору некоего Симеона Липниекса. Его адрес? Нет ничего проще...

Сняв с настольного прибора ручку с золотым пером, господин Лиепинь быстрым размашистым почерком записал адрес и передал его инспектору Банге.

Между прочим, – заметил он с оттенком легкого презрения в голосе, – контора Липниекса работает круглосуточно, Так что не бойтесь опоздать.

– Благодарю вас за ценную информацию, – с легким поклоном сказал Янис, убирая листок в карман. – У меня к вам, пожалуй, будет еще один вопрос: остались ли еще в живых родственники самой госпожи Озолини или ее мужа? Мне кажется, что на этот вопрос можете ответить только вы. Вы ведь знаете семью долгие годы. Если за эту информацию полагается отдельная плата...

– Я достаточно богатый и уважаемый человек, господин инспектор, – заметил адвокат с надменной улыбкой, – чтобы брать мизерную плату за мелкую услугу... Подождите меня здесь, в этой комнате. Вот в этой коробке вы найдете хорошие сигары.

С этими словами он вышел. Его место, видимо, по выработавшейся с годами привычке, занял огромный пятнистый дог. Положив массивную голову на лапы, пес, казалось, задремал. Но что-то подсказывало Янису, что лучше не шалить в присутствии сего молчаливого стража.

Вскоре появился господин Лиепинь. Итог его изысканий был таков: у самой Анны-Лизы прямых наследников нет.

Что же касается господина Озолса, то у него родственники имеются: родной брат, Имант Озолс, которому сейчас перевалило за шестьдесят. Вдвоем с женой они держат лавку под Лиепаей.

Адрес Иманта Озолса господин Лиепинь записал на таком же бледно-розовом листке, тем же золотым пером.

Еще раз поблагодарив изысканно-печального господина Лиепиня, Янис откланялся.

Теперь путь его лежал в контору Симеона Липниекса.

Симеон Липниекс оказался крошечным человечком в ермолке, с лицом неправдоподобно бледным, даже несколько зеленоватого оттенка. В первые минуты он отнесся к посетителю язвительно, что вообще свойственно пред-ставителям его расы. Однако удостоверение инспектора уголовной полиции очень быстро расположило маленького нотариуса в пользу христианина.

– Хорошо, очень хорошо, – сказал еврей, когда Янис изложил ему суть дела, подкрепив свое желание ознакомиться с завещанием покойной звонкой монетой. – Вам хотелось бы знать, кого из друзей покойница любила больше всех. Прекрасно. Это законное желание... Такой красивый, видный молодой человек, к тому же еще такой деятельный, такой предусмотрительный... О, это впечатляет, поверьте старому Симеону Липниексу...

Все это еврей бормотал себе под нос, отыскивая на замусоленных, грязных стеллажах папку с завещанием Анны-Лизы.

– Вот оно! – воскликнул, наконец, еврей, потрясая тоненькой синей папкой. Протягивая ее Янису, он добавил, осклабившись в улыбке, способной напугать Гога и Магога. – Узнайте, молодой человек, последнюю из тайн живущих и бранных. Иногда это бывает забавно, иногда – поучительно, хотя, в сущности... Но молчу, молчу... Не стану отвлекать господина инспектора своей старческой болтовней...

Янису не пришлось особенно удивляться, читая завещание. Главной наследницей становилась Хельга. Естественно, какая-то сумма денег выплачивалась девушкам одновременно, и довольно значительные суммы – им же в случае их замужества или смерти Хельги. Кстати, в случае смерти последней, особняк переходил в полную собственность старшей дочери, Ирмы. Малая толика отписывалась брату господина Озолса. «Наверное, она не слишком ладила с курляндскими родственниками», – подумал Янис.

Теперь, когда он знал, что завещание существует и есть возможные соискатели, ему крайне любопытно было побеседовать с этим Имантом Озолсом, содержателем лавки под Лиенапой. «Как знать, – думал Янис, – может ниточка ведет именно туда?»

Страной величиной с дубовый листок называют иногда Латвию. Может, оно и верно... Но вот начнешь куда-нибудь добираться, и окажется вдруг, что не так уж он и мал, этот дубовый листочек, и что путь от северной провинции Видземе на крайний запад страны, в Курляндию, не такой уж и близкий.

Для своего путешествия Янис выбрал паром, потому что любил море. Общение с простым людом отнюдь не пугало сына и внука рыбаков. Он мог воспользоваться служебным автомобилем, но их в управлении было всего два, и в любой момент они могли понадобиться для срочных вызовов. Крошечная красавица Рига – не такой уж спокойный городок. Не Чикаго, конечно, не Москва и не Берлин, и все-таки... Сколько наций и народностей смешалось тут, под этими крышами... Только этого вполне могло бы хватить, чтобы не коснел в сладкой дреме рижский уголовный розыск.

Яниса радовала возможность повидать Курляндию, родину предков. Он любил этот уголок земли, где суша так прозрачна, а море везде...

Бывал он в Курляндии всего пару раз, еще с отцом. Старому Банге, хотя он и был, как все истинные курши, человеком практическим, случалось иногда – по его собственным словам – «подхватить ностальгический насморк при особо сильном западном ветре». И рвалась тогда душа бывшего рыбака из каменной пуганицы рижских улочек, переулков и тупичков на белый простор дюн, где так вольно гуляет бродяга-ветер, тихо стонут, поскрипывая, сосны, шумят листвою ивы, и никогда не смолкает шум волн. «Там настоящая Балтика, – говорил старый Банга, – не то что эта рижская загогулина».

В памяти Яниса сохранился запах дулового морского ветра, просмоленных ботиков, рыбы... «Интересно, – думал он, – жив ли еще тот старый-престарый родовой дом, что показывал мне отец? Вокруг него еще, помнится, висели на шестах сети... Вряд ли... Новые времена – новые хозяева»...

Не став долго любоваться труженицей-Лиепаей с ее многочисленными огнями, бессонными верфями, толпами больших и малых судов под флагами всех стран мира, Янис слегка перекусил сосисками с пивом и, взяв попутку, отправился дальше, в маленький рыбацкий поселок.

В лавке Иманта Озолса было чисто, опрятно, необычайно уютно. Вкусно пахло съестным, а также кожей, металлом, разнообразными тканями – как новыми, так и лежалыми – из тех, что обыкновенно отпускают с уценкой в пол-лата за отрез. Со стальных крючьев свисали кольца копченой колбасы, рыба, грудинка. В ближайшем соседстве – хомуты и поводья... На крайней, у окна, полке тускло поблескивали бутылки с наливкой, водкой, лимонадом, минеральной водой. У прилавка пристроилась пузатая дубовая бочка с пивом.

В полуденный час народу было совсем мало. Один мужик покупал новый хомут для лошади и бутылочку «Перцовой», как он выразился, «на дорожку», да девка – той был необходим фунт самого лучшего изюму для пирога да полфунтика карамелек к чаю.

Отпустив покупателей, господин Озолс обратил свой взор на Яниса Бангу.

– Господин, если не ошибаюсь, приезжий? – спросил он, благожелательно улыбаясь. – Это редкость в наших краях... Так что господину будет угодно?

– Ничего особенного, – отвечал «господин приезжий», доставая полицейское удостоверение, – всего лишь побеседовать с вами.

Имант Озолс оказался радушным хозяином. Он даже попросил жену, чтобы она, пока суд да дело, накрывала на стол в соседней комнате. Нет, он как будто бы ничего не боялся, не нервничал, не суетился, не пытался протестовать, только никак не мог взять в толк, что понадобилось в их глуши такому важному господину из самой столицы... Брат? Да, был у него брат, старший. Выбился, как это принято говорить, в люди... Они тут с женой, правду сказать, тоже не ворон едят, но брат... Он стал таким важным, таким богатым... Что ж, у каждого своя судьба... Он, Имант, чужому богатству никогда не завидовал, а уж братнину – само собой. Каждому ведь по делам его воздается, не правда ли? Еще здесь, при жизни. А уж там, на небеси... Про то не нам с вами судить. Часто ли они с братом виделись? Нет, не часто, можно даже сказать, совсем редко виделись. А уж когда он умер – царствие ему небесное – так и подавно. Получал ли он от брата деньги? Да, получал. Когда Арвид разбогател, то счел возможным ссудить семью Иманта на обзаведение этой вот маленькой лавочкой. С тех пор, благодарение богу, дела идут хорошо, грех жаловаться. Завещание? Но ведь брат оставил все жене, Анне-Лизе. Достойная женщина и богобоязненная – ему, Иманту Озолсу, доподлинно это известно. Она даже не погнушалась приехать сюда, в эту глушь – с тем только, чтобы повидать их с женой и вручить – нет, не ему, он бы не принял, его жене Марите – некоторую сумму денег. Это akurat после смерти брата было. Ах, Анна-Лиза тоже умерла? Какая жалость, какая беда!

Они с женой станут непременно поминать ее как в вечерних, так и в утренних молитвах... Как вы сказали? Новое завещание? В пользу подруги? Очень хорошо. Это делает честь Анне, особенно если, как вы говорите, у той женщины, у подруги, столько незамужних дочерей... Незамужние дочери, надобно вам сказать, – это сплошная растрата и никакого прибытку!

Имант Озолс понимал все. Не понимал он только одного: почему следователь уголовного розыска? Разве не адвокат занимается такого рода делами? Ах, та женщина, подруга Анны, тоже умерла, даже убита?.. Подумать только, что за дела творятся в этом мире! Теперь, значит, дочки остались без матери... Вот где беда – так беда, потому что не видать им отныне выгодной партии, разве шалопай какой-нибудь соблазнится наследством.

– А вы? – неожиданно спросил Янис Банга. – Вы не соблазнили бы наследством?

Имант Озолс некоторое время молчал, раскрыв рот, от чего стали видны три золотых зуба. Наконец очнувшись, он, хлопнув мозолистой ладонью по столешнице, воскликнул:

– Вот старый дуралей! Мог бы и раньше догадаться! Да и вы, господин следователь, тоже хороши: ходите все вокруг да около. Оно и понятно, служба такая... А теперь послушайте вы уж меня внимательно. Видали, небось, мой магазинчик? Хорош, не правда ли?

– Хорош, – согласился Янис.

– Хорош! И покупателей хватает. Иной раз – так просто отбою от них нет. И всяк меня знает. И всяк ко мне с почтением. «Дядюшка Озолс» называют меня люди, а жену мою, Мариту, «хозяйюшкой». Что до денег, то выручка немалая, есть и излишек. А мы ведь с Маритой одинокие. Для кого копить, спрашивается?.. Если рассуждать так, что взбрело мне в голову сделаться как Арвид великим человеком, то – помилуйте! – стар я уже для этого. Седьмой десяток пошел, о душе в самый раз подумать, не о богатстве. Да и характер у меня к тому негодящий, иначе бог не оставил бы меня своей милостью, кабы знал доподлинно, что мне это нужно, что впрок пойдет. Ну, а ежели просто так, жадности ради, расширяться на два – на три магазина... Опаслив я к таким вещам. Новое, как говорится, обретаешь – старое теряешь. Это уж как водится. А новое что? – оно новое и есть: не тесано, не стругано, какой из него прок выйдет – неизвестно. От добра добра не ищут – такая моя жизненная позиция, господин следователь. А ежели не верите, что ж, воля ваша, проверяйте себе на здоровье. Мы всегда тут, всегда на виду. Приезжайте когда хотите – будем только рады. Встретим по-свойски, угостим как сумеем... А покуда, если нет у вас боле вопросов, пойдемте-ка да отобедаем на славу! Старуха моя, Марита, уж так хорошо готовит – пальчики оближешь! В бабе это совсем не последнее дело, должен вам доложить.

Обед действительно оказался отменным. Имант Озолс, подмигнув Янису, заметил:

– Вы еще молоды, наверное, не женаты, а потому примите мои слова как благой совет. Выбирайте себе красавицу – на здоровье, но следите при этом, чтобы и кухарка была знатная и рукодельница. Чтобы родителей своих читла, денежкам счет вела и чистоту в доме уважала. Век тогда горя не будете знать!

– Спасибо вам за совет, – улыбнулся Янис, – обязательно им воспользуюсь.

После обеда он отправился побродить по берегу, предварительно дав старикам обещание остаться у них ночевать. "Потому что ветер крепчает, а день к вечеру клонится», – сказал старый Озол.

Ветер действительно крепчал. В сыром, холодном воздухе носились предвестники бури. Море потемнело. По волнам с шипением пробегали пенные барашки. Многоопытные рыбаки уже давно успели убрать в надежное место свои барки, лодки и сети и скрыться от непогоды кто в своем доме, кто – в таверне. Некоторое время Янис стойчески выдерживал мощные, соленые порывы норд-веста, швырявшего вместе с песком увесистые камни – только успевай уворачиваться. Мысленно Янис нахваливал себя за то, что оделся тепло: плащ с подбивкой из «шотландки», вязаный шарф, высокие ботинки: перчатки, кепка из толстого твида. Несмотря на все эти предосторожности, Янис довольно скоро понял, что борьба с разгулявшейся стихией становится невозможной. Захотелось поскорее укрыться где-нибудь в тепле и уюте.

С тем и направился он к одной из низеньких, с большой каминной трубой таверн, которая расположилась подальше от берега, в спасительной тени соснового перелеска.

Дождь и ветер хлестали в крошечные зарешеченные оконца, словно бы соревнуясь в слепой своей ярости. А Янис Банга, удобно устроившись возле самого очага, где ему любезно предоставила место суровая с виду хозяйка,пил горячий кофе с водкой и уплетал лососину с ароматным черным хлебом. Запах доброй еды, потрескивание торфяных плиток в очаге, спокойные хриплые голоса рыбаков – все это настраивало Яниса на элегический лад.

Но вот что-то заставило его насторожиться.

– ...А ты все же мне ответь: кто убил старика Липайкиса? – донеслось из соседнего угла, и чувствовалось, что говоривший уже изрядно хлебнул.

– Приезжие его кокнули, социалисты, – отвечал ему собеседник таким же заплетающимся языком.

– Ну да, конечно, вали все на социалистов! – вмешался третий. – Скажи еще, русские или литовцы.... Может, карточный долг не хотел отдавать твой Липайкис, может, поперек дороги кому-то встал... Да мало ли за что можно кокнуть человека, особенно такого дрянного, как твой Липайкис.

– А жену Липайкиса забыли? – сказал еще один, грохнув пустой кружкой по столу. – Как лупцевал он ее почему зря, куда места живого не оставалось. Забыли? Забыли, как сидела она, бедняжка, на пороге собственного дома и плакала оттого, что стыдно было людям на глаза показаться. Почки ей собака

Липайкис отбил... А как потом и вовсе у нее в голове помутилось – тоже забыли? Короткая же у вас память! Доктор тогда сказал, что это моча ей в голову пошла. Так и бедовала, покуда бог не смилостивился, к себе ее не призвал. Казалось, что еще? Так ведь собаке – Липайкису и этого показалось мало. Он и самую память несчастной порочить стал: мол, и такая она была, и сякая... Как только бельма с утра зальет, так и давай мести языком своим поганым.

– Ты это к чему говоришь? – спросил первый.

– К тому говорю, что родной сын убил Липайкиса, своими собственными руками забил до смерти. А ручищи у Йонаса – сам знаешь – будь здоров! Бил, да все приговаривал: «Вспомни, скотина ты этакая, вспомни мать!» А потом землю на материнской могиле поцеловал и ушел куда глаза глядят... А что до Липайкиса: собаке – собачья смерть!

– Но все ж таки родной отец... – засомневался первый.

– Не отец это, который собственную, богом ему данную жену, сыну своему родную мать до поганой смерти довел. И место ему в аду кромешном....

К счастью, буря немного утихла. Допив кофе и проглотив последний кусок лососины с хлебом, Янис рассчитался с хозяйшкой и, поблагодарив ее за гостеприимство, направился к выходу, бормоча себе под нос что-то насчет дурной погоды.

Дождь не прекращался, и Янис изрядно промок, пока добрался до лавки Озолса. Хорошо, что нашлось у стариков и чистое, сухое белье, и место, где можно было просушить одежду, и спирт, чтобы растереться хорошенько – ведь с непривычки очень даже просто и воспаление легких получить. Так, по крайней мере, сказал Имант Озолс.

Лежа в полудреме, слушал Янис через тонкую стенку приглушенные голоса стариков. О чем они только не говорили на сон грядущий! Жалели его, Яниса, что приходится вот так мотаться по городам и весям.

– Хорошо еще, если дорогу оплачивает контора-то, – заметила старуха Марита, а то может ведь статься и так, что на свои родимые мотается парень. А это по нынешним временам – копейка немалая.

– И то верно, – согласился с женой Имант Озолс. – Надо ему в дорогу чего-нибудь собрать: рыбки там, колбаски копченой... Ну, это ты лучше меня сообразишь.

– Вспомнили они и брата Арвида, и Анну-Лизу, и ту несчастную, дочки которой остались без положения.

– Трудно девке без положения, – все сокрушался старик Озолс, – даже если она и с деньгами... Эх, люди, люди, и чего вы только с собой не вытворяете...

Он горестно вздохнул и заметил жене, что пора бы уже и закругляться.

– Давай помолимся, – сказал он, – и на боковую.

Больше ничего Янису расслышать не удалось, кроме тихих слов молитвы, внимая которым он и забылся глубоким сном без сновидений.

«Нет, – думал на обратном пути Янис Банга, – никакой здесь подоплеки нет. Обыкновенные, симпатичные патриархальные старички. Значит, соискатели наследства отпадают. Значит, круг вновь сжимается до пределов Риги. Итак, что же нам известно? А известно нам – и то предположительно – кто убил Хельгу. Но почему? За что? Это пока тайна, покрытая мраком».

Ну не зря же, в конце концов, изучал он, Янис Банга, юриспруденцию, философию, психологию. Последнюю – под чутким руководством друга, Эгила. Он очень пригодился бы ему сейчас, Эгил Стренга, со своим холодным аналитическим умом.

«Да-а... Стоим на мертвой точке, – продолжал рассуждать Янис. – Нужен убийца. Позарез нужен этот чертов поляк, этот «Болотный огонек», без него ни одной зацепки».

И вновь подумал Янис об Эгиле: что бы тот ему сказал, что посоветовал.

Ситуация, действительно, казалась очень сложной: убита пожилая женщина, ни с кем, фактически, не общавшаяся, кроме единственной подруги и своих дочерей. Убита словно бы так, потехи ради. Убита человеком, который, по словам знающих людей, ничего и никогда не делает просто так... Загадка!

«Эх, – подумал Янис, – скорее бы Рига!»

Глава 10. «Болотный Огонек».

В тот день Янис был не в настроении. С утра его вызвал к себе крестный.

– На-ка вот, почитай, – буркнул Стефан Куролис и кинул через стол какую-то папку.

Это был отчет следственно-медицинской комиссии, проведенной в замке, пока он путешествовал в Курляндию.

– Зачем мне это? – удивился Янис. – Я ведь не медик, и смерть несчастной старушки не имеет ко мне никакого отношения.

– Ты читай, читай! – старший инспектор был, казалось, не на шутку чем-то рассержен.

Янис хмыкнул и стал читать. И чем дальше он читал, тем более удивлялся. Оказывается, остолопы из комиссии влезли в дело Хельги Ледогоровой и, кажется, наломали дров. Вот вам, пожалуйста:

«... Младшая из девиц, по имени Полина, ведет себя крайне вызывающе, на вопросы отвечает отказывается. Сделано замечание с угрозой применения санкций».

О средней девице, Марианне, было сказано следующее: «Ведет себя крайне высокомерно, на контакт идет с явной неохотой. На вопросы отвечает формально. Сделано замечание».

Комиссия сделала одно, «очень важное открытие», а именно: что контактов с матерью они (кто – они?) фактически не поддерживали. В тот день (какой день?) ее не видели. Словом, знать ничего не знают. Только утром

(ничего себе утро!), когда явился молодой человек, назвавшийся следователем Янисом Бангой, им стала известна страшная правда о смерти матери.

Несколько похвальных слов было сказано о старшей из сестер, Ирме. Что, мол, «на контакт она идет охотно и честно старается помочь следствию. Она (то есть Ирма) сделала заявление, что их мать решила в тот роковой день посетить клинику Бауманиса, чтобы поговорить с самим профессором. На вопрос: «Разве покойную Анну-Лизу не посещал постоянный врач?», девица Ирма отвечала следующее: «Мать перестала доверять доктору Шварцу». Далее следовал вопрос: «Не думает ли она, Ирма, что в смерти Анны-Лизы, а, возможно, и Хельги, замешан доктор Шварц?»

Тут Янис даже заерзал на стуле.

«Нет, Ирма так не думала. Доктор Шварц, хотя и молод, великолепный специалист в своей области. Просто мать хотела поговорить с самим профессором Бауманисом. И дело не только в том, что он профессор. Некогда доктор Бауманис пользовал всю семью Ледогоровых».

И это обстоятельство тоже было подчеркнуто.

«Уж не хотят ли они сказать, – подумал Янис, – что Хельгу убили за то, что она не доверяла доктору Шварцу и решила в тот день посетить клинику Бауманиса. Может, это сам профессор гнался за ней со скальпелем через ночной парк?»

Главным в отчете, однако, было не это. Вся подковырка состояла в том, что оказываемся он, Янис Банга, ведет следствие вяло, непрофессионально, намеренно его затягивает, не привлекая к делу товарищей по работе. Старшему инспектору Стефану Куролису комиссия настоятельно рекомендовала «провести с вышеупомянутым молодым сотрудником воспитательную работу».

– Ну, как тебе это нравится? – спросил крестный, топорща усы и сверкая глазами.

– Никак не нравится. Чуть собачья! Больше паранойи я в жизни не видел, – отвечал Янис, возвращая крестному папку.

– Ну ладно, ладно умничать-то! Возьми лучше это обстоятельство себе на заметку. «Намотай, – как говорится, – на ус». А то, сам знаешь, как бывает... Аппарат у нас большой. Ну, а сколько людей – столько и мнений. Короче говоря, кое-кто тобою недоволен, сынок. Их можно понять. Ну подумай сам: был Освальд Банга – известный, уважаемый инспектор; есть я – старый Стефан Куролис, ближайший друг и земляк Освальда. Теперь еще и ты свалился им на голову: сын Освальда Банги и крестник Стефана Куролиса! Хочешь – не хочешь, приходится сознаться, что здесь попахивает кумовством. Так хотя бы ты вел себя как должно, а ты, сынок, действительно, как-то уж слишком... отрываешься от коллектива. Вот приблизил к себе этого сержанта Скуя... Хорошо, я ничего не имею против – толковый мальчик. Но ведь все знают, где тут «собака зарыта»: Скуй по всем закоулкам трубит какой ты гений!.. Так что, прошу тебя, сынок, подумай хорошенько над тем, что я тебе сказал, и берись, наконец, за дело серьезно. Так, чтобы ни у кого не

оставалось сомнений в том, что ты работаешь, а не распиваешь кофеи с пикантными девицами...

– Ну, это вы напрасно, крестный! Я...

– Ладно, ладно, хватит об этом... Скажи лучше, почему ты сразу не вызвал медицину к той мертвой бабке?

А когда мне было это делать? Я пришел провести дознание по одной смерти, а тут – откуда ни возьмись – другая, к которой я отношения не имею! Что мне, разорваться, в самом деле!.. А ну, как медицина, да еще вместе с полицией, примчались бы через пять минут и устроили бы в доме кавардак? Что бы я тогда успел выяснить? А выяснил я, между прочим, немало! И, что бы там ни полагала «следственная комиссия», я работаю, а не «кофеи распиваю» и даром есть свой хлеб не собираюсь!

– Хорошо-хорошо, – крестный раскурил свою знаменитую трубку, из-за которой над ним иногда посмеивались, но только за глаза и беззлобно. Стефана Куролиса уважали в управлении как покладистого начальника, знающего специалиста и вообще «старую гвардию».

– Пока что я верю тебе, сынок, – сказал старший инспектор, пуская густые облака табачного дыма. – Но заклиная: будь осторожен, не презирай людей! Придешься не ко двору – два высших образования тебе не помогут, скорее – помешают... Ну, все. Иди, работай, сынок! У меня тоже уйма дел...

Вот какой разговор состоялся в то утро между Янисом Бангой и старшим инспектором Куролисом. Вот почему Янис был в дурном настроении.

«Где же искать этого чертова «Болотного огонька»? – с тоской думал Янис, глядя в зарешеченное окно кабинета. – ...И где фотографии, которые, по всему, уже должен был получить из Польши сержант Скуй?..»

В этот момент дверь тихонько отворилась, и в кабинет, бесшумно ступая, вошел доктор Другис.

– А-а, это вы, доктор, – обернулся к нему Янис. – С чем пожаловали?

– Альфред Другис, по своей дурацкой привычке, уселся на краешек стола и, глядя на измученную физиономию младшего инспектора, проговорил в своем обычном шутливом тоне:

– О чем печалимся, добрый молодец, о чем думу думаем? Небось, все ищите черную кошку в темной комнате и удивляетесь, что ухватить ее не можете?.. Знаете, молодой человек, что сказал бы сейчас мой добрый друг и ваш покойный отец?

– Мне нужен Ясь – «Болотный огонек», а не дурацкие советы! – не сдержался Янис.

Но доктора трудно было обидеть. Пожав плечами, он заметил:

– Прекрасно... Похвальное стремление – поймать бандита, за которым в течении нескольких лет охотится весь рижский уголовный розыск... Но что вам это даст?

Как это что? – Янис не понял вопроса.

– То есть, вы полагаете, что «Болотный Огонек» выложит вам все как на духу и даст обещание никогда так больше не делать?.. Наивно с вашей

стороны!.. Да неужели вы всерьез полагаете, что такой бандит, как «Болотный Огонек» вот так, за здорово живешь, начнет «колотиться»? Если хотите знать мое мнение, он никогда не «расколется» и будет трижды прав! Что у вас против него? Характерное ножевое ранение? Тьфу – и растереть!

– Но ведь вы сами...

– Забудьте мои слова, мой милый: все это из области интуиции. Так сказать, «романтический опыт профессии». Опыт, возможно, и полезный, но, к великому сожалению, пока еще не изобретена механика его подтверждения. А за домыслы не берут под стражу... Как вы тогда сказали: совпадение? То же самое скажет вам и «Болотный огонек» Это в лучшем случае! Но, скорее всего, он вам ничего не скажет... Я мог бы посоветовать вам лучший – нет, идеальный! – вариант, но вы ведь не желаете слушать «дурацких советов» какого-то старого доктора...

– Сдаюсь! – Янис поднял ладони кверху. – Давайте ваш совет, господин доктор! Только не говорите, что надо спросить покойницу...

Именно! – доктор аж подпрыгнул на краешке стола. – Именно покойницу! Это говорю вам я, это сказал бы и Освальд Банга и любой другой, знающий свое дело следователь. Зарубите на своем распрекрасном носу, молодой человек: тайна убийства спит на губах убитого. Как заставить заговорить эти навек умолкшие уста – в этом и заключается мастерство сыщика. Сыщика думающего, сыщика – аналитика, а не простого служаки! Узнайте все, что только возможно об этой Хельге: кто она, откуда, какая по характеру, склонностям, привычкам, каковы были ее отношения с мужем. Непременно надо узнать, как и почему ее муж разорился. Отношения Хельги с дочерьми и прислугой – также не последняя скрипка в оркестре. Вот когда уясните для себя все перечисленное, тогда, поверьте мне, преступление раскроется вам во всей своей наготе, как «бутон розы теплым росистым утром...»

– Все, кроме Ирмы, не слишком-то идут на контакт, – с кислой миной отвечал Янис. – Она и так рассказала все то немногое, что ей было известно, то есть почти ничего. Правда, и я не сидел без дела. Например, мне удалось установить...

– Мой юный друг, – перебил его доктор Другис, – женщины никогда не скажут нам всего, что знают и о чем думают. Эта истина стара как мир, но для вас она, кажется, в новинку. Говорю вам в последний раз: беритесь за мертвую мать и живых домочадцев, изучайте их, как археолог – древнюю гробницу, как графолог – тексты шумерской письменности... И только тогда вам откроется истина. Другого пути нет. Ну а если лень – что ж... Валите все на поляка. Пожалуй, только порадуете начальство. Им бы только дело закрыть, а вся эта психология с монологией... – доктор махнул рукой и присвистнул.

– Хорошее дело – найти «Болотного огонька», – усмехнулся Янис, – но как это сделать, если учесть, что у нас покуда даже нет его фотографии.

– Господи, да нет ничего проще! – равнодушно, как будто у него попросили прикурить, отвечал доктор. – «Болотный огонек» у нас в управлении...

– Да что же вы до сих пор молчали, старый вы... – выпалил, было, Янис, но тут же успокоился. – А-а, ничего, так, может, и лучше. Я его ждал достаточно долго, теперь пусть он меня подождет!

На это доктор Другис спокойно заметил, что «Болотному Огоньку» совершенно безразлично, кого и сколько ждать, ибо он, холодный и мертвый, лежит в следственном морге.

Так что заходите, когда освободитесь. Я говорю «когда освободитесь», потому что сейчас к вам зайвится ваш друг, сержант Скуй, с подарками.

Доктор Другис спрыгнул со стола, размял спину и, насвистывая мелодию из «Волшебной флейты», все так же бесшумно ступая, покинул кабинет младшего инспектора Банги.

Как и обещал доктор, вскоре появился сержант Скуй. А «подарками» оказались две фотографии.

Вот эту поляки прислали, – сержант выложил на стол фотографию еще живого Яся. – А эту нашли в потайном кармане пиджака убитого «Болотного огонька».

Янис машинально взял со стола вторую фотографию. Это была фотография Хельги, точно такая, как на паспорте, только увеличенная в несколько раз. Внимательно всматриваясь в черты покойной, Янис подумал, что где-то уже видел такое же лицо. Точнее, очень похожие черты и особенно глаза: неправдоподобно черные, с магнетическим, пристальным взглядом. Вдоволь наглядевшись на изображение, он перевернул снимок и нахмурился:

– А это что за чертовщина, сержант?

На белом фоне красовалось довольно коряво написанное четырехзначное число. Лудис Скуй подошел поближе и, склонившись над фотографией, долго изучал надпись.

– Число какое-то, с вашего позволения! – вымолвил он, наконец.

– Сам вижу, что число, но зачем оно здесь? – Янис растерянно развел руками.

Можно немного подумать? – смиренно спросил сержант.

– Можно! Для того и голова, чтобы думать! – Янис налил себе кофе и опустился в кресло. Он успел сделать всего один глоток, когда Скуй вскричал, вне себя от восторга:

– Вспомнил! Был такой случай: грохнули одного биржевика. Убийцу взяли почти сразу. Не того масштаба оказался зверюга, что наш Ясь – из новичков. Так вот... Нашли у него в кармане фотографию, только поменьше этой, и циферки на обратной стороне точь в точь такие же корявые. «Что за ерунда?» – спрашиваем того бандюгу. Оказалось – цена за убийство. Они, бандиты-то, такую фотографию с циферками берегут, при себе держат до самой оплаты... Такие вот дела, господин младший инспектор!

– Угу, – промычал Янис, потирая подбородок. – Стало быть, «Болотный огонек» и оплаты не получил за свою работу – так по твоим словам выходит?

– Выходит что так, кивнул сержант. – А фотографию забрать не успели, потому что наш патруль в парк заявился. Стали фонарями туда-сюда шарить. Преступник – ну тот, второй убийца – с испугу и убежал. Они там еще двух бродяг встретили – под горушкой спали. Но бродяги ничего толком сказать не смогли, кроме того, что вроде как слышали какие-то четыре хлопка, а потом кто-то быстро так, бесшумно, прошмыгнул с другой стороны – ну за горушкой значит...

– Бесшумно, говоришь?

– Ага. Сказали, что если бы листья не шуршали и ветка не хрустнула, то вообще бы ничего не услышали. Ну, а поскольку – за горушкой, то видеть они ничего не могли. К тому ж, наверняка, и перепугались, бедняги, до смерти!

– Наверное,... Ты сказал, четыре выстрела?

– Точно так, господин инспектор! И это правда, потому что четыре дырки у Яся в груди.

– Что ж доктор-то мне ничего не сказал, – буркнул Янис. – Ладно, разберемся... – И, возвращаясь к фотографии, он с грустью заметил. – Вот чего ты стоишь, человече!.. А написано-то, видать, в перчатках, да еще левой рукой – не подкупаешься... Но ничего, ведь кое-что у нас уже имеется, а?

– Так точно, имеется! – согласился Скуй.

– Вот именно. И это кое-что мы непременно разоведем в нечто, и станет это нечто для нас зацепкой, и зацепкой серьезной.. Уж ты поверь мне, дружище Скуй!.. Кофе хочешь?

– Не откажусь, – сержант покраснел от удовольствия.

– Тогда присаживайся и наливай. Вот тебе чашка... А фуражку сними – чай, не татарин!..

– Откуда ты родом, сержант? – поинтересовался Янис, когда они уже выпили по чашке кофе с бутербродами.

– Земгальские мы, с вашего позволения.

– Хлебопашец, значит?

– Так оно и есть. Хлеба у нас на славу выходят, Потому, солнышко у нас ласковое и земля, будто девка пышная, хорошо родит. Так ведь и говорят в народе: «Солнечная Земгале!» Да если б только это! Знаете, какие у нас поля... а рощицы березовые с красными да белыми грибочками!.. Эх, так бы и махнул сейчас на родную сторонку. Всякого ведь к родимому гнездышку тянет, верно?

– Верно, сержант, – задумчиво отвечал Янис Банга.

– Ну а вы-то, господин младший инспектор, небось, коренной рижанин?

– Как тебе сказать, – Янис пожал плечами, – вроде рижанин – если по рождению судить. А по крови – курш.

– Понятно... Получается так, что я –ратарь, а вы, господин инспектор, – рыбарь?

– Вот именно. Из рыбаков. И чтобы эту самую тресочку словить, – Янис красноречиво постучал пальцем по фотографии Хельги, – весь талант понадобится и много терпения.

– Да уж, это верно, – сержант с сочувствием покачал круглой белобрысой головой.

– Не позавидуешь вам, ей-ей!

Почему только мне? – усмехнулся Янис, – А ты на что? Вот кофе допьем – и принимайся за работу! Знаешь, куда я тебя пошлю?

– Нет, с вашего позволения, не знаю, господин инспектор, – отодвигая кружку с недопитым кофе, сержант встал из-за стола и вытянулся во фронт.

– Садись, допивай свой кофе, – сказал Янис, – но слушай внимательно и запоминай. Пошлю я тебя, дружище Скуй, на поиски мастерской, где была увеличена эта фотография.

Янис как умел доходчиво объяснил сержанту, где, предположительно, могут находиться ближайшие к замку фотомастерские.

«Вначале попытаем счастья именно там, – думал Янис. – Не повезет, так будем по всему городу искать. Слава богу, Рига – город маленький, рано или поздно найдем».

Оставшись один, Янис немного побродил взад-вперед по кабинету. Потом вдруг вспомнив, что еще не видел физиономии этого «чертова сына, «Болотного огонька», вернулся к столу и, взяв присланную поляками фотографию, едва не вздрогнул от неожиданности. Он обладал превосходной памятью на лица, поэтому не мог не вспомнить того молчаливого парня, который все время курил крепкие русские папиросы и с которым он сидел за одним столом в тот памятный день встречи с Ирмой.

– Интересно... – пробормотал Янис, не выпуская фотографии из рук. – Это очень интересно...

Еще немного пошагав по комнате, он поднял телефонную трубку и, набрав номер лаборатории, коротко сказал:

– Банга беспокоит.

– Заходите, – последовал такой же короткий ответ доктора Другиса.

– Ну, что скажет медицина? – спросил Янис, входя в святая святых Альфреда Другиса. – Есть что-нибудь интересное, кроме трупа «Болотного огонька» с четырьмя пулями в груди, о которых вы забыли мне сообщить?

– Есть! – отвечал доктор довольным тоном. Он сидел за своим столом, что-то очень внимательно разглядывая в микроскоп. – Но и эти пули – вещь довольно любопытная.

– Откровенно говоря, мне тоже показалось странным такое расточительство, – заметил Янис, почесывая затылок: наверное, оказался заразительным пример сержанта Скуя, – но с другой стороны, у каждого могут быть свои привычки. И четыре пули – это только четыре пули, ни больше и ни меньше.

– Даже если все они смертельны? – доктор усмехнулся. – Вы видели когда-нибудь, молодой человек, как женщина давит туфелькой таракана? Я разумею, конечно же, наших городских барышень.

– К счастью, нет, – отвечал Янис с некоторым сарказмом в голосе.

– Жаль, очень жаль! Поучительное, надо вам сказать, зрелище для молодого аналитика... Они давят его с остервенением, с животным страхом. Несчастный таракан давно почил, а его все давят и топчут так неистово, словно от этого зависит самое их жизнь. При этом наши дамочки отнюдь не живодерки, и в иных обстоятельствах способны на лучшие чувства. В чем же тут дело?

– Страх?

– Вот именно, страх! Страх и омерзение. И еще женская неуверенность в себе. Вы, надеюсь, понимаете, что под неуверенностью я понимаю отнюдь не любовные игры?

– Понимаю... Так вы это связываете с тремя ранениями?

– Напрямую. А: стрелявший не был убийцей-профессионалом, иначе он знал бы, что уже первая пуля была смертельной; Б: он не был мужчиной, иначе выстрелил бы в голову.

– Вы полагаете, что женщина не смогла бы выстрелить в голову?

Если только она не дьявол в юбке... Видите ли, женщинам свойственно трепетное отношение к главному их достоянию – внешности. И это у них в крови, и это они переносят на других. Исключение может составлять изодранная физиономия неверной подруги. Но Ясь был мужчиной и по-своему, скажем, для дамочек с извращенным вкусом, – довольно привлекательным мужчиной... Если вам этих доводов не достаточно, у меня есть и другие доказательства. Во-первых, стреляли, похоже, из дамского «бульдога», во – вторых – и это самое интересное – на пиджаке покойного остался женский волос. Очевидно, она что-то искала в карманах убитого и произвольно откидывала волосы со лба.

– Интересно... Какого же цвета волос? – при этом вопросе глаза Яниса превратились в щелки.

– Черного. Длинный черный волос. Довольно жесткий. Такие бывают у цыганок.

– Значит, она – брюнетка... – задумчиво произнес младший инспектор. – Вот еще один повод к размышлениям, еще одна загадка...

Доктор не ответил. Он смотрел в сторону, поигрывая ключиком от своего кабинета. Вдруг, резко схватив Яниса за локоть, он подвел его к столу и, усадив за микроскоп, воскликнул:

– Смотрите! Внимательно смотрите!

Повинуясь ему, Янис склонился над окуляром. Доктор спросил:

– Ну? Что видите?

– Длинный черный волос, похоже, женский, – в полном недоумении отвечал Янис.

– Ах, юный невежда! Да неужели вы не видите, что волос мертв?! Это волос с парика, а женщина наверняка была блондинкой.

– М-да... – только и сказал Янис, поднимаясь из-за стола. – Ну что ж, господин Другис, вы дали мне действительно ценную информацию. Надо подумать...

Когда Янис был уже в дверях, доктор окликнул его:

– Возвращаясь к нашему предыдущему разговору: настоятельно рекомендую посетить доктора Бауманиса, Слышали о таком? Он когда-то пользовал семью Ледогоровых. Был дружен с Афанасием, знает все о его последних днях. И вообще много знает... Но учтите, молодой человек, профессор Бауманис – это не полубезумный Альфред Другис, который, прозябая в следственном управлении, дает бесплатные уроки юным олухам с университетским образованием... Так что будьте осторожны: к нему надо иметь подход, к этому «великому и ужасному» профессору Бауманису.

– Не находите, что у вас странная манера давать советы: в час по чайной ложке? – заметил Янис.

– Нахожу, – засмеялся доктор. – Но эту манеру я изобрел специально для таких как вы, молодой человек, у которых в одно ухо влетает, в другое – вылетает... Прощайте, юное дарование. Вас ждут великие дела, а меня – очередной труп!

И, махнув на прощанье рукой, доктор повернулся к Янису спиной.

Глава 11. Профессор Бауманис.

Итак, младший инспектор Банга направлялся на очень важное для себя свидание с профессором медицины Яном Бауманисом. Правда, сам доктор Бауманис об этом не знал и не мог знать, потому что Янис не стал предварительно звонить и договариваться о встрече. Он рассудил так: «Великие люди бывают капризными. Что если этот Бауманис возьмет да и отложит свидание на неопределенный срок, ссылаясь на занятость? А мне нужно повидаться с ним именно сегодня. Будет недоволен неожиданным приходом? Что ж, не беда! Все равно прогнать не сможет, когда я предъявлю свое удостоверение, которое тоже кое-чего стоит в этом мире».

Так думал Янис Банга по дороге к клинике Бауманиса.

Насилу отбившись от цепкой, как бульдог и такой же привлекательной секретарши, Янис ворвался в просторный кабинет профессора и едва не задохнулся от радости, увидев в углу на стуле не кого-нибудь, а Эгила Стренгу собственной персоной. Первым побуждением Яниса было броситься к другу и сплясать с ним польку прямо в кабинете, – от чего он едва удержался.

– Ведь ты еще должен быть в Вене! – вскричал Янис и, заметив, что Эгил приподнимается, хотя и неуверенно, со своего стула, замахал руками. – Потом, все потом: и объятия, и пиво, и девушки... А сейчас мне позарез нужен профессор Бауманис!

– Молодые люди, может, соизволите мне объяснить, что тут происходит? – раздался суровый бас светила латвийской медицины – доктора Бауманиса – грузного мужчины с окладистой бородой и золотым пенсне на широкой, костистой переносице.

– Видите ли, профессор, мы с Янисом – старинные друзья, краснея, пояснил Эгил. Полгода не виделись.

– Ну, это еще куда ни шло, – проворчал профессор, оглаживая бороду. – Но почему вы назначили встречу именно в моем кабинете? И почему вы, молодой человек, – он обратил грозный взор на Яниса, – врываетесь в мой кабинет, как в пивную, орете тут благим матом, размахиваете руками... Не здороваетесь, в конце концов?! Кто вы такой? Если записаны на прием, тогда садитесь и рассказывайте, в чем дело. Если нет, попрошу немедленно выйти вон.

Эгил Стренга сочувственно покосился в сторону друга. Сам же Янис, ни на секунду падая духом, отвечал:

– Многоуважаемый профессор! Прошу извинить мою бестактность и здравствуйте, конечно же, во веки веков! Ибо что мы, простые смертные, станем без вас делать... – при этом Янис учтиво преклонил колено, прижимая ладонь к сердцу и улыбаясь краешками губ.

Профессор, не отрываясь, наблюдал за этой сценой. Его волосатые щеки постепенно округлялись яблочками, а маленькие серые глазки за стеклами пенсне плутовато сощурились.

– Покороче, прошу вас, – сказал он, уже не скрывая улыбки.

– Если короче, многоуважаемый профессор, то дело в том, что я – инспектор полиции и у меня теперь запарка. Вам известно, что это такое...

– Еще бы, – засмеялся Бауманис. – И по большей части из-за таких вот торопыг, как вы. Итак?..

– Итак, я загадал...

– Вы – что? – и мясистое лицо профессора болезненно сморщилось. – Что за чушь вы несете, молодой человек!?

– Это совсем не чушь, профессор. Просто мы, сычки, – народ суеверный. Я загадал, что наша с вами встреча окажется весьма плодотворной, но только в том случае, если я не стану сообщать вам о ней заранее. Психологическая эквилибристика своего рода.

С последними словами Яниса профессор издал звук, похожий на хрюканье.

– Ладно, – сказал он, снимая пенсне. Протерев стекла белоснежным платочком и водрузив пенсне обратно на переносицу, продолжил. – Если вы действительно сычик, давайте сюда ваше удостоверение. И, пожалуйста, говорите все-таки покороче. Вас забавно послушать, но у меня отчаянно мало времени.

– ... Так вы, оказывается, сын старого Освальда Банги, – улыбнулся профессор, возвращая удостоверение. – Знал я вашего батюшку. Достойный был человек! Уж он, поверьте мне, не стал бы заниматься этой, как вы изволили выразиться, «психологической эквилибристикой».... Ну да ладно. Не будем тянуть резину. Рассказывайте, в чем дело.

– Гм, – промычал профессор, выслушав рассказ Яниса. – Чем же я могу вам помочь? Хельгу я знал мало. Она была на редкость здоровой физической женщиной хотя избыток желчи и какое-то хроническое неверие в себя и в людей я бы назвал ипохондрией. Видите ли какая штука, она не способна была любить... Хельга была одинока страшным, злым одиночеством... Бывает, знаете ли, одиночество добряков, готовых весь мир затискать в своих

объятиях. Да только миру это ни в малой степени не интересно. Наш мир, хотим мы того или нет, ограниченный реалист. Он любит жрать, спать и размножаться... М-да... Так о чем это я?... Ах, да! Хельга... Ну так вот. Хельга прекрасно это понимала. Поэтому и возненавидела этот мир и всех, в нем обретающихся, в том числе и себя, В сущности, она была идеалисткой, испытывавшей, вероятно, когда-то горькое разочарование.

Доктор Бауманис, набрав воздух в легкие и с шумом, как кит, выпустив его, продолжал:

– Миру начхать на наши разочарования. Его надо принимать таким, каков он есть. Порой это чертовски трудно: необходимы известная щедрость и широта души. Ею-то, как раз, в полной мере и обладал Афанасий Ледогоров. Добряк, жизнелюб, не чуждый в некоторой степени философии и религии, неисправимый бабник. И при всем при этом – жесткий, умелый финансист... Вы спросите, как может все это сочетаться в одном человеке? Может, если правильно оценить свои силы и возможности и направить их по верному пути. Единственной ошибкой Афанасия была женитьба на Хельге. Думаю – даже уверен – они не были счастливы. Может, первое время, какие-то два-три года, а потом... – доктор Бауманис развел руками, – чужие друг другу люди. Это как-то сразу бросалось в глаза. Оттого-то с таким неистовством предавался он амурным похождениям...

Доктор сделал корректную паузу и, вздохнув, продолжал:

Последней любовницей у него была чудная такая полечка. Кажется, не без жидовских кровей... Но хороша, сказочно хороша, чертовка!.. Звали ее Ирина Полонская. Она содержала – да и теперь содержит – модный салон где-то в центре, возле православной церкви.

С ней Афанасию было хорошо. Думаю, он ее любил...

Ну, конечно, и дети. Своих дочерей он обожал, что, по-моему, вообще свойственно русским. И девочки в нем, кажется, души не чаяли, кстати, тем самым вызывая ревность Хельги. Кажется, они ее боялись. Уж больно была строга – даже для протестантской мамы.

– Хорошо, – ну а что вы можете рассказать о разорении Ледогорова и его смерти? Многие считают это неожиданностью: мол, здоровяк был, каких поискать...

– Что тут сказать... Сам себя сгубил. Афанасий обратился ко мне, когда необходимо было сделать операцию, причем крайне срочно. Но эти деловые люди – прямо беда с ними! Деньги для них важнее здоровья. Все-то им некогда, жадность одолевает... Вот и получил по заслугам...

Что же с ним было такое? От чего он умер?

– Что?... Ах, это... – доктор Бауманис как будто не расслышал вопроса, задумавшись о чем-то своем. – Закупорка сосудов головного мозга вследствие механического повреждения, проще – удара, и довольно сильного. Череп, по счастью, не пострадал, но... Наша голова, молодой человек, чтоб вы знали, довольно сложная и легко уязвимая конструкция. Она вся пронизана и опутана кровеносными сосудами, которые только тронь... Бывают, конечно, и

толстолобые, но в среде тех, кто работает головой, таких считанные единицы. Понимаете, если голова – инструмент, то, как любой инструмент, она имеет стадии износа. «Усталость материала?» – так это, кажется, называется у господ инженеров... Так вот: здесь, – профессор показал холемым пальцем на висок, – проходят очень важные для жизни сосудики, по которым наш мозг снабжается кровью. И именно они очень серьезно пострадали у Афанасия при ударе. Повторяю: операция спасла бы ему жизнь. Когда б, по крайности, он удалился от дел, ушел на покой... Остался бы, конечно, инвалидом, но все-таки был бы жив, что само по себе уже немало. Но он, упрямец, продолжал работать. А работать, тем более так усердно, головой, которая уже плохо варит, – это верный путь туда, – доктор показал пальцем на потолок, – к вечности. Чего он и добился, в конце концов... М-да, «глупость только смертельна; а с этим еще можно примириться». Давно сказано, но актуально, к сожалению, и по сей день...

В итоге: один мозговой удар, второй, обширное кровоизлияние, – и через сутки бедолага скончался, не приходя в сознание. Вот так! – доктор легонько хлопнул ладонью по столу. – Нельзя шутить со здоровьем, господа, нельзя!

– И это все косвенным образом поспособствовало его разорению?

– Еще бы, – фыркнул профессор, – и не косвенным, а самым прямым! В противном случае так бы и дал он себя разорить, держи карман шире! Он был еще тот пройдоха, Афанасий Ледогоров... Вот, пожалуй, и все, что я могу вам рассказать, молодой человек. Но если вы хотите знать больше, мой вам совет: обратитесь к Ирине Полонской. К сожалению, не могу дать вам ее точного адреса, но, думаю, вы без труда ее найдете... Еще... Поговорите с няней девочек – Ледогоровых. В семье она была своего рода ангелом-хранителем. С Афанасием ее связывали какие-то необычайно теплые отношения. Она ведь латгалка и то ли православная, то ли католичка – теперь уже не помню. Ну, и попробуйте найти ход к старшей дочери Афанасия, Ирме. Насколько я успел заметить, она не только красива, но умна и наблюдательна и вообще девушка со многими талантами...

Наверное, Янис имел несчастье сильно покраснеть, потому что доктор Бауманис, с понимающей усмешкой заметил:

– Судя по вашему щекам, молодой человек, последний мой совет оказался лишним. Что ж, продолжайте в том же духе. Это только пойдет на пользу и вам, и Ирме, и этому вашему чертову следствию... А теперь... – профессор вынул из кармана часы – «луковицу», – ваше время истекло. Я, хотя и доктор, но человек деловой и привык ценить время, которое вкупе со здоровьем – ресурс абсолютно невозполнимый!.. Впрочем, несколько минут еще остается, и в заключение хочу сделать вам комплимент. Мне нравится, что полиция, наконец, начала работать головой, а не другими частями тела. Глядишь, это новое поветрие дойдет и до моего славного водопроводчика, которого я вынужден пока что вызывать по нескольку раз в месяц, к великому ужасу моей домоправительницы... Да, чуть не забыл, – сказал профессор, обращаясь к обоим молодым людям, – вы еще можете, друзья мои, прокричать друг

другу на прощанье, когда и где станете пить свое пиво. Только, умоляю, не так громко, как в первый раз. Вам это может показаться странным, но к старости мой слух обострился, сделавшись, к тому же, чрезвычайно капризным.

– Заходи хотя бы сегодня вечером, – сказал Эгил почти шепотом. – Я живу все там же, на улице Марстелю.

– Обязательно зайду. Не уверен только за сегодняшний вечер. Много работы. Но ты мне очень нужен, Эгил. Нужен твой совет.

Глава 12. Марианна.

Некоторое время Янис побродил по тропинкам старинного парка, что окружал клинику Бауманиса. Он думал, куда направить свои стопы в первую очередь: в замок или же все-таки попробовать отыскать «прекрасную полячку» и прежде поговорить с ней. Поразмыслив как следует, он выбрал второй вариант. Какой никакой опыт и интуиция подсказывали ему, что замок хранит чересчур много тайн. Так что, чем больше будет козырей на руках, тем легче и предметней получится разговор с его обитателями, людьми по-своему непростыми и капризными.

Итак, на очереди – Ирина Полонская, «прекрасная полячка»!

Приняв решение, Янис быстро сбежал по ступенькам к выходу из парка. Миновав трамвайную линию, он направился к большим бульварам, в сторону православной церкви. Где-то там, по мнению профессора Бауманиса, должно было находиться модное ателье мадам Полонской.

Выйдя на площадь, туда, где пестрели зонтики быстро, он увидел Марианну. Девушка сидела за столиком одна-одинешенька, что-то пила, куривая длинную сигарету в мундштуке.

– Здравствуйте, Марианна, – Янис бесцеремонно присел к ней за столик. – Что пьете?

– Ах, боже мой, какие приземленные детали интересуют прекрасного сыщика!.. Да минеральную воду!

– Минеральную воду? Как это непохоже на вас!

– Вот интересно... Какой же из напитков, по-вашему, похож на Марианну?

– «Маргини Росса» с лимоном и льдом, например.

– У вас хороший вкус. Но что делать: вдруг захотелось пить... От вас пахнет карболкой, – она неожиданно поморщилась, раздувая свои тонко очерченные ноздри... – Бьюсь об заклад, посещали большую матушку.

– Никогда не бейтесь об заклад! Будете все время в проигрыше... Матушки моей давно нет в живых... А посещал я некоего профессора Бауманиса. Слыхали о таком?

– Как не слышать, – девушка пожала плечами. – И зачем же он вам понадобился, если не секрет? Хотя догадываюсь: собираете информацию о нашей семье?

Вы необыкновенно проникательны, Марианна. Именно этим я и занимаюсь.

– Не понимаю, зачем вам это? – проговорила девушка, пуская колечко табачного дыма.

– Не скажите. Работа сыщика чем-то похожа на работу врача: чтобы излечить недуг, надо его вначале найти, а чтобы его найти, надо все о нем знать... Я не слишком туманно объясняю?

– Нет, не слишком. Просто я подумала, не лучше ли сразу заняться поисками преступника?

– Преступника мы найдем... Но ведь он не сам по себе: преступник неотделим от своей жертвы... Вот тут-то и кроется главная загадка.

– Понятно. Завет Шерлока Холмса: «ищите мотив»...

– Именно. Вы умница, Марианна!

После недолгой паузы Янис спросил:

– Послушайте, отчего вы тоскуете в одиночестве? Где же толпы усатых кавалеров, задыхающихся от любви?

– Кавалеры? – Марианна фыркнула. – К черту кавалеров, они мне все надоели. Впрочем, есть один человек... Но, увы, он любит другую...

– Это невозможно!

– Возможно, раз я говорю, – спокойно отвечала Марианна. – А вы... Скажите, вы действительно любите Ирму или это своего рода... игра случая...

– Гм, – Янис принужденно рассмеялся. – А разве любовь – это не игра случая? «Вся наша жизнь – игра...». Вы разве так не считаете?

– Я считаю, милый вы мой, что от современных мужчин не добьешься толком ни «да» ни «нет». Мужчина должен выражаться четко, емко, понятно.

«Вы не пройдете, сударь. Потому что я пришел сюда первым!

Очень сожалею, но я пройду первым, хотя и пришел вторым!

Сударь, это невозможно!

Очень даже возможно!

Каким же образом, позвольте полюбопытствовать?

Очень просто: я убью вас!

Вы ошибаетесь, сударь, потому что это я убью вас!...» – вот каким должен быть мужской разговор!»

Янис от души расхохотался.

– Любите «Трех мушкетеров»?

– Обожаю! В детстве зачитала до дыр. А сейчас... Вспоминаю на досуге, которого у меня, слава богу, предостаточно.

– Мне кажется, вы любите еще и одиночество, любите беседовать сама с собой. Я угадал?

– Угадали. И считаю себя самым приятным собеседником на свете... и самым надежным другом

– Хм... В связи с этим мне вспоминается замечание одного грека, древнего грека:

«Берегись, твой собеседник – дурной человек!»

Положив белокурую головку на скрещенные ладони, Марианна задумчиво проговорила:

– Вот это мне нравится уже больше. Вы делаете успехи, мон шер ами... Кстати, об одиночестве. Скоро оно испарится, как дым: должна подойти Полина со своим новым ухажером. Прежний у нее был капитаном дальнего плавания, но, кажется, к тому же, цыганом... Не понимаю, как это возможно брать во флот цыган? Он же в первом попавшемся порту продаст корабль вместе с экипажем. Купит лошадь – и поминай, как звали! Впрочем, может, я ошибаюсь, и он был евреем. Но это едва ли лучше... Скажите, в стране, где живут евреи, есть море?

– Евреи живут повсюду. Но если вы имеете в виду Палестину, то там даже не одно море, а целых три!

– Как странно... А я-то была уверена, что у них там ничего нет, кроме пустыни и пирамид.

– Пирамиды – в Египте, милая Марианна. А древняя Иудея была славна своими виноградниками и храмом царя Соломона, который в последний раз был разрушен римлянами при императоре Веспасиане.

– Правда?.. – темные глаза Марианны потемнели еще больше. – Как интересно... А я-то, оказывается, такая наивная дурочка, ничегошеньки не знаю. Как жаль, что вам нравится Ирма!

– Мне нравятся все красивые девушки на свете, – отвечал Янис и, надо сказать, был абсолютно искренним в этот момент.

– Bravo! – захлопала в ладоши Марианна. – Ответ, достойный Д*Артаньяна! Мне кажется, вы чуточку поэт в душе.... Отчего же избрали профессию сыщика?

– В работе сыщика, кроме всего прочего, полно поэзии.

И, как бы между прочим, Янис спросил:

– Вам ничего не известно о завещании Анны-Лизы?

– О завещании Анны-Лизы? – девушка удивленно подняла брови. – Но ведь его же не существует!..

В этот самый момент к столику подошла Полина в сопровождении очень смуглого брюнета. Они были вдвоем, но создавалось впечатление, что, с шумом и гамом, подвалила целая ватага. От Яниса не укрылся один примечательный факт: в обществе хохочущей сестры и ее шумного кавалера, который еще к тому же оказался итальянцем, Марианна по-прежнему оставалась одинокой и задумчивой – феей с белокурыми кудрями, чуть-чуть не доходящими до плеч и оставлявшими открытой нежную шею с украшавшей ее темной родинкой.

Когда Полина со своим итальянцем расположились за столиком и уже сделали заказ, Марианна спросила:

– Скажи, сестрица, что тебе известно о завещании Анны-Лизы? Господин следователь интересуется.

– Вот здорово! – воскликнула Полина. – Как тебе это нравится, Винченцо? – она дернула итальянца за рукав белого смокинга.

– Беллссимо! Замечательно! Все очень, очень хорошо! – импульсивный сын юга воздел к небу свои смуглые ладони.

– Ай, да ну тебя! – махнула рукой Полина. – Но вы-то, инспектор, – она обернулась к Янису, – не итальянец, вы умный человек. Должны понимать, у кого что спрашивать. Спросите лучше у Ирмы, чем тиранить бедных, беззащитных девушек. Правильно, Мари?

Марианна, посмотрев на сестру с насмешливой укоризной, заметила, что лично ее мало интересует наследство Анны-Лизы.

– А меня – и того меньше! Скоро я смотаюсь отсюда навсегда, в Италию – и баста! Правда, Винченцо? – Полина, подхватив итальянца под локоть, заглянула в его непроницаемые полуденные очи.

– Это правда, правда! Си, си! – закивал итальянец, обращаясь ко всем сидящим за столиком. – Клянусь Мадонной!.. О, Италия! Вива, Италия! – кричал он так громко, что Полине пришлось успокаивать своего пылкого кавалера.

– А если серьезно, – сказала Полина, – то старуха, скорее всего, так и не оставила никакого завещания, и все ее добро передадут какому-нибудь лютеранскому сиротскому приюту – чему я лично сердечно рада.

– А вы, Марианна? – спросил Янис.

– Тоже буду рада такому повороту дела. Я же сказала вам, что мне безразлично наследство старухи ровно настолько, насколько и прекрасная Италия, куда так рвется моя дорогая сестрица Полина.

Янису отчего-то сделалось грустно.

– С кем же вы останетесь, милая девушка?

В черных глазах Марианны промелькнуло нечто похожее на нежность:

– С тем самым дурным человеком из сада одиночества, – так же тихо отвечала она. – ...Но я смотрю, вы ничего не ели и даже не пили. Хотите минеральной воды? У меня осталось целых полбутылки. Налить вам?

– Нет, нет, спасибо. Предложите лучше итальянцу: они так устроены, что постоянно испытывают жажду.

Марианна только усмехнулась. Зато Полина приняла его слова за чистую монету. С жадностью схватив со стола бутылку, она поднесла ее к губам своего Винченцо. Итальянец флегматично выпил всю воду, вернул бутылку Полине и, скрестив руки на груди, устремил свой взор в какие-то только ему ведомые дали. Его густые брови нахмурились, черные глаза полыхали затаенными страстями. В этот момент он был похож то ли на императора Нерона, созерцавшего пожар Рима, то ли на сурового и печального Данте, наблюдавшего ужасы кругов ада...

Это был своего рода транс, принимаемый северянами за проявление едва ли не шизофрении, но совершенно естественный для обитателей знойного юга, где резкая смена настроений вполне может заменить смену времен года.

Для Винченцо сейчас наступила зима.

Глава 13. Ирина Полонская.

Найти салон панны Полонской действительно не составило большого труда. Не пришлось даже приставать с расспросами к прохожим. Достаточно было лишь в нужный момент, подняв взор, прочитать броскую вывеску: *«Модный салон Ирины Полонской. Если вы хотите выглядеть...»* ну и так далее.

Миная вестибюль и роскошную приемную, Янис оказался в мастерских. Туг он довольно бесцеремонно встал на пути маленького человечка с пышными седыми усами в ярко вышитой жилетке и с подушечкой, утыканной иголками и прикрепленной на рукаве белоснежной сорочки.

– Что такое? Пану нужна панна Полонская? – зататорил человек, глядя на Яниса снизу вверх. – Ну, если пану так срочно нужна панна Ирина, то не соблаговолит ли вельможный пан прежде представиться?

– О-ля-ля! – воскликнул сей оригинал, едва завидев корочки удостоверения. – Я обязан был догадаться... Пусть вельможный пан поднимется по этой вот лестнице на второй этаж и сразу свернет направо. Именно там он и найдет кабинет панны Полонской.

– ...Должен сказать, – человек перешел на шепот, безрезультатно стараясь дотянуться до янисова уха, – что вельможный пан выбрал для визита самое подходящее время: именно теперь панна Ирина распивает свой «каву по-варшавски»... И если я сказал вам неправду, то пусть не буду я никогда Казимежем Слободниексом!

И человек, ловко обойдя Яниса со стороны, побежал дальше, насвистывая полонез Огинского в каком-то странно-ускоренном и дерганом темпе.

Казимеж Слободниекс оказался прав. Панна Ирина действительно пила свой «каву» с поджаристыми треугольными гренками, щедро сдобренными ванильным сахаром.

Она была сама любезность. Едва кинув на гостя томный, оценивающий взгляд, тут же предложила садиться поближе. Она улыбалась при этом так ослепительно, что Янису многое сразу стало понятно из тайной жизни Афанасия Ледогорова. Когда же панна Ирина, покачивая бедрами, прошла к буфету за чашкой для гостя, Янису стало ясно все.

Ее не удивило, что гость – инспектор уголовной полиции. Панна Ирина сочла только нужным сообщить, что именно такими статными красавцами она и представляла себе сыщиков.

– Мое кредо: в жизни все должно быть красиво, – улыбнулась она, показывая ямочки на – увы – уже чуточку увядших щеках. – Иначе к чему, с позволения сказать, весь этот бедлам?!

...Но перейдем к делу. Вы, наверное, хотели о чем-то спросить? Спрашивайте. С удовольствием отвечу на все ваши вопросы.

Помнит ли она Афанасия Ледогорова? Еще бы! Красавец был мужчина! Обаятельный, веселый, щедрый – таких мало... Жаль, достался этой сучке, Хельге Альвинг.

– Бьюсь об заклад, – шепнула она, склоняясь к Янису своей темной, душистой головкой, – бьюсь об заклад, что сучка Хельга его и погубила... Вам это интересно?

– Интересное, – отвечал Янис, – но меня интересуют и другие детали.

– Какие же? Ах, девочки? Пана инспектора интересуют девочки? Это понятно! Ведь пан инспектор не видел Ирину лет этак... назад. А если бы видел, то, честное слово, забыл бы обо всех девочках на свете...

Бывала ли она в доме Ледогоровых? Да, бывала. Как девочки реагировали на ее присутствие? Интересный вопрос, и она попробует вспомнить... Пожалуй, они смотрели на нее, как Пилсудский на Советы. Все, кроме одной: та была настроена, скорее, иронически. Даже из-под тишка подмигивала отцу. Она, Ирина, подумала тогда, что, что у этой девочки хороший характер и что она далеко пойдет. Как она выглядела? Нет, этого панна не помнит. Как выглядели те, другие, настроенные враждебно? Как их звали? Помилуйте, разве не все юные девицы на одно лицо? Другое дело, когда они становятся женщинами. Тогда на них стоит обращать внимание – как на возможных соперниц... Что до имен, то, да будет пану инспектору известно, детей запоминают не по именам, а по поведению... Но как пан может это знать, пан и сам почти дитя...

Тут в красивых карих глазах Ирины появилось что-то столь соблазнительно-нежное, что Янис смутился и, отведя взгляд в сторону, спросил:

– Значит, это все, что вы можете мне рассказать?

– Ну конечно, все! Хотя нет, погодите-ка... Что-то же бросилось мне тогда в глаза... Я еще долго потом над этим смеялась... Ах, память, память...

Бросив на Яниса взгляд изподлобья, она вдруг сердито проговорила:

– Перестаньте кукуська! Не переносу кислых гримас у молодых и красивых парней!.. Потерпите немного... Выпейте еще кофе.

Янис, вняв ее совету, допивал вторую чашку крепкого кофе, когда Ирина, потирая свой гладкий, без морщин, лоб смуглой изящной ладонью, старалась вспомнить, что же рассмешило ее тогда, более десяти лет назад.

– Эврика! – вдруг воскликнула она, тут же переходя на интимный шепот. – Видите ли, одна из девочек была явно влюблена в своего папашу.

– Что ж тут странного? – не понял Янис. – все дети любят своих родителей.

– Какой же вы недотепа! – Ирина покачала головой. – Она любила его как женщина, не как дитя!.. Поняли, наконец? И поверьте, это не игра воображения, а женское чутье, которое, да будет вам известно, никогда не обманывает.

– Спасибо, – сказал Янис. – Имя вы, конечно же, не помните.

– А зачем мне было засорять память именем какой-то девицы? – пожала плечами Ирина. – Я ведь не собиралась замуж за Афанасия.

– А он делал вам предложение?

– Да, но я отказала. Хотя теперь жалею, что оставила его в руках этой твари, Хельги Альвинг.

Янис покидал салон мадам Ирины с двойственным чувством. С одной стороны, его не оставляла досада на польку, не пожелавшую, скорее всего из-за упрямства, вспомнить имена сестер. Даже той, чье имя она просто не могла не запомнить.

С другой стороны, было чувство несомненной удачи.

Действительно, ему многое удалось узнать за последнее время. Но как соединить в одно целое всю полученную информацию?.. Он чувствовал себя чем-то вроде мухи, которая продолжает биться о стекло, не подозревая, что форточка рядом...

Глава 14. Анна Кейша.

Вот еще недавно Янис был уверен, что посещение панны Полонской станет последним событием этого дня. Однако терпкий воздух улицы и бодрящий ветер с Даугавы сделали свое дело. Поймав такси, Янис направился напрямик на север, в замок.

– Ты? – удивилась Ирма, увидев Яниса на пороге своего дома. – Вот уж не ждала тебя сегодня.

– Значит, ты мне не рада, а я-то, глупый, надеялся...

Не говори ерунды! – она с силой втолкнула его в дверной проем. – Тебе я всегда рада, и ты это знаешь. А вот твоим друзьям из полиции, извини, нет! Придурки какие-то, прости господи! Чего они нам только не наговорили...

– Не суди их строго, Ирмочка, парни на службе. Дел много, денег мало – вот и лепят горбатого, – Янис устало вздохнул.

– Какой-то ты бледный сегодня, – она озабоченно посмотрела на него. – Было много работы?

– Да, – сказал Янис, – но я не только бледный, я еще и голодный.

– Ой, какая же я глупая! – Ирма всплеснула руками. – Пошли...

Ирма повела его в свою комнату, усадила на диван, заботливо подложив под голову подушку.

– Ты отдыхай. Вот журналы... А я пойду приготовлю что-нибудь поесть.

– Журналы... – Янис зевнул. – Надоели эти журналы, газеты...

– Может быть, хочешь посмотреть пока наш семейный альбом? Любишь рассматривать семейные альбомы?..

Порывшись на полке, она протянула Янису довольно пухлый альбом коричневой кожи. Янис терпеть не мог семейных фотографий, но ему вдруг пришла в голову мысль, что это может оказаться весьма полезным в его поисках, ведь фотографии, как никак...

Он успел проглядеть альбом почти до конца, когда в комнату вошла Ирма. Янис с отвращением поглядел на бутерброды и кофе у нее на подносе: он рассчитывал на более горячий прием.

К тому же от крепкого кофе, выпитого им сегодня в неумеренных количествах, у Яниса начиналась изжога.

Ирма же, оставив поднос на журнальном столике, присела рядом с Янисом.

– Интересно? – спросила она. – Вот на этой фотографии мне десять лет. Мы с отцом гуляем в зоологическом саду.

– По-моему, из всех сестер ты больше других похожа на отца, – заметил Янис. – И рост, и осанка, и в чертах лица есть много общего...

– Возможно... По крайней мере, я рослая девушка! – Ирма гордо выпрямила спину и откинула назад голову.

– Ты очень красивая, – сказал Янис, обнимая ее за талию. – И сестры твои тоже. Производят впечатление... Вот Марианна – вылитая мать. А Полина?.. Она, пожалуй, как и ты, больше похожа на отца.

– Она похожа на нашу русскую бабушку, поэтому, наверное, отец и любил ее больше всех.

Понятно... Но и Полина, кажется, обожала отца?

Ирма рассмеялась:

– Полина – хитрюга! Частенько она ластилась к отцу, если знала, что провинилась или хотела получить новую куклу.

– Ну да! Никогда бы не подумал, что в детях может быть столько коварства... А вот Марианна почти всегда хмурая. Мне удалось найти всего одну фотографию, где она улыбается. Но, похоже, в тот момент она не знала, что ее фотографируют.

– Это та, где отец надевает ей на голову веночек? – Ирма улыбнулась. – Фотографом была я. Пряталась за кустом сирени – вот Марианна и не заметила.

– Создавалось впечатление, что Марианна побаивалась отца, – заметил Янис, – что называется, «была маминной дочкой». Или я ошибаюсь?

– Она вообще была странной девочкой: ходила за всеми, как тень, шпионила. Особенно за отцом. За обедом часто делала ему замечания... Словом, вредничала, как только могла. Когда же мать одергивала ее, с плачем убегала, Приходилось отцу идти ее успокаивать.

– Дитя... – улыбнулся Янис.

– Как сказать, – возразила Ирма. – Так продолжалось лет до четырнадцати – пятнадцати, точно уж не помню.

– Удивительно!.. Впрочем, она и теперь производит впечатление необыкновенной девушки: немного экзальтирована, немного изнеженна... словом, аристократка...

– Да ты не влюбился ли в нее, часом? – глаза Ирмы подозрительно сощурились. – Если так, то я тебе не завидую. Марианна у нас – Снежная Королева: она никого не любит, кроме себя.

Девушка нежно улыбнулась, отнимая у Яниса альбом:

– Пей лучше кофе, а то совсем остынет!

Быстро расправившись с кофе и с бутербродами, Янис попросил Ирму проводить его в комнату Хельги.

– Хотелось бы осмотреть обиталище твоей матери. Ты не против? Наш доктор Другис говорит... – но Янис не стал продолжать мысль доктора Другиса.

– Понятно... еще один следственный эксперимент? – усмехнулась Ирма.

– Ты забываешь, моя милая, что я на работе ... Впрочем, я тебя понимаю: иногда сам себе становишься не то чтобы неприятен, но как-то так... Копаешься, как археолог в земле: то косточка голеностопа, то осколок глиняной чашки, то еще какая-нибудь дрянь... Но за всем этим открывается вдруг материк со своими царствами, большими и малыми...

– Ты только за этим пришел сюда?

– Не только за этим, клянусь!

– Не клянись, все равно ведь врешь... Ну да ладно. Сделаю вид, что поверила тебе, господин ищейка. Пошли! И любуйся своими черепками и косточками голеностопных суставов...

Внимательно оглядев комнату Хельги, Янис подошел к плетеному креслу, взял со стоящего рядом столика уже покрытый пылью томик и раскрыл его: «Ибсен. «Привидения», – вслух прочитал он. – Недурно, хотя и мрачновато на мой вкус.

– Неужели читал?

– А как же! Я, между прочим, довольно образованный молодой специалист. – И, возвращая книгу на место, задумчиво сказал. – Хорошо помню, как мне было жаль бедолагу Освальда. Мной даже овладела тогда своего рода мания, как бы и со мной не случилось того же... К счастью, это продолжалось недолго. Мой отец был совсем иного склада человек и не влачил по жизни тайного греха. Он вообще был замечательным парнем, мой отец. Кстати, тоже полицейский, а в юности – рыбак. Весь наш род из рыбаков: и дед, и прадед, и пра-прадед – все были рыбаками. Один только я «не пришей кобыле хвост», или, как это еще называется, «человек с высшим образованием».

– Тебе, наверное, повезло, – рассеянно обронила Ирма. – А Освальда действительно жаль! Как и всех несчастных, которые вынуждены расплачиваться за тайные грехи своих родителей. Подчас это даже и не грехи. А так – грязные мыслишки. Но дети – чуткие создания. Они умеют улавливать все, в том числе и мысли...

– Да, это так, – согласился Янис. – Скажи, твои родители ладили между собой?

– Что за странный вопрос? – Ирма отвернулась, чтобы не смотреть Янису в глаза.

– И все-таки?

– А почему бы им не ладить между собой? Не понимаю! Здоровые, богатые люди... Если ты имеешь в виду несчастье с отцом...

Ирма неожиданно смолкла, и щеки ее покрылись румянцем.

– Согласен. И, все-таки, ничего не могу с собой поделать. Мне почему-то кажется, что ты неоткровенна со мной, Ирма! Может, я сам виноват, не умею спрашивать? Не сердись и поверь, я действительно не прячу камня за пазухой, а всего лишь следую интуиции, какому-то внутреннему чутью... Такое странное ощущение: будто стою посреди пустыни, внушая себе, что вокруг вода, и судорожно ищу соломинку, чтобы ухватиться за нее и не

утонуть... Поэтому, прошу, не будь ко мне чересчур уж сурова и подозрительна.

– Совсем разжалобил, – улыбнулась Ирма. – Ну что тебе нужно знать, несносный ты человек? Бывали ли у моих родителей ссоры? Да, бывали и, порой, довольно страшные... Впрочем, может, мне так казалось по малости лет, не знаю... Тебе бы поговорить с Аннушкой, но захочет ли она с тобой говорить – это еще вопрос.

– Убеди ее, Ирмочка, а я, со своей стороны, обещаю быть галантным кавалером.

– Это, между прочим, никогда не помешает, – заметила девушка. – А что до Аннушки, то внешне она обманчива, она умеет ценить тонкое обхождение. Не зря же она у нас католичка.

Так она католичка?

– Да. Она родом из Латгалии, а там много католиков. Почти так же много, как и православных... Ладно, оставайся здесь, а я сбегая к Аннушке, попробую склонить ее в твою пользу.

Янис приканчивал уже десятый пирожок с сыром и тминными зернышками, расхваливая угощение на все лады. И, между прочим, совершенно искренне: пирожки были великолепны. Он выпил полтора кофейника кофе, но... Старая упрямая нянька оставалась непреклонной.

«Ну что она старая, глупая баба может знать о делах своих хозяев, людей таких тонких и образованных? У хозяев свои дела, у прислуги – свои. И это правильно! На этом весь мир держится! Ссорились, не без этого, конечно... А вы мне покажите мужа и жену, которые бы вовсе не ссорились? Но она-то, Анна Кейша, с какого тут боку припека?»

И тогда Янис решился на крайнюю меру. Нежно приобняв старуху за необъятную талию, он, приняв самый загадочный вид, проговорил:

– Милая госпожа Кейша, вы уж, верно, подумали, что я это все выспрашиваю из собственной прихоти? Это не так, поверьте мне. Я вообще за неприкосновенность семейных тайн. Они для меня так же святы, как таинство исповеди, сколь ни странно это звучит в наше атеистическое время... Но... – тут голос его сделался суровым и почти зловещим, – надо мной царит Вельзевул в образе полицейского начальства. Госпожа Кейша, неужели вы хотите увидеть меня в очереди на Биржу труда?

– Боже сохрани вас от такой напасти! В наше-то время потерять работу... – Аннушка в сердцах махнула тряпкой, которой только что стирала со стола крошки. – Тем более, если говорить по-честному, вы мне с того самого первого разу приглянулись. Чем-то вы с покойным моим хозяином схожи: такой же синеглазый, из себя видный, так же за словом в карман не лез. Как сейчас помню: придет, бывало, Афанасий ко мне на кухню – это когда девочки уже подросли, а я в кухарки определилась, потому что сызмальства талант имела к стряпне – придет и все что-то говорит, небылицы всякие рассказывает, из родных его краев привезенные. О студеных морях, где люди

за китами гоняются... булочек, само собой, потребует – весьма он охоч до них был... случалось, и приголубит... Не то чтоб до греха доходило, а все ж приятно... так иной раз подолгу с ним сидели, о том о сем разговаривали... Славный был человек, царство ему небесное! Веселый, добрый, не чванливый.

А деток своих уж как обожал – слов не подберу! Помнится, зубик у одной разболелся. Родной матери, Хельге, значит, хоть бы что – суровая она была женщина. «Завтра, – говорит, – к врачу идем, а куда пускай терпит!» Потому, полезно это – терпеть, дескать. А он, Афанасий-то, на руки дочку берет, да в щечку, да в коленочку целует – успокаивает, как может. Хельга увидела. Не понравилось ей это. И ну шипеть – ровно змея. А почему, никак в толк не возьму! Что в том дурного, если родной отец свое дитя приголубит?.. Грех большой говорить такое о покойниках, но злая была наша Хельга, ох и злая! Оттого и боялись ее все – и муж, и дети. Оттого и сама, бедняжка, счастья не знала...

А потом еще повадилась к нам модистка одна. Такая, знаете, вся из себя, панночка-полечка: вся из себя стройнюшенька, глазки масляны... Из тех брюнеток, что до чужих мужей охочи. Вот и ходит себе и ходит. Иной раз на обед заявится, другой раз – кофейку испить, о том о сем с хозяйкой посудачить... А язычок у панночки подвешен был... вот уж, я вам скажу, на славу – востренький, лукавый! Куда нашей Хельге до нее! О-хо-хо... Ей бы, Хельге-то, гнать ту панночку горячим кипятком от порога, так ведь нет! Пуще того – сама приваживала. Спросите – зачем? А вот зачем: уж больно строга была Хельга к одеже, особливо к шляпкам. Принарядиться-то, чай, хочется не хуже других – тоже ведь баба, не существо бестолковое. А никто, хотите – верьте, хотите – нет, из тутошних мастеров не мог ей угодить, кроме этой самой Ирины, модистки-то. Не знаю, право, может, когда б все так тихохонько и шло, так оно бы и лучше было. Потому, от Ирининогу присутствия спокойнее в доме становилось.

Но однажды – осенью это было, когда листья с деревьев падают, а теплынь такая, будто лето красное на дворе – сказал хозяин, что в другой город ему надо съездить. Собрался себе и уехал. А мы – Хельга, девочки и я – в кои то веки выбрались все вместе на прогулку. Идем себе по бульварам медленно, чинно, как и полагается приличным людям. В магазины заходим. Уже кое-что купить успели: для Ирмы сапожки, для Марианны пелеринку, для Полины, помнится, куклу – такую, что пеленать. Ну, еще по мелочи: ленточек цветных в волосы...

Идем, значит, воздухом дышим... А ветерок-то с Даугавы-кормилицы свежий такой, мягкий – прелесть что такое! Разнежилась я тогда совсем. «Почаще бы вот так на гулянье ходить, – думаю, – чем дома взаперти сидеть да щеки друг на друга дуть». А тут старшая, Ирмочка, возьми и попроси у матери лимонаду: мол, пить уж очень охота! Я уж вам говорила, теплынь в ту осень стояла, будто летом...

Стала Хельга головой крутить туда-сюда: где бы лимонаду дочкам купить. Вдруг словно бы заостенела вся, губы в ниточку сошлись, лицо только что

не зеленое. Глянула я из любопытства в ту же сторону и вижу: сидят под зонтиком хозяин наш с этой самой Ириной и аки голубки друг дружку мороженым с ложечки кормят. А улыбаются так, как одни милые и умеют...

...Да вы не смейтесь, господин хороший, я, хотя и единожды замужем и давно уж Юркаса своего похоронила, но кое-что в этих вещах понимаю, можете не сомневаться!

Ну вот... Скосила я, значит, глаз на хозяйку – чего доброго, глупостей не натворила б – да только напрасно: уж кто – кто, а Хельга умела себя на людях в ежовых рукавицах держать. Бровью лишь повела и говорит Ирмочке: «В другом месте лимонаду купим!» Развернулась и пошла в обратную сторону, а мы гуськом за ней.

...Вы что же кофеек не пьете? Остыл, поди, – так я разогрею мигом! – захлопотала старуха. – Могу и сливок к кофе. А может винца или водочки желаете?

Янис согласился на чашечку сливок, а от вина и водки наотрез отказался.

– Что ж, дело понятное – служба, – смирилась Аннушка, ставя кофейник на плиту.

Пошарив в недрах буфета, она отыскала горшочек со сливками, отложила доверху в поместительную глиняную чашку. Убирая горшочек обратно, так продолжала свой рассказ:

– Афанасий вернулся аж на четвертые сутки, поздненько вечером. Девочки – те давно уже по постелькам разбрелись. Хельга бродила по комнатам, тихая, угрюмая – ровно тень. Цветы поливала. Я же, справив свои дела, ушла в свою комнату и занялась вязанием. Зима была уже не за горами, а девки так за лето выросли, что все прежние носочки им только на пальчики влезали.

Так получилось, что никто и не слышал, как Афанасий пришел: умел он так тихо ходить, будто кот по крыше. Едва успевал он в передней разоблачиться, сразу же к своим любимицам – чтобы каждой под подушку гостинец положить. Сколько себя помню, он всегда так делал: кому куколку с палец величиной привезет, кому – мишку марципанового, кому еще какую безделку. И каждую дочку, бывало, в лобик поцелует. И уж только потом к жене идет.

... Видно, что-то такое я почуяла, потому что бросила свое вязание. Спустилась в переднюю, вижу: одежда-то хозяйская на месте. Вот и говорю тогда Хельге, мол, Афанасий, муж ее, вернулся. «Вернулся, говоришь?» – побледнела она и, как была, с кувшинчиком в руке, так и бросилась по лестнице вверх. В одну комнату заглянула, в другую, в третью – и видит: сидит наш хозяин с любимой дочуркой на руках; а та, хоть и сравнялось ей уже четырнадцать годочков, ангелочек – ангелочком, только что глазки на мокром месте. И все-то батюшку своего за шею обнимает, о бороду его трется, что-то на ухо ему шепчет: то ли жалуется на что-то, то ли о чем-то просит... А он ей ножки поглаживает, чтоб не простудилась, «все хорошо будет, – говорит, – все будет хорошо!» Я еще, помнится, подумала: «Дал бы господь каждому ребеночку такого вот отца, как наш Афанасий!» Но Хельга –

та, как видно, другого мнения была. «Поди-ка ты, – говорит, – сюда, старый кобель!» А у самой лицо бледное, как у покойницы, глаза в щелочки сузились, и дрожит аж вся от злости.

А потом такие слова стала говорить и про мужа и про дочку, что передать их вам язык не поворачивается! Девочка – ни жива, ни мертва, в подушки зарылась. Хозяин тоже оробел. Поднялся с кровати и осторожно так к жене подходит, да все приговаривает, как заклинание: «Что ты, что ты, глупая, успокойся!..» Только Хельга, прости господи грехи ее тяжкие, слушать больше ничего не хотела – и ну кувшинчиком мужа своего родного охаживать! А кувшинчик-то, хоть и маленький был, да бронзовый... Дочка с постели соскочила – и к матери: «Не смей, не смей!..» Но Хельга сильная была: одной рукой ее на кровать, словно котенка – шварк! Да еще бранное слово вдогонку. Глянула потом на мужа, а он ничком лежит, будто совсем не живой: колени к подбородку прижал, лица из-за крови не видно.

Фыркнула Хельга, как кошка, плечами повела – только что искры из нее не посыпались – и прочь пошла. А мне, уходя, приказала: «Убери отсюда, Аннушка, эту дрянь в штанах! Омой хорошенько, йодом смажь, перевяжи...ну и все такое... После ко мне зайди, вместе решим, что делать... А маленькой дряни скажи, чтобы язык свой во веки веков за зубами держала – не то пожалеет!»

С тем и ушла Хельга – прости и помилуй Господь ее душу. Сделала я все. Как она велела. Девочка, как могла, успокоила. Хозяйина омыла, раны йодом смазала, перевязала хорошенько и в постель уложила. Хельга же к тому времени уже все придумала: мол, социалисты Афанасия нашего до полусмерти избил. За то, что буржуй, да еще и русский к тому ж.

Так мы всем и сказали. И господину Бауманису, профессору, – тоже. Господин Бауманис, когда пришел хозяин в себя, все на операции настаивал. Только Афанасий – ядрена его душа – ни в какую! Мол, там, на родине, еще и не такое с ним бывало. Сильно гневался тогда господин Бауманис – да что поделаешь! Был бы Афанасий из простых, как говорится, – тогда другое дело, тогда и поступил бы господин Бауманис по своему разумению. А против воли богатого человека разве ж пойдешь? На то он ведь и богатство-то наживал, чтобы самому себе хозяином быть. Верно я говорю?

– Верно, – согласился Янис, вздыхая украдкой. Уж больно долго рассказывала Аннушка.

– ...Хозяин же наш, мало того, что от операции отказался, еще и за дела взялся, как ни в чем не бывало. Тогда-то господин Бауманис и сказал – а он мужчина серьезный, без выкрутасов: «Могилу себе мужик копает!» Так прямо и сказал... Все по его словам и вышло.

А до поры хозяин наш все так и работал, как будто здоровый был. Запретс у себя в кабинете, и только слышно, как названивает куда-то, на кого-то кричит в трубку, да так громко...А потом вдруг сорвется, дверью – хлоп! Бледный, как смерть, глаза горят – да вниз по лестнице. А автомобиль уже ждет на дворе...

Вечерком же обязательно ко мне наведается.

...Надо сказать, что девочек в ту пору в доме уже не было: после того случая отправили их всех к Анне-Лизе – погостить будто. Скучал он по ним сильно... Вот придет, значит, сядет напрогив: «Расскажи что-нибудь, матушка, – просит. – Только, пожалуйста, не громко. В голове гудит что-то...»

Начну я ему какую-нибудь сказку рассказывать, а сама-то едва не плачу: ведь что за мужик был – загляденье! А теперь скукожился весь, постарел, на висках залысины, борода из темной в пегую превратилась, поредела – что твоя худая кудель сделалась... А глаза: то будто студень блеклые, то пылают, как у безумного. Он же, болезный, еще и шутки шутит, чтоб меня успокоить: «Ничего, ничего, Аннушка, – говорит, – вот поправлюсь окончательно, поведу тебя в ресторацию, будем «вустриц» с шампанским кушать. Танцевать тебя научу...»

А однажды – никогда мне того разу не забыть – приходит и, голову на руки положивши, смотрит на меня так жалостливо: «Спой, Аннушка, песенку», – говорит. «Что же тебе спеть, родимый? – спрашиваю. – Хочешь, про сверчка или про пряжу?...» Он подумал малость, головой покачал и говорит: «Лучше я тебе спою». И тихо - тихо так начал что-то напевать.

Я русский язык плохо знаю, но кое-что разобрала: о какой-то старушке пел, о синице, что за морем жила, о девушке, что поутру за водой ходила... Так он пел, пел – и вдруг затих. Чую, плохи дела, конец приходит Афанасию. И взаправду: глаза затуманились совсем, дернулся он раз-другой, за голову схватился и рухнул на стол, а руки аж до самого пола повисли. Побежала я, сама не своя, Хельгу звать. Подхватили мы его, кое-как до комнаты дотащили. Два дня лежал, родимый, ни жив, ни мертв, только на третий день скончался. Приbral его Господь.

Янис уже начинал чувствовать, где особенно сильно жмут ботинки, а Аннушка все продолжала.

Похоронили Афанасия честь по чести. Стали деньги считать. Оказалось, что прибыли ровным счетом никакой: весь в долгах, как в шелках оказался перед смертью Афанасий. Все богатство от больной головы потерял. Хорошо, осталась малая копеечка, как долги-то роздали. На прожитие. Да кое-какие наряды да побрякушки Хельгины. Опять же, книги да кое-что из мебели осталось – да только чтоб было, где сидеть да голову преклонить. Остальное все с молотка пошло, чужим людям. Так вот, сударь вы мой!.. А больше рассказывать и нечего... Живем, как Бог послал – не в нужде, не в обиде. Да только после того Хельгиного греха смерть-матушка, видать, сильно к нам привязалась. Вот уже и Анны-Лизы, благодетельницы нашей, нет в живых, и самой Хельги нет... Чую, сударь вы мой, нехорошее что-то грядет...

– Скажите, госпожа Кейша, не могли бы вы вспомнить имя той из девочек, что тогда всему свидетельницей была? – Янис постарался придать своему голосу как можно больше участия.

– Никак невозможно, – отвечала старуха. – Если вы католик, то поймете... Будто нежнейший ангел с небеси закрывает мой грешный рот своими белоснежными крылами, как только подумаю я об этом рассказывать. Значит нельзя. Значит, так уж суждено... Да и зачем вам это знать? Дитя – оно и есть дитя.

– Ну что ж, не буду настаивать, – вздохнул Янис. – Спасибо вам, госпожа Кейша, за рассказ и за угощенье.

– И вам спасибо, сударь вы мой, что ублажили старуху... Очень вы все-таки с Афанасием покойным схожи, и врите так же складно, ну чисто – Афанасий... Чего он мне только не плел: и как в море ходил за царь рыбой, у которой на спине целые города, будто грибы растут; как на льдине величиной с трехэтажный дом зимовал; про остров какой-то с белыми медведями... Вот и вы тоже...

Ирма ждала его на красной кирпичной дорожке.

– Уходишь? – строго спросила она.

– Время... – Янис развел руками. – Уже вечереет, а у меня еще столько дел!

– Значит, уходишь... Получил свое – и уходишь...

– Ирма, Ирма... – Янис покачал головой. – Ну что ты от меня хочешь? Я ведь на службе.

– Что я от тебя хочу? Да ровным счетом ничего!

И, стуча каблучками, она поспешила к дому.

Только успел Янис вздохнуть с облегчением, переодеться в домашнее, как появился старший инспектор Куролис собственной персоной.

– Здорово, сынок! – сказал он, снимая шляпу и приглаживая седые, редующие на висках, волосы.

– Здравствуйте, крестный. Проходите, устраивайтесь. Сейчас сварю кофе...

– Чего-нибудь покрепче не найдется? – крестный высморкался в большой клетчатый платок, подкрутил усы и, шмыгнув носом, заметил, что кости ломит – видать, к дождю.

– Осень, дядя Стефан, – резонно заметил Янис, отправляясь на кухню варить кофе.

– Да-а, осень... – вздохнул старик.

Он прошел в комнату, внимательно огляделся, провел пальцем по столешнице, сердито бурча себе что-то в усы.

– Запустил квартиру, сынок! – сказал он, усаживаясь в кресло, когда Янис вернулся с кофейником и штофчиком тминной настойки. – Вещи раскиданы, на столе пыль... Сразу видно: нет женской руки!

– Да когда же мне убираться, если я целыми днями на работе?.. А что до женской руки... Это, боюсь, несбыточная надежда.

– Да? А я слышал кое-что другое, – крестный налил себе настойки. –

Хороша, чертовка! – сказал он, опуская пустую рюмку на стол, – лучшее лекарство от всех болезней!.. Так зачем, думаешь, я к тебе пришел?

– Думаю, соскучились, – Янис налил рюмочку и себе.

– Верно мыслишь. Я ведь когда в последний раз тебя видел? То ты в Курляндии, то кофеи у своих новых друзей распиваешь, то по бистро шляешься...

– Ну, в последний раз, крестный, вы меня видели не так давно, не далее, как сегодня утром, когда я получил от вас нахлобучку.

Правда? Вот чертова память. Наверное, склероз... Но сейчас дело не в этом... Что за отношения у тебя с теми девицами, проходящими по делу?

– Они еще пока не «проходящие по делу», – ответил Янис, – они, скорее, жертвы... И потом, кого вы имеете в виду? Всех сразу, что ли? Если так, то вы, дядя Стефан, явно переоцениваете мои способности.

– Ты не ерничай, не ерничай. Прекрасно знаешь, о чем идет речь... Рига – город маленький, а в нашем департаменте глаз и ушей хватает. Предупреждаю: выяснится, что у тебя там шашни – отстраню от дела как миленького!

– Да какие шашни! – вспылал Янис. – Ну прогулялся с одной из них, отобедал... Так это еще до убийства было. И, кстати, именно это обстоятельство сейчас служит интересам следствия. Я, можно сказать, уже вышел на прямую... А дело-то, – язвительно добавил он, – казалось тухлым, на «глухаря» шло!

– Пожалуй, – нехотя согласился Стефан Куролис. – И все-таки, скажи ты мне как на духу, успокой старика: нет у тебя никаких шашней в том доме, чтоб знал я, как себя вести?

– Нет, – уверенно соврал Янис. – Никаких.

– Ну и ладно тогда! – старший инспектор хлопнул себя ладонью по коленке. – На том и закончим с неприятным.

После третьей рюмки настойки и пары чашек горячего кофе выяснилось, что старший инспектор пришел не только затем, чтобы еще раз поругать племянника.

– Видишь ли, – начал он смущенно, – старуха моя притащила с распродажи буфет. На кой черт он ей понадобился – не знаю... Мало у нас тараканов, что ли... Но, говорит, уж очень старинный... Ну, а вся эта дребедень – резьба и прочее – где поколота, где потерга... Не возьмешься ли подлатать? Я заплачу, будь уверен! Ты ведь у нас специалист по столярной части...

– О чем разговор, крестный! Вот только закончу дело – и подлатаю. Будет ваш буфет, как новый!

– Вот и хорошо, – просиял старик, наливая себе еще рюмочку. – Всегда знал, что на Бангу можно положиться.

Проводив крестного, Янис какое-то время размышлял об интригах в их родном департаменте. «Следили бы лучше за бандитами и торговцами опиум... Да ну их всех к чертовой бабушке!...»

Когда-то друг Эгил подарил ему на день рождения пластинку с записью Тито Гобби. С тех пор вошло у Яниса в привычку слушать ее либо на сон грядущий, либо чтобы отвлечься от грустных мыслей.

Вот и теперь, внимая сильным, страстным звукам неаполитанских песен, Янис чувствовал, как успокаивается, как ширится его грудь, наполняясь светлой радостью и щемящей тоской. А душа, воспарив, уносится туда, где самое синее на свете море бьет пенной волной о буро-золотистые скалы; где рыбаки поют серенады из Торквато Тассо; где юные черноокие красавицы, грациозно покачивая бедрами, несут на плечах расписные амфоры. Их лица смуглы и прекрасны, как южный полдень, зубы белы и крепки, как жемчуг Средиземного моря... Воздух там напоен сладчайшим, терпким медом. Там растут кипарисы и раскидистые пинии, зреют апельсины и виноград. И еще там никогда не бывает зимы.

Янису вспомнился Винченцо, дружок Полины, и весь тот разговор в бистро. Он смотрел в окно, и взор его казался отрешенным от всего насущного. Но где-то в глубине синих глаз вспыхивали вдруг озорные огоньки, означавшие для тех, кто его хорошо знал, очень много, а именно: он понял, наконец, нечто важное для себя...

– Надо закрывать дело, – тихо сказал Янис. – Причем так, чтобы никто ни о чем не догадался.

Глава 15. Черная Вуаль.

Свой новый рабочий день Янис начал с того, что, вызвав к себе группу младшего оперативного состава, велел вести неусыпное наблюдение за домом и его обитателями; особенно его интересовали сестры.

– Будете вести их, только аккуратно, куда бы они ни направились, включая дамские уборные – туда заходить, конечно, не надо – церкви и кладбища.

– В церкви и на кладбища тоже не надо заходить? – спросил один из оперативников.

– Как раз наоборот, в церкви и на кладбища очень даже рекомендуется, – отвечал Янис.

Двоим из бригады – самым опытным, он приказал отправляться в окрестности замка и шляться там под видом бродяг.

Ближе к вечеру явился младший сержант Скуй.

– Есть! – доложил он, сияя, как солнышко. – Нашел я ту самую фотомастерскую.

– Отлично, Лудис! Садись, рассказывай.

И вот что рассказал сержант.

Фотограф-еврей, как только он, Лудис, показал ему фотографию и свое полицейское удостоверение, мгновенно вспомнил, что – да, действительно, приходила молодая женщина, весьма привлекательная. Одета она была вся в черное, из-под шляпки, скрывая лицо, спускалась черная, густая вуаль.

– Как же он тогда сумел разглядеть, что она привлекательна? – спросил Янис.

– А бес его знает, – пожал плечами Скуй. – Может, у него глаз как-то по-особенному устроен.

– Может быть... Ну ладно, продолжай.

Она, эта самая женщина под вуалью, и заказала портрет Хельги в увеличенном виде. Объяснила, что, мол, это ее родная тетушка, почившая неделю тому назад. Фотографироваться покойница не любила. Так что осталась только вот эта совсем маленькая карточка... А ей, племяннице значит, хотелось бы для вечной памяти иметь портрет любимой тетушки в рамочке. Еврей, знамо дело, отвечал, что это святое, что у него у самого в доме все стены увешаны портретами покойных родственников – с того самого года, как изобрели фотографию. Словом, сделал еврей то, что она заказывала.

– Когда была сделана фотография?

– В прошлом месяце.

– Угу, – промычал Янис, – понятно... Ну, а описать внешность дамы под вуалью он смог? Может, совершенно случайно заметил он цвет ее глаз, может, прядь волос из-под шляпки выбилась?..

– Как же, господин инспектор, прядка выбивалась. Это еврей даже очень хорошо заметил.

– Ну, и какого же цвета были волосы?

– Черные, господин инспектор! Черные, блестящие, как вороново крыло. Очень, сказал, красивые были волосы. Да и сама она, я уж говорил, показалась ему необыкновенно красивой.

– Черные... – размышлял вслух Янис. – Ну, а фигура, рост?..

– Тут, господин инспектор, он ничем помочь не смог. В том смысле – не заметил ничего такого, что было бы нам полезно. Сказал, что если женщина ему во всех отношениях приятна, то детали его вовсе не интересуют. Потому, детали – это уже изъян, а изъянов у той дамочки не было. Тут еврей голову готов дать на отсечение.

– Скажите, какой эстет, – хмыкнул Янис. – Ладно... Теперь остается выяснить, кто она, эта таинственная блондинка под черной вуалью.

– Брюнетка, с вашего позволения, – почел необходимым напомнить сержант Скуй. Он всегда работал на совесть, дорожил добытыми сведениями. Ему было немного обидно, что эти сведения вот так, с ходу, перевирают.

– Брюнетка, говоришь? – Янис пристально посмотрел сержанту в глаза. – Она могла бы быть брюнеткой, кабы я не знал, что она блондинка... А я, дружище Скуй, знаю, что эта женщина – блондинка и та самая преступница, за которой мы с тобой гоняемся... И знаешь, кто нам поможет ее найти?

– Не могу знать, господин инспектор!

«Лив-кабан»! – сказал Янис, откидываясь на спинку кресла. – А теперь слушай меня внимательно, Лудис.

Возьмешь двух дюжих парней и сегодня же отправишься на его поиски. Он может быть в глубокой «лежке» после убийства Яся, а может и нет. Может, пьянствует где-нибудь в кабаке, а может спит у себя дома... Найти

его крайне необходимо. Делай что хочешь: ври, запугивай, прихвати с собой фотографию убиенного Яся... Настройся на любую неожиданность, но помни одно: «кабан» нужен мне живым и здоровым, по возможности, даже жизнерадостным. Понял?

– Будет сделано, господин инспектор! «Кабан», конечно, парень хитрый, но и я не лыком шит. Не зря про нас, земгальцев, говорят: «Кто земгальца вокруг пальца обведет, трех дней не проживет. Кто земгальца обманет, тому, видать, сам нечистый помогает»... Так что можете быть покойны: если сам нечистый «кабану» не поможет, будет он здесь, у вас, как миленький.

– Вот и славно... Кофейку на дорожку?

– Да я бы и выпил, господин инспектор, да время позднее, не хотелось бы вас задерживать. Уж больно вид у вас, не в обиду будь сказано, смурной... Эх, господин инспектор, взять бы вам отпуск – да к нам, в Кикерики. Уж где и отдых, как не у нас! На молочный на свежий продукт; травку росистую покосить...Послушали б, как девки песни поют. Девки наши земгальские – загляденье одно, не чета этим расфуфыренным рижским дамочкам. Здесь, в Риге настоящих латышек раз, два – обчелся!.. А ежели думаете, что стесните кого, так это напрасно: у тетушки моей домина просторный – хоть куда!.. Так что подумайте, господин инспектор, от чистого сердца предлагаю, а не то чтоб там чего...

«Лучше бы он согласился выпить кофе», – устало подумал Янис. Вслух же сказал:

– Обязательно подумаю... А пока отправляйся на поиски Гунара - «кабана». Только не забудь переодеться в гражданское.

Какое-то время Янис сидел, обхватив голову руками.

«Надо бы мне развезть немного. Уехать куда-нибудь подальше, в Тибет, например, к йогам. Говорят, полезно...»

Янис действительно чувствовал себя неважно, поэтому решил не тратить времени на дорогу домой, а остаться ночевать в управлении. Старенькое пикейное одеяло вместе с подушкой хранилось у него в просторном нижнем отделении шкафа для бумаг.

Перед сном он отправился побродить по ближайшим улочкам. От домов маняще пахло стряпней, теплым дымком печных труб.

Небо было холодным, черным и звездным. Кончалась пора звездопада, пора, когда загадывают желания.

Янис Банга думал о трех сестрах: Полине, Марианне, Ирме...Каждая из них была хороша на свой собственный лад, в каждой была загадка...

Только бы не тянул Лудис с поимкой «кабана», – эти слова Янис, не отдавая себе в том отчета, произнес вслух. И тут же услышал позади себя тихий смех. Обернувшись, он увидел перед собой Полину и Марианну.

– Ай-ай-ай, – сказала Марианна, – бродите по ночам в одиночестве, разговариваете сами с собой...Это дурной знак. «Берегитесь, ведь ваш собеседник...» Девушки снова, уже громче, рассмеялись. А Янис поинтересовался, куда подевали они несчастного итальянца.

– Неужели у очаровательной Полины опять смена караула? Было бы жаль. Мне понравился Винченцо.

– Винченцо преспокойно дрыхнет в своих апартаментах, куда меня пока что не допускают, – ответила Полина. – Так что на сегодняшний вечер я свободная девушка.

– Благодаря от всего сердца, но сегодня, если быть честным, я собирался хорошенько отоспаться.

– Что ж, сладких вам сновидений, – равнодушно пожелала Полина. – Но вы, однако ж, забыли отчитаться перед нами кое в чем.

– Н-не понимаю...

– Он не понимает! Вот интересно! – воскликнула девушка. – Убийца нашей матушки – собираетесь вы его ловить или нет? Хороша полиция: чуть что – сразу в кусты и знать ничего не знают! Правда, Мари?

– А действительно, Янис, – произнесла Марианна своим певучим голосом, и тот вздрогнул, услышав свое имя, – когда вы найдете этого бандита? Или Полина права, и вы перестали его искать?

– Полина права: мы действительно перестали его искать. Потому что уже нашли. К сожалению, мертвым.

– Здорово! Значит делу конец? И кто же он, этот аспид?

– Заезжий бандит, из Польши... Однако вы не правы, дело не закрыто. За эти несколько дней мне удалось разузнать много интересного. Все словно сговорились снабжать меня фактами. Ваша нянюшка, например... Мы непременно еще поговорим с вами об этом... – Янис сделал вид, что с трудом подавляет зевок. – А теперь, девушки, извините, я действительно хочу спать... Доброй ночи, Полина! Доброй ночи, Марианна...

Не успел Янис сделать и двухсот шагов как услышал позади себя голос Марианны: Янис, постой! Да стой же, я тебе говорю!..

... Звезда покатила по небу, такая большая и яркая, какие редко удается видеть. Янис Банга загадал желание.

Глава 16. Ночь.

Не спал город Рига. Непокойной выдалась та осенняя ночь. Все началось с того, что огромный свинцовый трехсоткилограммовый кот, покинув свое место на шпиге одной из крыш, прыгнул на брусчатку мостовой и принялся, как ни в чем не бывало, прогуливаться, любясь лунным сиянием и падающими звездами. Вдруг одна маленькая звездочка сорвалась с небосклона, покатила вниз и рассыпалась искорками у самых лап кота.

– Вы тоже здесь, прекрасная полячка? Немудрено в такую ночь! – промурлыкал кот, поправляя пенсне на широкой, костистой переносице. – Рад, сердечно рад, мадам. До меня тут дошли кое-какие слухи, – сказал кот, после того, как они совершили парочку кругов по маленькой, мощенной булыжником площади у собора Святой Анны. – Так вы, стало быть, всерьез

утверждаете, что та юная особа имела несчастье влюбиться в собственного папашу?

– Ничего я не утверждаю, – фыркнула панна Полонская, закрепляя на полях элегантной шляпки густую черную вуаль, – я доверяю женскому чутью... Но, кстати, разве это противоречит принципам вашего господина Фрейда?

– Фрейд... – поморщился кот. – Все-то вы, женщины, носитесь с этим Фрейдом. И чем он вам так потрафил? Придумал массу оправданий вашему распутству?.. Лично у меня совсем другие наблюдения: если папаша блондин – дочка любит брюнетов и наоборот; если алкоголик – не выносит запаха спиртного... Это мы, мужчины, любим постоянство, а женская нагура ищет противоположности...

Глазки полячки заискрились:

– А давайте спросим голову лива!

У головы лива почему-то были густые черные брови, круглые серые глаза, мясистое лицо и нос картошкой.

– Пресвятая Богородица, спаси и помилуй! – запричитала голова. – Говорить такое о невинных младенцах! Как у вас язык только поворачивается!.. Ну, на вас-то, панночка-полечка, я давно хотела... – и голова смачно плюнула на мостовую. – А были б у меня руки, так погнала б горячим кипятком от этого самого места... Но вы-то, господин кот Бауманис! – уж от вас я такого не ожидала! Что ж плохого, спрашиваю я, в том, что дитя своего родного отца любит?

Мимо проходила компания, состоявшая из нотариуса, портного модной мастерской и фотографа. Они дружно насвистывали полонез Огинского в ритме «7-40», но заинтересованно остановились, услышав, о чем идет речь.

– Ба! Да тут, кажется, серьезный разговор? – сказал фотограф и, обернувшись к нотариусу, с усмешкой добавил. – Вы слышали, почтеннейший, они склоняют господина Фрейда?!

– Невежды есть невежды – да не откроются им тайны Мудрейших, – отвечал нотариус, зловеще улыбаясь.

Портной же заметил:

– Все это суета сует!.. Есть деньги – люби кого хочешь, нет денег...

И вся троица, приплясывая, отправилась себе восвояси.

– Однако... – пробасил кот, – куда только магистрат смотрит? – и неожиданно добавил. – А что вы думаете о нашем новом знакомом?

– Об этом симпатичном молодом человеке? Он не глуп, хорош собой, но начисто лишен инициативы.

– Да-а, склонен попадать под влияние... К тому же поэт, – кот протер пенсне белоснежным платочком. – Слишком тонкая организация для следственной службы...

– А мне он понравился! – искрящаяся панночка томно сощурилась.

– И мне! – закивала голова. – Хотя он и соврал, что католик... А как уплетал мои пирожки...

Янис не выдержал:

– Имя! Скажите мне наконец имя! – закричал он.

– А чему тебя в университетах учили?! – Прогремел неведь откуда голос доктора Другиса.

...Янис сломя голову бежал по узким улочкам старого города, преследуемый этим язвительным вопросом.

Скатившись вниз по выщербленным ступеням, он оказался перед низкой деревянной дверцей, резьба которой кое-где стерлась и пооткололась.

– Эврика! – вскричал Янис. – Вот и кабачок!

Когда дверь за ним захлопнулась, Янис понял, что очутился в ловушке.

– А вот и наш прекрасный сыщик! – хором воскликнули три девушки, сидящие за столиком в углу в компании двух кавалеров весьма подозрительной наружности.

И не успел Янис открыть рот, чтобы учтиво поприветствовать дам, как в голову ему полетел маленький бронзовый кувшинчик.

Кувшинчик больно ударил его в висок: раз, другой, третий...

– Не смейте меня трогать, не смейте! Хватит, хватит! Это же больно, в конце концов!..

Глава 17. И снова убийство?

Телефон продолжал настойчиво звонить.

Янис машинально снял трубку.

– Ты очень занят? Извини...

– А-а... который час? – Янис начинал приходить в себя.

– Уже десять.

– Вечера?

Ты что, Янис? Что с тобой, тебе плохо?

– Нет-нет, ничего... Ирма... Я просто слишком крепко спал.

– У нас снова несчастье. Отравили садовника. Приезжай скорее, Янис!

– Какой садовник?.. Ирма, объясни все толком, я ничего не понимаю.

– Янис, милый, я ничего больше не могу сейчас сказать. Приезжай – и сам все узнаешь. Только поскорее, мне страшно...

– Хорошо, сейчас приеду. Один вопрос: Полина с Марианной дома?

– Спят как всегда...

– Тогда скажи им, когда проснутся, чтобы никуда из дома не уходили.

– Хорошо.

Ирма повесила трубку.

– Садовник... – бормотал себе под нос Янис, пытаясь отыскать свою кофейную чашку. – Какой садовник, почему – садовник?.. Черт-те что творится в этом замке...

Почти машинально он набрал номер лаборатории:

– Альфред, это Банга. Доброе утро. Едем в замок. Там опять убийство. Что?..Какой замок?.. Ну тот самый, черт возьми, где живут эти Ледогоровы. Какое убийство?.. Отравление. И самое интересное, что отравлен садовник. Вы что-нибудь понимаете? Я – ничего!.. Ну ладно, обсудим это на месте.

Прежде чем выехать на место преступления, Янис позвонил дежурному на вахту и велел тому написать самыми крупными буквами и повесить на самом видном месте:

«Явится сержант Скуй – срочно в замок, вместе с «кабаном»!

Пока доктор Другис возился с умирающим Микелисом, на которого, правду сказать, смотреть было страшно, Ирма повела Яниса к Аннушке.

На кухне царил полный кавардак: на полу валялись баночки со специями, бутылки и бутылочки, какие-то черепки...

– Дело было так, – начала старуха свой рассказ, утирая слезы. – Сварила я себе кофейку. Обыкновенно горький пью, с цикорием – доктор говорит, так полезнее. А тут сладенького захотелось. Сварила, значит, и только успела кружку налить, как вот Ирмочка меня кличет... Вернулась – глядь: чашка-то пустая, а на полу наш Микелис валяется и будто черти его в печке мучают. Глаза на лбу, изо рта пена так и валит... Просто страсти Господни, – старуха истово перекрестилась. – А что это значит? – спросила она и сама же ответила. – А значит это, что меня отравить хотели. Кофе-то я варила хороший... Думается, кто-то проник в кухню и яду подсыпал... А Микелису – ему ведь все равно, что лакать: кофе ли, водку ли, навоз ли свинячий – главное, чтоб жидкое было... Ой, горе, горе!.. Говорила я вам, что смертушка за нами увязалась...

– Ну, что ты обо всем этом думаешь? – Ирма строго смотрела Янису в глаза. – Скажи хоть что-нибудь: ведь ты как-никак следователь.

– Скажу, что произошла ошибка: Микелис вылакал то, что предназначалось не ему.

– Возможно... Но кто это мог сделать? В доме только свои.

– Значит, кто-то из своих, – не моргнув глазом, отвечал Янис. – Я, между прочим...

В этот момент в коридоре раздался такой громкий хохот, что все вздрогнули. Даже старая Аннушка перестала всхлипывать и, вытянув шею, не мигая, смотрела на входную дверь, видимо, ожидая, что вот-вот появится сам Вельзевул с рогами и копытами.

В чем-то предчувствия не обманули старуху: дверь со скрипом открылась, и на пороге возник доктор Другис.

– Ну что, старая, – бесцеремонно обратился он к Аннушке, – похоронила уже, небось, дружка своего любезного?

– Так ведь... – забормотала старуха, испуганно моргая.

– «Так ведь, так ведь...»! Маринады собиралась на зиму делать?

– Собиралась, само собой...

Доктор, не слушая Аннушку, нагнулся и поднял с пола красивую бутылку в форме медведя.

– «Русская водка». А у тебя что в ней было? Уксусная эссенция? – доктор понюхал горлышко.

– Так какой же маринад без уксуса?..

– А почему в этой бутылке?

– Да бутылка уж больно красивая. Афанасий подарил...

– Хорошая идея! Налить уксусную эссенцию в бутылку из-под водки, когда алкоголик в доме. Вот и наглотался твой любезный: видно, кофе ему не по нутру пришелся.

– Ах-ти-и...

– Вот тебе и ахти-и, дура старая!

Взяв со стола пустую чашку из-под кофе, доктор осторожно поводит ею у себя перед носом. Потом взял на палец немного кофейной гущи, попробовал на язык и, сплюнув, заявил:

Никакой отравы здесь нет. А тому парню я влил соды побольше. Сейчас его отвезут на промывание желудка – и, как говорится, «крем-брюле». Жив будет, но с «крокодиллом» в брюхе, – съязвил доктор.

Обращаясь к Янису, удивленному не меньше Аннушки, сказал:

– По-моему, господин паникер, нам здесь больше делать нечего!

– Ну, это уже мое дело, – раздраженно отвечал Янис. – Медицина пусть катится ко всем чертям, а полицейская бригада останется!

– Гм, – пожал плечами доктор, – не понимаю... Ну, ладно. – Повернувшись к старухе, добавил. – Бывай, старая!

Аннушка в ответ сердито махнула рукой и отвернулась, бормоча что-то себе под нос.

– Янис, – Ирма коснулась его плеча, – ради бога, скажи, зачем остаются полицейские, если все прояснилось?

– Не торопи события, Ирма. Я хоть и не Эркуль Пуаро, но тоже хочу, чтобы все выглядело красиво... Собери сестер – ну хотя бы в той комнате, с роялем...

Ирма хотела казаться спокойной, но дрожь в голосе выдавала ее с головой.

– Ты что-то задумал?

– Задумал, – отвечал Янис.

Глава 18. Ва-банк.

– Итак, – начал свою речь младший инспектор Банга, – как ни тяжело мне вам это говорить, но закон есть закон...

– Красавчик вы наш, – взмолилась Полина, – нельзя ли покороче?

Марианна, искоса взглянув на сестру, усмехнулась. У Ирмы покраснели щеки. Вообще, вид у нее был такой, словно она готова сквозь землю провалиться, только бы не видеть и не слышать того, что здесь произойдет.

Янис невозмутимо продолжал.

– Повторяю, мне тяжело это говорить, но одна из вас является убийцей бандита по кличке «Болотный огонек» и косвенной убийцей своей матери.

– Кто же именно, можно полубопытствовать? – Марианна закурила сигарету.

– Это выяснится чуть позже, с приходом главного свидетеля... Вам знаком «лив – кабан»?

– Впервые слышу, – отвечала Марианна.

– И все же вы непременно его узнаете, когда увидите, а пока...

– ...в ожидании казни... – подсказала Марианна.

– Ну зачем же сразу «казни»? В ожидании свидетеля я предлагаю всем сохранять спокойствие.

Янис чувствовал себя в этот момент полным идиотом, но что оставалось делать? Положение, как говорится, обязывало.

– Янис, Янис... – покачала головой Марианна, – Ну что вы такой, ей богу... Прилягте-ка лучше на диванчик, а мы за вами поухаживаем.

– Ваше чувство юмора, Марианна, делает вам честь в подобной ситуации, – Янис потер затылок. Начинала болеть голова. – Но я не шучу. Положение очень серьезное. Скоро одну из вас придется арестовать. Что, если это будете вы?

– И у вас хватит духу? – в голосе девушки была легкая грусть.

– У меня нет выбора, ведь я – слуга закона...

Полина громко фыркнула. Ирма вообще старалась не смотреть в их сторону. Марианна, улыбаясь краешками губ, заметила:

– Никакой вы не слуга, Янис. Вы – умный, красивый мужчина... Просто бывают такие дни, когда все идет кривь и вкось... Давайте-ка лучше сыграем в карты.

Большую часть ночи вся честная компания провела за игрой в карты, пока, наконец, девушек не сморил благодетельный сон. Янис же не спешил отдать должное взыскательной природе. Проверив надежность охраны, он бродил по замку как тень, проверяя все возможные закоулки. Затем он вернулся в комнату, где спали девушки.

Сержант Скуй в компании с Гунаром – «кабаном» объявились часам к восьми утра. А за полчаса до этого Яниса, только-только задремавшего, разбудил один из полицейских и сообщил, что исчезла одна из девушек.

– Вижу, идет себе спокойненько так по коридору, – рассказывал полицейский. – Я, конечно, спрашиваю, куда, мол, собралась, красотка, может, вместе прогуляемся? А она мне – срамно повторяет, господин инспектор... Я за ней: порядок есть порядок! И могу сказать утвердительно, что прошла она в ту самую комнату, куда обыкновенно по нужде ходят... Ну, стою я, словно бы на карауле... Жду пожду: нет девки. «Утонула она там, что ли?» – сам себе думаю. Подождал еще чуток, внутрь заглянул, а ее и след простыл! Будто испарилась... Чудеса – да и только!

– Чудеса... – проворчал Янис. – Что-то ты перепутал, браток, проморгал, небось, девку, а теперь все на чудеса валишь. Не может быть, чтоб живой человек испарился

– Очень даже может, – встрял второй полицейский, – если девка – ведьма. А эта – ведьма была! Точно говорю. Я ихнюю породу издалека чую.

– Ладно, ребята, хватит дурить! – рассердился Янис. – Лучше осмотрите-ка окрестности. Может, пока бежала, ногу на кочке подвернула – всякое ведь бывает, чем черт не шутит...

Сильнее всего исчезновение девушки расстроило сержанта Скуя.

– Что ж это такое делается, – сокрушался он, – работаем, работаем – и все коту под хвост? Обидно, господин инспектор!

– Ничего-ничего, – успокоил его Янис, – нет худа без добра. Раз сбежала – значит виновата.

– Так-то оно так. Да ведь искать придется.

– Не беда, Лудис, найдем! Главное – знать, кого искать...

Гунар – «кабан», заложив руки в карманы широких брюк, расхаживал по комнате с видом заправского туриста, изучая всю эту роскошь имущего сословия. Что ему до забот уголовки – своих проблем, что ли, мало?

Приказ Яниса обшарить окрестности дал неожиданный результат.

– Утонула девка-то, господин инспектор, – сообщил тот самый суеверный полицейский, что заподозрил ведьму.

– С чего ты это взял? – нахмурился Янис.

– Очень просто, – пояснил тот. – Одежка на берегу в кустах спрятана, а девки нет. Значит, утопла. Спросите, зачем одежду сняла? Отвечу: потому, ведьма! Ведьмы – они в ад совсем голюшенькими сходят. Такой у них обычай. И нарушать его – ни-ни!.. Да и озерцо-то это «чертовым» кличут...

– Ну, хорошо, хорошо, а почему же одежду не принес? Это вещдок.

– Если честно, то боязно, господин инспектор, – признался полицейский, густо краснея. – Ведьмина все ж одежда-то!..

Янис тяжело вздохнул, протер лицо ладонью. Мимолетная мысль посетила его: либо он, Янис Банга, сошел с ума, либо колеса истории повернулись лет на триста назад, в век генералов священной инквизиции и мушкетера Д*Артаньяна.

– Заберите вещдоки – и все в управление! – сердито скомандовал он полицейским. – А ты, Лудис, вместе с «кабаном» подождите меня в холле. Вместе поедем.

Когда сержант с главным свидетелем ушли, Янис подошел к девушкам и, обнимая их за плечи, тихо заговорил:

– Что я могу сказать в утешение? Такой исход все же лучше...

Полина только тяжело вздохнула, отводя взгляд в сторону. Ирма, освободясь из объятий Яниса, сказала, что хочет побыть одна.

– И ты не ищи пока встречи со мной, – на прощанье сказала она. – Я сама тебя найду...

– Да, конечно, – согласился Янис, – конечно...

Он стоял у окна и наблюдал, как бравые парни полицейские переминаются с ноги на ногу, не решаясь поднять с земли одежду углопленницы. «Какой мы, латыши, все-таки суеверный народ», – подумал Янис.

Подошла Полина.

– Скажи, ты рад, что все так закончилось? – она внимательно посмотрела ему в глаза.

– Не знаю, – отвечал Янис. – Будущее покажет... Во всяком случае, я сделал то, что должен был сделать...

Глава 19. Свидетель

Несколько часов спустя в кабинете младшего инспектора Яниса Банги собралась довольно пестрая компания. Сам младший инспектор, хотя и был героем дня и хозяином кабинета, занимал сейчас весьма скромное место в углу, возле сейфа. А за его столом довольно вальяжно расположился бандит по кличке «лив-кабан». Напротив «кабана» оседлал стул старший инспектор Куролис. Возле дверей аллегорией Закона застыл сержант Лудис Скуй.

– Ну что, «кабан», – начал старший инспектор, – признаешь ты, что получал от некой особы бумажный пакет с фотографией, энной суммой денег, который ты должен был передать своему подельнику, «Болотному огоньку»?

– Я не дурак, чтоб опираться, господин старший, когда вам так много известно, но и брать на себя лишнее тоже не хочу, – заметил Гунар. – Пакет получал и передавал – это я подтверждаю. А вот что там было в пакете – знать не знаю. Любопытство до добра не доводит, господин старший, особенно если это касается такого типа, как «Болотный огонек» – уж вы мне поверьте!.. Также начисто отрицаю, что был его подельником. Он в одиночку работал. А у меня, между прочим, и желания такого не было – в его делах участвовать. Я вор, господин инспектор – и только, а он... Странный он был парень, господин старший, словно бы не от мира сего. Бывало, за целый день слова не вымолвит, ходит, словно в воду опущенный. И вдруг так посмотрит, как ножом полоснет, аж мороз по коже... Вот что гужевались вместе – это правда. А боле ничего меж нами не было. И попрошу занести это в протокол!

– Допустим. Но почему та особа именно тебя выбрала в посредники? И, кстати, сколько ты получил за это? В латах или в валюте?

– Да бог с вами, господин старший, какая там валюта! Перстень лат на сто. Я их давно уже пропил.

– Ну, это ты погорячился, «кабан», – усмехнулся старший инспектор, – перстень наверняка стоил гораздо дороже! Но вернемся к нашему разговору: почему она выбрала именно тебя?

– Ну это... в общем, вопрос интимный... – густо покраснел Гунар. – Начал я к ней колышки подбивать. Думал, и она ко мне серьезно, а она вон как! Вначале Яся порешила, а потом и меня на тот свет едва не спровадила.

– Откуда тебе это известно?

– Сержант сказал, – Гунар кивнул на Скуя. – Как подумаешь, господин старший, не девка, а прямо ведьма какая-то!.. Но ведь ежели девка пригланется, то тут уж хоть трава не расти!

– Возможно. И последний вопрос: кто она? Имя, фамилия девицы?

– Как это – кто? – удивился Гунар. – Ведь я уже докладывал младшему: та, что в озере утопла! Кому еще такое с руки?

– А откуда тебе известно, кто именно утоп в озере?

Послушайте, господин старший, – громко засопел Гунар, – я человек простой. Сказано было младшим, что утопла, и другие тоже говорили... Значит, так и есть.

– Меня интересует имя девицы, которая передала тебе пакет.

Янис, до сих пор беспечно сидевший в своем углу, весь напрягся и подался вперед, точно перед прыжком.

– Марианна ее зовут, – отвечал Гунар. – Красивое имя, а на поверку... Эх, ладно, чего там!.. О покойниках плохо не говорят.

– На фотографии узнаешь ее?

– Думаю, узнаю – не раз ведь виделась.

Стефан Куролис выложил на стол три фотографии: Полины, Марианны, Ирмы.

Кто из них?

Гунар, пробежав фотографии глазами, посмотрел вначале на старшего инспектора, затем на младшего и, усмехнувшись, показал на портрет Марианны.

– Она. Она и есть, ведьма проклятая!.. А хотите знать, почему она именно в этом озере утопла? – без того узкие, глаза Гунара сузились в щелочки.

– Ну и почему? – усмехнулся в усы старший инспектор.

– Да потому, что "чертовым" кличут его в народе. Дна оно не имеет, а ведет прямо в ад крошечный...

– При этих словах сержант Скуй, как бы соглашаясь, задумчиво покачал головой и что-то пробормотал себе под нос.

– Старший инспектор, крикнув, поднялся со стула.

– Ладно, мне все ясно. Составляйте протокол. Будем считать это дело закрытым. Попробуем, конечно, поить утопленницу... Но если такие люди, – он кивнул на Гунара, – утверждают, что озеро бездонное... вряд ли чего найдем.

Янис Банга облегченно вздохнул.

– Ну, Гунар, – сказал теперь младший инспектор, – давай-ка займемся писаниной.

– Эта ваша писанина – вот она у меня где! – скорчив кислую гримасу, Гунар ухватил себя за кадык.

– Ничего не поделаешь, – отвечал Янис, – порядок такой. Итак, начнем, пожалуй...

– И что же мне теперь делать? – поинтересовался Гунар, когда все формальности были соблюдены.

– Ничего особенного, – Янис сидел, откинувшись на спинку кресла и положив ногу на ногу. – Заплатишь в кассу штраф в размере двухсот лат за неявку вовремя в наше учреждение – и гуляй покуда.

– Какой такой штраф? – возмутился «кабан». – Эй, сержант, мы ведь так не договаривались!

– А при чем тут сержант? – Янис пожал плечами. – Сейчас ты со мной договариваешься... Так ты не желаешь платить? Предпочитаешь срок взять? Так и запишем... – Янис замаяхнулся авторучкой над листом бумаги.

– Ладно, ладно, пошутили – и будет, – остановил его «кабан». – Хоть я теперь и «на мели», да свобода дороже. Наскребу как-нибудь эти чертовы двести лат... Но только с собой их у меня нет!

– Вон сержант Скуй проводит тебя до дома. Дома-то они у тебя есть?

– Э тот, что ли, проводит? – Гунар кивнул на Лудиса Скуя и ухмыльнулся. – Тогда ладно! С ним-то я прогуляюсь со всем моим уважением. Дельный парень, не «фараон». Настоящий латыш, побольше бы таких!

И, обращаясь к сержанту Скую, он весело прибавил:

– Ну что, сержант, пошли за денежками?

В дверях он обернулся и ядовито произнес:

– Ну и крохоборы вы тут, начальники! А еще интеллигенция...

Младший инспектор только руками развел, а сержант, крепко стиснув локоть ведомого, сурово сказал:

– Лишнего не болтать!

– Молчу, молчу, – осклабился «кабан». – Да ты лапищу-то убери, больно, поди...

– Что это «кабан» к тебе такой любовью воспытал? – спрашивал в тот же вечер Янис Банга сержанта Скуя.

– Да чего там... – заскромничал сержант, лыбясь и почесывая затылок. – Я, когда к нему завалился (парни из сопровождения на улице остались), он, «кабан» – то на кушетке лежал хмурый, помятый, по всему видать – с похмелья. И взбрело ему в дурную его башку шкуру мою на прочность проверить. «Кабан», слов нет, парень здоровый. Но я-то, – сержант с видимым удовольствием повел могучими плечами, – поздоровее буду. Взял я его аккуратно за руки, на кушетку усадил и говорю: «Ты кто есть? – говорю. – Шпана рижская. А я потомственный пахарь! Да я таких, как ты, знаешь сколько скрутить могу!?» Он и затих, зауважал. Человек силу уважает, господин младший инспектор, это уж точно... Ну, а потом рассказал я ему все, как вы велели: и про убийцу, и что хана ему, «кабану», если со мной не пойдет. Фотографию мертвого «Болотного огонька», само собой, показал. Вижу, дрожит, как осинов лист, но идти к нам все ж сомневается. Морду бы ему набить – и вся недолга. Но вы ведь строго-настрого запретили насилие чинить, а я человек памятливым... Тогда-то и пришла мне в голову мыслишка одна. «Ладно, – говорю, – сиди тут, жди, покуда тебя кокнут, А не кокнут, так

все одно в тюрюгу сядешь, как миленький. Потому что известно нам про английский пароход, что с вечера в порту с грузом опия стоит. Знаем, что ждут тебя там, не дождутся... Вот и выбирай: либо в тюрьму – за споспешество бандиту и торговлю опиумом, либо даешь нам какие надо показания – и гуляй себе на все четыре стороны...» Он меня слушает, а сам лоб наморщил, глазищами эдак бессознательно ворочает, головой из стороны в сторону мотает – ну точно кабан, когда его собаки обложили – видно, пытается что-то такое вспомнить, да туговато идет с похмелья... Ну и согласился со мной идти – чтоб от греха подальше.

– погоди, погоди, – нахмурился младший инспектор, – что за пароход с опиумом? Почему я ничего не знаю?

– Вот я и говорю, господин инспектор, – ухмыльнулся сержант, – что если даже вы поверили, то уж пьяный «кабан» – и подавно! Где ему было сообразить, что на блесну я его беру.

Уразумев, наконец, простоватую хитрость Скуя, Янис от всей души расхохотался.

– Молодчина, сержант! – сказал он, утирая слезы. – Готовь себе новые дырочки. Заслужил!

И, хитро подмигнув Скую, добавил:

Слышь, а «кабан»-то теперь, небось, в порту ошивается, английский пароход ищет.

Глава последняя, но не заключительная.

Концепция магистра Эгила Стренги.

Хороша Рига зимой, даже в оттепель. А уж если повезет, и пушистый, мягкий снежок накроет город что называется «с головой»... Ах, что там говорить! Хороша Рига в любую погоду, а особенно накануне Рождества...

Да, был канун Рождества, и погода выдалась всем на радость: отменно морозной и снежной. Сияли на холодном зимнем солнце петушки соборов. Дымки столбиками вились над островерхими крышами. Громким скрипом отдавались в тишине улиц и переулков шаги прохожих. Слышно было, как колют дрова и нагружают ведерки промерзшим углем. Ближе к вечеру радостные, розовощекие, вприпрыжку от крепкого морозца спешили к родимым жилищам с коробками и свертками подмышками веселые, неунывающие рижане. Даже в самых бедных комнатухах висел, в ожидании чуда, пестрый шерстяной чулок.

В этот пресветлый день скорый поезд «Рига – Вена» уносил на юг, к голубому Дунаю, двух молодых людей. одного из них, плечистого, голубоглазого шатена с мужественным лицом почти римской чеканки, звали Янис Банга. В недавнем прошлом – инспектор рижской уголовной полиции, отныне он мог считать себя свободным человеком с высшим образованием, с весьма туманными, но широкими перспективами. Второго, нескладного носатого блондина с умным, пронизательным взглядом светло-карих глаз

звали Эгил Стренга, и был он магистром трех наук, изученных им в Берлине, Гейдельберге и Вене. На правой щеке магистра красовались, как знак особого отличия, два глубоких перекрещенных шрама – след студенческих дуэлей.

– Скажи, дружище, – Эгил Стренга раскурил трубку, – когда пришло тебе в голову, что к смерти Хельги Ледогоровой причастна одна из ее дочерей?

– Первые подозрения появились, когда я знакомился с завещанием. Они окрепли, когда отпали курляндские родственники Анны-Лизы. Но все это было еще на уровне какого-то наития. По-настоящему серьезная версия появилась после убийства «Болотного огонька». Тут много пользы своими изысканиями принес доктор Другис – человек удивительного, своеобразного таланта.

Дальше все пошло как по маслу: разговор с профессором, с пани Ириной, с Аннушкой... Мозаика складывалась сама собой. Вопрос: «Кто это сделал?» меня больше не интересовал. Оставался вопрос: «Кто из них именно?». Отбросить Полину помогла Полонская: вспомни ту жизнерадостную девочку, которая и в ус не дула в присутствии Ирины? – совершенно в духе Полины, ее сангвинического, жизнеутверждающего темперамента.

Оставалась дилемма: Ирма – Марианна. Для этого я рылся в семейном альбоме, стараясь постичь тайну старых фотографий. Между прочим, кое-что мне это дало.

Для этого же я намеренно открывал карты. Видишь ли, мне казалось, что убийца должен обладать нервным темпераментом – вроде того итальянца, о котором я тебе рассказывал. И, конечно, мне нужен был Гунар – «кабан», как свидетель.

– Резонно, хотя козырей у тебя на руках было до смешного мало. Тактика запугивания, как я понял, себя несколько не оправдала.

– Отчего же... Просто все получилось несколько скомканно... Я же мечтал закончить дело с помпой. Но это не моя вина, а садовника: дернул же его черт наглотаться уксусу в самый неподходящий момент. Хотя, с другой стороны, этот анекдотический случай ускорил развязку. Что тоже можно считать достижением.

– Возможно... Но знаешь, две вещи не дают мне покоя. И, сколько я ни стараюсь, никак не могу найти на них ответа: каким образом исчезла из замка Марианна и почему, исчезнув, не сбежала, а предпочла покончить с собой?

– Могу ответить тебе только на первый вопрос. Дело в том, что замок, где все это происходило, не камуфляж. Это действительно постройка XV11 века. Среди прочих диковинок там есть множество тайных ходов, которые господин Озолс при реставрации посчитал нужным сохранить. Был такой ход и в комнате, куда вошла Марианна. Она всего-навсего повернула ручку, стена пришла в движение – и открылся ход, который вел к лесу.

Что касается второго вопроса, Марианна всегда была необыкновенной девушкой...

А теперь и ты, Эгил, удиви меня своей пронизательностью. С точки зрения психолога, какая могла быть подоплека во всем этом деле и была ли она вообще?

– Безусловно, – уверенно отвечал Эгил, и лицо его приняло строгое выражение фанатика от науки. – Природа, Янис, порой творит удивительные вещи! В данном случае она создала вторую Хельгу в образе Марианны, и не только с внешними ее признаками, что, в общем-то, не редкость, но со всем комплексом присущих ей чувств, пристрастий, включая пристрастие к одному и тому же человеку. Для одной это был муж, для другой – отец. Но для обеих – единственный на земле мужчина, своего рода Адам. В этом соперничестве матери и дочери все играло на руку последней. Хельга была своенравной Лилит, а Марианна взяла на себя и, по-видимому, довольно активно, роль нежной, любящей Евы. Взаимное их отрицание зародилось еще во чреве Хельги, а через соперничество превратилось в ненависть... И тут уж ничего не поделаешь: рано или поздно все это должно было закончиться трагедией... Но знаешь, Янис, мне все-таки жаль эту несчастную девушку. В сущности, в чем ее вина, ведь не она избирала свою судьбу? И преследовать ее так упорно не имело, наверное, никакого смысла. Дни ее и без того были сочтены...

Иное дело – домохадцы. К примеру, старшая сестра, Ирма – она не могла не знать душевных тайн Марианны, темных сторон ее характера. Значит, могла бы манипулировать ими для общей пользы.

– Может быть, тебе виднее... – пожал плечами Янис, и в его синих глазах вспыхнул огонек. – Но легко нам теперь рассуждать, когда дело, как говорится, сделано.

– Ты выглядишь расстроенным, – заметил Эгил. – Может, я сказал что-нибудь лишнее про Ирму?

– Боже тебя упаси, ничего лишнего ты не сказал.

– Рад это слышать... Но скажи, ты действительно влюблен в нее?

– Влюблен... – в этот момент Янис казался немного рассеянным, – о да! Конечно, влюблен! Окончательно и бесповоротно. Как последний идиот!

– Завидую я тебе... – размечтался Эгил. – А у меня все как-то не складывается...

– Не тушуйся, дружище, это все игра случая. Ты как-нибудь попробуй загадать желание падающей звезде. Посмотришь, что из этого выйдет... Однако время позднее. Пора и на боковую...

Когда приятели уже лежали на своих полках, завернувшись в одеяла, Эгил, зевнув, спросил:

– Если не секрет, почему ты ушел из полиции?

– Никакого секрета: я пристрастен... – сонно отвечал ему Янис.

Утром друзья вышли на перрон венского вокзала и едва не ослепли от яркого, почти южного солнца. Рождественский снежок, который мягкими хлопьями ложился на их одежду, лица, холодные плиты перрона, казался им сказочным пухом из перины Госпожи Метелицы.

Эгил заметил, что Янис усиленно машет кому-то рукой.

Скорым шагом, почти бегом, к ним приближалась очень красивая блондинка в норковой шубке.

– Ну, наконец-то! Здравствуй, милый! – сказала она, обнимая Яниса и целуя его в губы.

Затем, обернувшись к несколько озадаченному Эгилу Стренге, который не предполагал в этом путешествии женщины, она, чуть склонив набок изящную головку в меховой шапочке, с приветливой улыбкой проговорила:

– Здравствуйте, уважаемый Эгил Стренга, рада с вами познакомиться.

– Здравствуйте... Ирма, – Эгил приветственно закивал. – И я мечтал познакомиться с вами. Много о вас слышан... Вот только не ожидал встретить вас здесь, думал, вы празднуете Рождество в своем великолепном замке.

Эгил Стренга считал себя человеком не только умным, но и постигшим все тайны жизни. Поэтому он положил себе за правило никогда и ничему не удивляться.

В ответ на его слова девушка весело и громко рассмеялась, показывая белоснежные зубы:

– Ирма, наденься, так и поступает!.. Но дело в том, что я не Ирма. Мое имя Марианна...

Господин Эгил Стренга, магистр трех наук: философии, психологии и медицины, открыл рот и долго потом не мог вспомнить, зачем он это сделал.

– Что поделаешь, старина! – довольно расхохотался Янис, обнимая друга за плечи, – Такова воля звезд, на которые я загадал одной осенней ночью...

Неделю спустя, когда друзья пили черное баварское пиво в одном из облюбованных ими еще в студенческие годы погребков, Эгил сказал, раскуривая свою трубку:

– До сих пор, дружище Янис, я тактично молчал, но теперь-то уж, когда все утряслось, пора бы тебе и раскрыть карты. Кто же «она» на самом деле, та роковая сестрица: Марианна или все-таки Ирма или ... или это сама Геката, как встарь, вмешалась в дела людей?.. Видишь ли, – добавил он, – мне было бы весьма обидно, когда б моя так тщательно выстроенная концепция оказалась на поверку ложной.

– Твоя концепция, старина, выше всяких похвал, – с чувством произнес Янис Банга, опуская на стол массивную пивную кружку. – Она так хороша и в самом деле так тщательно выстроена, что я – ей богу не вру – до сих пор нахожусь под ее впечатлением.

Сказав это, Янис подозвал кельнера и заказал тому еще четыре кружки.

– Пить – так пить, – заметил он, подмигивая другу немного уже затуманенным синим глазом.

– А все-таки жив, жив в тебе еще младший инспектор, Банга! – Эгил грустно усмехнулся. – Уходишь от прямого ответа.

– Прямого ответа? – Янис удивленно приподнял левую бровь. – А зачем он тебе? Тебе, магистру, без пяти минут великому ученому нужен ответ, как звали «ту» девушку?..

– Гм... – Эгил нахмурился. – Ты великий путаник, Янис, но я всего-навсего хотел знать правду, чтобы... В общем, я хотел знать правду.

– Правду?! – воскликнул Янис и, наклонясь к самому уху друга, прошептал. – Ее не существует, и тебе стыдно об этом не знать... Ну, а то, что мы в обиходе привыкли называть столь высоким именем, всего-навсего факт – мелкий, ничтожный фактишко... Ты фактолог, Эгил?

– Но... – Эгил Стренга сделал обиженное лицо, но тут же, рассмеявшись и хлопая друга по плечу, заметил. – Может быть ты и прав, Янка... И лучше оставить все это: и факты, и правду, которая все-таки существует... в старом году. Тем более что для моей статьи, которую я написал по заказу весьма уважаемого философского еженедельника, такие подробности, как имя девушки, не имеют равным счетом никакого значения. Между прочим, – тут Эгил заметно оживился, – прекрасная получилась статья, просто «объеденье», как это принято говорить среди беллетристов. Она будет напечатана, думается мне, в ближайшем номере. Я уже предчувствую резонанс, чтобы не сказать скандал в ученом мире.

– Вот и давай выпьем за твой успех! – Янис поднял пивную кружку. – Всегда подмечал в тебе талант извлекать прибыль из любой ситуации.

Я принимаю твой комплимент, – усмехнулся Эгил, – но должен заметить, что и ты, дружище, не лыком шит: такие, как Марианна, ей-ей на дороге не валяются!.. Прозит!

– Прозит!

Из низких зарешеченных окон погребка все-таки можно было видеть, как там, на улице, валит и валит хлопьями снег. Подмораживало. Термометр показывал десять градусов по Цельсию. А друзья, Эгил и Янис, удобно устроившись в тепле и уюте погребка, вновь и вновь поднимали кружки, воздавая должное черному, терпкому баварскому пиву.

В конце концов они так захмелели, что, не сговариваясь, запели песенку, сочиненную ими когда-то давным-давно, в студенческие годы:

Глубоки озера в Латвии,

Глубже не бывает.

Прямо в ад они ведут,

Где огонь пылает.

Йо-хо-хо, йо-хо-хо!

Где огонь пылает.

Надоело жить –

Там уж мне и быть,

Где на троне Сатана

Чинно восседает.

Йо-хо-хо, йо-хо-хо!

Где огонь пылает.

Только мне и горя мало –

Ведьма матушка моя,

*Стало быть, по зову крови
Ведьмочка и я.*

*А отец в сырой земле
Сладко почивает...
Как его любила я –
Пусть об этом знают...*

Эпilog.

Из дневника Ирмы Ледогоровой.

24 декабря. 6.30 утра. Канун Рождества.

Покидать теплую постель в эдакую рань, да еще зимой... Пожалуй, это безумие, но что делать – привычка. У каждого есть свои привычки. Микелис, например, – я это знаю доподлинно – привык выпивать по утрам две рюмки водки. Заметьте себе: именно две, ни больше, ни меньше! Аннушка – та варит себе кофе с цикорием и гадает на картах:

«Тиканье часов с кукушкой, треновые хлопоты, виновые хитрости, горечь кофе» – так по привычке видится ей утро.

Привычки приходят к нам совсем незаметно, как безобидная шалость, которая порой сродни безумию. Мы не склонны придавать этому слишком большого значения. И вот привычка становится как бы нашей второй кожей, нашим вторым «Я», и бывает тогда трудно разобраться, кто совершает поступки, кто делает судьбу: сам ли человек или его привычки... Впрочем, что я такое говорю: не все ли в нас одни лишь только привычки?

Может ли человек стать совершенно, абсолютно свободным?

7.00 утра.

Выходить на прогулку в семь часов утра – тоже привычка, не лишенная своеобразной приятности: морозно, темно (пожалуй, темнее, чем ночью), покойно...

Как загадочно это время утренних зимних сумерек: вот хрустнула где-то ветка, проскрипел по снегу невидимый в темноте ранний прохожий... Белеет лишь снег. Зато деревья кажутся чернее самой темноты. Темнота воздушного пространства никогда не бывает полной, она всегда переменчива: то подвержена свечению звезд и сиянию луны, то белизне снега, то тайным движениям сфер... Темнота древесных стволов и камней, напротив, всегда плотна и неподвижна; однако, и в ней суетится жизнь, приближая час распада, час смерти. Постоянное, плотное не может быть вечным. Разве только останется таковым навсегда, лишившись вовсе возможности меняться... Это столь же грустно, сколь и невозможно... Хочется обрести эфирную легкость, истинную свободу воздушных потоков...

От домов исходит – едва уловимый – запах дыма: кто-то топит углем, кто-то дровами. Мне более по душе аромат березовых поленьев...

Так хотелось войти в лес, поблуждать среди деревьев... но страшно: уж больно глубоко там сугробы, того и гляди, провалишься по пояс, заработаешь пневмонию... Бедная, бедная Анна-Лиза...

Еще захотелось вдруг громко, во все горло крикнуть: «Эге-гей!», чтобы с шумом обрушился с деревьев снег и сонные обыватели повыскакивали из своих домов. Опасное желание – и хорошо, что через секунду – другую оно бесследно проходит. Я медик и знаю несчастных, которые обречены всю свою жизнь оставаться затворниками в специальных звуконепропускаемых комнатах.

Уже час, как я брожу по улочкам нашего предместья. Мороз прошивает даже сквозь шубу... Не пора ли возвращаться домой?..

8.00.

Как же это все-таки приятно, хорошенько промерзнув, очутиться в тепле и уюте... Молодчина Микелис: вовремя растопил печь!

В моей комнате тихо и опрятно. Подобно Аннушке и покойной матери, я привыкла уважать тишину и опрятность. Порой и хотелось бы взбунтоваться, но это желание, как и желание громко кричать, быстро проходит... Тишину нарушает лишь тиканье и бой часов. За окном нечто серое: ни тьма ни свет... В этот час хочется забыться... В этот час, незадолго перед первым завтраком, я люблю почитать хорошую, умную книгу. (Если подумать, в этом есть некая предначертанность).

С увлечением читаю Гамсуна. Он, как и всегда, то восхищает меня безмерно прямоотой суждений, правдивостью мысли (мысль у него суровая и нежная, как северная природа), то возмущает их же переменчивостью. Крестьянский сын с затерянной где-то на окраине мира пустоши, он то обретает душу бродяги, то вдруг становится капризным и непреклонным бароном одиннадцатого века... Философ, особенно если он поэт, не может быть постоянным: обрести последнее ему не дает его собственная непокойная мысль. Он как эфир, как морской ветер... Хорошо ли это? Пожалуй.

Трудно учиться жизни у подобных людей, подчас просто невозможно... И все-таки я пытаюсь... У меня много общего с ним, мне нравится и его «странник» и его «барон». Откровенно претят его женские образы. Естественно, это затрудняет процесс «обучения», но меня это не пугает, отчасти даже радует. Во всяком случае, создает некий дополнительный интерес...

... Жаль, что я не могу читать долго: во-первых, устают глаза, во-вторых (и это главное), появляются собственные мысли... Перед глазами возникает странный мир, извлеченный из недр «Я»... Чьего «Я»? На досуге надо бы в этом разобраться...

Я закрываю книгу и возвращаю ее на место: на красивый столик орехового дерева, чья листва некогда весело шумела на берегу какой-нибудь речки.... Там же, на столике, лежит конверт с римским штемпелем: письмо от сестры, Полины. У Полины все хорошо. Я рада за нее. И это, пожалуй, все, что я могу сказать. Добавить нечего.

... Человек одинок в этом мире – все остальное (жажда встреч, знакомств, общения) – суета. Она рождается либо от праздности, либо от неумения оставаться наедине с собой. Отсюда много бед, трагических случайностей.

Люди не любят людей. Любовь – это притворство ради любви к себе самому, либо притворство от слабости, в которой не хочется признаваться. Легче признаться в любви. Что хуже – неизвестно. Известно, что лучше: *одиночество*.

... Человек одинок в этом мире...Но это еще не свобода... Нет, *одиночество* – это еще не свобода... Одиночество – это просто одиночество.

Вот и взойшло, наконец, солнце. Оно огромное, багрово-красное, словно выкованное из меди... От мороза стекла покрыты небывалым узором: цветами и листьями из сада Снежной Королевы... Но Аннушка всегда посыпает между двойными рамами соль, и поэтому я могу видеть, что делается за окном: там белым-бело, чернеют лишь деревья старого парка; чистит от снега дорожку и ругается с воронами Микелис...

...Снег и лед – символы холода и чистоты...

Может ли живой человек обрести абсолютную свободу? Может ли «Я» стать вселенной?..





Александр Медведев
ЧИСТЫЙ ТАЛАНТ

Александр Медведев. ЧИСТЫЙ ТАЛАНТ

– Андрей, ты дома? А мы со вчерашнего к тебе стучимся. – Леонид Леонидыч, синешетинистый и кадыкастый, просунул в приоткрытую дверь довольную физиономию.

– Я дома не ночевал, только-только вошёл.

– Дело молодое. А я всё хочу тебя с настоящим художником познакомиться. С самым что ни на есть настоящим! Пойдём ко мне! Сам увидишь. Пойдём, пойдём...

Леонид Леонидыч форсировал события, видать, извёлся, поджидая меня, и, наконец, дождавшись, разом захотел всё кончить, свести меня с новым соседом и уже с лёгким сердцем продолжить празднование его появления в квартире №17. Я нехотя последовал за ним.

За столом сидел насупленный старик в демисезонном пальто. Две расстёгнутые пуговицы позволяли заметить под воротником белой хлопчатобумажной рубашки змеиную головку узла чёрного галстука. Над ним топорщилась борода донкихотствующего профессора из советских фильмов. Да это же «депутат Балтики», настоящий профессор Полежаев или, как его, Докучаев? Не надо никакой машины времени, зайди в соседнюю комнату коммунальной квартиры и, пожалуйста, в конце семидесятых годов встретишь персонажа начала двадцатого века. Профессор тяжело восстал, протянул мне набрякшую синими венами руку и произнёс глухим прокуренным басом:

– Абрамов Николай Иванович.

Пока я, оглушённый, усаживался, пока разглядывал стакан розового молдавского портвейна и потом, стараясь не принюхиваться, большими глотками опрокидывал его, Леонид Леонидыч не умолкал, рекомендуя нового соседа.

– Он настоящий дизайнер, не из анекдота «– Здравствуйте, я дизайнер! – Да вижу, что не Иванов» – понятно? Тебе будет полезно, он тебе всё покажет, всему научит...

– Леонид Леонидыч, Лёня... – басил профессор, – да перестань, Бога ради...

Очевидно, за два дня они успели коротко сойтись и друг с другом не церемонились. На правах старожила квартиры Леонид Леонидыч рьяно взялся опекать нового жильца и, увлечшись, принялся разяснять даже те вопросы, которые и перед самим никогда не вставали. Николай Иванович заметно тяготился неослабевающим вниманием к своей персоне. Он сидел и решал, остаться ли ему возле недопитого портвейна и терпеть назойливого соседа, либо всё-таки уйти под предлогом беседы с молодым коллегой.

Леонид Леонидыч тем временем натурально распоясался. Оставшись в несвежей желтоватой майке, он размахивал руками, сообщая скороговоркой о своей высадке на Кубу во время Карибского кризиса. Без его участия Фиделю

пришлось бы туго. Утверждение звучало непререкаемо и наглядно, стоило взглянуть на висящий над столом снимок молодого лейтенанта, – выпускник военно-морского училища нешуточно целился крупнокалиберным взглядом. Пренебрегая условностями связного повествования, Леонид Леонидыч стремительно бросался от одной темы к другой. Не успел я толком вникнуть, в чём же состояла его роль на Кубе по предотвращению третьей мировой войны, как он уже указывал на литографированную афишу – рисунок изображал бой быков в Испании. Крупные латинские буквы должны были убедить кого угодно, что нарисованный тореадор – Leon Kostrojevsky – и Леонид Леонидыч Кострожевский одно лицо. Почему бы и нет? Действительно, если на дверях квартиры ещё час назад красовалась бирка «№ 17», то не факт, что за это время там не могла бы появиться бирка – «палата № 6», своеобразный маячок, указывающий, что невероятное может быть очевидным и это надо принять. Мы с Николаем Ивановичем, не сговариваясь, кивнули, а Леонид Леонидыч, как был в образе тореадора, так сходу – быка за рога – начал введение в практическую геополитику.

– Ну, вот сейчас – вьетнам-китайский конфликт. Радио слушаем, телевизор смотрим! Ты же только что из армии, Андрей, сам понимаешь оперативную обстановку, всё это хрень, «космонавты и татары, всё неправда, всё говно, уносить свои гитары им придётся всё равно!»

Леонид Леонидыч хохотал, прикрыв веки. Затем резко встрепенулся и, внимательно посмотрев на нас, произнёс усталым командирским голосом:

– Мою группу расчленили. Перед самым вылетом. Всё, ваши не пляшут! Половину ребят медкомиссия тормознула. Заменяли совершенно незнакомыми мне людьми. Такая вот поступила вводная, смекаете?

Я развёл руками. Николай Иванович с готовностью принял мой жест приглашением налить и наполнил стаканы.

Мы выпили.

Леонид Леонидыч задумался, продолжать ли, не будет ли тут разглашения военной тайны? Наверно, наше молчание уверило его, что мы – свои, что мы – ни-ни, и тогда он решил поведать, как выпутался из страшной западни, уготованной начальством, расчленившим слаженную группу.

– А я им – раппорт! Неоправданный риск, не могу ставить на карту жизнь этих новичков. Раз! Второе – без моих ребят эта операция просто бессмысленна, – ну ты, Николай Иванович, их ещё увидишь. Андрей вот знает, надёжные ребята!

– Ну, так и вы...

– Да ладно, я, чего там. Да, чего там у нас ещё? – Леонид Леонидыч изогнулся и достал из-под стола очередную бутылку портвейна. – Последняя. А вот с Китаем ещё накувыркаемся, помяните моё слово. Э-э! Вы что, оба уходите?

– Пойдём мы, Леонид Леонидыч, работы Андрея посмотрим.

– А, ладно, давайте. Вам есть о чём поболтать. Заходите после.

«Относительно быстро удалось выскользнуть». – Я, было, обрадовался, но тотчас осёкся, что-то мне подсказывало, что вечер вполне может

омрачиться неожиданной визитацией профессора. Но делать нечего, и я распахнул дверь:

– Прошу.

Предложив Николаю Ивановичу стул, я принялся показывать холсты, рисунки, наброски и эскизы декоративных композиций, курсовые задания и творческие работы. Он, молча, курил.

– Ну как вам? – спросил я, начиная тяготиться странным молчанием.

– Какая беспомощность, – только и произнёс профессор, вдавливая в пепельницу окурок. Движение подчёркивало, что он сознательно надавил на самолюбие художника, доверившего ему своё сокровенное.

«Ё-моё! Тебя за этим и пригласили, чтобы выслушивать гадости!» – Я почувствовал, что искорки досады, попавшие на пары портвейна, грозили вспыхнуть пламенем гнева оскорблённого самолюбия. Я закурил сигарету и после второй затяжки решил ответить на грубый выпад.

– Может быть, с высоты вашего опыта это всё и беспомощность. Но я-то учусь на втором курсе всего лишь, и возможно, чему-то ещё научусь.

– Тебе сколько лет?

– Двадцать один. Исполнился месяц назад.

– Уже, уже двадцать один! Для художника это зрелый возраст, боюсь, что впереди...

«Да что ж он себе позволяет, в конце-то концов?» – Я чувствовал, что вот-вот начну закипать. И вдруг подумал, что если буду так горячо реагировать на «советы постороннего», – неизвестно откуда возникшее в памяти название статьи Ленина вышучивало мою бурную реакцию, – да, если меня будут расстраивать отзывы случайных людей о моих работах, то... Что будет тогда, я не стал додумывать, ощутив внезапную смену настроения, – обида вдруг сменилась каким-то хулиганским азартом, а попросту говоря, я уже готов был хладнокровно нахамить этому, с позволения сказать, профессору кислых щей.

– Ну, хорошо. А сами-то вы, чем похвалитесь?

Николай Иванович неожиданно резко встал, и недобро глядя на меня, сказал:

– Пойдём!

Мы отправились по длинному коридору к первой комнате от входа в квартиру. Он кулаком открыл дверь и шагнул в темноту. Я хотел последовать за ним, но остановился на пороге, опешив. Щёлкнул выключатель, и какой-то фантастический свет преградил вход в мрачную пещеру. В зловещем освещении открылось пространство, которое только что загромодили вещами, не успев расставить. Впрочем, расставлять было особенно нечего. Четыре старинных стула жались в центре комнаты. У окна жертвенником возвышался письменный стол, к стене раненым зверем припал диван. Немногочисленная мебель завалена книгами, журналами, рулонами бумаги. В просторной комнате некуда ступить, однако Николай Иванович смело преодолевал бумажные торосы, не теряя равновесия.

«Что за странный свет у него? – подумал я, совершив всё-таки два робких шага от порога. – Ну, конечно, это же фотолаборатория!» Оба окна плотно занавешены чёрным брезентом, а за моей спиной над дверью тускло светит красный фонарь. В углу комнаты на полу за диваном притаился открытый чемодан с двумя фотокуветками, наполненными мутными растворами. «Тоже мне, художник! Есть такие, что без фотографии ни шагу». Неожиданное саморазоблачение профессора бальзамом легло на рану, нанесённую мне безжалостно резанувшей «беспомощностью».

– Вот мои работы!

Николай Иванович доставал книги с единственной заполненной полки книжного шкафа, их набралось с десятков. Я, совершенно не подготовленный воспринимать увиденное работой художника-графика, снисходительно взирал на обложки, суперобложки, форзацы, заставки, шмуцтитутлы, спусковые полосы, технические иллюстрации. Смотрел, будто на изображения, сотворённые «где-то в типографии», появившиеся как бы сами собой действием каких-то станков, что ли, но уж никак не волей и рукой художника. Я не видел, да и не желал видеть перед собой ничего художественного.

– Ну, а что тут особенного, Николай Иванович? – Я решил доиграть роль художника, искусство которого, мягко говоря, незаслуженно поставлено под сомнение, и кем – каким-то фотографом, которому, собственно, и нечем хотя бы уравновесить мои рукотворные творения, не говоря о том, чтобы перевесить!

– Вы перефотографировали кем-то уже созданный образ и поместили его на обложку...

– И шрифт даже не сам написал, – подхватил в тон мне Николай Иванович, – а также переснял из каталога «Летрассет» и наклеил. Только вот почему-то за всё это краденное, – Николай Иванович полез опять на полку, – за всё это мне вот такие дипломы присылают! Вот! Из Варшавы с конкурса книжного оформления, из Праги, из Дрездена. А ты можешь всю жизнь вылизывать свои курсовые, а работать так и не научишься. Потому что ты видеть не умеешь, смотришь, а не видишь. Ты – как ребёнок, который на вопрос, в каком доме он живёт, начинает рассказ не с адреса, не с площади и образа дома, а лепечет что-то о прикроватном коврикe красного цвета в белый горошек. Ты смотришь на мои обложки и не видишь главного: соразмерности изображения и пространства живописного поля; не понимаешь, почему именно этот, а не иной шрифт здесь и именно такого размера и насыщенности, и отчего он так дружно живёт с изображением...

Я напоролся. Именно то и произошло, себя не обманешь. Этот сумрачный профессор, ради приличия даже не промычавший одобрительного междометия моим опусам, оказался очень современным художником со свежим, дерзким мышлением, способным ясно и убедительно его выражать, книги, оформленные им, были тому подтверждением. Мне вдруг открылось нечто обобщающее эти разные издания, а именно – изящество, лаконизм, явное благородство, словом то, чему название: безукоризненный вкус искушённого

мастера. Действительно, зачем такому бляеть, плутать в тумане «как бы», если он привык к высшей степени точности, возведённой в искусство? Точность – вежливость королей! Вот оно что: здесь речь-то не о времени, а о точности образного высказывания. Я не знал, куда себя деть. И зачем только я ему показывал, и в самом деле, беспомощные в своей приблизительной образности работы?

– Да ничего, Андрей. – Николай Иванович неожиданно по-доброму рассмеялся. – Перетопчемся! Пойдём-ка ещё вина возьмём, да и хватит, а то работу сдать не успею, а мне надо в этом месяце денежку всё же получить. – Он посерьёзней. – Долги отдам, вот тогда и заживём. Тогда только самую интересную работу и станем делать.

Поздний вечер, магазины закрыты, однако мы пошли за вином. До знакомства с Николаем Ивановичем я и не думал, что есть спекулянты, продающие спиртное круглые сутки. Впоследствии, за два года соседства с ним я узнал несколько таких точек на Советских улицах по правую сторону от Суворовского проспекта. В тот раз мы отправились в Дегтярный переулок, в дом напротив бани. Поднялись, отсчитав семь ступенек, и три раза стукнули в стенку.

– Помилуй бог, Борода?

Дверь открыл приземистый пожилой человек с внимательным взглядом. Он говорил нараспев, и таким манером поведал, что с утра ещё взял ящик вина, и это было правильно, потому как, задержись он на час – в двенадцать часов в гастрономе-то уже ничего не было! – и люди бы безответно в его стенку стучали, а он – помилуй бог! – как всегда, о страждущих позаботился. Человека этого на «орбите», в районе от «Трёх богатырей», ларьков на углу 8-й Советской и Дегтярного переулка, до «Семи ветров», пивной на углу Старорусской и Мытинской улицы, так и звали – Помилуйбог. Бутылка вина у него стоила три рубля.

Бороду на «орбите» знали многие колоритные личности, в разное время суток выходявшие на улицу с целью «сесть кому-нибудь на хвост». Кто-то надеялся угоститься маленькой кружкой пива, иной готов был по случаю подсобить уставшим в опорожнении бутылки вина, а то и водки. Встречались и те, что, подлечившись амбулаторно, хватанув то тут, то там глоток на ход ноги, искали возможности залечь в стационар, то есть навязаться к кому-нибудь, кому уже безразлично, каких и сколько болящих он приведёт к себе. Не раз Николай Иванович просыпался в своей комнате, лежащим на полу, скорчившимся на диване, навалившимся на стол, словом, в той позе и там, куда его швырял в беспамяtség «контрольный выстрел в голову» – роковой глоток. Оставив на полу горы окурков, мозаику осколков тарелок с надписью «Общепит», живописные жирные пятна раздавленной кильки или «пролетарской ветчины» – зельца, гости исчезали, прихватив с собой приёмник, понравившиеся книги, какую-нибудь мелочёвку. Уйти от такого щедрого человека и ничего не взять на память, было бы как-то не по-людски. Из одежды, правда, ничего не пропадало. Как-то давно, когда выходы на

«орбиту» у Николая Ивановича ещё случались довольно редко, гости унесли его пальто. Больше он уже не снимал верхнюю одежду и головной убор, если приводил кого-либо к себе, чтобы выпить-закусить за импровизированным столиком, табуреткой, накрытой доской от фотоувеличителя «Нева». В такие дни «открытых дверей» у Николая Ивановича я с грустью вспоминал «Странную историю доктора Джекила и мистера Хайда». По-старомодному аккуратный в манерах и одежде, – я был не одинок, кто увидел в нём профессора, – Николай Иванович вдруг превращался, но не в жестокого страшного монстра, как это происходило с героем Стивенсона, а в страшно жалкого, беспомощного перед своим недугом человека. Он становился податлив, мог пропить с людьми с улицы всё, взятое в долг или авансом в издательстве, чтобы потом день и ночь, не разгибаясь отрабатывать это, в итоге довольствуясь какими-то крохами. Иногда он перехватывал тройку или пятёрку даже у меня, живущего на стипендию и на редкие халтуры. Отказывал я только, когда у самого было шаром покати, а он всегда возвращал деньги в обещанный срок.

После первой встречи, начавшейся довольно нелюбезно, мы редкий день не сходились, то в моей комнате, то у Николая Ивановича. Он работал и по ходу объяснял, что в данный момент делает, почему так, а не иначе, и в каких случаях мог быть уместен и другой способ. Я смотрел на него, сидящего за идеально чистым столом, облачённого в белый халат, на его белую шапочку, и думал: а всё-таки настоящий профессор! На столе два стакана, один с «белой водой», в нём он полоскал кисть для белил, другой – с «чёрной» для промывки кисти от туши.

– Ты посмотри – блестит? То-то, не блестит! А потому, что тушь я мешаю с темперой, и чёрное у меня получается бархатистым, матовым. Если чистой тушью покрыть плоскость, получишь чёрную блестящую дешёвку. А одной темперой может выйти и неравномерно.

– Рейсфедером линию проводи мгновенно, тогда не будет заплывов. Карандашом или кистью – коснулся и смотри не на кончик, а в ту точку, куда собираешься линию направить, и – вжик!

– Букву рисуешь, раскрашивай её не от контура к центру, а от центра к краям, иначе всегда неровно покрытой станет выглядеть и вообще неряшливо.

Он вздыхал.

– Это я сейчас не каждую неделю брюки глажу. И пиджак вот заблестел на локтях.

– Чего ж вы хотите, Николай Иванович, если вы его чистой тушью без темперы красите.

– Ишь ты, нахвтался! Моя школа. Да, костюм теперь не тот. А всё равно я и сейчас ещё стильный дядя, нет? Хотя бы издалека? – спрашивал Николай Иванович, подходя к двери.

– Чего ж издалека, достаточно отойти на расстояние трёх диагоналей от произведения, как вы и говорили про оптимальный отход, чтобы наиболее

отчётливо воспринять изображение. Вы где-то метр восемьдесят ростом, стало быть, уже на расстоянии пяти с половиной метров вполне стильно выглядите.

– Уел, уел под чистую! – раздавался бас уже из коридора.

Я садился на его место и старательно пытался применить совет по рисованию буквы, а Николай Иванович тем временем приносил с кухни сковороду.

– Картошка по-абрамовски.

Мы ели разрезанные пополам и поджаренные на подсолнечном масле картофелины.

– Что мужику нужно? – спрашивал он. – Мешок картошки, да литр масла, и месяц можно жить. Да чай, без чая не выжить. Хлеб ещё. Ты ешь, давай!

– А почему вы в белом халате?

– Люська меня снабдила, она у меня зубной врач. Скальпели, пинцет – это от неё. Я вот здесь, а она с девчонками, их у меня две, они в Колпино. Там и тещь с тёщей, мне с ними не ужиться, да и работать, как там работать? У меня срочный заказ, – за что меня в издательствах и ценят, я мгновенно делаю эскиз, рабочие оригиналы, без вопросов, – мне день не день, ночь не ночь, кому это понравится? В каких мягких тапочках ни ходи, а всё шум, скрип, звон. А людям рано вставать. Ну и передых какой-то должен же быть? Он у меня известно какой, может и затянется, тоже мало интересного полную неделю смотреть на меня такого красивого. Вот отдельно от них живу и работаю, так и напишут на мемориальной доске: жил и работал, только и всего. Или: жил и только работал. Люська знает, когда у меня в каком издательстве гонорары, приезжает, ласковая: «Николаша, соскучилась!» И пожалуйста, раз и другой, что ты, а в Колпине – то голова болит, то устала. А тут и просить не надо, сама постель застелет, чистые простыни с собой привозит. Да не устаёт! Ещё в гастроном потом слетает. И, что не в гонорарные дни неммыслимо, на ночь остаётся! «Ты неуёмный, Николаша!» Ну, я и поплыл: сыт, пьян, нос в табаке. Наутро просыпаюсь, нет моей Люсьен, и денег нет. Всё подчистую выгребет. У неё отработано. А я не то, чтобы обманываться рад, но вроде того. Да Бога ради... Опять беру в долг. Вот так всё время. Вся моя семейная жизнь. Девчонки мои, кому они нужны? Шесть и восемь лет. Был я как-то с ними в цирке в прошлом или позапрошлом году, они довольные: «Папочка!»

С трудом верилось, что Николаю Ивановичу сорок шесть лет. Выглядел он гораздо старше. «Андрюша, я ведь болен алкоголем!» – сокрушался он не однажды. Всякий раз, выходя из его комнаты, и говоря «до завтра», я не был уверен, что назавтра найду его трезвым.

Нередко, выйдя из запоя и настраиваясь на работу, он заглядывал ко мне. «Не помешаю?» А я только рад, вижу, что живёхонек – уже хорошо, да и что-нибудь показать ему есть повод, я очень скоро перестал бояться его неллицеприятных, но точных замечаний, почувствовав, как под его влиянием дела мои художественные пошли в гору.

Николай Иванович приходил с кружкой чая.

– Ты давай, не отвлекайся, работай, а я тихонько посижу.

Он нарезал перочинным ножиком дольки яблока в кружку, потом закуривал. Долго молчать он не мог, особенно, если видел что-то коробившее его вкус. Вкус – главное в художнике, не раз слышал я от него.

– Ну что ты там выпиливаешь? Хватит пыхтеть. Это надо делать одним махом, без никаких!

Пока я добивался, чтобы получилось «без никаких», стало быть, без лишних деталей, без всего, отвлекающего от выразительной формы и цвета, он успевал рассказать не одну из многочисленных историй, связанных с профессией. Потом подходил, смотрел на мою работу и изрекал:

– Другое дело. Надо ли было много говорить?

Всё-таки говорилось как раз много и всякого разного. Мы касались любых тем, и они, так или иначе, переплетались с вопросами искусства.

– Мы же все простые люди, Андрюша. И академик, и герой, и мореплаватель, и плотник. Все ходим в дождик в галошах, и художники тоже. Однако мы, художники, отличаемся от остальных не тем, что видим красоту и тонкий лиризм этого дождика, – многие даже сверхчувствительны, не нам чета. Дело в том, что мы, в отличие от всех остальных, эти самые галоши можем сделать. Мы умеем выразить свои мысли и чувства так, что они становятся понятны другим. А плотник тут или академик так и остаются со своими, может быть, невероятно глубокими и высокими, но невыраженными чувствами.

Я улыбался «тонкому лиризму», единственному, кажется, штампу, который позволял себе Николай Иванович. Могла возникнуть мысль, а не говорит ли он что-то однажды заученное, так всё лилось гладко. Наблюдая его в деле, я убедился, что мыслил он, конечно, самостоятельно, даже в самой проходной работе старался не допускать самоповтора, не говоря уже о перепеве чьей-то удачной находки. Наверно, речь и манера выражаться выявляет то, как человек работает, с каким отношением. Профессиональным лицом этого человека была строгая убедительность.

Первое художественное образование он получил на живописном отделении Рязанского художественного училища в конце пятидесятых годов.

– Меня за голос полюбила внучка Менделеева, она преподавала историю искусств, и часто меня о чём-нибудь просила рассказать, хоть что угодно, ну я и говорил, – мой голос напоминал ей голос деда.

Я не задавался вопросом, верить или не верить сказанному, что тут – правда, что вымысел, ибо ни одно, ни другое в главном не могло повлиять на моё отношение к Николаю Ивановичу. Голос у него, в самом деле, редкого баса. А в то, что его дипломная работа в Высшем художественном училище имени Мухомовой – проект оборудования для лучевой терапии – заинтересовала не только отечественную медицинскую промышленность, но и английскую, не поверить нельзя. Я собственными глазами видел вырезку из «Известий» за 1964 год, на ней фотография Н. И. Абрамова с макетом разработанной им установки и статья о молодом художнике-конструкторе.

– Ты не думай, что мне всё всегда легко давалось, – говорил Николай Иванович о годах учения. – Я ведь в Рязани заканчивал живописное отделение, а там что – пятно, масса, колорит и валёры, замес, одним словом. А в «Мухе» – художественное конструирование, техническая эстетика, – слово «дизайн» в те годы не произносили, станешь выпендриваться, в лучшем случае отчислят. Надо было перестраиваться даже в том, чтобы красить не маслом, а темперой – совсем другой коленкор. Требования – не впечатление передать, не полу-вдох, как в живописи, где всё на чуть-чуть, а то, как проектируемая вещь должна работать. *Дизайн ведь не то, как объект выглядит, а как он действует.* Но эту простую истину и не все дизайнеры понимают, многим лишь бы себя родимых показать, только, кроме голого зада часто показать-то и нечего. Была и другая беда: возраст сигналил о пределе моей обучаемости, я ведь после рязанского училища ещё на флоте три года отслужил, пришёл в «Муху» двадцатичетырёхлетним переростком, а сокурсникам по восемнадцать лет! До третьего курса еле-еле волочился, стыдоба, уходить уже собрался. Дружок мой, Витька Селезнёв, видя моё отчаяние, сказал: «Давай, Колька, я тебе подачу сделаю, а ты будешь смотреть от начала и до конца». Взял и сделал мою курсовую работу, проект радиоприёмника. Я внимательнейшим образом следил за всеми его действиями и слушал все его *что, как и почему.* Получилось, Витька стал единственным по-настоящему моим учителем: его объяснений мне хватило сполна, с тех пор я по-другому вижу и соображаю, у меня больше не было, и нет проблем с идеями и исполнением.

Выдающегося выпускника распределили в Научно исследовательский институт ядерных исследований и назначили начальником отдела технической эстетики. Перед Николаем Ивановичем открылись перспективы, какие только могли быть в то время. Он женился, получил квартиру, имел хорошую зарплату и пользовался уважением коллег и начальства. Его проектные разработки демонстрировались в Москве на Выставке достижений народного хозяйства, на аналогичных выставках в странах Совета экономической взаимопомощи. Об этом были материалы в газетах, в журналах «Декоративное искусство» и «Техническая эстетика», вырезки из них Николай Иванович хранил в коленкоровой папке.

Перспективный специалист всего себя отдавал работе, а что оставалось, то доставалось коллегам – Николай Иванович не мог пить в одиночку, так он и не пил, а просто нашёл легкодоступный способ снимать излишнее напряжение, и делал это сначала в узком кругу сотрудников отдела, а затем и в более широком. Наконец, начальство сделало ему предупреждение, напомнив, что работает он в закрытом институте, имеет допуск к секретным документам, а потому распивочно-закусочный обмен опытом, которым он увлёкся, недопустим. Вскоре его понизили в должности. Напряжение, как ни странно, от этого несколько не понизилось, а, наоборот, возросло. К тому же нашлись доброжелатели, намекавшие ему, что надо бы проявлять больше внимания жене, она явно в том нуждается, раз не пренебрегает услугами сторонних охотников его проявить. После развода Николай Иванович первый раз сорвался в запой. Во время второго его уволили.

Запись в трудовой книжке говорила об увольнении по собственному желанию, и формально ничто не препятствовало найти работу по профилю. Неформальный же подход к вопросу трудоустройства высвечивал невозможность даже недолгого его пребывания в какой-либо организации с ежедневным режимом работы. Один, другой прогул, вероятно, можно было бы прикрыть, раздобыв справку из поликлиники. Но опытные люди в отделах кадров очень скоро разнюхают сущность его болезни, и никакие справки о перенесённых ОРЗ их не введут в заблуждение. Оставалось одно – стать вольным казаком и работать по договорам. Пожалуйста, если ты член Союза художников, только секретные проекты Николая Ивановича никак не могли быть предъявлены комиссии по приёму в эту творческую организацию. А тут ещё недавний суд над поэтом Бродским, серьёзный сигнал, намёк, что и художника легко обвинить в тунеядстве. Тем более, согласно народному наблюдению, художника обидит каждый. Да, скорее всего, и не без основания, наверно, так ему и надо, коль художник размазня и ни на что не годен – негодяй! Если же он в состоянии сделать хотя бы штриховую иллюстрацию, ретушь, если более чем на любительском уровне фотографирует, то ему нечего печалиться и жизнь его не обманет: Профсоюз работников культуры и Госкомиздат готов такого приветить. Эти организации в 1961 году создали Ленинградский горком художников или, как его ещё называли, Комитет художников-графиков. Горком обеспечил социальный статус плеяде косоглазых и косоруких непризнанных гениев, персонажам так называемого ленинградского андеграунда, не говоря уже о профессиональных художниках, у которых не было ни времени, ни желания заниматься мажнёй, фабрику уродцев, намекая, что это-де карикатуры на подлую советскую власть и вообще на неказистую российскую действительность. Двух книжных обложек оказалось достаточным для получения удостоверения члена горкома, и Николай Иванович стал желанным и вскоре необходимым художником в «Гидрометеоиздате», в «Судостроении» и «Машиностроении», в издательстве «Наука», «Медицина» и даже в партийном «Лениздате». С «тревожным чемоданчиком» – портфелем с макетами книг и минимумом инструментов на случай внезапных правок, курсировал он от дома к авторам, от авторов в издательства, оттуда домой. С этой орбиты он мог плавно или резко перейти на другую, на которой, по мере увеличения сопровождавших его спутников, сгорали ступени его ракеты – деньги, время, здоровье.

К моменту нашего знакомства Николай Иванович более десяти лет вот так вольно и казаковал. Его дерзость и бесшабашность, смыслённость и умение собрать в кулак волно с целью довести до совершенства и сдать в срок заказанную работу, ложилось на качество, вызывавшее в памяти, как это ни странно, Акакия Акакиевича Башмачкина. Да, представьте себе, широкому русскому человеку тесно в двух ипостасях – доктора Джекила и мистера Хайда, естественно напросившегося сравнения, которое пришло мне на ум, видя случающиеся перевоплощения соседа. Что это, в самом деле – у подлеса два лица? – нет уж, слишком узкая конфигурация для вдохновенной творческой натуры. Николай Иванович, подобно гоголевскому канцеляристу,

обожал букву как эстетический объект, он видел её вдохновенным произведением, основанным на пропорциях человеческой фигуры. В одних и тех же буквах в различных комбинациях и написании он различал атлетов и гимнастов, кокетливых барышень и строгих дам, одни представлялись ему задумчивыми созерцателями, другие стремительными деятелями. Бывало, ради короткой надписи на обложке он отыскивал особо подходящий по стилю латинский шрифт и деликатнейшим образом переделывал его в кириллический. После чего, название книги, – какие-нибудь «Технологические процессы геодезического производства», пенящееся скорописью на редакторском бланке, – преображённое его мастерством, принимало грацию божественной Афродиты. В таких случаях, а они происходили не редко, удивлению коллег не было предела, не говоря о восторге редакции и автора книги. Он мог подробнейшим образом говорить о разных видах шрифта, о пространственных и весовых коллизиях, возникающих в буквенных промежутках. Неприворно скорбел, что с утратой ряда букв старой русской орфографии, страницы книг напоминают безжизненную поверхность нейлоновой рубашки, тогда как яти, ижицы, фиты и твёрдые знаки делали книжную полосу богатой парчовой тканью, воздушно-затейливым кружевом. Нужна ли ему была возжеленная Акакием Акакиевичем «шинель» – какое-либо материальное подтверждение принадлежности к уважаемым людям? Сознание, что он художник и может представить и, главное, сделать зримой для каждого, имеющего глаза, любую «шинель», его полностью удовлетворяло. И если нашему соседу, Леониду Леонидовичу, для повышения значительности в глазах мужчин и особенно женщин требовался лейтенантский китель и костюм тореадора, пусть и нарисованный, то Николаю Ивановичу было достаточно широкой известности в узких кругах коллег, подкреплённой десятком дипломов, отметивших его работы на различных выставках и конкурсах.

Закончив художественное образование, я съехал на другую квартиру. Городские расстояния порой оказываются непреодолимыми и занятость тоже вещь объективная, не способствующая встречам. Тем не менее, мы встречались.

Первый раз он позвонил и попросил «уделить ему десять минут для важного разговора», это было в 1981 году, вскоре после моей перемены жительства. Заехал не один, а в сопровождении «искусственного спутника», законы притяжения «орбиты», неумолимые в своей постоянности, продолжали притягивать Николая Ивановича и искателей выпить на халяву. Важный разговор уложился менее чем в десять минут, искомые три рубля нашлись у меня, к счастью для Николая Ивановича, и он, не давая им сжечь карман бессменного пиджака, незамедлительно удалился.

Вторая встреча относится к середине 1980-х. Я тогда уже состоял в Молодёжном объединении Союза художников и получил от Союза мастерскую, восемнадцатиметровую мансарду на углу Мытнинской улицы и 4-й Советской, табакерку об одном подслеповатом оконце, косящем из-под крыши во двор. От мастерской ровно пятьсот метров до известного мне по прошлой жизни дома. Естественным, через некоторое время мысль посетить Николая Ивановича воплотилась.

– Так я и знал, – покачал он головой, когда я вошёл.

Меня удивил явно недружественный тон.

– Так и знал, что этим всё закончится.

– Что именно, Николай Иванович?

– А то, что ты ко мне рано или поздно придёшь.

– Вот, пришёл. Может, конечно, надо было и пораньше...

– Заявишься, когда не будет работы или чтобы я подсобил тебе непосильный заказ сдать. По-моему и вышло.

«Теперь-то что беспомощного он увидел во мне, почему так с порога поставил диагноз? А, может, и загодя всё про меня решил...» – недоумевал я.

Так же, как и в былые времена, змеился из-под бороды галстук, на похудевшей фигуре лоснился тот же пиджак, всё в облике Николая Ивановича оставалось досконально знакомым, кроме нового взгляда, сверлящего и тревожного.

– Да что вы, Николай Иванович! Есть у меня работа. На днях как раз сдал плакат к музею «Диорама прорыва Блокады», а до этого приняли в Ленконцерте плакат для фокусника Юрия Прусакова, а ещё раньше плакат и буклет для Клуба моряков сделал.

– Хвастать, значит пришёл?

– Да нет же, я к вам и не за работой, и не хвастать, с чего вы взяли? Так, решил повидаться, провести вас, душой отогреться.

Я достал бутылку сухого вина.

– Не возражаете?

– Да Бога ради!

Николай Иванович отвернулся и, взяв с подоконника два стакана, показавшиеся мне знакомыми, отправился на кухню сполоснуть их.

Я осмотрелся. Из четырёх старинных стульев – «из особняка княгини Голицыной, той самой Пиковой дамы» – в комнате осталось только два, да и то один, потеряв переднюю ножку, опирался на табурет. На не разобранном диване откинута синее байковое одеяло обнажало подушку с давно не стираной наволочкой. Простынь он, похоже, ещё раньше вывел из употребления как не возделываемую культуру. На рабочем столе почил телевизор с запylённым экраном.

Вернувшийся Николай Иванович стряхнул из стаканов капли воды, протянул мне штопор и сел на диван.

– Падай. Да не бойся, блох нет, ещё не совсем особачился.

Уперев в пол бутылку, я откупорил её и разлил вино в стоявшие тут же в ногах стаканы. Вдохнув, – «теперь-то вы оба для красной воды», – сдвинул свой со стаканом Николая Ивановича.

– Блохи-то ладно, шутка, а вот туберкулёз нешуточно можно подцепить, не выходя из собственной квартиры. В комнате Лёни теперь старуха живёт туберкулёзница. Соседи, что вместо тебя теперь, говорят, её временно поселили, пока очередь на отдельную однокомнатную квартиру не подойдёт.

– А как же Леонид Леонидыч?

– Не знаю. Его уж с полгода, как на природу свезли.

– То есть?

– В село Никольское. Психбольница № 1 имени Кащенко – не слышал? Ну, всему своё время. А куда он потом поселился, известия не поступали.

Мы допивали вино, когда раздался звонок в дверь. Николай Иванович opravился открывать. С ним вошёл мужчина лет сорока и, увидев меня, протянул руку:

– Тагир.

И сразу же – к Николаю Ивановичу, продолжая начатый в прихожей разговор:

– Так они у тебя телевизор посмотрят? Часа на два, а потом мать пришлю, заберёт их.

– Не работает телевизор.

– Да? А, помню, помню. Ладно, сказал – отвезу в ателье, не переживай, на днях, сделаю точно. Пусть тогда так побудут, порисуют у тебя?

– Кто это? – спросил я, когда он вышел.

– Из пятнадцатой квартиры, снимает. С женой торгуют на Некрасовском рынке.

Николай Иванович не успел ничего добавить к сказанному, потому что Тагир уже вводил в комнату мальчика лет десяти и девочку лет восьми. Дети поздоровались и сели на пол, разложив перед собой альбомы и коробку цветных карандашей. Видимо, они бывали здесь не однажды. Рассмотрев детей, я взглянул на телевизор – а Тагир-то фокусник! – на нём уже стояла бутылка портвейна.

Закрыв за соседом дверь, Николай Иванович подошёл к телевизору и, воздев руки, произнёс:

– Кина не будет? Да Бога ради! Зато – продолжение банкета!

Сославшись на предстоящую встречу, я стал прощаться, Николай Иванович не возражал. Спускаясь по лестнице, где-то между четвёртым и третьим этажом, я услышал щелчок отворившейся двери, и вслед мне несравненный бас:

– Это ты хорошо сказал – «душой отогреться!»

И в последний раз мы увиделись в начале девяностых. Он позвонил в мастерскую. Я догадывался, что он хочет занять денег, что ещё могло заставить его позвонить?

Тогда у меня не было заказов на дизайнерскую работу, и я начал писать акварелью пейзажи и сюжеты, стилизованные под восемнадцатый век, что-то в духе Сомова: дамы, кавалеры, беседки, парки и дворцы в эпоху якобы блистательного Санкт-Петербурга. Открывшиеся в большом количестве галереи, обыкновенные, впрочем, лавочки по продаже не столько живописи и графики, сколько разнообразнейшей сувенирной мелочи, принимали на реализацию и мои картинки. Бывало, их покупали сразу, если на них западали иностранные туристы, понимающие толк в рукотворном, следовательно, уникальном произведении. Если таковых какой-то период не оказывалось в

городе, оставалась надежда на любителей искусства из соотечественников. Верилось, хотя и безосновательно, что, возможно, некоторые из них решатся, наконец, приобрести за мизерную цену работу современного художника, полагая, что с течением времени она окажется их существенным материальным вкладом.

В тот день я писал сразу две акварели. Одна, в серебристой гамме, навеянная стихотворением Мандельштама «Поедем в Царское Село», другая – стихотворением Николая Агнивцева «Елисавет», та в золотистой. На них полупрозрачными облаками вплывали куски пейзажа, гарцующие уланы, галантные кавалеры едва касались тонких талий дам, уже возносимых над земными печальми звуками скрипичной пьесы Ивана Хандошкина или сонатой Бибера. Дамы непременно воспарили бы, растаяв в частях листа, едва тронутых потёками сходящей на нет краски, если бы им не преграждали путь портрет царницы Елизаветы Петровны и каллиграфические надписи стихотворных текстов, возникавшие из глубины сотворённого фантастического измерения.

Звонок Николая Ивановича напомнил мне высказанное им однажды мнение о моих работах.

– Ты слишком умничаешь. – Он тогда разглядывал мою линогравюру: на фоне силуэта города – фигура старика, держащего подмышкой футляр настенных часов. – Художнику надо быть проще. Иначе ты рискуешь быть непонятым. Может, это и лестно некоторым, но ты ведь профессионал и рассчитываешь жить своим трудом, а тогда умничанье опасно – кто ж тебя купит, если ты показываешь покупателю, что умнее его? В любом клубе над сценой надпись: «Искусство принадлежит народу». Но ведь это только часть фразы, причём, не главная. Главное в продолжении – «и должно быть понято им». В этом суть, но она чаще всего и ускользает.

Старик, несущий подмышкой время. Я ему не стал рассказывать историю возникновения этого сюжета, возможно, непонятного и мне самому. Когда я делал эту гравюру, у меня из памяти не выходило одно московское видение. Однажды на Сретенке мне встретился высокий пожилой человек в старомодном зимнем пальто и каракулевой шапке-пирожке. Он медленно шёл мне навстречу, и так же медленно падал снег в тот безветренный сумеречный час. Ещё на расстоянии я разглядел, что он несёт часы, похожие на те, по которым в детстве я учился различать время. Мне захотелось повнимательней взглянуть на часы встречного, я чувствовал, что происходит нечто символическое: старая Москва этим прохожим являет мне образ времени. Поравнявшись со мной, человек помедлил, и я разглядел его ношу: часовой футляр без механизма, а в нём пустые зелёные винные бутылки.

А теперь эти манерные акварели. Наверно, увидев их, неоконченными к тому же, он, если и не скажет опять что-нибудь колкое, обличительное, то непременно подумает. Эта мысль навела меня на другую. Я решил не принимать Николая Ивановича, а встретиться с ним на улице, возле мастерской. Да, так будет лучше. Кстати, ему не придётся подниматься на шестой этаж по утомительной чёрной лестнице о ста сорока четырёх

ступеньках. А ещё лучше, если он вообще не будет знать, где эта лестница. В конце концов, я не Чапаев, чтобы искренне воскликнуть: «Ты приходи ко мне полночь за полночь, я чай пью, садись, кушай!» Да и неискренне я уже не в силах был сказать ему что-нибудь подобное.

К назначенному часу я вышел из мастерской, спустился с поднебесья блистательного Петербурга восемнадцатого века. Миновав подворотню, остановился в ожидании Николая Ивановича. Он не замедлил придти. Надвинутая на лоб пыжиковая шапка с поплёскивающим налётом мороси, висящей в октябрьском вечернем воздухе, поднятый воротник демисезонного пальто и выцветший мохеровый шарф с едва уловимыми признаками прежней синевы почти совсем скрывали его лицо. В знакомой фигуре появилось что-то новое. Он как будто стал ниже ростом. Так оно или нет, я не успел определить, Николай Иванович уже что-то говорил, и я включился в беседу.

– ...до пенсии, Андрей. Она у меня теперь основной гонорар.

– Не хватает пенсии, Николай Иванович?

– Власти наши родные заварили эту кашу с перестройкой и смылись, а нам хлебай. Поди докажи новым, что ты не с Луны свалился, а всю жизнь тут горбатился. Принёс им издательские договоры для оформления пенсии, у меня там хорошие гонорары, уверен был, что приличную сумму положат. Как же! Положили прибор – в микроскоп мою пенсию разве что увидишь. Говорят, можешь в одно место свои договора засунуть, вот тебе пенсия по старости и будь доволен.

Я дал ему три синенькие сотенные бумажки.

– Андрюша, это же только-только хлеба купить.

– А что я могу, Николай Иванович, сам на масло не зарабатываю который месяц, у меня даже пенсии нет. Театры и музеи сейчас ничего художникам не заказывают, все афиши у них наборные, денег на рекламу нет. Кропаю акварельки, на масляные краски и холсты денег нет, случайные заработки и те почти не случаются.

Николай Иванович смотрел куда-то в сторону.

– Да, Бога ради, Андрей, надо ли много говорить? Я ж не по годам развит, понимаю с полуслова. Ладно, пойдём, проводишь меня до угла.

Мы двинулись по Мыгнинской. Его походка, хорошо мне известная, нисколько не изменилась. Он шёл, сильно подавшись вперёд, набрякшие ладони гирями от часов висели вдоль туловища. Вспомнилось наше давнее, году в 1979-ом, возвращение из ДК Орджоникидзе с выставки авангардистов, среди которых были его коллеги по горкому художников. Выйдя из троллейбуса, мы отправились к дому, и я начал оживлённо делиться впечатлением от экзотической выставки. Николай Иванович осадил меня: «Что ты размахиваешь руками? Иди спокойно. Хочешь, чтобы нас в ментовку загребли?» Я огляделся и сказал, что никаких ментов поблизости нет. «Это ты так думаешь, – сказал Николай Иванович. – Есть тихари, они по гражданке, ты и не заметишь, как они тебя оприходуют. И на будущее, особенно выпивши, никогда не размахивай руками на улице».

Мы подходили к Старорусской, когда Николай Иванович остановился, чтобы закурить.

– Издательства тоже прижались – выдохнул он. – Ну и без компьютера мне думать нечего о заказах. Я уж и не дергаюсь. У врача на днях был. Говорит, печень у вас увеличена. Не знаю. Тагир предлагает помочь приватизировать мою комнату, хочет купить её у меня, говорит, вот тебе и деньги будут.

– А жить-то тогда где?

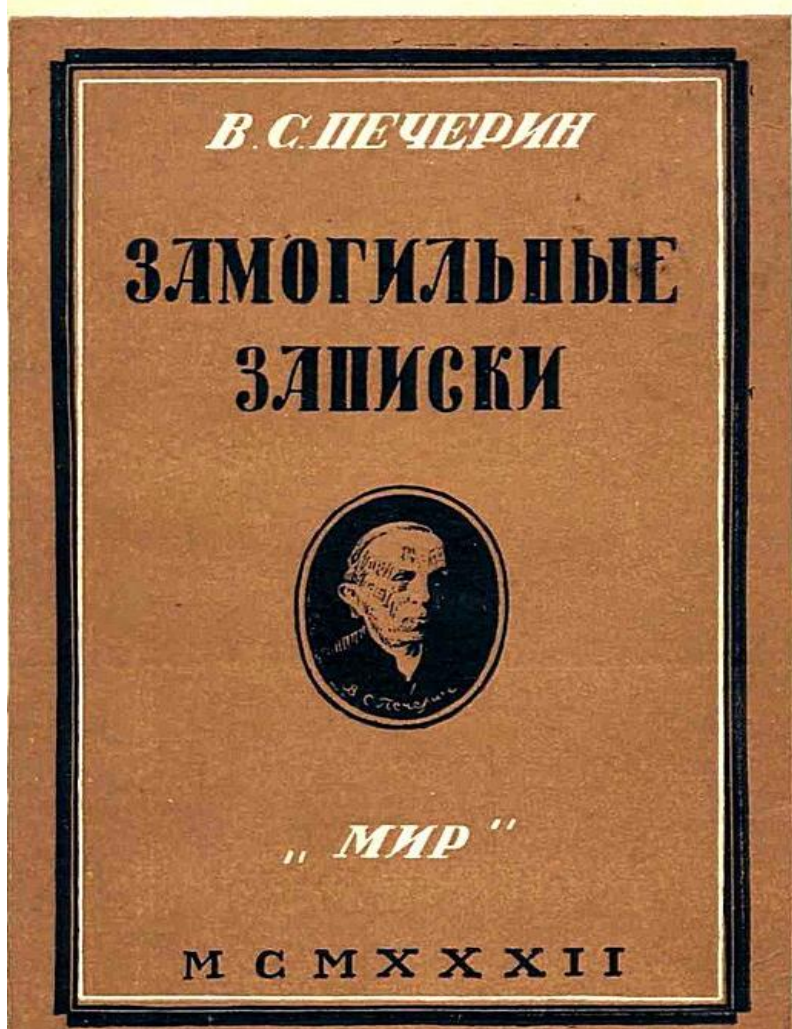
– Он сказал, что гнать не будет – «живи, как и жил», – комнату он детям хочет купить на будущее. Вот, думаю. Задолжал я ему, всё никак не отдать.

Я поспешил назад в мансарду, и, если бы не поторопился до закрытия метро попасть домой, так бы и остался ночевать в мастерской, забывшись над своими акварелями.

Месяца через два в Музее города открылась выставка агитационного фарфора, мне посчастливилось делать графическое сопровождение к ней, серию плакатов-календарей и буклет. Обрадованный получением гонорара, я позвонил Николаю Ивановичу. К телефону долго никто не подходил, затем ответил мужской голос: «Здесь таких нет». Я подумал, что набрал неточно номер и перезвонил, назвав его фамилию, имя и отчество. Тот же голос ответил: «Вам же сказали, он больше не живёт».



IV. ЧЕЛОВЕК В ИСТОРИИ
("Лишние" русские люди)



Продолжение. Начало в №8, №9

В. С. Печерин. **ЗАМОГИЛЬНЫЕ ЗАПИСКИ**

(продолжение. Начало см. в №8, №9)

Лъез

*Да умный человек не может
быть не плутом!*

Грибоедов.

«Вот вы пишете здесь, что вы были профессором греческого языка в Москве, а ведь я очень хорошо знаю, что там профессором этого предмета – Ежовский!» – Помилуйте! – сказал я – Ежовский принадлежит уже к древней истории: едва ли кто теперь в Москве запомнит Ежовского¹. – Поляк помялся немножко – пробормотал что-то сквозь зубы, пошарил в кармане и дал мне два франка, за что я его сердечно поблагодарил.

Эта сцена происходила у двери маленького садика внутри гимназии между древними монастырскими аркадами. Полукружием стояли перед нами воспитанники в синих блузах – это был их час роздыха, а поляк был их надзирателем. Они смотрели на меня с любопытством и с некоторым участием. Впоследствии я давал некоторым из них уроки греческого языка и был, что называется *репетитором* при гимназии: даже шла речь о том, чтобы дать мне греческую кафедру, и оно вероятно бы состоялось, если б не *назарейское*² *безумие* !

Получивши два франка – *последнее* подаяние, я как-то прибодрился, я чувствовал, что достиг крайнего рубежа моих странствований и нашел место упокоения. Пришедши домой, т.-е. к *петушку* (au coq), я застал хозяина в хлопотах: он заботился найти мне какое-нибудь место. В проливной дождь он отправил меня с каким-то мальчиком в славный мебельный магазин, где нужен был сиделец. Это было просто бестолково, и кончилось, как можно было ожидать: щегольски одетый хозяин, взглянувши на мою измоченную блузу и нечесанную наружность, с утонченною вежливостью отвечал, что «*роиг le moment*³ он в моих услугах не нуждается». – Я рассказал хозяину о своей неудаче. «Ну уж не беспокойтесь! мы вам место найдем. *Savez-vous panser un cheval?* Умеете ли вы ходить за лошадью?» – Ну уж признаюсь: этого-то я уж вовсе не разумею. – «А жалко! Если б вы вот этак знали как ухаживать за лошадью – я сейчас бы вас пристроил к месту». – Жена покачала головою и с видом укоризны сказала мужу: «Неужели ты в самом деле *этакое* место предлагаешь *monsieur Louis?*» Меня называли этим именем по ошибке:

¹ Иосиф Ежовский, поляк, воспитанник Виленского университета преподавал в Московском университете греческий язык в 1826–1827 гг.

² Т.-е. – христианское.

³ В данный момент

какой-то французский солдат Louis расписался в книге постояльцев подле меня: вот так меня и перекрестили его именем: краткости и ясности ради. – Признаюсь откровенно: у меня была сильная охота, страстное желание сделаться *слугою* – испытать всю *свежесть* этого нового положения, обещавшего много опытов, новых ощущений и бездну приключений. К несчастью, это не удалось, а всему виною хозяйка: зачем же она покачала головою? Что ж делать? подождем до поры до времени: коли мне не удалось быть конюхом, то может быть другое место» в этом роде найдется!

На следующее утро я сидел за завтраком, т.е. пил кофе без сахара (по бельгийскому обычаю) с огромною тартиною (хлеб с маслом). Гляжу – на столе лежит английская газета Weekly Despatch. «Тьфу пропасть! как же это английская газета зашла в этот подлый кабак?» – Через несколько минут входит молодой человек высокого роста в синем изношенном сюртуке, плотно застегнутом, с белым галстуком, полуорлиным носом и сжатыми губами на английский манер – подходит к столу и берет газету – я тотчас заговорил с ним по английски (на сколько я тогда смекал) и просил его указать мне какое-нибудь средство давать уроки на всех возможных языках, даже *по-английски*! Какова прыть! Теперь, проживши 25 лет в Англии, я едва ли бы осмелился давать уроки английского языка, а тогда я на все был готов! Научит нужда калачи есть! – «Вы можете объявить о себе в газетах», сказал он: «но я бы вам советовал прежде всего написать письмецо к Капитану Файоту (Fiott): он очень добрый человек и любит помогать бедным. Да сверх того у него для вас найдется занятие: он обыкновенно произносит речи в масонской ложе, а для этого надобно их переводить на французский язык; он сначала было поручил мне это, но я, знаете, не очень далек во французском. Вот напишите ж сейчас письмецо, а я его к нему отнесу, да пожалуйста поставьте в адресе: G.O., т.е. Grand Orient; это ему понравится и задобрит его в вашу пользу». – Вот я и написал просительное письмо и поставил на обертке G. O. – Кто ж был этот молодой человек? Некто *Макналли, ирландец*, по словам его, племянник епископа Макналли (оно может быть было и правда; здесь почти все больше или меньше из родни духовенству) – ужасный пройдоха, плут и мошенник первой степени, как увидится впоследствии.

Между тем как мы разговаривали, вошло третье лицо – какой-то приятель Макналли, г. Камбель (Cambell), обельгившийся англичанин. Он малый был очень не глупый, отлично говорил по-французски и знаком был с французскою литературою. Но у него была странная привычка: он заходил почти в каждую питейную лавочку и там прихлебывал крошечную рюмочку чего-то, un petit verre, – вследствие чего он всегда был в очень веселом расположении духа. Услышавши о моих потребностях, он сказал: «Я бы вам советовал обратиться к madame Guyot».

– Да кто ж это такая мадам Гюйо? – «Это женщина известная целому городу – femme galante, s'il en fut⁴ – жена инженерного полковника Гюйо! У нее большие связи и она очень любит покровительствовать талантам, польским

⁴ Если угодно, львица.

выходцам и вообще молодым людям. Хотите, я вас ей представлю?» – С величайшим удовольствием! я на все готов! – «Ну так пойдете же сейчас!»

Итак – без дальнейших предисловий – дверь гостиной открылась и я, как был в синей блузе, предстал перед мадам Гюйо! Высокая, стройная, чернобровая женщина сидела, как будто какая-нибудь царица или богиня, окруженная своими поклонниками (мужа не было дома). Камбель представил меня. Она взглянула на меня лучезарным взором царственной благосклонности, обыкновенно оказываемой изгнанникам, героям потерянных битв, революций и пр. Камбель изложил ей мою историю – не без некоторых украшений для большего эффекта. – «Eh bien! Monsieur Darnegy» – сказала она одному из гостей: «не можете ли вы чего-нибудь сделать для этого господина? может быть в вашем бюро найдется для него какое-нибудь занятие? Мсьё Дамри, французик, литератор, журналист, положила руки на сердце, рассыпался в уверениях о своей беспредельной преданности. «Madame peut compter sur moi: je ferai tout mon possible pour servir ce monsieur!»⁵ – «Вот видите ли» – сказала она, обращаясь ко мне с торжествующим видом: «вот ваше дело и слажено! Voau moins une poire pour la soif»⁶.

Ну, думал я, теперь мое счастье устроено: этот г. Дамри даст мне какое-нибудь литературное занятие, да пожалуй чего доброго сделает еще сотрудником... На другой день прихожу к нему, а он меня и знать не хочет, и очень сухо отвечал, что никакого занятия для меня не имеет. Вот так и полагайтесь на слова француза! Впрочем не стоило и сердиться на этого бедного Дамри: он сам был по уши в долгах и едва ли не попал в тюрьму, а услуги свои он предложил просто из врожденного французу хвастовства. Но мои сношения с м-м Гюйо этим не кончились. Через несколько времени она пригласила меня давать уроки английского языка ее детям – мальчику и девочке – за 10 франков в месяц! да и те не очень исправно платила. Но какие дети! Какое воспитание! Девочка лет 12-ти усердно посещала театр вместе с маменькою и знала наизусть весь репертуар французской драмы. Иногда она помирала со смеху, рассказывая мне какую-нибудь *скабрзную* интригу замужней женщины в недавно ею виденной пьесе... «Ах, боже мой!» говорила она, хихикая – «как это должно быть забавно обмануть мужа! как это уморительно!» Так как я был у них не по части нравоучения, а просто для английского языка, то я также с нею хохотал, и наши уроки проходили очень весело. Но м-ме Гюйо имела на меня еще дальнейшие виды. Ради бога, не воображайте себе нечего дурного! это вещь самая простая. Я не вхожу в семейные тайны, но очевидно было, что м-ме Гюйо решилась полюбовно разойтись с мужем, уехать в Париж с детьми, а меня взять с собою быть их наставником. Замечу мимоходом, что этот инженерный полковник был ужасный добряк, истый Жорж Данден⁷, именно такой муж, какого надобно было бы Гюйо. Они оба считали меня ученым человеком, и так как, по их

⁵ Можете рассчитывать на меня, сударыня: я сделаю все возможное, чтобы помочь этому господину.

⁶ Начало по крайней мере положено.

⁷ Герой комедии Мольера «Мещанин во дворянстве».

понятиям, наилучший способ задобрить ученого мужа – накормить его порядочно, то вот они пригласили меня на ужин. Одним словом, они хотели завоевать меня теми же средствами, какими Бисмарк теперь надеется покорить Париж, т.-е. желудком. Во время ужина оба, муж и жена, истошили все свое красноречие и все возможные ласки, чтобы убедить меня ехать с детьми в Париж. Ужин был славный, нечего сказать, да у меня сверх того была смертельная охота побывать в Париже; но все ж таки я не поддался по двум весьма важным причинам: во-первых, совесть у меня была как-то нечиста касательно пашпорта и вместо страха божия у меня был ужасный страх французских жандармов; во-вторых, м-те Гюйо была не богата, а жила выше своих средств. Она просто меня эксплуатировала, хотела иметь дарового учителя, а после, может быть, оставила бы меня без копейки на парижской мостовой. Итак, я храбро выдержал осаду и не сдался. Вот урок Базену!⁸ С тех пор м-те Гюйо исчезла с моего горизонта и более на нем не являлась. – Но я слишком уже далеко забежал вперед! Назад! Назад! в Htel du соq, и посмотрим, что делает английский капитан Файот!

Вот так-то, любезный друг, разыгрываются вариации на тему *жизни* и вечно изменяется ее пестрый ландшафт! – Волны звуков и волны красок несутся одна за другой....

И эти звуки отзвучат,
И эти краски побледнеют,
Как свечка наш потухнет взгляд
И ветры нашу пыль развеют!

Апостол Коммунизма и «Conspiration de Baboeuf».

«Яко ж то тыранство! От так бедны человек з глоду помжрецъ муси!» Господин, произносивший эти слова с глубоким умилением и полупьяными слезами на глазах, сидел за столом в питейной и усердно уписывал славную закуску, запивая ее крепким английским пивом. Это был поляк Бернацкий, апостол коммунизма⁹. Он таким себя мне и рекомендовал: «мы на апостолув

⁸ Базен – французский маршал, сдавший германским войскам город Мец во время франко-прусской войны 1870–1871 гг. Данное письмо написано Печериным в 1871 г.

⁹ На этой главе «записок», в частности на характеристике Бернацкого, яснее, чем на других главах, сказалось абсолютное непонимание автором коммунизма, а также и старческое раздражение против своих «увлечений молодости». Сказались здесь, возможно, и какие-то личные столкновения с Бернацким. Взгляды последнего, которые явно, утрируя, передает Печерин, по-видимому, действительно отличались, как и вообще теории всей демократической части польской эмиграции 30-х г.г., полной сумбурностью и уже, конечно, не имеют ничего общего с социализмом ни с коммунизмом, но характеристика Бернацкого Печериным – явно пристрастна. Через 25 лет после того, как с ним встретился Печерин, в 1865 г. познакомился с

пошли!» В первый раз я встретил его – где вы думаете? – в академической зале Цюрихского университета, где он довольно бойко защищал диссертацию на степень доктора медицины. И эту степень он получил. Ну что ж? вы думаете, что вот он, как порядочный человек, займется делом – медицинской практикой? – Ничего не бывало! Я доселе никак понять не могу, для чего он учился медицине? Он ровно ничего не делал, а только, как ревностный апостол, с утра до вечера шлялся по кабакам, где и проповедовал самый бешеный коммунизм.

Эта была грубая, коренастая славянская натура, без малейшего понятия о нравственных условиях общества. «Вот видите, пане Фуссгэнгер», говорил он мне: «в нашей республике будет такая роскошь и довольство, каких свет еще не видал. С утра до вечера будет открыт стол для всех граждан: ешь и пей, когда и сколько хочешь, ни за что не плати. Великолепные лавки с драгоценными товарами будут настежь открыты, как какая-нибудь всемирная выставка, бери, что хочешь, не спрашивая хозяина – да и какой же тут хозяин? ведь это все наше!» – В таком случае – осмелился я смиренно заметить – *некоторые* граждане должны будут сильно работать для того, чтобы доставить обществу все эти удобства. – Апостол немножко смехался: «Ну, разумеется, *они* принуждены будут работать, а то гильотина на что же?»

Вот вам и древнее греческое рабство! Вольные граждане пируют да беседуют о политике, а рабы на них работают! – Я сказал, что апостол немножко замылся – потому что основной догмат коммунизма был «Труд не достоин вольного человека. Всякая работа есть рабство!» В этом догмате бывали оттенки, смотря по воспитанию и общественному положению лица. – Один премилый итальянский юноша сказал мне однажды в кофейне Баура: «Некоторые из наших вдаются в крайности: они совершенно отрицают труд; нет! это не так: у каждого гражданина будет свое занятие, но, знаете, этакое легкое, неутомительное, приятное занятие, напр., играть на каком-нибудь инструменте, рисовать, читать занимательную книгу». Тут так и слышен *il Signor Conte!*¹⁰ Легкие салонные упражнения были в глазах его образчиком общественной деятельности!

Бернацким и Герцен. Бернацкий жил тогда в Каннах и был рекомендован Герцену, как лучший местный врач. Жена Герцена, Н. А. Огарева, записала в связи с этим знакомством в своих «Воспоминаниях» Бернацкий оказался большим поклонником Герцена; он был польский эмигрант, пожилых лет; жил во Франции (следовало бы точнее сказать: в Швейцарии и во Франции *Л. К.*) с тридцатого года и не охладел в своем патриотизме, хотя жизнь его проходила более среди французов... Трудно жилось широкой славянской натуре в узкой мещанской жизни «французского буржуа». С тех пор у Герцена с Бернацким установились дружеские отношения и он неизменно лечил в семье Герцена, когда последняя оказывалась в Каннах или в близлежащей Ницце.

¹⁰ Господин граф.

Кто-то стучится в двери – отворяю: «А! Бернацкий! Что нового?» – А то, что у меня сегодня деньги есть: пойдем-ка прогуляться за город да выпьем стаканчик чего-нибудь! – «Очень хорошо! Я не прочь! Дайте только шляпу взять». Вот мы пошли, а разговор все о том же, т.е. о благоустройстве будущей республики. Бернацкий не признавал никакой власти и никакого повиновения; об них он и слышать не хотел. «Однако ж, – сказал я; – вот, напр., у нас общее поле: его надо обработать: ведь надо же, чтоб кто-нибудь дал приказ идти на работу». – Какой тут приказ! Мы вот этак скажем: эх братцы! дайте-ка пойдем поработаем немножко! – «Ну да этаким образом», – отвечал я, – «вы действительно очень немного сработаете». – Ах, Боже мой! да как же вы это не понимаете или не хотите понять! Ведь наука-то у нас сделает исполинские успехи. Изобретут, например, какой-нибудь химический порошок. Вот так посыплешь его на землю и вдруг все родится само собою – и рожь, и пшеница, и овес, без малейшего человеческого труда! – «Однако ж, сказал я – все ж таки надобно будет работать для того, чтобы пожинать и собирать в житницы произведения земли!» – Тут он просто рассердился. – «Ну уж с вами вовсе нельзя говорить! Вы этак все идете наперекор. У вас все еще старые аристократические русские предрассудки... Ну так чорт побори все!» – Тут он в ужасном азарте засунул руку в карман, выхватил несчастных два-три франка, заготовленных для прогулки, да так и швырнул их в лужу возле дороги, да и поминай как звали! Тем и кончилась наша прогулка.

Но размолвка не долго продолжалась. Он преклонил гнев на милость и через несколько дней мы опять сидели в самом дружелюбном расположении духа, где-то за городом за кружкою пива и. как будто какие благочестивые отшельники разглагольствовали о благах грядущего века. «Ах», воскликнул Бернацкий: «как это славно будет! Вот этак мы сидим – вольные граждане за общим столом. Тут разумеется все отборные роскошные яства – вино льется рекою – гремит лихая музыка, и под музыку перед нами пляшут *нагие* девы!»

Каков идеал! Что тут ваш Магометов рай с его гуриями! «Вот видите, например,» прибавил он: «ведь монахи-то были не глупы, у них тоже был коммунизм, и они жили в полном довольстве, но в одном только они спасовали и были совершенные дурни!..»

– Да в чем же? – спросил я. – «А в том, что они женщин не пригласили в свою общину!»

– Ей богу правда! – сказал я смеясь – уж в этом-то они решительно промаху дали!

Само собою разумеется, что мой апостол терпеть не мог аристократов. Был какой-то большой бал в Цюрихе. Вот тут вся цюрихская знать, едет или лучше сказать *несется* на бал, потому что в то время не было экипажей, кроме порт-шезов (*porte chaise*)¹¹. Бернацкий немножко под хмельком гулял

¹¹ Носилки с сидячими местами.

со мною в толпе народа. «Ох! уж эти мне аристократы! Да поглядите-ка; рабы несут их на руках как будто бы детей! Какой позор! – Тут он хватил кулаком в стекло порт-шеза и оно рассыпалось в дребезги, а сам он ускользнул в другую улицу.

Еще черта. Жил в Цюрихе ломбардский выходец граф Угони, потерпевший от австрийского правительства за то, что он завел сельские школы; он был отличный человек во всех отношениях, но к несчастью у него было состояние, он хорошо одевался и обедал в первоклассной гостинице, и за это Бернацкий его ненавидел. Стоим мы с ним однажды на мосту; Угони идет обедать в гостиницу *меча* (zum Schwert). «Посмотрите-ка, что это за человек! к чему он годен! чего доброго можно ожидать от него! Вот этак бы ему *пулю в спину влететь!*» А все это из за того, что на нем был хороший сюртук!

Я должен признаться, что наставник мой не очень высокое понятие имел о моих революционных способностях. Вот его официальное заявление.

«Vous n’êtes pas un homme d’action. Nous vous mettrons au parlement. Vous y ferez des discours, et après, nous vous couperons la tête!»¹² Да, сударь! у них шутить не любят, гильотина будет бесценно стоять на площади: guillotine en permanence!¹³

Все это я слушал со страхом, трепетом и благоговением, ни мало не сомневаясь в истине сказанного. Это уж так роковое предопределение, думал я: иначе и быть не может. «Учителю благий!» сказал я однажды: «благоволите указать мне какую-нибудь священную книгу, где бы я мог почерпнуть здравые начала нашей святой веры?» – «Вам непременно надобно достать *Conspiration de Baboeuf par Par Philippe Buonarotti*»¹⁴. Тут заключается все наше учение. Это наше евангелие. Ведь, правду сказать, Иисус был один из наших, он тоже хотел сделать, что и мы, но к несчастью он был бедный человек – без

¹² Вы не человек действия. Мы посадим вас в парламент. Вы будете произносить там речи, а потом мы снимем вам голову.

¹³ Перманентная гильотина.

¹⁴ «Заговор Бабефа» Филиппа Буонаротти.

Бабеф (1760–1797) родоначальник революционного коммунизма в эпоху Великой Французской Революции, организатор так называемого «заговора равных», с программой коммунистической революции и диктатуры трудовых масс; казнен 26 мая 1797 г. Его друг и ученик Буонаротти, спасшийся от разгрома и долго живший в эмиграции в Брюсселе, популяризировал учение «равных» в своей «Истории заговора равных, называемом заговором Бабефа» (Брюссель, 1828 г.). Эта книга в 30-х гг. была одним из самых распространенных изложений революционно-коммунистических учений и оказала большое влияние на дальнейшее развитие социалистической мысли в Европе Сам Буонаротти до смерти продолжал активно участвовать в революционном движении, особенно обращая внимание своих последователей на пропаганду среди рабочих масс.

денег ничего не сделаешь; а тут вмешалась полиция, вот так его и повесили!» Впрочем, не первый раз я слышал в Швейцарии подобное мнение, хотя несколько в другом виде. Один благочестивый сельский пастор, с умилением подымая глаза к небу, сказал мне: «Ja! Iesus Christus war der erste Republikaner!»¹⁵.

Эту священную книгу *Conspiration de Baboeuf* невозможно было найти в Цюрихе, да сверх того у меня ни копейки за душою не было. Но теперь в Льеже, лишь только завелся у меня лишний франк, я тотчас же пошел осматривать все книжные лавки и к крайнему моему восхищению нашел ее у одного букиниста.

Денег со мною не было. «Ради бога» – сказал я хозяину: «подождите несколько минут: я сбегая домой за деньгами: сию же минуту буду назад». Я побежал домой, взял деньги и запыхавшись положил их на конторку, взял книгу и понес ее домой, как некий священный кивот, как ковчег нового завета.

В этом евангелии мало занимательного для *оглашенных*. Вот сущность планов Гракха Бабефа (*Gracchus Baboeuf*): Париж и все большие города должны быть разрушены до основания, а вместо того Франция будет усеяна группами цветущих деревушек! Суцая идиллия!

Но теперь однако ж надобно быть справедливым. Коммунисты должны бы соорудить памятник Бисмарку: он очень ревностно содействует исполнению их планов. Не знаю, много ли *цветущих* деревень он оставит за собою, но что Париж и другие города довольно от него пострадали, в этом нет никакого сомнения¹⁶.

Но ведь я теперь в Льеже, а где же мой наставник и духовный отец? Что с ним случилось? А вот что. – К нему присоединился новый апостол, какой-то доктор из Тюбингена. Этот доктор жил в одном доме со мною. Мне от него страшно было. Никогда я не видал подобного лица. Какая-то мрачная тень злодейства лежала на его челе. Живописец, желавший написать образ Каина или Иуды или самого Мефистофеля, не мог бы найти лучшего образца. Бернацкий как-то особенно с ним подружился. И вот эти два апостола, занявши значительную сумму у какого-то жида, в одно прекрасное утро, не спросившись хозяина, ускользнули из Цюриха и след их простыл. И вот с этими-то людьми я был знаком!

Данте очень трогательно изображает несчастное положение изгнанника. «Конечно, говорит он, грустно есть чужой хлеб и всходить и нисходить по чужой лестнице, но еще грустнее жить в том дурном обществе, какому неизбежно подвергается изгнанник».

¹⁵ Да! Иисус Христос был первым республиканцем!

¹⁶ Намек на франко-прусскую войну 1870–71 гг., во время которой германские войска захватили ряд французских городов и осадили Париж. Бисмарк во время этой войны был политическим руководителем Германии.

Tu proverai si come sa di sale
 Lo pane altrui, e come; duro caile
 Lo scendere e'l salir per l'altrui scale.
 E quel che pi; ti graver; le spalle
 Sar; la compagnia malvagia e scempia,
 Con la qual tu cadrai in questa valle.

Dante. Paradiso XVII. 58¹⁷.

Эти стихи мне часто повторял мой Луганский приятель Грилленцони, жалуясь на дурное общество в Цюрихе. А после я собственным опытом это узнал.

[В эти самые годы, о которых пишет Печерин, Маркс создавал свою новую коммунистическую религию. И сколь ни кажутся сегодня бредом разглагольствования тогдашних коммунистических апостолов, еще середины девятнадцатого столетия. и гильотина, и рабство – всё осуществилось, даже и будущая «сексуальная революция», о которой мы сегодня спорим, затевали ли ее большевики в двадцатых годах двадцатого века!

Зачем я повторяю «Записки Печерина», изданные еще другом и соратником Ленина Зиновьевым? – чтобы меньше было нелепых споров о существовании коммунизма, недостаточно прочитав марковский «Капитал» и безграмотный «Эмпириокритицизм» Ильича, надо читать еще Бакунина и Герцена, которые отнюдь не были коммунистами, надо прочесть великий труд Шафаревича «Социализм как явление мировой истории», и мы с удивлением узнаем, что социалистическая (коммунистическая) доктрина царствовала даже раньше христианства, и благодаря ей и в Китае в пятом веке до нашей эры устраивали «Культурную революцию» и изгоняли философов и поэтов, а не только Ленин на пароходе изгнал русских интеллигентов; и в Междуречье засыпало песком каналы: *«так они хозяйствовало, как мечтали»* (см. у Овсянникова: «так вы воевали как стреляете» – когда Ворошилов пять раз промазал в бывшего белого генерала). «Вот так мы сидим – вольные граждане за общим столом. Тут разумеется все отборные роскошные яства – вино льется рекою – гремит лихая музыка, и под музыку перед нами пляшут *нагие девы!*» – приводит Печерин слова одного из «апостолов» коммунизма. И я призываю вас прочесть, наконец, Библию и Новый Завет, чтобы узнать, в кого и во что вы веруете. **Примечание В Чернышева.**]

¹⁷ «Как горек хлеб чужой и полон зла,
 Узнаешь ты, и попить легко ли
 Чужих ступени лестниц без числа!
 Всего ж сильней отяготит в неволе
 Тебе плеча – сброд извергов, глупцов,
 С которыми падешь ты в той юдоли».

Данте Рай. Песнь XVII, стихи 58–61 (пер. Д. Мина).

Надежда Полякова



Библейская образность и библейские сюжеты в русской поэзии (под редакцией Галины Дюмонд)

Надежда Полякова родилась **15 декабря 1923** года в деревне Басутино Боровичского уезда (Новгородской области) в крестьянской семье. Окончив 7 классов, переехала в Ленинград, где окончила среднюю школу в 1941 году. Была направлена на оборонные работы, три месяца рыла окопы и противотанковые рвы под Малой Вишерой. С марта 1942 года работала зав. избой-читальней, налоговым агентом, фининспектором. В феврале 1943 года призвана в армию, служила в пехотной части зав. делопроизводством штаба полка. Награждена Орденом Отечественной войны II степени.

Первое стихотворение напечатано в 1940 г. в журнале «Смена».

В 1949 году окончила филологический факультет Ленинградского университета. Работала в газетах «Ленинградская правда», «Смена», «Крылья Советов». Член Союза писателей СССР.

В «перестроечные» годы пошла работать в школу учителем русского языка и литературы. Но до последних дней продолжала писать и стихи, и прозу.

Скончалась **29.9.2007**, похоронена на Смоленском кладбище в СПб.

Окончание. См №7, №8, №9.

Ф.М.Достоевский. «Преступление и наказание»

В школьную программу Ф.М.Достоевский включён одним романом – «Преступление и наказание». Поэтому свой разговор о великом русском писателе я ограничу только этим романом, который признан одним из лучших, а может и самым лучшим в творчестве писателя.

Я не берусь утверждать, что этот роман лучше других. *Кому что нравится.* Тем более в художественной литературе и в искусстве вообще. Вероятно, большое количество поднятых в романе вопросов поражаало воображение оценщиков. Да ещё в те времена стали появляться террористы, которые убивали ради идеи. Идеи достижения светлого будущего, свободы, равенства, братства.

Но ведь и в других произведениях вопросов не меньше, а многие проблемы и темы переходят из одного произведения в другое, о чём будет упомянуто дальше.

Но поскольку старшеклассники должны знать хоть что-то об этом романе, а, как показал опрос, читать им его трудно, а разобраться и понять ещё труднее, то я буду говорить, в основном, только об этом романе.

I

Самое начало романа даёт широкую характеристику главному действующему лицу, так сказать, герою романа – Раскольникову. «Каморка его приходилась под самую кровлей пятиэтажного дома и походила более на шкаф, чем на квартиру».

По лестнице надо спускаться мимо двери хозяйкиной кухни. «И каждый раз молодой человек, проходя мимо, чувствовал какое-то болезненное и трусливое ощущение, которого стыдился и от которого морщился. Он кругом был должен хозяйке и боялся с нею встретиться.

Не то чтоб он был так труслив и забит, совсем даже напротив; но с некоторого времени он был в раздражительном и напряженном состоянии, похожем на ипохондрию. Он до того углубился в себя и уединился от всех, что боялся даже всякой встречи, не только встречи с хозяйкой. Он был задавлен бедностью».

Дальше, как всегда бывает у Достоевского, писатель показывает и другую сторону характера своего героя.

«... Он был задавлен бедностью; но даже стеснённое положение перестало в последнее время тяготить его. Насущными делами своими он совсем перестал и не хотел заниматься. Никакой хозяйки он, в сущности, не боялся, что бы та ни замышляла против него» Но он не хотел слушать её разговора об оплате жилья и стола. Но «... на этот раз страх встречи с своею кредиторшей даже его самого поразил при выходе на улицу».

Итак, показано три душевных состояния в одно и то же время:

1. Постоянный страх, что потребуют платы, а денег нет.

2. Не страх, а нежелание слушать вздор, «обыденную дребедень», до которой ему нет никакого дела, ибо он выше этого.

3. И в то же время на этот раз страх поразил даже его. «На какое дело хочу покуситься, и в то же время каких пустяков боюсь! – подумал он со странную улыбкой».

Так начинается роман, интригуя читателя своей завязкой.

Мы ещё ничего не знаем об этом молодом человеке, но его сложное душевное состояние настораживает нас.

Дальше он рассуждает о том, что люди больше всего боятся нового шага, нового, даже собственного, слова. Подбадривает себя, борется с собой, сомневается в себе и своём намерении. «Ну зачем я теперь иду? Разве я способен на *это*? Разве *это* серьёзно? Совсем не серьёзно. Так, ради фантазии сам себя тешу: игрушки! Да, пожалуй что и игрушки!»

Вот как рассуждал Раскольников, двадцатитрёхлетний отчисленный из университета студент юридического факультета, доведённый предельной нищетой до отчаяния.

По этим нескольким фразам, по колебаниям его душевного состояния невольно ощущаешь его дрожь, его лихорадочное болезненное состояние, но никак не уверенное состояние Наполеона, замыслившего большое сражение, переворот, борьбу за славу, за власть, за богатство.

Потом, пройдя по вонючей лестнице, Раскольников впадает «как бы в какое-то забытьё». Мысли его мешались. Он был очень слаб. Второй день он ничего не ел.

Одет он был очень плохо, даже стыдно было выходить в такой рвани на улицу. «Он сам себе не верил, – пишет Достоевский, – но свою "безобразную" мечту как-то даже поневоле привык считать предприятием, хотя всё ещё сам себе не верил».

С каждым шагом волнение его всё возрастало – он шёл «делать *пробу*». «С замиранием сердца и нервной дрожью» подошёл он к намеченному дому, до которого у него уже было насчитано семьсот тридцать шагов.

И этот большой, трясущийся от страха и лихорадки, от голода и стыда за свой костюм, молодой человек думает: «Если о сю пору я так боюсь, что же было бы, если б и действительно как-нибудь случилось до самого дела дойти?»

И ничего, повторяю, в нём нет наполеоновского, только одно отчаяние и невладение собой, сомнамбулическое состояние потерявшего ощущение реальности человека.

Он ещё ни в чём не уверен, ни на что окончательно не решился, а, как бывает во сне, идёт, не сознавая, куда, и делает то, что наяву никогда бы не сделал. Его ведёт подсознание, он потерял контроль над своими поступками.

Описание Алёны Ивановны, старухи процентщицы, не вызывает симпатии. Но Достоевский рассматривает её глазами красивого молодого человека, но голодного и обнищавшего. Это Раскольникову она кажется ужасной, потому что она некрасива, стара и, по его мнению, богата, в то время, когда ему деньги нужнее, чем ей.

Здесь сказывается обычная молодая категоричность, утверждающая, что старым ничего не нужно, а нужно только молодым, сказывается тот атавизм, когда древние оставляли стариков и старух на съедение диким зверям, или сбрасывали в ущелье со скал, или – что ещё проще – съедали.

Итак, он идёт делать «пробу».

И даже после этой «пробы», после его визита к будущей жертве он восклицает: «О, боже! Как это всё отвратительно! И неужели, неужели я... нет, это вздор, это нелепость!» «И неужели такой ужас мог прийти мне в голову? На какую грязь способно, однако, моё сердце! Главное: грязно, пакостно, гадко, гадко!.. И я целый месяц...»

«Чувство бесконечного отвращения, начинавшее давить и мутить его сердце ещё в то время, как он только шёл к старухе, достигло теперь такого размера и так ярко выяснилось, что он не знал, куда деться от тоски своей».

И в этом состоянии он зашёл в распивочную, первый раз в жизни зашёл, и встретил там спившегося чиновника Мармеладова, и выслушал длинную его исповедь, его рассказ о жене Екатерине Ивановне, дочери Соне, о своей слабости к спиртному, о нищете беспросветной. (Здесь уместно вспомнить, что поначалу, когда Достоевский собирался написать роман, он думал назвать его «Пьяненькие», и только потом, в процессе работы он отказался от первоначального замысла и написал своё великое произведение «Преступление и наказание»).

Под смех посетителей распивочной Мармеладов рассказывает подробности своих отношений с женой, подробности выхода восемнадцатилетней дочери Сони на панель, чтобы подработать на троих маленьких детей Екатерины Ивановны, которым Мармеладов был отчимом.

Мармеладов понимает своё падение, мучается им, но не может справиться со своей слабостью.

«Меня распяты надо, распяты на кресте, а не жалеть! Но распни, судия, распни и распяв, пожалей его!» – восклицает Мармеладов, перефразируя Евангелие и решение Понтия Пилата, давшего согласие на распятие Иисуса Христа и жалевшего об этом...

Фраза, сказанная Мармеладовым среди многих других фраз, может служить если не ключом, то ключиком к пониманию многого и многих в романе:

«Ибо бывает такое время, когда непременно надо хоть куда-нибудь да пойти!»

Так и Раскольникову надо было хоть куда-нибудь пойти, чтобы его поняли, не спрашивая, утешили без слов жалости, согрели душевным теплом, не подчеркивая своей доброты и не требуя благодарности за это.

Но Раскольникову некуда было пойти. И, столкнувшись случайно с несчастным Мармеладовым, он не в силу какой-то особенной душевной доброты, а в силу предельного одиночества потянулся к нему, желая то ли помочь ему, то ли помочь себе обрести себя, ибо слабый может почувствовать силу, оказав помощь более слабому.

Не могу удержаться от того, чтобы не привести маленький пример ощущения, подобного ощущению Мармеладова, в мировой литературе.

(Я уже говорила о том, что влияние Достоевского на писателей мира огромно.)

Помните «Маленького принца» Сент-Экзюпери?

«На следующей планете жил пьяница. Маленький принц пробыл у него совсем недолго, но стало ему после этого очень невесело.

Когда он явился на эту планету, пьяница молча сидел и смотрел на выстроившиеся перед ним армии бутылок – пустых и полных.

– Что это ты делаешь? – спросил Маленький принц.

– Пью, – мрачно ответил пьяница.

– Зачем?

– Чтобы забыть.

– О чём забыть? – спросил Маленький принц; ему стало жаль пьяницу.

– Хочу забыть, что мне совестно, – признался пьяница и повесил голову.

– Отчего же тебе совестно? – спросил Маленький принц; ему очень хотелось помочь бедняге.

– Совестно пить! – объяснил пьяница и больше от него нельзя было добиться ни слова.

И маленький принц отправился дальше, растерянный и недоумевающий».

В этом философском, поэтически и возвышенно написанном произведении, Сент-Экзюпери, как в капле воды, изобразил того же Мармеладова из «Преступления и наказания».

Раскольников ничего не спрашивает у Мармеладова, он слушает молча и молча погружается в пучину чужого горя, чужой безысходности.

И Раскольников, не объясняя себе и не давая себе отчёта в своём поступке, ведёт пьяненького Мармеладова домой и там становится свидетелем сцены унижения Мармеладова и отчаяния Екатерины Ивановны.

Поступок Раскольникова нельзя объяснить какой-то особенной добротой, но когда человек беспредельно одинок, как Раскольников, и в таком болезненном подавленном состоянии, как Раскольников, он может пойти с любым человеком, тем более с не менее несчастным, чем он сам. И только этим можно объяснить невольное, неосознанное движение его, когда он оставил на подоконнике у Мармеладовых несколько монет, полученных с размененного в распивочной рубля. Опомившись, он готов был вернуться и взять обратно эти деньги, но не вернулся. И этот жест, это движение – сделать, потом жалеть, пожелать исправить сделанное – доброе или злое, тоже характерная черта для человека такого склада, такого характера, как Раскольников.

Ничего прямолинейного, резкого, определённого в нём нет. Он колеблется от добра ко злу, и если совершает зло, то, как ему кажется, во имя добра, которое он может сделать близким ему людям. А если бы мог, то осчастливил бы всё человечество...

Эта мысль о всём человечестве близка Достоевскому. Но что такое человечество? Ещё никто не мог дать ответа. Ибо человечество – не

монолит, а огромное количество отдельных людей и каждый по-своему несчастен. Но как говорит Раскольников: «Ко всему-то подлец-человек привыкает!»

«Он задумался.

– Ну, а коли я соврал, – воскликнул он вдруг невольно, – коли действительно не подлец человек, весь вообще, весь род, то есть человеческий, то значит, что остальное всё – предрассудки, одни только страхи напущенные, и нет никаких преград, и так тому и следует быть!..»

Не сформулированная до конца мысль о том, что «нет никаких преград», брошена не случайно. О преградах, стоящих перед поступками человека, Достоевский думал и рассуждал в своих произведениях всю жизнь.

А если «так тому и быть», то что он может изменить, поправить, устранить? Кого он может спасти, осчастливить?

Окончательно встряхнуло его, усилило его болезнь, а его состояние иначе и назвать нельзя, убедило в необходимости что-то делать, что-то предпринять для изменения его жизни, письмо матери, где она писала о своей жизни и судьбе его младшей сестры – Дуни, которой грозила нищета и унижение, скитание в качестве гувернантки по чужим углам, слёзы от незаслуженных оскорблений.

И он представил себе, что Дуню, его сестру, красивую, любимую им и любящую его, может ждать печальная участь Сони Мармеладовой, пусть не на панели, а в законном замужестве с нелюбимым и плохим человеком, который будет унижать её. Ещё не видя его, он уже ненавидит этого Петра Петровича Лужина, ненавидит его не меньше, чем Свидригайлова, из-за мерзких притязаний которого была оклеветана и выгнана с места Дунечка.

Образ Петра Петровича Лужина, человека, который совершает якобы благородный поступок, вступая в законный брак с бедной девушкой, Достоевский развивает и дополняет в разных своих произведениях, в частности в повести «Кроткая», где вся история брака без любви и унижение законным браком, совершённым с одной стороны – ради возвышения через унижение другого, с другой стороны – ради материального устройства, как выход из положения, приводит к самоубийству тонкой, доведённой до отчаяния, натуры.

Так чем же будет отличаться Дуня от Сони? – такой вопрос возникает в мозгу Раскольникова. Соня погубила себя из-за денег. Значит, и Дуне грозит такая же судьба? И ещё не зная Лужина, не встретившись с ним, Раскольников, как я уже сказала, начинает люто ненавидеть этого человека.

«Почти всё время, как читал Раскольников, с самого начала письма, лицо его было мокро от слёз; но когда он кончил, оно было бледно, искривлено судорогой, и тяжёлая, желчная, злая улыбка змеилась по его губам».

Наконец он вскочил и пошёл, не замечая дороги, на Васильевский остров, «шепча про себя и даже говоря вслух с собою».

«Письмо матери его измучило» – так начинается следующая, IV глава. Главной мыслью Раскольникова была: «Не бывать этому браку, пока я жив, и к чёрту господина Лужина!».

Какой уж тут Наполеон! Прохожие сторонились его, принимая за пьяного. Он не владел собой. Его мучило, что Дуня готова продать себя Лужину для того, чтобы помочь любимому брату Роде.

И вдруг он остановился.

«Не бывать? А что ты сделаешь, чтобы этому не бывать? Запретишь? А право какое имеешь?»

Эти вопросы давно истерзали его сердце, а письмо матери как громом ударило.

«Во что бы то ни стало надо решиться, хоть на что-нибудь, или... Или отказаться от жизни совсем! – вскричал он вдруг в испуге. И вот только теперь, когда он находился в страшном отчаянии, «вчерашняя мысль опять пронеслась в его голове». «Ему стукнуло в голову и потемнело в глазах».

Он шёл по К-му бульвару, хотел сесть на скамейку, но его внимание отвлекла пьяная девушка в разодранном платье, которая села на ту скамейку, которую он хотел занять. За девушкой «охотился» прилично одетый господин. Раскольников подозвал городского, дал ему монетку из своих жалких денег и попросил проводить девушку домой на извозчике.

Раскольников проявил свою доброту, но так же, как и в случае с Мармеладовым, подумал: «Зачем я это сделал?»

Он шёл к Разумихину, единственному человеку, с которым поддерживал отношения. Но не знал, зачем идёт? И вспомнил, что хотел зайти к нему после того.

«И вдруг он опомнился. "После того, – вскрикнул он, срываясь со скамейки, – разве то будет? Неужели в самом деле будет!"»

И не дойдя до Разумихина, он зашёл в распивочную, выпил рюмку водки, захмелел, потому что два дня не ел, дошёл до Петровского острова, вошёл в кусты, пал на траву и в ту же минуту заснул.

Приснился ему страшный сон, как пишет Достоевский, «болезненный» сон о том, как хозяин бьёт тяжело нагруженную старую лошадь и забивает её до смерти.

«Он проснулся весь в поту, с мокрыми от поту волосами, задыхаясь, и приподнялся в ужасе»...

«– Боже! – воскликнул он, – да неужели ж, неужели ж я в самом деле возьму топор, стану бить по голове, размозжу ей череп... буду скользить в липкой тёплой крови, взламывать замок, красть и дрожать; прятаться, весь залитый кровью... с топором... Господи, неужели?»

Он дрожал, как лист, говоря это».

И дальше он рассуждает, что никогда не сможет пойти на преступление, не вытерпит, не выдержит...

Но вот, когда он возвращался домой, на Сенной площади он услышал разговор Лизаветы, сестры Алёны Ивановны, старухи процентщицы, со знакомыми мелочными торговцами о том, что она придёт к ним завтра после семи часов... А значит, Алёна Ивановна будет в это время дома одна.

Он вспомнил, кто дал ему адрес этой старухи. Вспомнил разговор двух

человек в трактире о старухе и её сестре, которую старуха бьёт и заставляет выполнять всю работу по хозяйству. Один из собеседников сказал, что «старуха недостойна жить... но ведь тут природа». «Недостойна жить...» – эта фраза осталась в памяти Раскольникова и как бы подстёгивала его.

И он стал готовиться к своему «делу», которое должно перевернуть всю его жизнь и спасти близких и дорогих людей.

Он стал считать, что задуманное им «не преступление».

Дело это – убийство старухи. Убил он и Лизавету, сестру её, попавшую, как говорится, под руку.

«Он был в полном уме, затмений и головокружений уже не было, но руки всё ещё дрожали...»

Характерно, что он дернул за шнурок на шее уже мёртвой старухи и вытащил два креста – кипарисовый и медный и, кроме того, финифтяной образок...

Деньги и ценности, которые он взял у старухи, не считая и не разглядывая, он спрятал в глухом дворе пол камнем.

Преступление совершено.

Страница 86.

В романе 574 страницы. Весь остальной текст посвящён наказанию. Нет, не суду, не истязаниям на допросах, не каторге, а наказанию, которое он испытывает от душевных мук.

Никто не видел его, когда он входил в квартиру к старухе, убивал её и её сестру, свидетелей не было. Но, «войдя к себе, он бросился на диван так, как был. Он не спал, но был в забытьи. Если бы кто вошёл тогда в его комнату, он бы тотчас же вскочил и закричал. Ключки и отрывки каких-то мыслей так и кишили (так у Достоевского) в его голове, но он ни одной не мог схватить, ни на одной не мог остановиться, несмотря на усилия...»

Как это не похоже на сильную, цельную натуру! Это – одушевлённый крик отчаяния, это – комок нервов, это – состояние безумия, в котором он не может дать себе отчёта!

И в этой остальной – или основной – части романа Раскольников сталкивается с самыми разными людьми, некоторые из них также подвержены мучениям, внутренним терзаниям, мукам совести, страданиям.

Но не будем забегать вперёд, а станем перелистывать роман страницу за страницей, и пусть каждый новый персонаж раскроет себя сам.

2

В тяжёлом нервном состоянии Раскольников идёт по повестке в полицейскую контору по поводу неуплаты долга хозяйке. Он же думает, что его вызывают по поводу убийства, и он решает: «Только бы поскорей!»... То есть, поскорей бы всё кончилось, поскорей бы его арестовали.

В конторе он слышит разговор об убийстве старухи и падает без сознания.

Этот его обморок привлекает к нему внимание полицейских работников и следователей.

Раскольников начинает испытывать страх, равносильный неосознанному ужасу, страх обыска, страх перед тем, что могут найти украденное (он ещё не спрятал его под камнем, а хранил за отставшими от стенки обоями), страх, что обнаружат пятна крови на его одежде. И он ненавидит и презирает себя за этот страх и не может отделаться от него.

И вдруг он изумился:

«Если действительно всё это дело было сделано сознательно, а не подурочки, если у тебя была определённая и твёрдая цель, то каким же образом ты до сих пор даже не заглянул в кошелёк и не знаешь, что тебе досталось, из-за чего все муки принял и на такое подлое, гадкое, низкое дело сознательно шёл?»

И тут же отвечает сам себе:

«Это оттого, что я очень болен, я сам измучил и истерзал себя, и сам не знаю, что делаю...»

Он чувствовал отвращение ко всему окружающему.

И всё-таки зашёл к Разумихину, который сразу увидел, что он болен и бредит. Но Раскольников рассердился и ушёл, отказавшись от предложенной Разумихиным хоть маленькой, но всё-таки возможности заработка.

Дома у него начался бред и наступило полное беспамятство.

Опустим несколько дней болезни со страшным бредом Раскольникова, во время которой за ним ухаживала служанка квартирной хозяйки Настенька, Разумихин и доктор Засимов, приглашённый Разумихиным.

Перейдём сразу к Лужину и Свидригайлову, которые, приехав в Петербург, нанесли визиты Раскольникову, желая с ним познакомиться в связи с их личными видами на его сестру.

Как уже было сказано, после письма матери Раскольников отрицательно отнёсся к Лужину, ещё не видя его. И когда увидел, не изменил своего мнения, а был дерзок и груб с ним и бесцеремонно выпроводил его.

Была потом ещё одна встреча с Лужиным, который поставил перед Дуней вопрос: он или я? И Дуня рассталась с Лужиным.

Лужин быстро утешился и занялся поисками новой невесты и, по возможности, более молодой и менее гордой.

Его раскаяние, его наказание ещё впереди. (Не его ли судьба рассказана писателем в «Кроткой?»).

Образ Свидригайлова, в доме которого служила гувернанткой Дуня и который досаждал ей своими ухаживаниями, будучи человеком женатым и семейным, доведён Достоевским до логического конца.

Жизнь его сложилась так: он был хорош собой, жил в столице, проигрался, богатая помещица Марфа Петровна, которая была старше его на пять лет, предложила ему жениться на ней с тем, что она заплатит его долги и увезёт его в своё имение. Во время семейной жизни он обязан ни в кого не влюбляться и не бросать её. А так, понемножку, он мог ухаживать и влопочиться за кем хотел.

Свидригайлов был жесток и безжалостен. Он плохо относился не только к слугам, но и к Марфе Петровне. Своими домогательствами он поставил Дуню

в ложное положение, вызвал ненависть к ней со стороны Марфы Петровны, которая и опозорила Дуню на весь городок.

И вот начинаются наказания Свидригайлова. К нему стали являться люди, замученные им – мальчик-слуга, Марфа Петровна, которая умерла не без его помощи. Свидригайлов теряет равновесие. Он хочет просить прощения у Дуни и хоть у всего мира. И всё же не теряет надежды на то, что Дуня снизойдёт к его просьбам... Он запугивается в своих душевных смятениях, ужас, который обуревает его, заставляет его застрелиться.

Мармеладов попадает под колёса кареты и умирает.

Екатерина Ивановна – предположительно светлый образ, хотя она хвастлива, сумасбродна, высокомерна, жестока по отношению к падчерице – Соне, била своего пьяненького мужа, сходит с ума и умирает.

Все наказаны.

Остаётся Раскольников со своей душевной мукой.

Вопрос: можно ли безнаказанно убивать? – развивает во время визита к нему Лужин. И этот Лужин требует от Разумихина, находившегося тут же, ответа на свой вопрос. И Разумихин отвечает словами поддельвателя фальшивых билетов, процесс о котором проходил в Москве и о нём сообщалось в газетах: «Все богатеют разными способами, так и мне захотелось разбогатеть».

Но Раскольникову хотелось уличить в подлости самого Лужина, желавшего жениться без любви и потом унижать жену.

3

Ну, вот теперь, когда мы, коротко рассказали о них, развели по сторонам второстепенных персонажей, которым в романе отведено много страниц подробнейшего описания, займёмся главным персонажем романа Родионом Романовичем Раскольниковым, студентом юридического факультета, отчисленного из-за неуплаты за обучение и убившего старуху процентщицу.

Займёмся только его наказанием, мучением и страданием до того, как его арестовали.

Он начинает играть с огнём.

Так бывает в одной детской игре – холодно, холодно, тепло, жарко... Судьбе было угодно – по воле писателя! – свести его со следователями, которые расследовали убийство двух женщин.

Мы помним, что Раскольников до отчисления из университета учился на юридическом факультете. Его приятель Разумихин – тоже. Следовательно, ничего удивительно нет в том, что Разумихин общается со следователями, причём один из них – личность особенно примечательная – Порфирий Петрович – приходится ему дальним родственником.

Раскольников, как мотылёк на огонь, летит на Порфирия Петровича. Его постоянно интересует, что нового узнали следователи по делу об убийстве. Не попали ли на след. В самом деле подозревают его, или ему это только кажется из-за его мнительности.

Его беспокойное нервное состояние не проходит мимо внимания

следователей. Особенно им заинтересовался именно Порфирий Петрович, который точно высчитал, что в этом деле виновен Раскольников. Был подозрителен и обморок Раскольникова в конторе, и безудержный интерес к тому, как ведётся дело, и чтение газет в трактире с сообщениями об убийстве, странный, вызывающий настороженность разговор со следователем Заметовым в трактире.

«Это вот та самая старуха, – продолжал Раскольников тем же шёпотом и не шевельнувшись от восклицания Заметова, – та самая, про которую, помните, когда стали в конторе рассказывать, а я в обморок-то упал. Что, теперь понимаете?»

– Да что такое?.. Что... "понимаете"? – произнёс Заметов почти в тревоге».

Раскольников дразнит Заметова, нервно смеётся и вспоминает, как он стоял после убийства за дверью квартиры, а на лестнице стояли двое закладчиков и звонили в квартиру, а ему хотелось «высунуть им язык, дразнить их, смеяться, хохотать, хохотать, хохотать!»

«– Вы или сумасшедший, или... – проговорил Заметов – и остановился, как будто вдруг поражённый мыслью, внезапно промелькнувшею в уме его».

Всем своим поведением Раскольников привлекает к себе внимание, как бы желая ускорить события и прийти к логическому концу: чтобы его арестовали, чтобы кончились муки душевные.

И он даже рассказывает Заметову, как бы он, будь он преступником, спрятал бы украденное до времени, чтобы потом, когда история забудется, достать украденное и пользоваться им. И, видя, что Заметов не в себе от его рассказа, говорит:

«– А что, если я старуху и Лизавету убил? – проговорил он вдруг и – опомнился.

Заметов дико поглядел на него и побледнел, как скатерть. Лицо его искривилось улыбкой.

– Да разве это возможно? – проговорил он едва слышно.

Раскольников злобно взглянул на него.

– Признайтесь, что вы поверили? Да? Ведь да?»

Давайте подумаем, чего больше в этом эпизоде: уверенности в своей ненавязчивости, ожидания неминуемого ареста, мальчишества, нервного расстройства, или, как я уже сказала, игры с огнём? Наверное, есть всего понемножку, и всё смешалось в одну кучу, и сам он не может отделить одно от другого, истязает самого себя и издевается над молодым следователем Заметовым, который об этом разговоре расскажет Порфирию Петровичу, а уж Порфирий-то Петрович не будет бледнеть, как Заметов, и не растеряется, а всё расставит по полочкам в своих предположениях. Уж Порфирий-то Петрович психолог порядочный, да и возрастом постарше этих играющих мальчиков.

Подумаем и о том, почему после разговора с Заметовым на Раскольникова нападает истерическое состояние? Помните, он кричит Разумихину, единственному своему приятелю, который пытается разобраться в его настроении и понять его:

«– Пусть я неблагодарен, пусть я низок, только отстаньте вы все, ради бога отстаньте! Отстаньте! Отстаньте!»

Крича это, он истуπлённо задыхался. Он вышел на набережную и вдруг «в глазах его завертелись какие-то красные круги, дома заходили, прохожие, набережные, экипажи – всё это завертелось и заплясало кругом».

Приближался обморок...

Разве это состояние похоже на состояние сильного здорового человека, задумавшего пусть преступное, но нужное и рассчитанное им дл мелочей дело, сделавшего это дело удачно, так, что комар носа не подточит? Нет, этого человека при всём желании нельзя принять за здорового, уверенного в себе, необыкновенного, кому всё можно... Уж куда ему в Наполеоны!

И вот он хочет покончить с собой, но не успел, так как его опередила, прыгнув с моста, спившаяся женщина. И ему становится гадко и противно. И он не находит себе места, и пойти ему некуда, и поговорить не с кем. Он хочет только одного – чтобы скорей всё кончилось. Он собрался идти в полицейскую контору, но повернул и пошёл в квартиру убитой старухи...

Он разговаривает с рабочими, ведущими ремонт в квартире, и, якобы хочет снять эту квартиру, расспрашивает про кровь, которая была на полу, а теперь смыта и закрашена.

Всем своим поведением он вызывает подозрение и как будто делает это нарочно, умышленно. Ведь он мог ничего не спрашивать! Но ему хочется, чтобы скорей всё кончилось!

4

Увидя на улице толпу вокруг раздавленного каретой Мармеладова, Раскольников говорит, что знает этого человека, требует позвать доктора, обещает заплатить доктору (это всё из денег, присланных матерью и оставшихся после покупки Разумихиным костюма ему), сопровождает Мармеладова, истекающего кровью, домой и в доме этого несчастного впервые видит Соню. Её нашли и позвали к умирающему отцу, она пришла «с работы», ярко и нелепо одетая, стесняясь своего яркого платья рядом с умирающим отцом.

И здесь, встретившись со следователем Николаем Фомичём, на его реплику о том, что он испачкался кровью раздавленного Мармеладова, отвечает по меньшей мере странно для человека, сознательно и холодно совершившего преступление:

– Я весь в крови... – вкладывая в эти слова больше, чем они могли значить.

Уходя от Мармеладовых, он оставляет им деньги на похороны. И его на лестнице догоняет девочка Поленька, которая благодарит его за его милосердный поступок, целует, и Раскольников спрашивает, умеет ли она молиться? И когда она говорит, что да, умеет, он просит её помолиться когда-нибудь о нём. «И раба Родиона» – больше ничего.

«– Всю мою будущую жизнь буду об вас молиться, – горячо проговорила девочка и вдруг опять засмеялась, бросилась к нему и крепко опять обняла его.»

В этом эпизоде не всё так просто, как может показаться с самого начала, с первого прочтения. Ну, оставил деньги, ну, девочка, посланная за ним вслед матерью, догнала и поблагодарила. Но Достоевский не так прост и прямолинеен. Ради одного этого он не стал бы описывать разговор Раскольникова с Поленькой.

Здесь раскрывается многое.

В первую очередь – самое главное – святая вера Достоевского в чистую молитву ребёнка, которая обязательно, непременно дойдёт до ушей Бога.

Обещание девочки помолиться о нём Раскольников воспринимает, как возможность очищения...

И здесь, думаю, самое время поговорить о деньгах.

То есть о значении денег в романах Достоевского.

Без денег не может быть свободы – это утверждал не только Достоевский, но и другие мыслители – не глупцы! – и до него.

Деньги и власть – писатель ставил рядом эти понятия.

За что целует Поленька Раскольникова? За его красоту? За то, что на нём приличный, хотя и поношенный костюм? За то, что помог доставить домой пьяного, раздавленного отчима?

Конечно же, нет!

Её послала Екатерина Ивановна, мать её, догнать и поблагодарить Раскольникова за деньги, оставленные на похороны Мармеладова, потому что без денег и похоронить было бы не на что. Екатерина Ивановна сама знает цену деньгам. И она не святая. И она, вдова с тремя детьми, дочь штабс-капитана, воспитанная, как благородная барышня, и когда-то танцевавшая на губернаторском балу, чем очень гордилась, вышла замуж за пьяницу-чиновника Мармеладова с надеждой устроить свою жизнь, а отнюдь не по любви. Мармеладов не был ни молод, ни красив. Если говорить строго, то и эта, признанная литературоведами, как идеальная, женщина тоже совершила сделку! И просчиталась!

А для чего даёт деньги Раскольников – Мармеладовым, городовому, чтобы отвести на извозчике пьяную девицу, проститутке Далиде? Из каких побуждений?

Только ли из врождённой доброты?

Не похожи ли его поступки на поступки Свидригайлова – только не в таких масштабах – перед самоубийством, чтобы облагодетельствованные им помянули имя его в молитвах своих и замолили часть грехов его? А, может и все грехи?

Не с этой ли целью Алёна Ивановна оставила завещание, по которому все её деньги пошли в отдалённый монастырь, чтобы там регулярно совершали поминальные обряды по рабе Божьей Алёне?

Не так ли поступила Марфа Петровна, приревновавшая Дуню Раскольникову, гувернантку своих детей, к своему мужу Свидригайлову, опозорившая Дуню и изгнавшая бедную девушку на простой крестьянской телеге, не дав времени на сборы и увязание её вещей? И потом, признав свою ошибку, завещавшая Дуне приличную сумму денег? Наивно было бы

утверждать, что она это сделала из простой природной душевной доброты, а не во имя искупления её греха, её вины перед Дуней!

Использует свои деньги и Лужин, подыскивая себе подходящую покупку – девушку помоложе, на которой, женившись, он может экспериментировать, показывать свой характер, как персонаж, от имени которого ведётся повествование в «Кроткой».

За деньги покупает себе молодую любовницу старый Карамазов («Братья Карамазовы»). Из-за денег его убили – не сын Дмитрий, как решило следствие, а Смердяков – лакей, предположительно незаконный сын Карамазова и придурковатой нищенки.

Вокруг денег крутится острый вопрос при обвинении Дмитрия Карамазова, и он не может сказать, откуда у него деньги, так как деньги он получил от благородной женщины, имя которой он не может назвать, чтобы не скомпрометировать её.

За деньги продаёт свою, развращённую им, воспитанницу и любовницу Настасью Филипповну богач Тоцкий, собравшись жениться на достойной его благородной девушке.

За деньги хотел купить Настасью Филипповну богатый, широкий, с необузданными страстями купец Рогожин. Пачку денег, принесённую Рогожиным ей, Настасья Филипповна бросает в огонь, в камин, и от вида обгорающей бумаги, в которую завернуты деньги, падает в обморок служащий Ганя, который не за эти, за другие деньги собирался жениться на Настасье Филипповне, чужой любовнице, истеричке, теряющей рассудок, которую ничуть не уважал.

Только возможность получить наследственный миллион заставляет окружающих всерьёз, по-другому, посмотреть на нищего и блаженного князя Мышкина, который, сказав, что его болезнь в швейцарской лечебнице определялась, как идиотизм, тем самым вызвал прозвище «Идиот», как и назван роман, о котором идёт речь.

Кстати, если мы в России привыкли говорить о психологических, душевных движениях персонажей, то в одном из американских университетов после лекции о Достоевском студентов больше всего интересовало, как перевести в доллары те тысячи рублей, которые Настасья Филипповна бросила в камин? Её поступок, её порыв был ими не понят. По их мнению – деньги важнее всего. Не случайно же в Америке созданы специальные курсы «охотниц» за миллионерами, годящимися в мужья...

Что ж, не мне их судить.

Такое отношение [к деньгам] свойственно многим людям.

Надеясь на силу денег и Смердяков, убивший своего старого барина, предположительно – отца, и собиравшийся бежать в Америку. Но душевное равновесие Смердякова нарушилось после убийства, и он повесился, кстати, после разговора с чёртом, который в «Братьях Карамазовых» охотно беседует с персонажами на разные темы.

Откровенно и не прикрываясь никакими высокими материями, говорит о деньгах Аркадий Долгорукий в «Подростке».

«Я умён, но не имею денег, и никто не замечает моего ума, я красив, но не богат, и никто не замечает моей красоты. Будь я Ротшильдом – все бы заметили и ум мой, и красоту мою».

Но вот у Достоевского есть один персонаж – барин Версилов, странная личность и по мнению литературоведов – отрицательная, так как не примкнул к русским политическим эмигрантам за границей, к Герцену, например, не стал революционером и не вступил в борьбу с русским самодержавием. Так вот этот самый Версилов, отец Аркадия в «Подростке», выиграв судебный процесс и получивший в результате большую сумму, причём отсудив эту большую сумму у своего противника, оскорбившего его, вдруг узнаёт, что есть письмо, не официальный документ, а только частное письмо, в котором говорится, что он, Версилов, не имеет права на эту сумму. И этот, по мнению советских литературоведов, отрицательный тип отказывается от денег, хотя сам сидит на мели. То есть совершает благородный поступок, бросая эти деньги в лицо своего противника.

Вопрос о деньгах много значил в жизни самого Достоевского. Он постоянно нуждался и широко, роскошно, по-барски никогда не жил. Может быть, поэтому, зная значение денег в жизни людей, он так много внимания уделяет им, не обходит их стороной, описывая только поступки и психологию героев, как делали многие писатели его времени, не обременённые сами такими заботами.

Это вопрос о деньгах.

Но есть ещё одна тема в романах Достоевского, которую не могу обойти. Это женитьба из благородных побуждений.

Раскольников хотел жениться на большой и некрасивой дочери своей квартирной хозяйки.

Зачем? Из материальных соображений, чтобы не брали за квартиру и кормили? Или для того, чтобы утешить несчастную девушку? Ответа в романе нет. И читатель сам в праве ответить на этот вопрос.

В «Идиоте» князь Мышкин хочет жениться на Настасье Филипповне из жалости к её метаниям, истеричности, неустроенности.

В «Подростке» изысканный князь Версилов, умница и философ, собирався жениться на соблазнённой молодым князем Сокольским барышне Акмаковой, чтобы прикрыть её «грех» – беременность. Но жениться он не успел: барышня умерла. А ведь Версилов уже испросил разрешения на этот брак у женщины, с которой жил двадцать лет как с женой, и от которой имел двух взрослых детей. Но мать его детей не могла стать его женой, так как официально была замужем за другим человеком...

Ребёнок умершей Акмаковой остался на попечении Версилова.

Вот вам и отрицательный человек!

Но вспомним, как женился сам Фёдор Михайлович в первый раз: не из жалости ли, приняв дружеские отношения и расположенность за любовь и потом, после смерти первой жены, и уже вторично женившийся, всё ещё тащил тяжкий труд содержания и постоянной материальной помощи пасынку, который без зазрения совести требовал от отчима денег.

Не сказала ли эта сторона жизни писателя на его произведениях? Скорее всего – да. Как и всё, что он пережил, нашло отражение в его произведениях: и смерть отца, убитого мужиками, и гражданская казнь, и каторга, и постоянная нужда в деньгах, и даже болезнь – эпилепсия, которой болел писатель...

А вот расположение, доверие Раскольникова к Соне Мармеладовой. Что это такое? Потому ли это возникло, что она беззащитней и слабее его? Любовь и благодарность к ней вспыхнули в его душе уже тогда, когда он был на каторге, и она из христианского милосердия последовала за ним, да ничего другого ей и не оставалось делать, потому что нигде никого у неё не было и она никому не была нужна, кроме Раскольникова, хотя сам он ещё долго не понимал этого... Не понимал всем нутром, всем сердцем, несмотря на то, что, признавшись в убийстве именно Соне, спрашивал её, пойдёт ли она за ним. Куда? Всё равно – куда...

5

Каждый персонаж в произведениях Достоевского интересен своей многогранностью, нет прямолинейных решений художественного образа. В его персонажах, как и в людях, окружающих нас, да и в нас самих, перемешаны отрицательные и положительные качества, и в разных жизненных ситуациях они проявляются по-разному, как будто спорят добро и зло, светлые и тёмные силы, Бог и Сатана.

Интересна фигура следователя Порфирия Петровича, умного, хитрого, проницательного человека, который разглядел Раскольникова насквозь и мог бы арестовать его, но ждёт, когда тот признается сам, или наложит на себя руки.

Его страшная иезуитская манера разговаривать выводит Раскольникова из себя и притягивает в то же время, как магнит, потому что Раскольникову интересно разговаривать с Порфирием Петровичем, видящим его насквозь, но мыслящим прямолинейно и на взгляд Раскольникова – примитивно.

При разговоре с Порфирием Петровичем в Раскольникове возникает чувство противоречия: не сдамся вам, хоть вы и умнее, нет у вас фактов против меня, а словесно давайте посражаемся, покажем свою эрудицию, отточим своё остроумие!

И вот тут и встаёт в полный рост поднятая на щит литературоведами и социологами тема наполеонизма, затмившая и их статья все проблемы широко – и глубоко проблемного романа.

«– По поводу всех этих вопросов, преступлений, среды, девочек мне вспомнилась теперь, – а впрочем, и всегда интересовала меня, – одна ваша статейка. "О преступлении"... или как там у вас, забыл название, не помню. Два месяца назад имел удовольствие в "Периодической речи" прочесть.

– Моя статья? В "Периодической речи"? – с удивлением спросил Раскольников, – я действительно написал полгода назад, когда из университета вышел, по поводу одной книги одну статью, но я снёс её тогда в газету "Ежедневная речь", а не в "Периодическую».

И далее:

«– А вы почему узнали, что статья моя? Она буквой подписана.

– А случайно, и то на днях. Через редактора; я знаком... Весьма заинтересовался.

– Я рассматривал, помнится, психологическое состояние преступника в продолжении хода преступления.

– Да-с, и настаиваете, что акт исполнения преступления сопровождается всегда болезнью. Очень, очень оригинально, но... меня, собственно, не эта часть вашей статейки заинтересовала, а некоторая мысль, пропущенная в конце статьи, но которую вы, к сожалению, проводите только намёком, неявно... Одним словом, если припомните, проводится некий намёк на то, что существуют на свете будто бы некоторые такие лица, которые могут... то есть не то, что могут, а полное право имеют совершать всякие бесчинства и преступления, и что для них будто бы и закон не писан.

Раскольников усмехнулся усиленному и умышленному искажению своей идеи.»

Я подчеркнула эти слова, потому что для решения важного вопроса о мотивах преступления Раскольникова, они имеют большое значение. Без этих слов весьма и весьма трудно трактовать поступок Раскольникова, его настроение, его состояние.

Далее Порфирий Петрович трактует полузабытую Раскольниковым статью, «усиленно и умышленно» искажая идею этой статьи.

И, основываясь на суждениях Порфирия Петровича, много десятков лет много десятков литературоведов друг за другом, поодиночке и хором, повторяют слова о наполеонизме. Хотя, возражая Порфирию Петровичу, Раскольников говорит:

«... Я просто-запросто намекнул, что "необыкновенный" человек имеет право... то есть не официальное право, а сам имеет право разрешить своей совести перешагнуть... через иные препятствия, и единственно в том случае, если исполнение его идеи (иногда спасительной, может быть, для всего человечества) того потребует». Далее Раскольников говорит о великих учёных, которые обязаны были бы устранить со всей дороги любые препятствия, мешающие их открытиям. И дальше: «... законодатели и установители человечества, начиная с древнейших, продолжая Ликургами, Солонами, Магометами, Наполеонами и так далее, все до единого были преступники, уже тем одним, что, давая новый закон, тем самым нарушали древний, свято чтимый обществом и от отцов перешедший, и уж, конечно, не останавливались и перед кровью, если только кровь (иногда совсем невинная и доблестно пролитая за древний закон) могла им помочь».

Что в этом монологе может привлечь наше внимание?

Во-первых, упоминание о Наполеоне. Это имя названо первый раз.

Во-вторых, Раскольников перечисляет древних законодателей – Ликурга, Солона, Магомета, называя их преступниками, потому что, давая новый закон, они тем самым нарушали закон, который был до них, которому подчинялось общество. И эти законодатели для утверждения своих законов и

своей власти не останавливались ни перед чем, даже перед человеческой кровью.

Надо признаться, что мы, люди XX века, могли бы продолжить этот список именами не менее знаменитыми и не менее кровавыми.

К рассуждениям Раскольникова о новых законодателях и об изменении отношения к ним мы ещё вернёмся. И заодно скажем несколько слов об изменении отношения к нарушителям закона после изменения самого закона, государственной системы и т.д.

А пока Раскольников говорит: «Я только в главную мысль мою верю. Она именно состоит в том, что люди, по закону природы, разделяются вообще на два разряда: на низший (обыкновенных), то есть, так сказать, на материал, служащий единственно для зарождения себе подобных, и собственно на людей, то есть имеющих дар или талант сказать в среде своей новое слово». И так далее, и так далее.

(Лет двадцать назад в Крестах, ленинградской тюрьме, [сидела] двадцатилетняя девушка, убившая и расчленившая свою хозяйку, у которой она служила в нянках, за то, что та не позволяла ей водить парней по ночам. Вульгарно понятая и вульгарно преподнесённая теория исключительности, необыкновенности, наполеонизма, проповедуемая в наших школах, убедила девушку в её необыкновенности, о чём она говорила и на следствии, и на суде, и в тюрьме, когда её посещали в порядке шефской помощи писатели, художники, артисты. «Я – необыкновенная, – говорила она. – Потому что обыкновенная этого не сделает». Ставить вопрос в школах именно так – вошь я или Наполеон? – я считаю вредным, ибо какой подросток согласится быть вошью? Конечно, каждый молодой человек считает себя необыкновенным и потому всё позволяет себе, тем более, что Бога нет и всё позволено!)

Итак: вернемся к вопросу о законах. Будем лгать себе, если не согласимся с рассуждениями Раскольникова в самой сути их. Мы знаем, что менее ста лет тому назад подвергали преследованиям тех людей, которые выступали против царя. После октября 1917 года преследовали тех, кто жалел о царе... Потом настали времена, когда сажали в тюрьмы и уничтожали тех, кто вольно или невольно сказал плохо о вождях мирового пролетариата, теперь готовы преследовать тех, кто выступает за сталинские порядки... Меняются времена, меняются законы, меняется направленность преследований. И то, что ещё вчера считалось преступлением, сегодня выдвигается как подвиг: диссидентство, бегство за границу, выдача государственных тайн...

И нельзя идею статьи Раскольникова сводить только к убийству старухи-процентщицы.

А именно это и делает Порфирий Петрович, далёкий от философствования на отвлечённые темы, в его интересах – припереть к стенке преступника, а по его убеждению именно Раскольников – преступник.

Порфирий Петрович с его пронизательностью не ошибается.

Он спрашивает у Раскольникова:

«– И-и-и в бога веруете? Извините, что так любопытствую.

– Верую, – повторил Раскольников, поднимая глаза на Порфирия».

И дальше:

«— ... скажите, пожалуйста, много ли таких людей, которые других-то резать право имеют, "необыкновенных"-то этих? Я, конечно, готов преклоняться, но ведь согласитесь, жутко-с, если уж очень-то много их будет, а?»

— О, не беспокойтесь и в этом, — тем же тоном продолжал Раскольников...» Так сталкивается теоретическое суждение Раскольникова с чисто практической направленностью Порфирия Петровича. Всё, что делает и говорит Порфирий Петрович, направлено в одну точку — вывести Раскольникова из себя, заставить его сделать добровольное признание, прийти в полицию с повинной.

Раскольников же всё глубже уходит в теоретические рассуждения, как бы желая «сорваться с крючка» Порфирия Петровича.

Их словесная дуэль именно этим и интересна.

Порфирий Петрович спрашивает:

«— Ну, а коль съедем? (убийцу)

— Туда ему и дорога.

— Вы так логичны. Ну-с, а насчёт его совести-то?»

— Да какое вам до неё дело?»

— Да так уж, по гуманности-с.

— У кого есть она, тот страдай, коль сознает ошибку. Это и наказание ему — опричь каторги». (Вот оно, наказание, из названия романа!).

И далее:

«Страдания и боль всегда обязательны для широкого сознания и глубокого сердца», — вот что говорит Раскольников, раскрывая в нескольких словах суть наказания, которое он несёт за своё преступление. И ещё: «... истинно великие люди, мне кажется, должны ощущать на свете великую грусть...»

Вот этого-то никогда не поймёт Порфирий Петрович! При всём его уме, при всей его хитрости и пронзительности он останется человеком практического склада, которому понятней разговор о повышении жалованья или об удобствах казённой квартиры.

Так же примитивно относится к теоретическим вопросам и молодой следователь Заметов:

«— Уж не Наполеон ли какой будущий и нашу Алёну Ивановну на прошлой неделе топором уколошил?»

Вот таким образом, повторяю, юношеская статейка Раскольникова была истолкована людьми практического склада. А ведь Раскольникову-то всего двадцать три года! Не будь он доведён до крайности, будь у него кто-нибудь, с кем можно было бы поговорить, будь у него место, куда можно было бы пойти, он бы не совершил этого преступления. Эту мысль в прошлом веке отстаивал Писарев.

Мозг Раскольникова ещё по-прежнему возбуждён и разговоры со следователем рожают новые мысли:

«Нет, те люди не так сделаны; настоящий *властелин*, кому всё разрешено,

громит Тулон, делает *резню* в Париже, *забывает* армию в Египте, *тратит* полмиллиона людей в московском походе и отделяется каламбуром в Вильне; и ему же, по смерти, ставят кумиры, – а стало быть, и *всё* разрешается. Нет, на таких людях, видно, не тело, а бронза!

Одна внезапная мысль вдруг почти рассмешила его:

"Наполеон, пирамиды, Ватерлоо – и тощая гаденькая регистраторша, старушонка, процентщица, с красною укладкой под кроватью, – ну какво это переварить хоть бы Порфирию Петровичу!.. Где ж им переварить!.. Эстетика помешает: "ползет ли, дескать, Наполеон под кровать к "старушонке"! Эх, дрянь!.."

Минутами он чувствовал, что как бы бредит: он впадал в лихорадочно-восторженное настроение.

"Старушонка вздор! – думал он горячо и порывисто, – старуха, пожалуй что и ошибка, не в ней дело! Старуха была только болезнь... я переступить поскорее хотел... я не человека убил, я принцип убил! Принцип-то я и убил, а переступить-то не переступил, на этой стороне остался... Только и сумел, что убить. Да и того не сумел, оказывается..."»

И дальше, в этом внутреннем монологе Раскольниковов слетает с него весь «наполеонизм». «Что ж? Я только не захотел проходить мимо голодной матери, зажимая в кармане свой рубль, в ожидании "всеобщего счастья"... "Эх, эстетическая я вошь, и больше ничего"..."»

«... Потому, потому я окончательно вошь, – прибавил он, скрежеща зубами, – потому что сам-то я, может быть, ещё сквернее и гаже, чем убитая вошь, и заранее *предчувствовал*, что скажу себе это уже *после* того, как убью! Да разве с таким ужасом что-нибудь может сравниться! О, пошлость! О, подлость!..»

И он, начиная с себя, ненавидит в эту минуту всех – и старуху, и даже мать. И только жалеет жалких, беззащитных и кротких – Сою и Лизавету... И проваливается в тяжёлый сон, в котором снова идёт убивать старуху...

6

И вот Раскольников у Сони Мармеладовой. Больше у него нет человека, несчастнее его.

Они разговаривают о всех членах семьи Мармеладовых. Раскольников видит доброту и самоотверженность Сони, целует её ногу, она «в ужасе от него отшатнулась от него, как от сумасшедшего».

С Соней возникает разговор о религии.

«– Так ты очень молишься богу-то, Соня, – спросил он её»...

«– Что ж бы я без бога-то была?»

Раскольников видит Новый Завет; оказывается, он подарен Соне Лизаветой. И он просит прочесть ему о воскресении Лазаря. Это – о силе веры.

После чтения Раскольников говорит, что оставил своих родных.

«– У меня теперь одна ты, – прибавил он. – Пойдём вместе... Я пришёл к тебе. Мы вместе прокляты, вместе и пойдём... »

«Ты мне нужна, потому я к тебе и пришёл».

Он считает, что Соня загубила свою жизнь, как и он. И обещает ей в следующий раз сказать, кто убил Лизавету.

Почему он не сказал в этот приход? Вероятно, хотел, чтобы Соня помучилась в догадках.

И пришёл ещё раз и сказал ей...

«— Что вы, что вы это над собой сделали! – отчаянно проговорила она и, вскочив с колен, бросилась к нему на шею, обняла его и крепко-крепко сжала его руками».

В дальнейшем в разговоре с Соней он не желает быть жалким, больным и беспомощным и, можно сказать, начинает рисоваться, что вполне характерно для молодого человека перед девушкой, какого бы вопроса это ни касалось.

Ему хочется представить себя перед ней *особенным, необыкновенным*.

«... если б только я зарезал из того, что голоден был... то я бы теперь... *счастлив был! Знай ты это!*»

И признался в том, о чём, может быть, подспудно думал, но вслух говорил только с Порфирием Петровичем и то по инициативе Порфирия:

«— Штука в том: я задал себе один раз такой вопрос: что если бы, например, на моём месте случился Наполеон...» и так далее. Он говорил сложно, и Соня не понимала его.

И всё это происходит оттого, что Раскольников давно ни с кем не разговаривал, он разучился спокойно и ровно разговаривать, он ходил по улицам и разговаривал сам с собой, ссорясь с собой и соглашаясь, иногда вмешиваясь в случайные разговоры случайных людей. Понять Раскольникова может только предельно одинокий человек, которому не с кем сказать слова по неделям и месяцам.

В разговоре с Соней он поносит себя последними словами и в то же время «петушится», утверждая, что «захотел *осмелиться* и убил...»

Мысли его пугаются и стройной теории своего превосходства у него не получается.

«Тварь ли я дрожащая или *право* имею...» И в то же время: «когда я в темноте-то лежал и мне всё представлялось, это ведь дьявол смущал меня? а?... я ведь и сам знаю, что меня чёрт тащил». «Вошь ли я, как все, или человек». «Смогу ли я переступить или не смогу! Тварь ли я дрожащая или *право* имею...»

Невольно возникает мысль, что Раскольников снова впадает в некоторый вид безумия и что у него начинается бред. Ведь на эту мысль, так отчётливо высказанную, его навёл Порфирий Петрович. В начале романа таких конкретных умозаключений он не делал. И чем дальше отходит в прошлое преступление, тем отчётливее откristаллизовывается эта дикая мысль: «вошь я или человек?» Раскольников как будто оправдывается, прикрывается этой фразой, которая в устах тонкого чувствительного молодого человека кажется нелепой, болезненной. Соня даёт ему кипарисный крестик, оставляя себе медный, Лизаветин, который был на Лизавете в момент убийства.

Тема обмена крестов разрабатывается и в «Идиоте». Князь Мышкин меняется крестами с пьяненьким солдатом, Рогожин просит князя Мышкина поменяться с ним крестами, то есть побрататься, потому что боится, что убьёт князя, а поменявшись крестами, побратавшись, он его не убьёт...

В доме Рогожина князь Мышкин видит копию картины Гольбейна «Снятие с креста», знакомую ему по Швейцарии.

И это снятие с креста, как символ страдания за грехи человеческие, пронизывает все произведения Достоевского.

7

Шестая часть романа «Преступление и наказание» начинается описанием нервного состояния Раскольникова, которое доводит его до умоисступления. Его апатия была похожа «на болезненно-равнодушное состояние иных умирающих».

Порфирий Петрович предлагал ему явку с повинной. Но в разговоре с сестрой Дуней в Раскольникове опять всколыхнулось что-то и он горячо заговорил:

« – Преступление? Какое преступление? – вскричал он вдруг в каком-то *внезапном бешенстве* (внезапное бешенство тоже следует отметить, ибо эти слова не случайная оговорка писателя) – то, что я убил гадкую, зловредную вошь, старушонку процентщицу, никому не нужную, которую убить сорок грехов простят, которая из бедных сок высасывала, и это-то преступление? Не думаю я о нём и смывать его не думаю. И что мне все тычут со всех сторон: "преступление, преступление!" Только теперь вижу всю нелепость моего малодушия, теперь, как уж решился идти на этот ненужный стыд! Просто от низости и бездарности моей решаюсь, да разве ещё из выгоды, как предлагал это... Порфирий!..»

И снова он «как бы сам не свой.»

Слова, выкрикнутые сестре, напоминают слова мальчишки, которого ждёт наказание за поступок, он знает, что его накажут, что он должен извиниться, но мальчишеская гордость ему не позволяет так, запросто согласиться с тем, что от него требуют взрослые...

Раскольников запутан, растерян, в душе он понимает, что даже гадкая старушонка – божье создание, и не она нашла его, а он отыскал её, потому что она была нужна ему, а не он ей, ибо от него было мало пользы и от его закладов мало прибыли. Если бы не она, он бы не имел и того рубля, который имел... Это-то и угнетало, и унижало его ещё больше.

По дороге к Порфирию с повинной он подаёт последний пятак нищей бабе. И вспомнив слова Сони: «Поди на перекрёсток, поклонись народу, поцелуй землю, потому что ты и перед ней согрешил, и скажи всему миру вслух: "Я убийца!"»... «Он встал на колени посреди площади, поклонился до земли и поцеловал эту грязную землю с наслаждением и счастьем. Он встал и поклонился в другой раз.

– Ишь нахлестался! – заметил подле него один парень».

Даже эта случайная реплика случайного парня не является случайной в романе. Простому человеку, живущему простой неприхотливой жизнью не понять, почему человек молодой, красивый и чисто одетый кланяется народу на площади и целует землю? Так может поступить только пьяный – другого объяснения простой человек не знает...

Раскольников пришёл в участок с повинной.

Он был арестован.

При судебном разбирательстве некоторые психологи допустили возможность «некоторого временного помешательства во время совершения преступления».

Так закончился роман «Преступление и наказание», так закончилось самое страшное наказание Раскольникова, наказание душевными муками, и началось обычное наказание каторгой и Сибирью. Вслед за Раскольниковым пошла Соня, с которой он мало разговаривал и уже не был доверчив и мягок.

Характерен для заключения романа ещё один страшный сон Раскольникова, сон апокалипсический. И пророческий, как многое у гениального Достоевского. В этом сне (в частности – так как целиком переписывать его не буду, хотя и следовало бы!) «все были в тревоге и не понимали друг друга, всякий думал, что в нём одном и заключается истина, и мучился, глядя на других, бил себя в грудь, плакал и ломал себе руки. Не знали, кого и как судить, не могли согласиться, что считать злом, что добром. Не знали, кого обвинять, кого оправдывать. Люди убивали друг друга в какой-то бессмысленной злобе...»

Страшный сон! И сколько раз он сбывался и будет ещё сбываться!

8

Положительный или отрицательный герой Раскольников? Не положительный и не отрицательный, такой, как есть, сложный, противоречивый, постоянно меняющийся. Понятия положительного и отрицательного героя придумали литературоведы, понятия эти были подхвачены в период социалистического реализма, когда Достоевский считался писателем реакционным, больным, мало издавался и не пропагандировался.

Как известно, плохо относились к Достоевскому и Ленин, и Лев Толстой. Ленин – из-за «Бесов», я думаю. И вообще, потому что Достоевский не учит делать революцию и умирать на баррикадах. А Толстому никто не нравился. Не нравился ему и Шекспир. Не нравились многие стихи Пушкина, и он смешино их разбирал, не нравился Бог. Как говорил Горький, Лев Толстой с Богом, как два медведя в одной берлоге...

Сейчас наступило время нового прочтения Достоевского, пора отказаться от схематических поспешных плоских суждений, и как мы ищем «дорогу к храму» (затасканное выражение), так должны найти дорогу и к Достоевскому и через него, так же, как и через религию, прийти к своей душе и посмотреть, всё ли в ней в порядке.

Я не ставлю перед собой задачи рассказать о Достоевском всё, ибо «не объять необъятное», как сказал Кузьма Прутков. Даже те учёные, которые посвятили творчеству писателя всю жизнь, не могли осветить все стороны его жизни и творчества. Я коснулась только одного романа, который включён в школьную программу.

Осталось в заключение разговор остановиться ещё на нескольких неизбежных вопросах:

1. Надо ли читать Достоевского или достаточно посмотреть экранизацию?
2. Чему учит писатель?
3. Как относиться к выражению «Красота спасёт мир»? (Это выражение затаскано в последнее время где и кем надо и не надо).

1. Экранизация, даже самая хорошая, не может заменить текста, ибо авторская речь, философия, сомнения и подробные рассуждения в поисках истины остаются за экраном. Голая схема сюжета даёт неправильное представление не только о произведении, но и об авторе. Сейчас, когда мои соотечественники, раскрыв рот и округлив глаза, смотрят на запад, западные пропагандисты проповедуют отказ от художественных произведений, обвиняют русского читателя в излишней привязанности к книге. Кое-кому это нравится. Роки, видики, бездарные тексты песен хриплых сексуально-возбуждённых певцов заменяют вдумчивое чтение и возможность подумать о себе, о душе, о возможности совершенствования её.

«Кто я – вошь или Наполеон?» – такой вопрос прямо или косвенно задаёт себе любой молодой человек и, конечно, никто не захочет быть вошью, а каждый хочет быть выдающейся личностью, Наполеоном, пусть даже на своей лестничной клетке.

Но ведь роман посвящён не только этому!

Роман посвящён нравственному очищению, очищению через страдания, и самое большое наказание – не суд, не тюрьма, а самоистязание человека за совершённый поступок. Тот, кто не имеет понятия о душе, о Боге, о возмездии, об искуплении греха своего муками, становится роботом, послушным и слепым исполнителем чужой воли.

И неужели мы, читающие и думающие русские люди, так легко отдадим, зачеркнём, выбросим то богатство, которым владеем – нашу литературу, искусство, религию? Ах, как хочется этого кое-кому! Ведь тогда мы будем, как бараны, бери нас голыми руками любой вождь, владыка наших судеб. Но это равносильно тому, чтобы отказаться от своих предков, от своей истории, от своей земли. А ведь к этому идёт! И надо подумать об этом! Русский язык существует не только для того, чтобы сказать: купи-продай. И не спасёт его многоэтажный мат, вошедший в моду в литературных произведениях русского зарубежья, да и не только зарубежья, и как откровение принятый в России читающими людьми.

2. Второй вопрос весьма спорный.

Мне кажется, что хороший писатель ничему не учит. Для того, чтобы учиться, есть инструкции: правила хорошего поведения, тысяча рецептов, как построить мужик на садовом участке...

Великий писатель тем более не учит.

Было принято литературоведами писать: вскрывает, обнажает, обличает, нападает, ставит проблемы, воспевает и т.д.

Великий писатель пишет то, что считает необходимым, пишет в основном – движения своей души, ведь сказал же как-то Толстой: «Анна – это я». А такой писатель, как Достоевский, не считавший себя идеальным человеком, равным Богу, как и чему мог учить?

Читатель, если это умный читатель, учится сам, совершенствуя свою душу раздумьями о сущности жизни, сомнениями о том, что такое абсолютная истина и есть ли она, анализом своих слов и поступков. Но для этого надо читать и думать и оставаться единственным в мире – русским читателем, способным думать, а не проглатывать детективы с мордобоем и грубым сексом, которые легко читаются и тут же забываются, и ничего не дают душе, просто затыкают свободное время, которое нечем занять... Часто от этих детективов остаётся гадкий осадок...

3. Что касается выражения «Красота спасет мир», то это сказал один из персонажей, а персонажи и не то сказать могут... Судя по произведениям Достоевского, красота ничего не может спасти, все красивые женщины в его романах несчастны, а некоторые трагически погибают.

Если в слово «красота» вложен более широкий смысл – красота отношений и так далее, так зачем тогда вырывать из контекста эти слова? Думаю, что сам Достоевский не считал, что красота спасёт мир. Уж если что и спасёт мир, если его возможно спасти, то доброта и благоразумие. Но тот мир, который снится Раскольникову в последнем сне, не знаю, что может спасти, как не знаю, что может спасти пылающую и истекающую кровью многострадальную нашу землю. Только доброта и благоразумие, которых мы лишились, и ещё больше будем терять в новых поколениях поклонников бульварных детективов, железных роков, безудержного бессмысленного секса и торговых сделок-обманов.

22 февраля 1993 (и вся жизнь)

Достоевский и христианство
(На примере романа "Братья Карамазовы")

Эта тема слишком глубока и грандиозна. В отечественном литературоведении она серьёзно не разрабатывалась по многим причинам. Две из них, на мой взгляд, основные, постараюсь сформулировать так:

Во-первых, критики прошлого века были в основном атеистами и тема существования Бога и религиозных исканий Достоевского их мало занимала. Их больше занимала политическая направленность произведений, а также темы социального неравенства, освобождение крестьян от крепостного права, эмансипация женщин, разногласия между отцами и детьми, светлые мечты о «свободе, равенстве, братстве».

Во-вторых, в наше время, я имею в виду последние семьдесят пять лет, то есть три четверти двадцатого столетия, критики не обращались к этой теме, так как тема эта считалась не актуальной. Было официально объявлено и внушалось детям от рождения, что Бога нет, что религия – опиум для народа, что все религиозные легенды – из Ветхого и Нового завета – это сказки, причём сказки вредные. И советским людям ненужные. Достоевский был назван реакционным писателем, писателем с больной психикой, писателем, который вместо того, чтобы призывать к борьбе, проповедует нравственное совершенствование каждого отдельного человека, что противоречило официальной точке зрения о силе массы, о воспитательной роли коллектива, приоритете государства, о подчинении одной отдельно взятой личности требованиям коллектива и государства.

Однако Достоевский, великий русский писатель, которого не очень жаловали и не слишком часто издавали и не популяризировали в нашей стране, был признан во всём мире, и оказал огромное влияние на формирование самых лучших писателей всех стран.

Но это другая и отдельная тема.

Я же коснусь только христианских мотивов в творчестве великого писателя, потому что, не связывая творчество Достоевского со Священным писанием, невозможно понять в полной силе его главных и значительных произведений.

Я не беру на себя смелость глубоко, серьёзно и всесторонне развивать и освещать эту тему. Я хочу изложить мои мысли на уровне популярной лекции, которую мне приходилось читать перед аудиториями.

Остановлюсь на самом крупном и, на мой взгляд, самом значительном в религиозно-философском отношении романе «Братья Карамазовы». В процессе разговора несколькими словами коснусь и других произведений Достоевского, в которых звучит тема православия и совести, как разновидности религиозного сознания личности.

Как известно, ничто не вырастает на пустом месте.

Достоевский был человеком религиозным. Это было вполне естественным в то время и в той среде, в которой родился и вырос писатель.

В детстве он учился читать по книге «104 истории из Ветхого и Нового завета». Это тоже дело обыкновенное. Чтение этой книги Достоевский приписал и отцу Зосиме, когда тот учился читать.

В юности будущий писатель перенёс глубокое потрясение: когда ему было семнадцать лет, мужики убили его отца за жестокое отношение к ним. Это не могло не сказаться на творчестве, выборе сюжетов, отборе фактов из обыденной жизни.

В молодом возрасте, когда ему ещё не было тридцати лет, он пережил гражданскую казнь. Он стоял в нескольких шагах от позорного столба и знал, что по приговору через несколько минут на его голову накинута мешок, раздастся выстрел и всё – кончится жизнь. Но в последний момент было объявлено помилование. Молодой человек, переживший такое потрясение, особенно человек, творчески одарённый, гениальный, естественно, сильно меняется, меняется его отношение к жизни, к людям, меняется нервная система, психика, обостряются слух и зрение, появляется душевная и духовная напряжённость, пронизательность и внимание к деталям. А также вера в судьбу, в рок, в предназначение.

Затем была ссылка на каторгу, где он пробыл десять лет.

Кроме того, что тоже очень важно, он был тяжело болен, страдал припадками эпилепсии.

Этой болезнью он наделяет князя Мышкина в «Идиоте» и Смердякова в «Братьях Карамазовых».

Я не отношу Достоевского к фанатично религиозным людям.

Нет. В своих произведениях он выступает скорее как ищущий, сомневающийся: есть Бог или нет? Есть бессмертие или нет? Есть чёрт или нет?

Кстати, этими вопросами интересуются и персонажи Булгакова из знаменитого романа «Мастер и Маргарита». Роман Булгакова в наше время известен более, чем романы Достоевского. Может быть, Булгакова читать легче, хотя тоже не очень легко для неискущённого читателя. Несколько раз приходилось слышать, что роман «Мастер и Маргарита» был бы интереснее, если бы в нём не было вставного романа. Наивный и ограниченный читатель не понимает, что без вставного романа о Га-Ноцри и Понтии Пилате роман не был бы тем философским романом, каким он стал. Ведь это не развлекательный, не приключенческий роман, каким хотят видеть его некоторые, а философский, роман о совести. И опять-таки о преступлении и наказании. Понтий Пилат, по Евангелию, использованному в романе, отдал Иисуса иудеям на распятие, умыл руки, что стало идиомой снятия с себя вины, самоустранения, но всю жизнь его мучила совесть, что он отдал на казнь безвинного человека.

Беру на себя смелость утверждать, что роман Булгакова появился на свет не без влияния романов Достоевского и, в частности, романа «Братья Карамазовы».

Приведу один диалог (в сокращении):

- А всё-таки говори: есть бог или нет?
- Нет, нету бога.
- А бессмертие есть?
- Нет и бессмертия.
- А чёрт есть?
- Нет, и чёрта нет.

Откуда это? Из Достоевского или из Булгакова?

Сразу даже трудно ответить.

Так вот, этот, сокращённый мной, диалог из романа «Братья Карамазовы». Да, он напоминает разговор Ивана Безродного, Берлиоза и Воланда на Патриарших прудах из начала булгаковского романа. Думаю, что это совпадение не случайно. Булгакова нельзя назвать простаком. Он прекрасно знал творчество Достоевского. Вечные темы, которые волновали в прошлом веке Достоевского, волновали Булгакова в 30-е годы нашего века. Для вечных тем столетия не являются большим сроком. В нашей стране эти темы были устранены, можно сказать, директивно. И поэтому роман Булгакова не мог быть напечатанным сразу после написания, и пролежал в сундуке двадцать семь лет...

Тяготение Достоевского к религиозным темам было всегда. С годами оно усилилось

Будучи за границей, Достоевский посетил музей в Базеле. Так он увидел картину Гольбейна «Труп Иисуса Христа». Достоевский сказал своей жене Анне Григорьевне: «От этой картины вера может пропасть». Анна Григорьевна не могла смотреть на картину, которая была слишком натуралистична. Ушла в другие залы. Вернувшись через пятнадцать-двадцать минут, она нашла Федора Михайловича перед той же картиной. По словам Анны Григорьевны, в лице Достоевского было испуганное выражение, как в первые минуты приступа эпилепсии.

Эту картину Достоевский не мог забыть. В романе «Идиот» он помещает её копию в доме Рогожина, где князь Мышкин узнаёт её. И долго взволнованно рассматривает.

В том же, 1867-м году, Фёдор Михайлович сделал первые записи о романе «Идиот». Потом уничтожил эти записи. И снова вернулся к этой теме через несколько месяцев. Трудно сказать, под влиянием этой картины он вернулся к теме, или эта картина стала последним и решающим толчком к созданию романа об идеальном человеке, который всем желает добра, но никто не понимает его добрых и светлых побуждений и вообще не принимает их всерьёз.

Судя по письмам и записным книжкам, писателем руководило желание изобразить «положительного прекрасного человека».

В письме к племяннице С. А. Ивановой Достоевский писал, что высшим идеалом прекрасной человеческой личности он считает Христа. «Князем Христом» Достоевский называет в черновиках к роману и своего героя, князя Мышкина. Помните, какие детали, какие факты из жизни князя Мышкина приводит Достоевский? Любовь к детям, расположение к несчастной, всеми

презираемой девушке Мари. Эти эпизоды взяты из Евангелия. В одном месте Иисус говорит: «Не запрещайте детям приходиться ко мне». Он любил детей и говорил, что приютивший ребенка даёт приют ему, Иисусу.

В другом месте Иисус защищает блудницу Марию Магдалину, которую за её поведение хотят забить камнями. Иисус говорит: «Кто из вас безгрешен, пусть первым бросит камень». И разъярённая толпа отступила, потому что не было безгрешных в толпе.

Достоевский в «Идиоте» даже сохранил евангельское имя девушки, которую опекал в Швейцарии князь Мышкин: Мария, Мари.

Достоевский собирался написать роман «Атеизм», обдумывал сюжет и составлял план романа «Жизнь великого грешника», в конце жизни хотел написать книгу об Иисусе Христе. Но на эти романы у него не хватило жизни.

Несомненно, что создание образа князя Мышкина в романе «Идиот» – это подступы к созданию романа об Иисусе Христе. В русской литературе не было такого романа, хотя были сочинения о великомучениках и даже о предателе Иуде. В мировой литературе опыты создания такого романа были, но они не считаются удачными, так как образ Иисуса Христа неуловим. Его делали просто человеком, обладающим чудодейственными способностями, но это не полностью соответствует Священному писанию. Иисус – это неуловимая субстанция. Не случайно Бог един в трёх лицах – Бог-отец, Бог-сын, Бог-дух святой. Бога-отца и Бога-святого духа наделить плотью невозможно.

Достоевский внимательно изучал писания религиозных деятелей прошлых веков, потому что, по его собственному признанию, всю жизнь мучился вопросом существования Бога. И главный персонаж из задуманного им романа «Атеизм» должен был быть то религиозным, то атеистом, то есть натурой мечущейся, как многие, если не все, его герои.

Достоевский сокрушался, что никто Евангелия не знает. Но если не знали в прошлые века, то в нашем веке тем более мало кто знает Евангелие. Хотя в последнее время религия превращается в очередную моду.

Но мало познать рассудком, надо своё познание пропустить через душу. А это даётся не всем и не сразу.

Самое сильное и сложное произведение Достоевского в религиозном плане – это роман «Братья Карамазовы». Достоевский считал, что это только начало – только первый роман из этой серии, которую он задумал. Но и этот, созданный, роман «Братья Карамазовы» достаточно объёмен и сложен. Сложен не только по широко разветвлённому сюжету, но и по философским рассуждениям на религиозные, нравственные и общечеловеческие темы.

В начале романа писатель говорит о том, что главным героем его будет Алёша Карамазов, тихий юноша, собирающийся посвятить себя служению Богу. Но потом Алёша как бы отступает на второй план, а на первый план выходят другие люди, в том числе старшие братья Алёши – Дмитрий и Иван. Дмитрий – малообразованный офицер, гуляка и кутила, запутавшийся в своих

душевных метаниях, но в принципе человек не злой, хотя и совершает целый ряд неприглядных поступков, в которых постоянно раскаивается, бия себя в грудь, проявляя тем самым истинно русский характер: грешить и раскаиваться.

Иван представлен человеком учёным. Он с детства тянулся к наукам и считалось, что обладает блестящими способностями. Этому нельзя не верить, потому что сочинённая им «Легенда о Великом Инквизиторе», вошедшая в роман, как вставная повесть или новелла, глубоко философское произведение огромной провидческой силы.

Русский философ В.Розанов посвятил этой легенде целую книгу.

Мы к этой легенде подойдём чуть позднее.

В романе «Братья Карамазовы» и в тех романах, которые должны были последовать за ним, центральной идеей должна была явиться церковь.

Достоевский изучал монашеский быт, ездил в Оптину пустынь, читал записки святых отцов, тщательно продумывал образ отца Зосимы, к которому тянулся Алёша Карамазов.

Жизненный опыт позволял старцу Зосиме видеть нужды и беды людей, приходивших к нему, до того, как они начинали говорить.

Совершает старец и неожиданные поступки. Например, старец при всех становится на колени перед Митей, предвидя его дальнейшую жизнь и дальнейшие страдания, несправедливое осуждение за не свершённое им преступление: он обвинён в убийстве отца. Зосима как бы прозрел судьбу Мити. Не случайно главы, касающиеся Мити Карамазова, Достоевский называет мытарствами: «Мытарство первое», «Мытарство второе»...

В предыдущей статье я касалась сквозной темы в творчестве Достоевского – темы преступления и наказания, не тюремного наказания, не каторги, а душевной муки, терзания совести, которые страшнее вынесенного приговора. Так и в этом романе Митя принял наказание не за то, что он сделал, а за то, что он был так безобразен в своей жизни, что мог и хотел сделать преступление... Тема совести у Достоевского тесно переплетается с темой религии. Иногда трудно отделить одно от другого. Совесть, не дающая покоя человеку, это божья кара за свершённое.

В романе «Братья Карамазовы» заложены начала замысла новых романов «Житие великого грешника» и «Книга об Иисусе Христе», так и не созданных за недостатком жизни... Достоевский прожил всего 60 лет, а самые значительные, по его мнению, произведения задумал за несколько лет до смерти. Последний свой роман «Братья Карамазовы» закончил незадолго до смерти...

Достоевский обижался, что основную его идею не все понимают. Он верил в силу личной нравственной проповеди, личного усовершенствования, прохождения и очищения души через страдания. Опыт собственной жизни и души был для него самым убедительным.

На протяжении всего романа «Братья Карамазовы» идут острые столкновения веры и неверия, религиозности и атеизма, уверенности и сомнения, поисков и метаний.

Даже школьник, мальчик Коля Красоткин, начитавшийся книг, в разговоре с Алёшей цитирует Белинского и Вольтера и утверждает, что «христианская вера послужила лишь богатым и знатным, чтобы держать в рабстве низший класс». Коля ещё маленький, но он вырастет и понесёт свои убеждения в будущее. Так и случилось...

Философствуют и спорят на сложные темы в романе все: молодой учёный Иван Карамазов и тихий Алёша, шут и фигляр, пьяница и сладострастник Фёдор Павлович Карамазов, и отставной бесшабашный офицер Митя Карамазов. И даже слуга Павел Смердяков, который из разговоров с Иваном Карамазовым решил, что раз Бога нет, то и совести нет и всё позволено, убивает своего барина, предположительно – отца, старого Карамазова, и тот – Смердяков – включается в теологический спор.

Ивана занимает тема о греховности всего мира и всех людей. Он говорит, что если людям первоначально был дан рай, а они захотели свободы и похитили огонь с неба и через это стали несчастны, то нечего их жалеть. Алёша пытается вникнуть в слова брата, подаёт реплики, которые сам признаёт нелепостью, потому что он юн и наивен, и полон светлой веры. Но Иван говорит, что на нелепостях мир стоит, и без них, может быть, в нём совсем ничего бы и не произошло...

Говоря о детях, которых истязают взрослые, Иван утверждает, что слезами ребёнка нельзя достичь высшей гармонии. «... От высшей гармонии совершенно отказываюсь. Не стоит она слезинки хотя бы одного только... замученного ребёнка».

Эта фраза используется нынче всевозможными ораторами, которые, вырвав её из контекста, произносят где надо и где не надо, не зная, кому она принадлежит и по какому поводу сказана.

«Не хочу гармонии, из-за любви к человечеству не хочу. Я лучше хочу остаться со страданиями неотомщенными... свой билет на вход (имеется в виду вход в рай, в гармоническое будущее) спешу возвратить обратно... Не Бога я не принимаю Алёша, я только билет ему почтительно возвращаю».

Иван спрашивает, смог ли бы Алёша за страдание ребёнка купить счастье людей? Алёша отвечает отрицательно. Тогда Иван говорит:

– Но Иисус принёс себя в жертву...

Значит, Бог отдал жизнь сына за счастье людей.

Спорит Иван и с чёртом, который является к нему в виде господина средних лет в не очень опрятной одежде, но когда-то сшитой хорошим портным: клетчатые брюки, коричневый пиджак... Чем-то напоминает Коровьева из «Мастера и Маргариты», не правда ли?

Иван говорит, что всё, о чём говорит чёрт, которого считает своей галлюцинацией, он сочинил сам, ещё будучи 17-летним гимназистом и рассказал своему товарищу Коровкину. Обратите внимание на звучание фамилий у Достоевского и Булгакова: Коровкин и Коровьев.

«И наконец, если доказан чёрт, то ещё неизвестно, доказан ли Бог?»

Чёрное и белое, злое и доброе, созидание и разрушение – все эти противоречия являются основой равновесия мира.

Чёрт говорит, что без него не будет никаких происшествий «А надо, чтобы были происшествия. Вот и служу скрепя сердце, чтобы были происшествия, и творю неразумное по приказу».

Чёрт говорит: «... и разрушить ничего не надо, а надо всего только разрушить в человечестве идею о Боге, вот с чего надо приняться за дело!».

И дальше:

«Раз человечество отречётся поголовно от Бога... то само собою, без антропофагии, падёт всё прежнее мировоззрение и, главное, вся прежняя нравственность, и наступит всё новое...» Дальше он говорит об изменении людей, которые будут считать себя богами, не думая о загробной жизни. А поскольку это может быть через тысячу лет, то теперь «всё позволено».

Хочу отметить одну маловажную, но любопытную деталь в разговоре с чёртом. Когда чёрт говорит о космических пространствах, Иван спрашивает, что было бы, если бы в это пространство бросить топор. Чёрт отвечает, что топор летал бы, как искусственный спутник.

И это почти за сто лет до искусственных спутников!

Особое и очень важное место в романе «Братья Карамазовы» занимает вставная поэма о Великом инквизиторе, сочинённую Иваном Карамазовым, самым учёным из братьев, сомневающимся в существовании Бога, если не сказать атеистом. Эту поэму он не записал, а рассказал брату Алёше, тихому и смиренному, нежному и всепрощающему, примиряющему враждующих ему близких людей, любящему всех христианской любовью.

Для того, чтобы по достоинству оценить эту поэму и понять истоки её, следует вспомнить или перечитать, или прочитать в первый раз – кто как к этому подготовлен – в Евангелии историю искушения Иисуса в пустыне.

После того, как Иисус крестился у Иоанна Крестителя, которого называют Иоанном Предтечей, то есть пришедшим раньше Мессии, и ещё не начал творить чудеса и исцелять людей, он ушёл в пустыню на десять дней.

В Евангелии от Матвея говорится:

«Тогда Иисус возведён был Духом в пустыню для искушения от дьявола. И постившись сорок дней и сорок ночей, напоследок взалкал. И приступил к нему искушитель и сказал: если ты сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами.

Иисус ответил: не хлебом единым жив человек, но и всяким словом, исходящим из уст божиих.»

Затем дьявол переносит его в город и ставит на крыле храма. И говорит: если ты сын Божий, прыгай, Бог не даст тебе разбиться. Иисус сказал, что не надо искушать Бога.

Тогда дьявол возводит Иисуса на высокую гору и показывает все царства мира и славу их. И говорит: если поклонись мне, всё будет твоё. Иисус сказал, что поклоняться следует только Богу.

И дьявол отступил от него.

Когда Иисуса распяли и он воскрес и уходил к пославшему его, то есть к Богу-отцу, он обещал вернуться ещё раз на землю. То есть обещал второе

пришествие. Ибо первый раз он пришёл слишком рано, и его люди не поняли, хотя просили исцелить их и он исцелял.

Но наступило время – и они предали Его.

И вот в «Великом инквизиторе» Иван Карамазов показывает Второе Пришествие Христа.

Дело происходит в XVI веке, в Испании.

В этом веке было принято писать на религиозные темы. Кроме известных бессмертных произведений Данте, во многих городах ставились мистерии (пьесы) об Иисусе Христе, о Богородице, о святых мучениках.

Достоевский устами Ивана Карамазова рассказывает о тех временах, проявляя доскональное знание подробностей той эпохи.

Появляется Иисус, как уже было сказано, в Испании, в Севилье.

Он не произносит в поэме ни слова, но народ по каким-то необъяснимым причинам узнаёт его, чувствует его исцеляющую силу, тянется к нему, чтобы только прикоснуться руками к его одежде. На виду у всего народа Иисус воскрешает мёртвую девочку, которую несли отпевать в храм перед погребением, возвращает зрение слепцу.

Но вот выходит на площадь Великий инквизитор, который накануне присутствовал при сожжении на костре ста еретиков. Казнь совершалась на глазах народа, короля, придворных дам, рыцарей и всего королевского двора.

Великий Инквизитор, кардинал, очень стар. Ему лет 90. Он не в той богатой одежде, в которой был накануне, а в грубой монашеской рясе.

Он видит воскрешение девочки и возвращение зрения слепцу.

Он останавливается и по каким-то непонятным чертам узнаёт Иисуса. Он понимает, что наступило Второе пришествие. И приказывает страже взять этого человека.

Толпа, которая только что протягивала руки к Иисусу и целовала землю, по которой он шёл, отшатнулась от него и склонилась перед Великим Инквизитором.

Никто не встал на сторону Христа, которого схватила стража и повела в темницу.

Глубокой Ночью в темницу пришел Великий Инквизитор со светильником в руке. Он несколько времени всматривался в лицо Иисуса, поставил светильник на стол, подошел ближе и заговорил...

Говорил только Великий Инквизитор. Иисус не промолвил ни слова.

В этом монологе, как и во многих, или почти во всех, монологах, мысль так сконцентрирована, фразы так точно подогнаны одна к другой, что очень трудно или почти невозможно разрывать ткань повествования. Трудно цитировать отдельные фразы, чтобы не впасть в неточность.

«Зачем ты пришёл нам мешать?» – спросил Великий Инквизитор... «Я не знаю, кто ты, и знать не хочу: ты ли это или только подобие Его, но завтра же я осужу и сожгу тебя на костре, как злейшего из еретиков, и тот самый народ, который сегодня целовал твои ноги, завтра же по одному моему мановению бросится подгребать к твоему костру угли, знаешь ли ты это?»

Достоевский знает психологию толпы: бей слабого. И говорит об этом жестоко и безжалостно, ничего не приукрашивая.

Великий Инквизитор велит узнику молчать. Чего ж, дескать, тебе говорить, когда уже всё давно тобой сказано. И всё записано в священных книгах.

«Имеешь ли ты право возвестить нам хоть одну из тайн того мира, из которого ты пришёл?» – спрашивает старик. И сам отвечает: «...нет, не имеешь, чтобы не прибавлять к тому, что уже было прежде сказано, и чтобы не отнять у людей свободы, за которую ты так стоял, когда был на земле».

«Не ты ли так часто тогда говорил: "Хочу сделать вас свободными"? Но вот ты теперь увидел этих "свободных людей".»

«Но знай, что теперь и именно ныне эти люди уверены более, чем когда-нибудь, что свободны вполне, а между тем сами же они принесли нам свободу свою и покорно положили её к ногам нашим. »

Инквизитор продолжает:

«Человек был устроен бунтовщиком; разве бунтовщики могут быть счастливыми?»

Старик считает, что три искушения, предложенные Иисусу в пустыне дьяволом, это самые мудрые предложения, и мудрее никто в мире не может придумать.

«...но теперь, когда прошло пятнадцать веков, – говорит он, – мы видим, что всё в этих вопросах до того угадано и предсказано и до того оправдалось, что прибавить к ним или убавить от них ничего нельзя более.»

«... ибо ничего и никогда не было для человека и для человеческого общества невыносимее свободы!»

Великий Инквизитор развивает эту мысль и говорит, что при свободе надо самому выбирать свой путь, выбирать между добром и злом, законом и беззаконием. Но самое трудное для человека – выбирать самому. Куда легче жить, если тобой руководят, тебя направляют. Таким образом, считает старик, люди готовы отказаться от свободы, к которой стремились теоретически, на словах.

«... видишь ли сии камни в этой нагой раскалённой пустыне? Обрати их в хлебы, и за тобой побежит человечество, как стадо, благодарное и послушное... Но ты не хотел лишить человека свободы... ибо какая же свобода... если послушание куплено хлебом... Ты возразил, что человек жив не хлебом единым. Но знаешь ли ты, что во имя этого самого хлеба земного и восстаёт на тебя дух земли и сразится с тобою и победит тебя, и все пойдут за ним... Знаешь ли ты, что пройдут века и человечество провозгласит устами своей премудрости и науки, что преступления нет, значит, нет и греха, а есть лишь только голодные? "Накорми, тогда и спрашивай с них добродетели!"»

Тему этой последней фразы я развивала и отстаивала в предыдущей статье, утверждая, что голодный Раскольников совершил своё преступление от отчаяния, нищеты, голода, а совсем не потому, что его обуяла мания величия и он захотел быть равным Наполеону. Наполеон «выплыл» уже

потом, позднее, под влиянием следователя Порфирия Петровича, который хотел припереть к стенке строптивного студента, а вместе с ним и других вольномыслящих и высоко мнящих о себе молодых людей.)

«... а накормим лишь мы... и солжём, что во имя твоё», говорит Великий Инквизитор.

Дальше идут пророческие слова:

«Никакая наука не даст им хлеба, пока они будут оставаться свободными, но кончится тем, что они принесут свою свободу к ногам нашим и скажут нам: "Лучше поработите нас, но накормите нас". Поймут наконец сами, что свобода и хлеб земной вдоволь для всякого вместе не мыслимы...»

«... ты обещал им хлеб небесный! Отдельные люди пойдут за тобой. Но не все. А за нами, которые дадут им хлеб, пойдут все...»

Безжалостные, страшные слова! В этих словах выражено не только то, что было во глубине прошедших веков, но и то, что предстояло пережить людям в разных странах.

Вспомните Германию конца двадцатых и тридцатых годов, Гитлера, обещавшего всех сделать богатыми и привести их к мировому господству. Какое ликование это вызывало в народе!

Инквизитор утверждает, что люди ищут, перед кем бы им преклониться. И преклониться хочет не один человек, а каждый хочет, чтобы рядом были другие – коллектив, толпа, масса! Быть, как все, и быть вместе со всеми!

Задумайтесь, какая мудрость в этих словах! Сколько раз, в скольких странах люди создавали себе кумиров и преклонялись перед ними, не понимая, почему преклоняются, а подчиняясь общему экстазу, общему психозу! Посмотрите старые киноленты документальных фильмов. Разве это не иллюстрация к словам Великого Инквизитора? То есть, создавшего эту вставную поэму Достоевского.

Дальше Великий Инквизитор говорит:

«Из-за всеобщего преклонения они истребляли друг друга мечом. Они созидали богов и взывали друг к другу: "Бросьте ваших богов и придите поклониться нашим, не то смерть вам и богам вашим!"»

На месте слова «богов» можно поставить слово «идеи». Результат будет тот же, только действие будет перенесено на несколько веков вперёд, ближе к нашему времени, а то и точно в наши дни.

«И так будет до скончания мира, даже и тогда, когда исчезнут в мире и боги: всё равно падут перед идолами... Знамя хлеба земного ты отверг во имя свободы и хлеба небесного... Вот твоя ошибка по первому вопросу.»

«Говорю тебе, что нет у человека заботы мучительнее, как найти того, кому бы передать поскорее тот дар свободы, с которым это несчастное существо рождается... Но овладеет свободой людей лишь тот, кто успокоит их совесть. За успокоение совести своей люди могут бросить и хлеб земной... Ибо тайна бытия человеческого не в том, чтобы только жить, а в том, для чего жить.»

Человеку труднее всего сделать выбор между добром и злом. Без начальственной, руководящей силы, направляющей не только его действия, но и помышления.

«Вместо того, чтобы овладевать людской свободой, ты умножил её и обременил её мучениями душевное царство человека вовеки.

«Есть три силы, способные пленить человека: чудо, тайна, авторитет» – это те три искушения, которые предлагал дьявол в пустыне Иисусу.

Второе искушение: прыгнуть с крыши собора. Иисус не пошёл на это, не желая искушать Господа. «Но ты не знал, что отвергнув чудо, человек тут же отвергнет бога... Потому что человек ищет не столько бога, сколько чудес.»

(Как это близко к нашему времени, когда сотни людей выдают себя за чудотворцев!)

«И так как человек остаться без чудес не в силах, то насоздаёт себе новых чудес, уже собственных, и поклонится уже знахарскому чуду, бабьему колдовству... Ты не сошел с креста, потому что не хотел делать чуда... Жаждал свободной любви, а не рабских восторгов невольника перед могуществом, раз навсегда его ужаснувшим...»

«Мы исправили подвиг твой и основали его на чуде, тайне и авторитете. И люди обрадовались, что их вновь повели, как стадо, и что с сердец их снят, наконец, столь страшный дар, принесший им столько муки.»

«Мы не с тобой, а с НИМ, вот наша тайна.»

Говоря «с ним» Великий Инквизитор имеет в виду дьявола, и сам как бы из служителя его становится князем мира сего. Этим Иван Карамазов подчеркивал всё растущую в мире власть католической церкви.

«...мы взяли от Него Рим и меч кесаря и объявили лишь себя царями земными...»

Если бы Иисус взял этот последний дар, считает Великий Инквизитор, то народ преклонился бы перед ним, у народа было бы кому вручить свою совесть, стало бы ясно, как всем объединиться в общий и согласный муравейник, «ибо потребность всемирного соединения есть третье и последнее мучение людей.»

Не правда ли, как это звучит актуально: создание европейского дома, всемирного совета и т.д., как построение Вавилонской башни...

Имеющий в руках хлеба может овладеть человеческой совестью.

«О, мы убедим их, – говорит старик, – что они только тогда и станут свободными, когда откажутся от свободы своей для нас и нам покорятся.»

«Мы дадим им хлеб, добытый их же руками. И они будут счастливы.»

«Непокорные и свирепые истребят себя самих, другие непокорные, но малосильные, истребят друг друга, а третьи, оставшиеся слабосильные и несчастные, приползут к ногам нашим...»

«Мы докажем им, что они слабосильные дети, но что детское счастье слаще всякого другого.»

«Они будут дивиться и ужасаться на нас и гордиться тем, что мы так могучи и так умны, что смогли усмирить такое буйное тысячемиллионное стадо... они будут по нашему мановению переходить к веселью и смеху, светлой радости и счастливой детской песенке. Да, мы заставим их работать, но в свободные от труда часы мы устроим им жизнь, как детскую игру, с детскими песнями, хором, с невинными плясками...»

Русский философ В.Розанов пишет :

«Мощными словами Великий Инквизитор рисует картину восстания против религии, только малый уголок которого видела ещё всемирная история, и проницательным взглядом усматривает то, что за этим последует.»

Позвольте, позвольте! В.Розанов без малу сто лет назад предсказывает то, что мы с вами знаем теперь! А Великий Инквизитор рисует картину, которую мы тоже знаем. Не художественную ли самодетельность в концлагерях предвидит Великий Инквизитор? Не популярную ли песенку имеет в виду: «Мы будем петь и смеяться, как дети, среди упорной борьбы и труда»... Среди упорной борьбы и труда петь и смеяться, как дети, могут только психически больные люди!

И дальше:

«И не будет у них от нас никаких тайн. Мы будем позволять или запрещать им жить с их жёнами и любовницами, иметь или не иметь детей – всё судя по их послушанию – и они будут нам покоряться с весельем и радостью.»

Эти слова тоже пророческие.

Вспомните наши «откровения» в партбюро, которое заменяло нам исповедальню. Вся наша личная и семейная жизнь была известна партийному и кегебешному начальству. Не было у нас тайн. Не было. Нам казалось, что кто-то брал на себя наши грехи, разрешал или запрещал, и мы подчинялись, и нам становилось легче: мы освобождали душу от сомнений, и кто-то оправдывал или брал наш грех на себя. Во всяком случае, мы покаялись, и если придёт необходимость, то нас защитит кто-то сильный и знающий, как поступать...

«Завтра же, – говорит старик, заканчивая свой монолог, – ты увидишь это послушное стадо, которое по первому мановению моему бросится подгрести горячие угли к костру твоему, на котором сожгут тебя за то, что ты пришёл нам мешать... Завтра сожгу тебя...»

После этого узник молча приближается к старику и целует его в сухие старческие губы. Старик вздрагивает. Идёт к двери, открывает её и говорит: «Ступай и не приходи более... не приходи вовсе... никогда, никогда!» И выпускает его...

Сколько ассоциаций вызывает эта гениальная поэма о Великом Инквизиторе! Какие пророческие слова сказал Достоевский в этой поэме о Вавилонской башне, об уничтожении одних людей другими, развивая евангельскую историю искушения Христа в пустыне, которая в Евангелии занимает несколько строк. Достоевский устами Великого Инквизитора говорит о том, что мог сделать Иисус, если бы он принял условия дьявола. И что случилось, когда католики сговорились с дьяволом и преклонились перед ним.

Но тема здесь значительно шире католической, она охватывает и последующие века и будет ещё долго острой, нестареющей, пока люди будут искать свободы, жаждать хлеба и чуда. И пока будут преклоняться перед сильными мира сего.

«Спасибо вам, родной товарищ Сталин, за то, что вы живёте на земле!» – так писали поэты-лауреаты. И стихи эти радостно и с придыханием читали дети и взрослые.

У других народов были свои кумиры.

Есть мудрость вечная, вневременная, не привязанная к какому-нибудь определённому году или веку.

На этом построено Священное писание, позволяющее всем желающим мудрецам, дилетантам и шарлатанам толковать его, как хочется. Такой же вневременной мудростью, пророческими данными обладал и Ф.М.Достоевский, широко использовавший библейскую образность, метафоричность, а также притчи.

С чтением поэмы «Великий Инквизитор» Достоевский выступал перед студенческой аудиторией в декабре 1979 года. Он сказал, что невозможно соединить христианство с государственными задачами. Камни и хлебы – этот вопрос навсегда останется социальным вопросом.

Достоевский считал, что необходимо в души вселять «идеал красоты», «возвестить один идеал духовный»... Всё это прекрасно, скажут оппоненты, но люди всё равно будут создавать себе кумиров и поклоняться им, перекладывая на их плечи ответственность за свои грехи...

И мне кажется недостаточно убедительным утверждение некоторых людей, писавших об этом произведении, о поэме о Великом Инквизиторе, только как о критике католицизма. Так говорить, значит, сужать тему. Поэма и мысли, высказанные в ней, конечно же, значительно шире и глубже.

Были в прошлом веке высказывания о том, что это критика социалистов, которые обещали и свободу, и хлеб. Но, как говорит Великий Инквизитор, это тоже обман, так как свобода и хлеб не могут ужиться вместе.

Вот что говорит В.Розанов о поэме «Великий Инквизитор»:

«Как известно, она составляет только эпизод в последнем произведении его "Братья Карамазовы", но связь её с фабулой этого романа так слаба, что её можно рассматривать как отдельное произведение. Но зато, вместо внешней связи, между романом и "легендой" есть связь внутренняя. Именно "Легенда" составляет как бы душу всего произведения, которое только группируется около неё, как вариации около своей темы; в ней схоронена заветная мысль писателя, без которой не был бы написан не только этот роман, но и многие произведения его: по крайней мере не было бы в них всех самых лучших и высоких мест.»

С этим нельзя не согласиться.

Так же, как «Легенда о Великом Инквизиторе», особо, отдельным повествованием, выделено жизнеописание отца Зосимы, записанное, как сказано, со слов самого отца Алёшей Карамазовым.

Следует отметить, что Достоевский с особенной симпатией описывает стариков – странников. Странствовал с молчаливым монашом Анфимом и Зосима, до того, как стал скитником, отшельником, странствовал и Макар Иванович Долгорукий из «Подростка».

Трудно с полной определённой сказать, что привлекало гениального Достоевского в старцах, замаливающих свои грехи хождением по России, аскетизмом, бездомностью, подаянием.

Может быть, хождение по деревням, ежедневное общение с новыми людьми в глазах Достоевского – и не без оснований! – прикосновение к народным судьбам и проникновением в святая святых жизни не просто народа вообще, отвлечённого и безликого, а каждого человека отдельно, как личности, с его судьбой, слезами, роптанием, верой и надеждой, маленьким счастьем, которое освещало жизнь и помогало жить. Этим старцев писатель награждает мудростью, многотерпением, проникновенностью, способностью видеть внутренний мир, заботы и тревоги людей, которые раскрывали перед ними свою душу, не таясь и не опасаясь непредвиденных последствий.

Может быть, именно пронизательность старца Зосимы заставляет его сказать Алёше, чтобы он шёл к брату: «Может быть, ещё успеешь что-либо ужасное предупредить. Я вчера великому будущему страданию его поклонился.»

Старец Зосима говорит, что по глазам Мити увидел его будущие страдания. Имя Мити не называется, но Алёша понял, кого имел в виду старец.

Чем старше эти люди становились, тем больше приближались к Вечной истине или к Богу.

«Кто не верит в Бога, тот и в народ божий не верит». «Гибель народу без слова Божия», – утверждает Зосима

Вера в нравственное усовершенствование каждого человека, прошедшего через страдания, вложена в уста старца Зосимы.

Убеждена в том, что человек страдает за совершенное им когда-то, страдает всю жизнь – тоже высказано устами Зосимы.

Этой темы я касалась в предыдущей статье и в начале этой, когда говорила о преступлении и наказании, которое человек проносит в душе, и которое страшнее наказания судебного.

Старец говорит, что духовный мир теперь отвергнут людьми.

«Провозгласили мир, свободу, в последнее время особенно, и что же видим в этой свободе ихней: одно лишь рабство и самоубийства! Ибо мир говорит: "Имеешь потребности, а потому насытай их, ибо имеешь право на такие же, как и у знатнейших и богатейших людей. Не бойся насыщать их, но даже приумножай", – вот нынешнее учение мира. В этом и видят свободу.»

«Живут лишь для зависти друг к другу, для плотоугодия и чванства». «У бедных неутоление потребностей и зависть пока заглушается пьянством, но вскоре вместо вина упьются кровью, к тому их ведут.»

Разве не актуальны эти умозаключения? Разве можно отнести их к временам давно минувшим?

«...Неверующий деятель у нас в России ничего не сделает, даже будь он искренен сердцем и умом гениален», – утверждает старец.

Не потому ли вожди русских революций не любили Достоевского и считали его произведения вредными, что были неверующими? А нынешние

вожди, дожив атеистами, да ещё и воинствующими атеистами, в полном отрицании Бога до шестидесяти лет, наученные кем-то, ходят в храмы, хотя и перекреститься не умеют, но показывают себя верующими перед простым народом, который хочет преклоняться перед сильными мира сего.

И не знают они, что лицемерие не меньший грех, чем неверие.

А мысли отца Зосимы о том, что православная Русь всё переборет и переживёт, то, что русский народ-богоносец, в наши дни взяли на вооружение так называемые «патриоты», которых высмеивают и презирают так называемые «демократы».

Вероятно, некоторые наши «патриоты» читали В. Розанова, который в своей книге о Великом Инквизиторе пишет:

«Христианское общество бессмертно, неразруσιμο, – настолько и до тех пор, пока и до тех пор, пока и в какой мере оно христианское. Напротив, началами разрушения проникнута бывает всякая жизнь, которая, став однажды христианской, потом обратилась к иным источникам бытия и жизни. Несмотря на внешние успехи, при всей наружной мощи, она переполняется веянием смерти, и это веяние непреодолимо налагает свою печать на всякий индивидуальный ум, на каждую единичную совесть.»

Мир вечно разделяется на две части, только в разное время их называли по-разному: либералы и консерваторы, красные и белые, славянофилы и западники и ещё бог знает как называли и как будут называть, чтобы враждовать и не признавать идей друг друга.

В повествовании о жизни старца Зосимы много цитат из Евангелия. И вообще в романе «Братья Карамазовы» много евангелических образов и цитат из Священного писания. Не зная Священного писания, трудно понять глубину этого романа, как и многого, созданного великим русским писателем Ф.М.Достоевским.

Призывая к любви человека к человеку, Зосима развивает заповедь Иисуса о любви к ближнему. Смысл его утверждений таков: какая заслуга, если ты любишь любящего тебя? Полюби и ненавидящего тебя, полюби и грешника. Сделай себя ответчиком за грехи людей.

Старец развивает также заповедь: не суди других, ибо человек не имеет права судить другого, то есть осуждать за поступки и проступки, потому что никому не дано влезть в чужую душу.

Когда Зосима умер, тело его стало разлагаться и дурно пахнуть. Как считали монахи, этого не должно было быть с телом старца, которого почитали, как святого. Среди монахов начался ропот, стали вспоминать, что старец любил сладенькое, варенье же ему приносили и прочие сласти...

Этим эпизодом Достоевский совершенно неожиданно снижает свой высокий стиль описания старца.

Перед смертью Зосима успел сказать Алёше Карамазову, чтобы он уходил из монастыря, жил в мире, женился, сделал много добрых дел, на которые он способен...

А. В. Осипов

Ничто, экзистенциализм и свобода



Ничто, экзистенциализм и свобода

...мыслить и быть – не одно ли и то же?

Парменид. О природе

Загнав себя в резервации больших городов, где есть универсамы и сушибары, но нет ни времен года, ни звездного неба, мы теряем интерес и к нашему дому – Вселенной, которая, как нам говорят знатоки, «родилась» некоторое время назад. И все-таки.

Если признать, что все время жизни Вселенной «работает» одна и та же модель, основанная на одних и тех же предположениях, то подсчитать это время возможно, и оно оказывается равным тринадцати с лишним миллиардам лет. Образно говоря, за доли секунды Вселенная, содержащаяся в «сингулярности», размером много меньше, чем маковое зерно, взорвалась и выросла до размеров теннисного мяча. По существу, первым озвучил эту идею Александр Фридман, а далее его ученик, выдающийся физик Георгий Гамов, в сороковых годах развил ее в теорию сверхгорячей сжатой Вселенной, остывающей по мере расширения.

Но нас сейчас интересует другое. Кто же наблюдал и измерял миллиарды лет назад размеры этого теннисного мяча? Что же происходит вне этого мяча, где нет ни пространства, ни времени? А что там? – «Ничто». Но нам одинаково невозможно представить как тупую бесконечность Вселенной, так и ее компактность, ограниченность, вокруг которой находится «Ничто».

*Göttinnen thronen hehr in Einsamkeit,
Um sie kein Ort, noch weniger eine Zeit;*

*(Знай: есть богинь высокая семья,
Живущих вечно сред уединенья,
Вне времени и места.)*

Goethe. Faust

Что такое пустота?

А скажите мне, – отвечал я, – понимаете ли вы, что представляет из себя ничто, находящееся за пределами этого мира? Вовсе не понимаете, ибо когда вы думаете об этом, то это ничто все-таки представляете себе по меньшей мере в виде ветра или воздуха, а это уже есть нечто.

Увы, между «ничто» и хотя бы атомом такое бесконечное множество градаций, что и самому острому уму не проникнуть в них.

Сирано де Бержерак. Иной свет, или Государства и Империи Луны

Звездное небо впечатляет. Впечатляет феномен возникновения жизни на обочине Млечного пути. Впечатляют расстояния. Впечатляет «неэкономичность» расходования энергии: неужели же огромное светило существует лишь для того, чтобы, тратя много меньше, чем одну триллионную своей излучаемой энергии, поддерживать сотни тысяч лет развитие цивилизации, которая не осознает ни себя, ни цель своего существования?

Впечатляют не только звезды, галактики, Метагалактика. Впечатляют пустоты. Пустоты во вселенной, так называемые «войды». Одинокая песчинка в Тихом океане не так мала, как наша Солнечная система по сравнению с размерами такой пустоты. Небольшого облачка в атмосфере Земли, одного вихря «полуденной пыли» достаточно, чтобы заслонить от нас свет звезд. Но свет далеких Галактик проходит миллиарды миллиардов километров и не останавливается в этих войдах ничем. Но и эта пустота – не пустота по сравнению с тем, что находится там, дальше, за звездной далью. В той дали, где уже нет не только материи, но нет ни пространства, ни времени, – в той дали живут богини. Именно о них и зашел разговор у Фауста и Мефистофеля во второй части поэмы Гёте. Мы приведем этот разговор в переводе Николая Александровича Холодковского, который получил за него Пушкинскую премию как раз в то время, когда представление о мире стало меняться под воздействием теории относительности, а именно в 1917 году.

Фауст:

Где путь к ним?

Мефистофель:

Нет его! Он не испытан,

Да и неиспытуем; не открыт он

И не откроется. Готов ли ты?

Не встретишь там заповор перед тобою,

Но весь объят ты будешь пустотою.

Ты знаешь ли значенье пустоты?

Фауст не вполне понимает, о чем идет речь.

Нельзя ль без вычурного слова?

Тут кухней ведьмы пахнет снова:

Дела давно минувших дней.

Иль мало я по свету здесь кружился,

Учил пустому, пустякам учился,

Себе противореча тем сильней,

Чем речь хотел я высказать умней?

Мне глупости внушали отвращенье,

Я от людей бежал – и в заключение,

Чтоб одиноким в мире не блуждать,

Я чёрту душу должен был продать.

Далее идет знаменитое объяснение Мефистофеля.

*Послушай же: моря переплывая,
Ты видел бы хоть даль перед собой,
Ты б видел, как волна сменяется волной,
Быть может, смерть твою в себе скрывая;
Ты б видел гладь лазоревых равнин,
В струях которых плещется дельфин;
Ты б видел звезды, неба свод широкий;
Но там в пространстве, в пропасти глубокой,
Нет ничего, там шаг не слышен твой,
Там нет опоры, почвы под тобой.*

Характерным для Фауста был и его ответ со знаменитым «in deinem Nichts hoff' ich das All zu finden».

*Ты говоришь, как мистагог старинный,
Как будто я лишь неофит невинный.
Не в пустоту меня, наоборот,
Чтоб я окреп, теперь ты посылаешь,
А сам чужими загребать желаешь
Руками жар. Но всё-таки вперед!
На всё готов я, всё я испытаю:
В твоём «ничто» я всё найти мечтаю.*

Обратим внимание на то, что здесь (как и Б. Пастернак в своем более позднем переводе) переводчик пропускает замечание Фауста

*Du sendest mich ins Leere,
Damit ich dort so Kunst als Kraft vermehre;*

Видимо, из-за туманного смысла. Попытке разобраться с этим в значительной степени и посвящена достаточно обстоятельная статья В.Г. Белинского, опубликованная уже после его смерти. Этот труд остался незаконченным, а его название – «Идея искусства» – неразгаданным. Не можем полностью разгадать намерения Белинского и мы, тем более что написана статья в модном гегелевском стиле, который не прост для обычного читателя. Начинается статья с определения: Искусство *есть непосредственное созерцание истины или мышление в образах*. Расшифровке этого многозначительного заявления посвящены несколько страниц, чтение которых требует достаточной философской культуры, поскольку тут и имманентность, и абсолютный дух, и единство и борьба противоположностей, и констатация факта, что «*природа есть первый момент духа, из возможности стремящегося стать действительностью*».

Желание призвать на помощь дух не новое.

– Прошу прощения, господи мои, вы все неправы, – заявил философ Сисамис. – Ни из вашего мистического яйца, ни из связи огня и воды, ни из атомов, ни из вашей однородности частей – гомеометрии – никогда не возникнет мир, если вы не призовете на помощь дух. Вселенная, как и любое живое существо, есть соединение материи и духа. Дух придает материи форму, и оба они от века связаны. И подобно тому, как с исчезновением духа распадаются отдельные тела, так и небо и земля превратились бы в одну грандиозную бесформенную, мрачную и безжизненную массу в тот момент, когда мировой дух перестал бы все соединять и оживлять.

Кристоф Виланд. История абдеритов

Но нас привлек включенный В. Г. Белинским в статью небольшой прозаический пересказ той же сцены из «Фауста», который был сделан М. Н. Катковым и инспирирован статьей Ретигера (Т. Г. Рётшер) «О философской критике художественного произведения».

Интерес критика вызвал призыв Мефистофеля к Фаусту, получившему ключ: *Из мира форм рожденных В мир их прообразов перенесись (пер. Б. Пастернака)*. Белинский объясняет: «Эти матери – те первосущные, довременные идеи, которые, воплотившись в формы, стали мирами и явлениями жизни». Похоже, что эта мысль завладела Белинским:

*Но скоро мы должны <...> ринуться в безграничную пустоту, где нет жизни, нет образов, нет звуков и красок, нет пространства и времени, где не на чем остановиться взору, не на что опереться ноге, где царствуют – матери всего сущего – бестелесные идеи, которые суть то **ничто**, из которого произошло все, которые были от вечности, прежде мира, и от которых двинулось время и потекли миры своим вековечным путем... Итак, идеи суть матери жизни, ее субстанциальная сила и содержание, тот неиссякаемый резервуар, из которого немолчно текут волны жизни.*

Итак, упрощенно говоря, идеи нам даны от Бога, они как зерна растений, которые находятся до времени в земле. Художник лишь облакает их в нужную форму. Или, в еще более упрощенном виде, является лишь носителем процесса овеществления идей: – *Тростник был оживлен божественным дыханьем (А. С. Пушкин)*.

Несколько идей и теорий, появившихся в десятые годы XX века, породили «Большой взрыв» в науке. Огромное количество достижений замечательных ученых привело к тому, что не только наши представления о мире существенно изменились, но изменился и сам мир. Но вопрос о том, что такое «ничто», гораздо древнее теории относительности. Человек, который хочет разобраться хотя бы в том, что уже написано, должен быть Одиссеем, чтобы пройти между Сциллой, состоящей из фантазий, мистики, с одной стороны, и Харибдой физиков, состоящей из струн, бран, кварков, мезонов, барионов... Или Фаустом, решившим из Ничто выстроить все. Мы не претендуем ни на одну из этих ролей.

На это претендуют экзистенциализм и Жан-Поль Сартр со своим знаменитым трактатом «Бытие и ничто», написанным в первые годы второй мировой войны, причем написанным в лагере для военнопленных и принявшим именно там окончательную форму в 1941 году. Как говорят, «нашел время и место».

Нельзя сказать, что мир вокруг него рушился. Война, конечно, хотя война и «странная». Но еще более странно выглядит человек, сидящий за письменным столом и изучающий свойства еще более странного объекта под названием «ничто». И пишущий на эту тему огромный трактат в несколько сот страниц. Тем не менее, в свое время и сам трактат, и то, как, когда и где он был написан, произвели впечатление. Поговорим немного об этом, но начнем издалека.

Существует ли стиль в философии? Первое ничто. Сартр характерный представитель экзистенциализма – стиля, возникавшего постепенно, начиная со второй половины XIX века, а к середине XX века уже ставшего модным. Теперь это признанное направление в философии. Немного странно, говоря о науке, использовать слово «стиль», но это именно стиль. Со своими порождающими, определяющими, характерными или характеристическими, сопровождающими элементами, с узнаванием стиля по имени его носителя. Стиль существует в музыке, в живописи, в архитектуре, он есть и в философии.

Предложите архитектору воссоздать целое здание по одному элементу – стрельчатому окну или какому-нибудь пинаклю – и это будет обязательно романо-готика. Стрельчатое окно здесь – порождающий элемент стиля. Стрельчатые окна чаще всего украшаются витражами. Это характерный элемент готического стиля, но не порождающий, ибо витражи встречаются и в архитектуре романского или византийского стилей.

Рассмотрим теперь другой эксперимент. Положим перед живописцем осенний кленовый лист и предложим ему изобразить на холсте дерево, с которого упал этот лист. Трудно представить себе (если, конечно, мы не имеем дело с наивным гением вроде Анри Руссо), что «воссозданное» дерево будет похоже на сосну или плакучую иву.

Конечно, эксперимент чисто умозрительный, художник слишком привязан к своему опыту, и чувство прекрасного, гармонии для него уже неотделимо от этого опыта и от привычки, которая, как и чувство гармонии, дана нам свыше. Если одного листа не хватает для воссоздания всего дерева, то есть элемент не является определяющим, а всего лишь характерным, то определяющим может стать набор из нескольких таких элементов. Так врач по нескольким характерным признакам определяет болезнь.

Определяющими могут стать и несколько имен носителей этого стиля. Например, если вы назовете имя Сальвадора Дали, то тем самым однозначно определяете стиль. Вроде бы. Но если вы добавите имена художника Босха и поэта Аполлинера, то получите как бы расширение стиля.

Стиль может быть поверхностным, нечто вроде почерка или порядка изложения материала при доказательстве теоремы. Или дефисных

конструкций вроде «вот-бытие», «здесь-бытие», наряду с Дазайном (Dasein). Но может быть и глубоким, затрагивающим существо. Романтизм в поэзии или барокко в архитектуре – это, конечно, глубокие стили.

Вернемся к философскому направлению, которому принадлежал Сартр. Порождающий экзистенциализм набор имен должен содержать Мартина Хайдеггера и самого Сартра. Добавить можно многие имена, но в каждом случае мы имеем дело уже с некоторым расширением. Традиционно добавляются Альбер Камю (совесть Запада), Сёрен Кьеркегор (отец экзистенциализма). Почти всегда К. Ясперс, Ф. Ницше, Э. Фромм, Л. Шестов, часто присоединяется З. Фрейд, реже Б. Рассел и др.

Пожалуй, только про последнего, математика Бертрана Рассела, можно с уверенностью сказать, что его лозунгом стало фаустовское «In deinem Nichts hoff' ich das All zu finden». Как и Фауст, он не нуждается в аксиоме существования Бога, но верит в возможность полного познания человеком устройства мира. Это и есть первое, фаустовское ничто. Мне не нужна никакая стартовая позиция, я сам сотворю мир. Хотя бы умозрительно.

Атеизм и перевод «Фауста». Жесткий атеизм был одним из характеристических элементов этого стиля. Тут уместно вспомнить статью Белинского и первый перевод «Фауста» на русский язык, сделанный в тридцатые годы, практически сразу после появления полного текста драмы и смерти Гёте мало известным, но интересным поэтом и переводчиком Эдуардом Ивановичем Губером. Похоже на то, что Губер познакомил Пушкина и с «Фаустом», и с некоторыми другими немецкими материалами. Во всяком случае пушкинские «Сцены из Фауста» наводят на эту мысль.

Второй чорт: Это я могу,

Сатана. Я отправился на море и стал призывать бурю, с помощью которой я мог бы разрушить, и она явилась; в то время я устремился к берегу, но вверх ко мне полетели дикие проклятия, а когда я посмотрел вниз, то увидел флот с раздутыми парусами. На кораблях плыли ростовицки. Я быстро ринулся в глубину вместе с ураганом, взобрался затем на подымавшейся волне снова к небу.

Сатана: И потопил флот в волнах?

Второй чорт: Так, что ни один не спасся. Я разбил весь флот, и все души, которые были на нем, теперь твои.

Г.-Э. Лессинг. Материалы к «Фаусту»

Всякий первый перевод следует, наверное, приветствовать, что и делали многие современники, но то, как его встретил Белинский, было совсем неожиданным. Критик отругал его так, как не ругал даже Гоголя за «Выбранные места». Похоже на то, что не литературные недочеты вызвали негодование неистового Виссариона, а нечто другое. «Нечто другое» – это, по-видимому, предисловие переводчика, начинающееся с тезиса, который мог бы вызвать ярость и многих современных ученых. Дело в том, что Губер стал серьезно обсуждать тему погубленной души стремящегося к познанию Фауста. Этого нельзя было делать в присутствии Белинского.

Сатана: Отлично! Чудесно! А твой план?

Четвертый чорт: Видишь, я скрежещу зубами, у меня его нет! Я подкрадывался к его душе со всех сторон, но я не нашел ни единой слабости, за которую бы мог ухватиться.

Сатана: Дурак! Разве он не стремится к познанию?

Четвертый чорт: Больше, чем кто-либо из смертных.

Сатана: Тогда предоставь его мне. Этого довольно для того, чтобы его погубить.

Г.-Э. Лессинг. Материалы к «Фаусту»

Экзистенциализм, конечно, атеистичен. Причем принципиально и последовательно. Определяющим является следующий пассаж, который может поначалу шокировать.

Достоевский как-то писал, что «если бога нет, то все дозволено». Это – исходный пункт экзистенциализма. В самом деле, все дозволено, если бога не существует, а потому человек заброшен, ему не на что опереться ни в себе, ни вовне. Прежде всего у него нет оправданий. Действительно, если существование предшествует сущности, то ссылкой на раз навсегда данную человеческую природу ничего нельзя объяснить. Иначе говоря, нет детерминизма, человек свободен, человек – это свобода.

С другой стороны, если бога нет, мы не имеем перед собой никаких моральных ценностей или предписаний, которые оправдывали бы наши поступки. Таким образом, ни за собой, ни перед собой – в светлом царстве ценностей – у нас не имеется ни оправданий, ни извинений. Мы одиноки, и нам нет извинений. Это и есть то, что я выражаю словами: человек осужден быть свободным. Осужден, потому что не сам себя создал, и все-таки свободен, потому что, однажды брошенный в мир, отвечает за все, что делает.

Ж.-П. Сартр. Экзистенциализм – это гуманизм

Нас немного сбивает с толку утверждение Сартра «Экзистенциализм – это гуманизм». Дело в том, что мы привыкли трактовать гуманизм как нечто доброе и пушистое. Заметим, однако, что первоначальное понимание гуманизма предполагает атеистический взгляд на устройство мира. Например, Данте гуманистом не был (первым гуманистом считается Петрарка), а Макиавелли был. Впрочем, даже и в этом случае тезис Сартра не слишком понятен. Правда, и сам Сартр в самом начале своей программной статьи указывает на то, что не все так просто.

Дело, впрочем, несколько осложняется тем, что существуют две разновидности экзистенциалистов: во-первых, это христианские экзистенциалисты, к которым я отношу Ясперса и исповедующего католицизм Габриэля Марселя; и, во-вторых, экзистенциалисты-атеисты, к которым относятся Хайдеггер и французские экзистенциалисты, в том числе я сам.

К указанным религиозным философам следовало бы добавить Сёрена Кьеркегора, сына пастора, получившего теологическое образование. Однако заметим, что атеистичность и религиозность – очень расплывчатые понятия, часто накладывающиеся друг на друга. Каковы же признаки христианина? Кроме, конечно, собственного признания, которое, как известно, суд не всегда принимает во внимание. Но в экзистенциализме и нет такой проблемы. Здесь все гораздо проще. Христианский экзистенциалист или экзистенциальный христианин – это непонятно что такое, это очень загадочное явление.

Пусть гибнут слабые и уродливые – первая заповедь нашего человеколюбия. Надо ещё помогать им гибнуть.

Что вреднее любого порока? – Сострадать слабым и калекам – христианство...

Ф. Ницше. Антихристианин. 1888

Возможно, что человечество уже стоит на пороге золотого века; но если это так, то сначала необходимо будет убить дракона, охраняющего вход, и дракон этот – религия.

Бертран Рассел. Внесла ли религия полезный вклад в цивилизацию. 1930

Подобным кокетливым эпатажем можно было бы и пренебречь, рассматривая его как социальный протест, но атеизм экзистенциализма – существенная и характеристическая черта стиля. В соответствии с ней выбираются и темы, непонятные и недоступные христианину.

Есть лишь одна по-настоящему серьезная философская проблема – проблема самоубийства. Решить, стоит или не стоит жизнь того, чтобы ее прожить – значит ответить на фундаментальный вопрос философии. Все остальное – имеет ли мир три измерения, руководствуется ли разум девятью или двенадцатью категориями – второстепенно.

Альбер Камю. Миф о Сизифе

Второе ничто. Страх смерти. Фетишизация понятия «ничто» является первым характеристическим признаком экзистенциализма. Само это понятие и игра с ним восходит еще к пифагоровым временам.

Быть тому, чтоб сказать и помыслить Бытное. Ибо Есть лишь «Быть», а Ничто – не есть: раздумай об этом!

Парменид. О природе

По тем отрывкам, которые до нас дошли, трудно судить, насколько глубоким является для Парменида категория «небытие». Тем более, что для нас ничто – очень простое понятие. Ничто и есть ничто. Это то, о чем мы ничего сказать не можем. Даже предположить какие-либо свойства. Ничего. Но в экзистенциализме это много сложнее.

Но на этом фетишизация не заканчивается, ведь если бы ничто было бы всего лишь бездной, в которую человек в конце концов (быть может, с какой-то вероятностью, а быть может, и непременно) будет ввергнут, то экзистенциализм не был бы всеобъемлющей, отвечающей на все

вопросы жизни философией. Хайдеггер, Ясперс и Сартр фактически распространяют миф о ничто на жизнь в целом. Для Хайдеггера и Сартра сама жизнь есть «заброшенность в ничто»; каждый единичный момент жизни есть не что иное, как псевдодialeктическое взаимодействие этих перспектив начала и конца.

Георг Лукач. Экзистенциализм

Чтобы понять, какое отношение все это имеет к атеизму, отметим, что во время второй мировой войны, кроме основного философского трактата «Бытие и ничто» Сартр написал две пьесы: «Мухи» и «За закрытыми дверями». Переводчик и автор предисловия трактата В.И. Колядко пишет по поводу первой трагедии.

Его трагедия «Мухи» на сюжет античного мифа была впервые сыграна в бараке для заключенных. В 1943 г. знаменитый Шарль Дюллен показал ее в Париже. Никто из зрителей не сомневался в звучащем в ней призыве к сопротивлению оккупантам.

Через год была поставлена вторая пьеса. Не очень легко найти в них призыв к сопротивлению оккупантам. Да и ничто там совсем другое. Это прекращение существования. Смерть абсолютна. Нет жизни после смерти. А что там есть? Ничто. Как-то по-русски вроде бы ничто это ничто. Аксиоматическое понятие. Каждый в свое время задумывается. Но вот приходит война, и обостряются мысли по этому поводу. И ничто даже по-русски оказывается не совсем уж и простым.

Князь Андрей не только знал, что он умрет, но он чувствовал, что он умирает, что он уже умер наполовину. Он испытывал сознание отчужденности от всего земного и радостной и странной легкости бытия. Он, не торопясь и не тревожась, ожидал того, что предстояло ему. То грозное, вечное, неведомое и далекое, присутствие которого он не переставал ощущать в продолжение всей своей жизни, теперь для него было близкое и – по той странной легкости бытия, которую он испытывал, – почти понятное и осязаемое.

Л.Н. Толстой. Война и мир

И не только не совсем простым, а иногда даже и очень мудреным.

Вы видите, что я совершенно справедливо называл смерть одним из совершенств организмов, одним из преимуществ их над мертвою природой.

Смерть – это финал оперы, последняя сцена драмы; как художественное произведение не может тянуться без конца, но само собою обособляется и находит свои границы, так и жизнь организмов имеет пределы. В этом выражается их глубокая сущность, гармония и красота, свойственная их жизни.

Н.Н. Страхов. Мир как целое

Не очень понятно, почему вселенная может быть бесконечной, а жизнь – нет. Да и про гармонию и красоту не слишком понятно. Хотя, конечно, жизнь до трехсот лет в нынешнее время можно себе представить лишь в страшных

снах. Даже если речь идет о других людях. О каком-нибудь начальнике, который живет и правит триста лет! Фантасты говорят, что на других планетах такое бывает.

В экзистенциализме все вроде бы и так, но не совсем так.

Как уже говорилось, и утверждение «трезвых» позитивных мыслителей, что смерть – это простое и безболезненное уничтожение живого существа, что в момент смерти он бесследно исчезает подобно тому, как лопается «волдырь на воде», что после смерти оно превращается в ничто, это утверждение тоже ведь является «рационализацией». Однако, как и все теологические «рационализации», она не способна до конца подавить и уничтожить страх смерти. Он остается и свидетельствует о том, что если мы и превращаемся после смерти в ничто, то это отнюдь не нейтральное и безболезненное ничто, а ничто жуткое и ужасное.

Я.А. Слинин. Феноменология intersубъективности

Простому человеку, не являющемуся философом, не слишком понятно, как это ничто может быть нейтральным или жутким. Приписывание этому самому ничто каких-либо свойств уже выводит его из разряда «ничто». Одно-два свойства – и другие свойства начнут к ним присоединяться, создавая пусть абстрактные, пусть выдуманные, гипотетические, но образы.

Вот арктический полюс. Пелена снега. И ничего нет. Такова смерть.

Смерть - конец. Параллельные линии сошлись. Ну, уткнулись друг в друга, и ничего дальше. Ни «самых законов геометрии».

Да, «смерть» одолевает даже математику. «Дважды два – ноль».

Мне 56 лет: и помноженные на ежегодный труд дают ноль.

Нет, больше: помноженные на любовь, на надежду дают ноль.

Кому этот «ноль» нужен? Неужели Богу? Но тогда кому же? Зачем?

Или неужели сказать, что смерть сильнее самого Бога. Но ведь тогда не выйдет ли: она сама - Бог? На Божьем месте?

Ужасные вопросы.

Смерти я боюсь, смерти я не хочу, смерти я ужасаюсь.

Василий Розанов. Опавшие листья

«Странная война». Странная война происходила между Францией и Пруссией в самый разгар Великой французской революции. Гёте, путешествуя из Берлина в Париж, описывает в своих заметках «Кампания во Франции 1792 года» пейзажи после взятия прусской армией Вердена. Пишет о погоде, о том, как он с друзьями пробовал ликеры в разных магазинах захваченного города, о купленных в Вердене сладостях в изящных кулечках.

А ведь первая мировая война не менее странная. И в этих же местах, описанных Гёте, происходит то, что позже стали называть «Верденской мясорубкой» или «мясорубкой дьявола». В странной войне участвует и Сартр, и нельзя сказать, участвует ли вообще, настолько странным является это участие.

Но невозможно избежать того, чтобы быть на войне. Я не могу ни принять, ни отвергнуть этого – как нечто такое, что свободен отклонить:

речь идет о преобразовании мира и моего бытия-в-мире. Война – это не какое-то происшествие, которое случается со мной и по отношению к которому я могу вести себя тем или иным образом. Война – это способ существования для мира и для меня в мире, с этого начинается моя индивидуальная судьба: иначе говоря, война в моей судьбе не является чем-то вроде болезни, жестибы или смерти. Наоборот, война порождает мою судьбу. Моя судьба не отличается от других судеб в том, что она заключает в себе войну, а другие судьбы в себе ее не заключают: наоборот, я есмь-для-войны в той мере, в какой я есмь человек. Пропадает различие между «быть-человеком» и «быть-на-войне». То есть я больше не могу «сказать нет» войне, как и человеческому уделу. Она оказывается неким видоизменением моего бытия-с-другим, моего бытия-для-умирания и т. д. и т. п. С этим ничего не поделать.

Ж.-П. Сартр. Дневники странной войны

До тех пор, пока основы капиталистического общества казались неколебимыми, т.е. приблизительно до Первой мировой войны, так называемый авангард буржуазной интеллигенции переживал карнавал фетишизированного внутреннего мира. Суть дела не очень меняет то, что уже тогда были писатели, которые ясно видели неотвратимое приближение катастрофы.

Георг Лукач. Экзистенциализм

Конечно, были. И указывали на признаки приближения катастрофы.

*Стоит над миром столб огня,
И в каждом сердце, в мысли каждой –
Свой произвол и свой закон...
Над всей Европою дракон,
Разинув пасть, томится жаждой...
Кто нанесет ему удар?..
Не ведаем: над нашим станом,
Как встарь, повита даль туманом,
И пахнет гарью.*

А.Блок. Возмездие

Но далее Лукач делает следующий шаг и пишет уже о том, что экзистенциализм со своим «ничто» сам является таким признаком.

Ничто – это миф упадочного, приговоренного мировой историей к смерти капиталистического общества. Если некогда Ставрогин или Свидригайлов как индивиды, хотя и тогда уже как типичные индивиды, были поставлены перед ситуацией vis-a-vis de rien, то теперь – во всемирно-исторической перспективе – затронуты общественная система в целом, классы, заинтересованные в своем существовании, и сословия, считающие себя в этой системе заинтересованными, прежде всего часть интеллигенции.

Георг Лукач. Экзистенциализм

Похоже на то, что Первая мировая война и есть сам экзистенциализм. Это естественная реализация стиля.

Третье ничто. Страх вселенной. Спектр чувств, возникающих, когда мы вглядываемся в звездную вселенную, весьма широк. Тут и восхищение, и удивление и подавленность величием и масштабом, и любопытство и удивление тем, что все это бесконечно продолжается.

Коридорный: Вы сами видите, что светло.

Гарсэ: Черт побери. Это у вас день. А снаружи?

Коридорный (оторопело): Снаружи?

Гарсэ: Да, снаружи. По другую сторону этих стен.

Коридорный: Там коридор.

Гарсэ: А в конце коридора?

Коридорный: Другие комнаты, и коридоры, и лестницы.

Гарсэ: А дальше?

Коридорный: Это все.

Ж.-П. Сартр. За закрытыми дверями

Мы не слишком охотно верим в бесконечность вселенной, поскольку эта бесконечность противоречит нашему инстинкту, знающему, что количество переходит в качество. Если же этот принцип здесь не работает, то зачем он вообще нужен? В какой еще ситуации он может пригодиться? Кроме того, уже сто лет как нам рассказывают про взорвавшийся маленький «комочек», из которого появилась вся вселенная. Значит, «комочек» был. А что было вокруг? – Ничего. Ничто.

Вопрос о границах вселенной нам кажется столь же далеким от решения, как и вопрос о форме Земли для средневековых схоластов. Но эти две задачи отличаются, как кажется, принципиально. Если в задаче о форме Земли есть зацепки, можно наблюдать выпуклость поверхности моря, есть звезды, заставляющие задуматься, то в первом случае зацепок не видно, не видно и то, каким образом можно было бы предложить гипотетическую модель. Выход в пространство большей размерности мог бы помочь, но пока он приводит лишь к рассуждениям типа: «а вот там – ... ух, там такое...»

У Эпикура бесконечность вселенной следует из другой аксиомы – вселенная есть замкнутая система. (Причем создается впечатление, что он осознает, что это, строго говоря, единственный пример замкнутой системы.)

Какова Вселенная теперь, такова она вечно была и вечно будет, потому что изменяться ей не во что, – ибо, кроме Вселенной, нет ничего, что могло бы войти в неё, внося изменение.

Далее, Вселенная беспредельна. В самом деле, что имеет предел, то имеет край; а край - это то, на что можно смотреть со стороны; стало быть, края Вселенная не имеет, а значит и предела не имеет. А что не имеет предела, то беспредельно и неограниченно.

Эпикур. Письмо к Геродоту

Философия абсурда. Абсурдизм как стиль достаточно трудно определить. Слишком близко он примыкает к сказке, легенде, вымыслу, описанию снов или игре воображения. Игра в абсурдизм существовала всегда. И не только в литературе, но и, например, в музыке или архитектуре. И не только в Европе. В России это Гоголь со своим «Носом», Достоевский со своим занудным «Двойником», Набоков и, конечно, Алексей Ремизов.

Волк

Послал меня в лес за орехами.

«Ступай, говорят, собери нам орехов побольше».

Вот я и хожу от дерева к дереву – мне в лесу, как впотьмах – и ни одной орешки.

И наконец, попал. Да только ни одного зрелого, все орехи зеленые.

«Все равно, думаю, понесу зеленые, коли уж охота такая пришла».

И нагибаю ветку, но, только что нацелился, хват из-за куста волк на меня, таких, из сказок, я представлял себе волков.

«Ты что ж, говорю, волк, неужели съесть меня захотел?»

А волк молчит, разинул пасть.

И опять я вспоминаю:

«Не ешь, серый, я тебе пригожусь».

А сам себе думаю: «на что я пригожусь?»

И пока я так раздумывал, волк меня съел.

С приятным сознанием исполненного долга я проснулся.

Алексей Ремизов. Мартын Задека

*Лес качает вершинами,
люди ходят с кувшинами,
ловят из воздуха воду.
Гнётся в море вода.
Но не гнётся огонь никогда.
Огонь любит воздушную свободу.
Даниил Хармс*

*Humpty Dumpty sat on a wall,
Humpty Dumpty had a great fall.
All the king's horses,
And all the king's men,
Couldn't put Humpty together again.
Humpty Dumpty*

Можно, конечно, отправиться в Китай и вспомнить классический роман XVII века «Путешествие на Запад» или заглянуть в «Махабхарату», но мы не ставим перед собой цель делать обзор «абсурдизм в искусстве». Это было бы слишком претенциозно. Вернемся к экзистенциализму как философскому стилю. Апология абсурда – еще одна его характеристическая черта. Но здесь «игра воображения» порождена чувствами, которые принято считать «философскими», поскольку они далеки от чувства искренней веселости, сопровождающей выдумку.

Начало «исследованию» абсурда в экзистенциализме положил Сёрен Кьеркегор в своем эссе «Страх и трепет», посвященном анализу библейского эпизода с Авраамом и его сыном Исааком. Тут он как бы «философски оправдывает» абсурдность библейской истории, да и всей религиозной мифологии, снисходительно допуская, что именно в абсурдности кроется одно из оснований веры.

Если спуститься с анагогического, или сакрального, до аллегорического уровня, эпизод можно рассматривать как ветхозаветную интерпретацию формулы, имеющей целый спектр представлений, реализаций. Одна из них – карфагенский военачальник в римской истории, который оставил в осажденном городе свою жену и детей, чтобы не давать повода подчиненным сомневаться в его желании стоять до конца.

Еще одна подобная классическая реализация этой формулы – легенда, миф или реальная история о поведении Н.Н. Раевского с сыновьями в бою под Салтановкой.

Спектр представлений этой формулы весьма широк. Есть оттенок заложенной в эту формулу идеи и в истории с выходом народа Моисея из Египта и чудесным спасением его при переходе через Красное море. Можно поднять спектр представлений до самого высокого уровня, а можно и опустить до уровня вполне обыденного.

Чепуха, тут не о чем говорить. Вот этого как раз и надо остерегаться – изображать странным то, в чем ни малейшей странности нет.

Ж.-П. Сартр. Тошнота

Как, например, у Конфуция в (V.1) (см. по этому поводу альманах «Консерватор», 2, 2002).

Философ сказал о Гун Е-чане, что его можно женить, несмотря на то, что он [был некогда] связан [тюремными] узами, ибо это не его вина, с чем и женил его на своей дочери.

След этой аналогии мы встречаем, например, и в такой современной бытовой реализации: начальники говорят о реформировании образования в стране, но своих детей отправляют учиться за границу.

А. Камю в своем эссе «Миф о Сизифе» подхватывает идею абсурдности эпизода с Авраамом и Исааком и переносит обсуждение на миф, у которого тоже есть несколько интерпретаций и множество реализаций. Одна из них простая и «школьная» – недоученный урок, оставленное недоделанное дело. Например, иностранный язык, который мы долго учим в школе, но потом, недоучив толком, прекрасно забываем и начинаем с самого начала, если он понадобился.

Но можно предложить и более «возвышенный» вариант. Проходит один философский стиль, приходит новый, мы радуемся, вот-вот наконец узнаем, что же есть человек и к чему и зачем его экзистенция. Но стиль отмирает, и вновь все непонятно, и камень вновь оказывается у подножия горы.

Снова ничто. Оно везде. Дети рождаются с умением мыслить абстрактно. Они еще не понимают реальность, они только начинают познавать ее, но методы познания уже в них вложены, «вшиты» в молекулярную структуру мембран нейронов их головного мозга. Дети легко воспринимают образы, гипостазирование – их основной метод, среда, в которой они существуют.

Гипостазирование (от греч. Hypostasis – сущность, субстанция) – логическая (семантическая) ошибка, заключающаяся в опредмечивании абстрактных сущностей, в приписывании им реального, предметного существования. Эту ошибку допускает тот, кто считает, что наряду со здоровыми и больными людьми в реальном мире есть еще такие отдельные «существа», как «здоровье» и «болезнь». Или даже что есть особые предметы, обозначаемые словами «ничто» и «несуществующий предмет».

Философский словарь

Философы твердо стоят на страже семантики и логики. Нагрузив язык бесконечными неперевариваемыми немецкими *sein* и *dasein*, они милостиво разрешают для детского употребления «улыбку чеширского кота», а для обывательского «болезнь, которая его подкосила», или «обстоятельства, которые мне не позволили». Разрешают поэтам «Гнев, о, богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына!» Или «любовь, что движет солнце и светила». Но вот мы разговорились об атомах – неделимых корпускулах, которые постоянно движутся и время от времени сталкиваются. А что между ними? Пустота, ничто. Немного непонятно и боязно. Лучше сказать «пространство». И чем же это межатомное пространство лучше, чем улыбка чеширского кота? Тем, что у него есть протяженность, размерность и другие свойства? А разве нет свойств у болезни, у гнева, у любви?

Любое множество предполагает наличие элементов. Математическое пространство – это множество, на котором задана структура. Но здесь нет множества. Это больше похоже на корзину, в которую что-то положили или собираются положить. Но ее нет, этой корзины. Это наша выдумка, успокаивающая абстракция. Поэтому и про край этой корзины говорить не приходится. И бесконечность Вселенной непонятна. А что там, за этой бесконечностью? Ничто? Опять ничто.

Четвертый характеристический элемент стиля – психоанализ. Эрих Фромм и Зигмунд Фрейд не просто органически вписываются в стиль. Психоанализ – определяющая часть этого стиля, его корень.

Рассмотрите психоанализ отдельно и попробуйте «нарастить» его философией. Как кленовый лист «породит» клен, так и психоанализ породит экзистенциализм. Если, конечно, раствор будет насыщенным. А он был насыщенным. Разумеется, Достоевский с его пристрастием к нестандартной психологии. Разумеется, Кафка со своим абсурдизмом.

Стиль – явление очень простое. И немного социальное. Возьмем пример: Клод Моне и Архип Иванович Куинджи практически ровесники. И у того и у другого игра света, красок, несколько утрированная, чтобы создать впечатление, импрешен. Но один из них – импрессионист, причем «член-учредитель ордена», а второй – просто замечательный русский художник, пейзажист. Импрессионист Ренуар, но Серова импрессионистом никогда не называли.

Русский писатель всегда психолог. У Лескова эта психология облачена может в эпатурующие одежды, у Тургенева – в романтические. Может быть, что-то фрейдовское можно найти у Достоевского, Толстого или Чехова – не знаю. Это для тех, кто увлекается фрейдизмом. Но вот появились у Достоевского трихины, существа микроскопические, вселявшиеся в тела людей. Они нам понятны, но это не экзистенциализм. А вот сартровские мухи – как бы порождение этих существ – они уже вписываются в стиль.

Патология, замешанная на абсурде. Сартр пытается вытянуть гуманизм из романа Кафки «Процесс», но не очень получается. Потому что роман, написанный как раз перед Первой мировой, и есть сама эта война. Со всей ее патологией и абсурдом.

Страх и трепет.

«Люди, – пишет Киркегард, – как это само собой собою разумеется, не понимают истинно страшного», закрывают на него глаза и «берут жизнь такой, какая она есть, как ее все понимают и принимают». Но можно ли назвать такое отношение к жизни философией? Есть ли это мышление? Не наоборот ли? Не значит ли, что человек, отвернувшийся от жизненных ужасов – будь то прославленный professor pubicus Ordinarius или рядовой обыватель – что такой человек отказался и от философии и от мышления? «Человеческая трусость, – заявляет Киркегард, – не может вынести того, что нам имеют поведать безумие и смерть».

Лев Шестов. Киркегард – религиозный философ. 1938

Трудно понять, не будучи экзистенциалистом, при чем тут человеческая трусость. Но далее Шестов приводит более отчетливую формулу Киркегарда, взятую из его дневника.

Только дошедший до отчаяния ужас пробуждает в человеке его высшее существо.

Страх Божий разнообразен. Математик, решающий длинную и трудную задачу, боится, не допустил ли он где-то логическую ошибку. Человек в толпе боится, не толкнул ли он кого-то нечаянно, садясь в вагон метро. Врач, выписывающий лекарство, боится, не приведет ли его лечение к каким-либо побочным нежелательным результатам. Один закрывает на ночь все двери на засовы, выпускает злую собаку во двор – это страх человеческий. Но, может быть, ночью кому-нибудь понадобится моя помощь, а я буду спать и не услышу – это страх другого рода.

Но философы, видимо, хотят пробудить в нас высшее существо и поэтому ставят перед собой задачу делать это, искусственно и искусно вызывая дошедший до отчаяния ужас.

Ницше, Кафка, фильмы ужасов, крик, отчаяние, тошнота, окопы, газы, безысходность, театр абсурда, Первая мировая война. Создание высшего существа лопнуло как фурункул и на несколько десятков лет залило Европу гноем.

Пятый характеристический элемент стиля – борьба с антисемитизмом. Эта борьба не является порождающим элементом стиля, поскольку ее ведут люди и достаточно далекие от философских течений. Но фактом является то, что экзистенциалист, если он сам не является евреем, должен продемонстрировать свое отношение к теме.

Таким образом, по происхождению, антисемитизм – род манихеизма, объясняющего мир борьбой принципов Добра и Зла. Никакой компромисс между двумя этими принципами невозможен: один должен восторжествовать, другой – исчезнуть. Возьмите Селина – вот пример апокалиптического видения мира: евреи везде, земля погибла, и арийцу остается только не компрометировать себя и ни в коем случае ничем не поступаться. Но пусть он учтет, что если он дышит, то уже потерял свою чистоту, потому что сам воздух, проникающий в его бронхи, осквернен. Разве это не похоже на проповедь катара? Если Селин и способен был поддержать социалистические идеи нацистов, то лишь потому, что ему заплатили, а в глубине души он в них не верил и единственным выходом считал коллективное самоубийство, не-рождение, смерть.

Жан-Поль Сартр. Антисемитизм

Луи Фердинанд Селин – прекрасный пример. Всё есть в его творчестве – и абсурд, и страх, и война, и мизантропия не хуже, чем у Ницше, и даже знакомая нам до тошноты фобия. Правда, в виде явно вымученного эпатажа.

– Очень это французской нации нужно! Да такой нации и нет, – отвечаю я, чтобы показать: сам, мол, подкован и все у меня тип-топ.

– Нет есть. В наилучшем виде есть. И нация что надо! – гнет он свое. – Лучшая нация в мире. И козел тот, кто от нее отрекается.

И давай на меня пасть разевать. Я, понятное дело, не сдаюсь.

– Свистишь! Нация, как ты выражаешься, – это всего-навсего огромное скопище подонков, вроде меня, гнилых, вишивых, промерзших, которых загнали сюда со всего света голод, чума, чирьи, холод. Дальше-то уже некуда – море. Вот что такое твоя Франция и французы.

– Бардамо, – возражает он важно и малость печально, – наши отцы были не хуже нас. Не смей о них так.

– Вот уж что верно, то верно, Артур! Конечно, не хуже – такие же злые и раболопные, даром что их насиловали, грабили, кишки им

выпускали. А главное – безмоздые. Так что не спорю. Ничего мы не меняем – ни носков, ни хозяев, ни убеждений, а уж если и поменяем, то слишком поздно. Покорными родились, покорными и подохнем. Для всех мы бескорыстные солдаты, герои, а на деле говорящие обезьяны, болтливые плаксы, миньоны короля Голода.

Луи Фердинанд Селин. Путешествие на край ночи

Но членский билет клуба экзистенциалистов Селин не получил. И, конечно, не мог претендовать на Нобелевскую или какую-либо другую литературную премию. Зато Николай Бердяев норму выполнил с лихвой.

Еврейству принадлежала совершенно исключительная роль в зарождении сознания истории, в напряженном чувстве исторической судьбы, именно еврейством внесено в мировую жизнь человечества начало «исторического». И я хочу обратиться вплотную к самой исторической судьбе еврейства и его значению во всемирной истории как одного из непрерывно действующих и до наших дней мировых начал, обладающих своей специфической миссией. Еврейство имеет центральное значение в истории.

Никакой вульгарный антисемитизм ни может быть оправдан религиозным постижением судьбы еврейства. Окончательное разрешение еврейского вопроса возможно лишь в плане эсхатологическом. Это и будет разрешение судьбы всемирной истории, в последнем акте борьбы Христа и антихриста. Без религиозного самоопределения еврейства задача всемирной истории не может быть разрешена.

Николай Бердяев. Смысл истории. 1923

Истина и свобода. Свободная человеческая речь обладает рядом замечательных свойств. Но воспользоваться ими не так уж и легко. Выделяя, вычлняя то или иное слово, чтобы разобраться с его этимологией, мы уже жертвуем той свободой, с которой слово произносилось. Нам важно, как слово «работает», но работает в свободном, а не искусственно созданном контексте. Мы можем заменить, например, в новозаветном тексте слово «блаженный» на слово, скажем, «блессед». Через некоторое время после многократного употребления смысл этого термина вновь займет свою положение в общем контексте смыслов. Правда, если мы заменим «блаженный» на «счастливый», то ничего хорошего не получится из-за жесткой этимологической привязки: «счастье» – «сейчас». Формулы речи: «боги не позволили» или «обстоятельства не позволили» тождественны. И при постоянном употреблении в течение многих поколений второй формулы, слово «обстоятельства» начнет приобретать столь же личностный характер, как и слово «боги».

К загадочным христианским экзистенциалистам относились и Ясперс с Бердяевым. Для христианина истина есть имя Божие. И два приведенных ниже определения это подчеркивают.

Истина – в этом слове заключено несравненное очарование. Кажется, будто оно обещает дать то, что подлинно всего важнее для нас. Отступление от истины отравляет все, что мы приобретаем этим отступлением. Истина может причинить боль, может довести до отчаяния. Но она способна – одной лишь истинностью, независимо от содержания – давать глубокое удовлетворение: тем, что истина все-таки есть.

Истина воодушевляет: если я в чем-то постиг ее, то во мне нарастает мотив неуклонно искать ее. Истина дает опору: здесь есть нечто нерушимое, соединенное с бытием.

Карл Ясперс. Философия экзистенции

Истина не есть отвлеченная ценность, ценность суждения. Истина – предметна, она живет, истина – сущее, существо. «Я есмь истина». Поэтому истина – путь и жизнь. Поэтому знать истину значит быть истинным. Познание истины есть перерождение, творческое развитие, посвящение во вселенскую жизнь. Истина – сущее. Познать истину значит познать сущее. Познать сущее нельзя извне, можно только изнутри. Во внешнем объективировании сущее не познается, оно умерщвляется ...

В глубине человека заложена реальная вселенная, в нем живет вселенский разум, и найденная в человеке вселенная и вселенский разум всего менее могут быть названы человеческим субъективизмом, субъективным человеческим «переживанием». Это путь реализма, объективизма, универсализма, а не индивидуализма, субъективизма, идеализма. Разум церковной веры есть цельный, органический разум, разум вселенский. И свобода дана в самом начале философствования этого разума, в начале, а не конце. Это – философия свободы, философия свободных. Бытие, жизнь духа даны изначально, даны сознанию первичному, не рационализованному, сознанию церковному, разуму церковному. Познание не есть рационализация бытия и жизни, а есть их внутреннее просветление, их творческое развитие. Познание истины есть посвящение в тайны бытия. Необходимо прежде всего отказаться от рационалистического призрака отвлеченной, исключительно интеллектуальной истины. Истина добывается не только интеллектом, но и волей, и всей полнотой духа. Поэтому истина спасает, истина дает жизнь.

Николай Бердяев. Философия свободы. 1911

Но со свободой – другим именем Божьим – дело обстоит много сложнее. Или наоборот, проще. Это как посмотреть. Третья заповедь запрещает использовать имя Божие всуе. Тем не менее используют. Да и не просто так, а как плетку, которая гонит табун в неведомом ему направлении. Впереди молодые жеребцы – они веселы, легки и свободны. Только гривы на ветру

развеваются. Пара хлестких невидимых ударов плеткой и разворачивается табуна на ровном месте, и летит в противоположном направлении. И те же жеребцы впереди. Свобода. Это политическая свобода, которая неотделима от индивидуальной. И эта индивидуальная свобода дана каждому изначально.

Подснежник в марте пробивается через корку подмерзшего снега. Он сам определяющая причина своих действий. Он выбрал самостоятельно цель своего действия, он действует ради достижения этой цели, он достигает ее и выявляет тем самым свою волю. Ему хочется этого и его действия происходят в полном согласии с его хотением.

Муравей тащит, переваливаясь через препятствия, соломинку, которая в два раза его больше. Полная свобода воли. Он этого хочет, он выбрал цель, он проявляет волю. *Volere!* Если бы он не хотел, то кто-то другой, быть может, притащил бы эту соломинку. Но хочет он. Это его свободное волеизъявление.

Математик придумывает еще одну формулу. Его воля свободна. Тот муравейник, в который он тащит еще одну публикацию, – это не тот муравейник. Это, ух! Это свободный труд свободно собравшихся людей!

Шестой характеристический элемент стиля – его своеобразная музыкальность. У философии вообще много особенностей. Одна из них состоит в ее стильности, соответствующей времени. Стильности, придающей музыкальность, позволяющей участникам действия импровизировать вслед за заданной кем-то другим темой. Так, как это делают джазмены на эстраде, подхватывая музыкальную фразу в нужной тональности и при этом импровизируя. Порой очень красиво. Этот музыкальный стиль, музыкальное направление созвучны экзистенциализму. Быть может, и не случайно, что Жан-Поль Сартр, родившийся в 1905 году и Гленн Миллер (1904), Альбер Камю (1913) и Фрэнк Синатра (1915), Луи Армстронг (1901) и Отто Больнов (1903), как и более старшие Карл Ясперс, Мартин Хайдеггер, Джордж Гершвин, Дюк Эллингтон создали одновременно и эпоху джаза и эпоху экзистенциализма. Не случайно и то, что философы получали свои премии не за рациональные, научные достижения, а за творческий вклад в искусство. И не только нобелевские премии. Если бы существовала премия за наиболее оригинальную музыкальную композицию, то она стала бы самой престижной. Ее мог бы получить Кьеркегор с композицией «Личность является абсолютном, имеющим свою жизненную цель и задачу в самом себе». Или с несколькими композициями, порожденными темой «свобода».

Люди доверяют мудрым. Таковыми они считают философов. Таковым они считали и Сартра. Но вот проходит время и остается лишь ощущение, что вы окунулись в поток сознания. Тени исчезают. Но медаль «за мудрость» остается. Правда, иногда и она тускнеет, но стиль остается. Неповторимый, как и многие художественные стили начала XX века.

Н И КАЛЯГИН

«По поводу смысла духовного строя...»

(М. М. Дунаев. «Православие и русская литература».
Части I-VI. М. «Христианская литература». 1996-2000 г.г.)

ЧТЕНИЯ О РУССКОЙ ПОЭЗИИ
Т 2



«По поводу смысла духовного строя...»

(М. М. Дунаев. «Православие и русская литература». Части I-VI. М. «Христианская литература». 1996-2000 г.г.)

Тромоздкий (более четырех тысяч страниц печатного текста) труд преподавателя Московской Духовной Академии стал библиографической редкостью, едва поступив в продажу. В настоящее время печатается второе издание – и тоже на прилавках не задерживается. Успех исследования объясняется просто: такого именно исследования у нас еще не было, потребность в таком именно исследовании ощущалась давно.

Отношения между литературой и Церковью в России никогда не были простыми и благостными, но до недавнего времени в этих отношениях присутствовало объективное содержание. Пять или шесть поколений ведущих литературных критиков (от Белинского и до Ермилова включительно) Церковь не любили, с Церковью активно враждовали, но при этом обладали набором элементарных сведений о предмете своей неприязни. Если вы, например, прочли у Максима Горького: «Христианская проповедь Достоевского является уродливой и постыдной», – то вы можете быть уверены в том, что Горький, во-первых, не приписывает Достоевскому чужих мнений, во-вторых, осуждает именно христианскую (а не буддистскую или иеговистскую) проповедь, и наконец, говорит именно про проповедь, а не про сходные с ней по звучанию исповедь, заповедь или пропилен. Горького можно **понять**: понявши Горького, можно с ним не согласиться и дать свою собственную оценку христианской проповеди Достоевского.

С выходом на сцену поколения шестидесятников ситуация резко ухудшилась. «Три источника, три составные части» идеологии шестидесятничества давно известны. Это арбатский двор, ленинский комсомол, популярная западная беллетристика («Три товарища», «Над пропастью во ржи», «Счастливчик Джим» и т. п.). Указанным источникам шестидесятник обязан не только своим нравственным воспитанием, но и всем своим образованием. Понятно, что о вероучении и богослужебной практике Православной Церкви настоящий шестидесятник не знает **ничего**. С тех пор как деятели этой формации заняли командные высоты в искусстве и науке (примерно с середины 70-х годов прошлого века), в отношениях между литературой и Церковью наступил мертвый штиль. Русская Церковь и русское слово больше не враждуют – они забывают друг о друге, они не хотят друг друга знать.

Важным результатом этого взаимного отчуждения становится катастрофически быстрое снижение общего уровня гуманитарной культуры в нашем отечестве. К верхним, элитным слоям гуманитарной науки в России всегда принадлежало литературоведение. Приведу два-три примера, иллюстрирующих современное положение дел в этой отрасли знания.

Академическое издание «Пестрых сказок» В. Ф. Одоевского. Действие одной из сказок происходит во время пасхальной заутрени. Ученый комментарий к слову “заутреня”: «Одно из богослужений в православной церкви, совершаемое утром». Комментатор добавляет еще (без особой в том необходимости), что «заутреня бывает вседневная и праздничная – к последней присоединяются так называемые “великое славословие” и “полуелей”».

Сборник статей Н. С. Лескова об искусстве, издание университетское. В одной из статей описывается иконографический сюжет: апостол Петр тянется «нечестивому Малху ухо отрезать». Ученое разъяснение: «Малах Га-Мавет (евр. “посланный смерти”) – ангел смерти, ветхозаветный “ангел-истребитель”».

Ну и так далее. Примеры настоящего религиозного одичания, поразившего отечественное литературоведение, можно приводить без конца. Отдельные исключения, даже блестящие (В. С. Непомнящий, И. А. Есаулов), только подчеркивают правило. Чем ярче звезды, тем ночь темней.

Можно отроду не бывать в церкви, можно не дочитать Евангелия до момента взятия Христа под стражу, можно не знать, что утреня в наших храмах начинается в 7-8 часов вечера (пасхальная же утреня, на которой, кстати сказать, не совершаются ни Великое Славословие, ни полиелей, начинается вскоре после полуночи), можно называть полиелей «так называемым полулеем» – и при этом быть специалистом в области классической русской литературы, иметь трибуну, печатать труды. Можно влезать без мыла в творческую лабораторию русских классиков, которые худо-бедно на православном богослужении были воспитаны, можно хозяйничать в их наследии, власть его издавать, комментировать, интерпретировать.

Дунаев ясно видит указанную проблему и уже на первой странице своего труда замечает: «Истории русской литературы как научной дисциплины, которая бы хоть в какой-то степени совпадала в своих аксиологических координатах с аксиологией предмета своего описания, не существует».

Переломить эту абсурдную ситуацию, поднять историю русской литературы на ту высоту, на которой издавна покоится предмет ее описания, – вот задача, стоявшая перед исследователем. Посмотрим теперь, что у него вышло.

Начинает Дунаев во здравие: называет русскую классику «великим проявлением русского национального духа», с разумной осторожностью пишет о том, что «религиозное, православное миропонимание», отличающее нашу литературу, в принципе не может быть сведено ни к простой связи с приходской жизнью (пресловутые «церковность» или «нецерковность» писателя), ни к усиленной эксплуатации сюжетов и тем, взятых непосредственно из Священного Писания. Но уже со второй страницы исследования явственно начинают звучать зауспокойные мотивы.

Обосновывая свой тезис о религиозном характере русской литературы, Дунаев предлагает «довериться для начала» взгляду на нашу литературу писателей «не-русских». Авторитетнейшими оценщиками нашей литературы оказываются у Дунаева следующие иноплеменники: «украинский писатель Иван Франко», сын австрийского подданного Стефан Цвейг, а также «турецкий переводчик и критик Э. Гюней». Прочитав своих трех авторов (при этом выясняется, что суждение турка совпадает с суждением Цвейга почти дословно; вполне очевидно, что «Э. Гюней» – это тот же Стефан Цвейг, только переведенный дважды: сначала с немецкого на турецкий, потом с турецкого на русский), Дунаев делает ответственный вывод: «Вот главная особенность великой русской литературы: это литература прежде всего ПРАВОСЛАВНАЯ».

Мировая известность русской литературы началась в 70-е годы XIX века; в первой половине XX века русская литература являлась, несомненно, самой читаемой и самой обсуждаемой литературой мира. Крупнейшие, авторитетнейшие писатели Запада наперебой пишут в эти годы о русской литературе – и пишут, разумеется, *по-разному*. Рильке называет Россию «родиной всех своих чувств и мыслей», Эзра Паунд полагает, что книги русских писателей вообще не следует брать в руки. Шпенглер предсказывает в 1922 году: «Христианство Достоевского принадлежит будущему тысячелетию», в 1927 году Лоуренс пишет о героях Достоевского следующее: «Они успели нам надоест. Раздвоенные личности с религиозностью беспризорников, они копаются в своем грязном белье и в своих грязноватых душах». Томас Манн, Вирджиния Вулф, Гессе впрямую пишут о некой «святости» русской литературы, причем последний характеризует эту святость как «новую, жуткую и опасную». Тут нечему *доверяться*, тут есть над чем задуматься и есть от чего оттолкнуться.

Сам же Дунаев, приведя в третьей части своего исследования развернутый отзыв Стейнбека о драме Островского «Гроза», дает этому отзыву следующую примечательную характеристику: «Невежество, самоуверенность, тупое нечувствие не только к духовным или душевным проблемам, а даже к сюжету – поразительны». То есть взгляду на русскую литературу Стейнбека, классика литературы американской, Дунаев явно не спешит доверяться... Становится понятным, что все его слова о «взгляде со стороны», равно как и предложение «вдуматься» в особенности восприятия нашей литературы иноземцами, ничего не значат. Ответ задачи известен Дунаеву заранее («прежде всего ПРАВОСЛАВНАЯ») – решение подгоняется под готовый ответ.

Но вот что странно. Качество цитат, использованных Дунаевым для получения своего «единственно правильного» ответа, в точности соответствует уровню советского отрывного календаря (помните эти календари? в них на каждый день года помещалось отдельное изречение – и все из таких же отчаянных авторов: не Э. Гюней так Н. Хикмет, не Стефан Цвейг так Ромен Роллан, не Иван Франко так Ванда Василевская), хотя *тот же самый ответ* Дунаев мог получить, опираясь на высочайший авторитет Рильке или хотя бы на солидный, прочный авторитет Томаса Манна... Для чего

Дунаев вводит в свое исследование тексты из отрывного календаря? Ответ очевиден: Дунаев цитирует календарь, потому что календарь первым попался ему под руку. В принципе же выбор между календарем и Рильке для Дунаева безразличен – в его глазах эти источники одинаково нецерковны, одинаково не авторитетны.

Замечу, чуть забегая вперед, что все шесть томов исследования отличаются, во-первых, небрежностью и неряшливостью письма, даже для нашего времени редкими (порой кажется, что Дунаев сознательно пишет дурно, что он, подобно персонажу «Веселых ребят» Доброхотовой и Пятницкого, садится за рабочий стол с мыслью: «Напишу-ка я нарочно похуже»), а во-вторых – редкой тоже самоуверенностью автора. Оценки Дунаева безапелляционны, синтаксис кустарно-своеобразен. В самой манере строить фразу чувствуется какое-то тяжеловесное самодовольство.

Видно, что Дунаев не считает себя рядовым участником литературного процесса; на обычных писателей (таких, как Пушкин или Тютчев) он смотрит неизменно *свысока* – поправляет, журит за ошибки. Главное, ни на минуту не дает нам забыть о том, что их радость – не его радость, их боль – не его боль. Читателю, наконец, становится страшно. Что же это за высота такая открылась и покорила Дунаеву? Тому, кто стоит на этой высоте, одинаково маленькими кажутся Рильке и Иван Франко, а обычные заботы обычных авторов (там, о чистоте и выразительности языка, о единстве стиля, о композиционной стройности и проч.) совершенно искренне представляются какой-то мышшиной возней.

Сам Дунаев достаточно ясно обозначает эту высоту во вступлении: «В наших размышлениях о важнейшем в отечественной литературе <...> на что опереться, чтобы понять сущностное? Опору для себя найдем в Нагорной проповеди: “Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и тля истребляют и где воры подкапывают и крадут; но собирайте себе сокровища на небе”...»

Вот где таится причина странного (и русской культуре несвойственного в принципе) самодовольства Дунаева. Ему представляется, что опора на абсолютный (слова Спасителя!) критерий делает и само исследование абсолютным, непогрешимым. Очень хотелось бы ошибиться, но мне сдаётся, что Дунаев в своем сегодняшнем духовном состоянии и не способен взглянуть на собственный труд трезво. Укажите ему на самый очевидный, самый вопиющий недостаток исследования – и исследователь, подивившись в душе вашей наглости, тихо спросит: «Вы не согласны со словами Христа?»

Михаил Михайлович Дунаев в сем случае совсем неправ. Христос ни слова не сказал о русской классической литературе – труд ее осмысления и оценки Он предоставил нам. «Откуда вы знаете? – спрошу я у Дунаева (сознательно повторяя ехидный вопрос Адамовича, обращенный ко всем без исключения мыслителям “религиозно-философской” ориентации). – Откуда вы знаете, что ваша методология угодна Богу?» Вы опираетесь на текст Евангелия, но в Евангелии есть и другие тексты. «Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный», например. «Если не обратитесь и не будете

как дети, не войдете в Царство Небесное». Вы же не захотите сказать, что эти два текста недостойны стать опорой «в наших размышлениях о важнейшем»? Не захотите. Ну так вот вам еще две истории русской литературы – и истории, надо сказать, совершенно разные, хотя основание у каждой одинаково абсолютно. Выбор критерия, сделанный вами, это ваш выбор; отвечать за результат своего труда вам предстоит в одиночку. Опыт показывает, что заурядная научная добросовестность, заурядный литературный талант, заурядная любовь к предмету исследования лучше помогают писателю, чем опора на тот или иной текст Писания. (Вспомним Льва Толстого, который сначала написал “Казачков”, “Войну и мир”, “Анну Каренину”, а уже потом нашел опору в двух текстах Нагорной проповеди: «не противься злему» и «не клянись вовсе».)

Скажу больше. Допустим на минуту, что слова «не собирайте себе сокровищ на земле...» являются подлинным и единственным критерием, позволяющим определить все важнейшее, все сущностное в русской литературе. Кто же сможет этим критерием воспользоваться? Как заметил некогда А. К. Толстой:

*Способ, как творил Создатель,
Что считал Он боле кстати,
Знать не может председатель
Комитета по печати.*

Один Бог знает, на земле или на небе собирал свои сокровища тот или иной классический автор, а человек, будь он даже преподаватель Московской Духовной Академии, этого знать не может.

Дунаев смутно догадывается, что выбор отправной точки исследования удался ему не вполне, но обычная самоуверенность его не оставляет. Дунаев продолжает двигаться равномерно и прямолинейно. «Где критерий собирания сокровищ? – задает он уточняющий вопрос. – Христос обозначил такой критерий ясно и просто: “Ибо, где сокровище ваше, там будет и сердце ваше”. К чему прикипаем мы сердцем – это ведь мы вполне определенно ощущаем, когда начинаем вслушиваться в голос совести...»

Увлечшись укреплением основного абсолютного критерия своего исследования абсолютным критерием вспомогательным, Дунаев не заметил того, что решение проблемы ускользнуло от него на этот раз в тайники чужой совести. Наверное, Лев Толстой или Достоевский вполне определенно ощущали в лучшие минуты жизни, к чему именно прикипело их сердце, – но какая польза исследователю от *ощущений* Толстого и Достоевского, одному Богу сегодня известных?

Дунаев не видит здесь проблемы, для него, как мы заметили, все «ясно и просто». Просто «вслушаться в голос совести» Толстого или Достоевского, ясно слышно, что она каждому из них говорила.

Результат этой ясности и этой простоты самоочевиден. На протяжении шести томов Дунаев вершит суд над русскими писателями, руководствуясь своими личными вкусами и пристрастиями, но свои вкусы и пристрастия

неизменно выдает за истину в последней инстанции, нескучно драпируя их текстами из Писания и святых отцов. Нравятся Дунаеву, например, Вяземский, Чехов и Ходасевич – и выясняется, что эти авторы были коренными выразителями православного духа в русской литературе, собирали себе сокровища на небе. Не нравятся Дунаеву Кантемир, Блок и Есенин – и Дунаев пишет об этих поэтах предельно резко, отказывая им не только в писательском, но и в человеческом достоинстве. «Сатиры Кантемира дурно пахнут». «Вот причина гибели Есенина: внутренняя: ни поста, ни молитвы».

Старый вольтерьянец Вяземский, вполне индифферентный к религии Чехов и уж тем более Ходасевич (этот злобный нигилист на классической подкладке) не постились и не молились, что называется, *по определению*. Таким образом, Дунаев использует Нагорную проповедь как ширму, из-за которой удобно подавать читателю незатейливые языческие правила: что позволено Юпитеру-Ходасевичу, то не позволено быку-Есенину; что для Ходасевича здорово, то Есенину смерть и т. п.

Но не будем забегать вперед.

Заканчивает свое вступление Дунаев следующими словами: «В мемуарах известного церковного деятеля первой трети XX века митрополита Евлогия (Георгиевского) находим свидетельство, слишком важное для понимания достоинств русской литературы. Владыка Евлогий рассказывает, как в ранней молодости, в первые два года семинарской своей жизни он отличался не вполне достойным поведением и образом жизни. Что же помогло избежать падения? Чтение русской литературы <...> Дополнительных пояснений, пожалуй, вовсе не требуется».

Действительно. Раз уж русская литература помогла одному юноше стать митрополитом (и уже в этом качестве основать т. н. «евлогианский раскол» в Русской Православной Церкви), значит право на существование у нее есть. Но можно, вооружась железной логикой Дунаева, обосновать и прямо противоположную мысль. Например, так: известный церковный деятель второй половины XX века митрополит Иоанн (Снычев) не увлекался в юности чтением художественной литературы. Что же помогло ему избежать падения? Некое видение на танцплощадке. Этот факт, слишком важный для понимания достоинств русской литературы, показывает, что без нее спокойно можно обойтись.

Закончив со вступлением, Михаил Михайлович Дунаев зажигает свой светильник (критерий собирания-несобирания сокровищ) и спускается в мрачные пропасти русской литературы. Последуем за ним.

И для начала поговорим подробнее об языке исследования. В издательской аннотации указывается, что «в основу книги положен курс лекций, прочитанный автором в Московской Духовной Академии». Вряд ли автор хотя бы раз внимательно просмотрел свои лекции перед отправкой их в издательство. Разнообразные курьезы – стилистические, логические, синтаксические, грамматические – встречаются чуть ли не каждой странице его труда.

Приведу несколько характерных образцов Дунаевского стиля.

«Да, вся эта западная соблазнительная премудрость, выплескиваемая на Россию уже целое столетие, не могла же хоть сколько-то не задеть любого. И Пушкин нахлебался тоже вдоволь».

«Вошел он в литературу мощно и победно (вовсе не на “тонких эстетических ножках”, как не разглядел один неумный критик)».

«Тесные врата спасения – образ слишком определенный, чтобы оставались по поводу смысла духовного строя произведения какие-либо неясности».

«Может быть Пьеру и суждено было погибнуть духовно, но сильная душевная организация его в значительной мере противится тому и даже подавляет чрезмерность духовных метаний».

«Либеральная интеллигенция тянулась к атеизму не на шутку».

Ну и так далее. Похоже, что Дунаев, в отличие от славного мольеровского мещанина, вовсе не догадывается о том, что его рассуждения о Православии и литературе – это все-таки *проза* и что место, которое займет его книга в семье русских книг, будет зависеть в первую очередь от качества его прозы, от уровня его письма.

«Форма столь же важна для сущности, как сущность для себя самой», замечает Гегель. Наивно надеяться, что темная и вялая фраза способна скрывать в себе строгую и ясную мысль. Многочисленные цитаты из святых отцов, которыми наполнено дунаевское исследование, в этом отношении безупречны, но Дунаев ведь насильственно притягивает святых отцов к решению проблем, во-первых, узкоспециальных, а во-вторых, своих собственных. Святыми отцами Дунаев заслоняется, ими он маскирует свою личную филологическую немощь. Со святыней все же бережнее надо обращаться... Дунаев не понимает того, что единственной и *естественной* реакцией на его труд среднестатистического русского читателя (церковно малообразованного, но воспитанного в духе уважения к родной литературе) будет следующая: «Вы говорите, что собираете свои сокровища на небе? Да вы с обычной грамматикой не в ладах. Вы говорите, что Пушкин и Тютчев собирали свои сокровища на земле? Вам виднее. Зато они не писали “по поводу смысла духовного строя” и прочую галиматью. Не знаю, что вы хотели доказать своей книгой, но одно вы доказали твердо: в литературных делах опора на земные сокровища – надежнее».

Та ли это реакция, на которую рассчитывал профессор Дунаев?

Настоящим приговором его исследованию звучат слова Дж. Аддисона, написанные без малого 300 лет назад: «На свете нет ничего утомительнее трудов тех критиков, которые пишут в утвердительном догматическом стиле, не обладая ни умением владеть языком, ни талантом, ни воображением».

Дурной язык – не единственный и не главный недостаток рассматриваемого нами исследования. Обескураживает полное равнодушие автора к эстетической, художественной стороне дела. Отчасти это равнодушие можно объяснить какими-то индивидуальными особенностями автора (врожденная эстетическая

тугоухость, неразвитый художественный вкус), но только отчасти. Дунаев не просто равнодушен к эстетике – он склонен находить в своем равнодушии «особенную, вчера только открытую красоту».

Обратимся еще раз ко вступлению. В нем Дунаев пишет, устанавливая задачу своего исследования, следующее: «Мы находимся у истоков долгого процесса обновленного исторического познания русской литературы. Становится ясной важнейшая задача такого познания: переход от социального или чисто эстетического анализа литературы к религиозному».

В том-то и дело, что отказ от эстетического анализа литературы дается Дунаеву легче, чем декларируемый переход от социального (читай – марксистского) к религиозному анализу русской литературы. Дунаевскую религиозную критику роднит с марксистской социальной критикой слишком многое: и та и другая не ищут в литературе ее идеальную, ноуменальную сторону, и ту и другую не интересуют литература как вещь в себе.

Взгляните для начала на список авторов, которым отведено в исследовании Дунаева наибольшее число страниц.

Первые три места по этому показателю занимают Толстой (345 страниц), Достоевский (277) и Чехов (178). Пушкин (143) располагается на шестом месте, уступая еще Шмелеву (158) и Лескову (144); за Пушкиным теснятся Тургенев (133), Горький (132) и Гоголь (130). Эти девять авторов и составляют в рассматриваемом исследовании ядро классической русской литературы, прочие авторы заметно им уступают. Перечислю, в порядке убывания, некоторые имена.

Лермонтов – 81 страница; Бунин – 80; Солженицын – 71; Даниил Андреев («Роза мира») – 66; Маяковский – 60; Тютчев – 45; Помяловский – 34; Гончаров – 22; Державин – 18; Тендряков – 14; Грибоедов, Киреевский, Айтматов – по 13; Горенштейн – 9; Гумилев – 8; Вик. Ерофеев – 7; Шолохов – 6; Ломоносов – 4; Фет – 3.

Ни одной страницы в Дунаевском исследовании не имеют Крылов и Катенин, Баратынский и Каролина Павлова, Аполлон Григорьев и Страхов, Дружинин и Сухово-Кобылин, Случевский и Анненский, Леонтьев и Розанов, Адамович и Заболоцкий.

Не правда ли, открывшаяся нашему взгляду картина совершенно безотрадна? Все это напоминает какой-то советский курс «Истории русской литературы для ремесленных училищ». Различия, в самом деле, минимальны. Прежний критерий оценки литературных произведений («служение исторически прогрессивному делу», «партийность») заменяется новым («собрание сокровищ на небе»), столь же *внешним* по отношению к предмету исследования. В первый ряд классиков выдвигаются авторы, явно этому уровню не соответствующие: «социальный» Некрасов (в советском школьном курсе), «религиозный» Шмелев (у Дунаева). Горький присутствует в обоих курсах – и практически в одинаковом объеме... Вообще у Дунаева, по сравнению с советским школьным курсом, почти не меняются *величины* – меняются знаки перед величинами, меняются оценки. Если в советском школьном курсе Горький оценивался на «отлично», поскольку посвятил свой

талант исторически прогрессивному делу – борьбе за освобождение рабочего класса, то Дунаев ставит Горькому «неуд» – за то, что этот автор посвятил свой несравненный талант антихристианскому делу (т. е. все той же борьбе за освобождение рабочего класса). Дунаев не понимает главного: велика была во все времена известность Горького, но не его мастерство и уж тем более не его талант. Сложив сто тридцать Горьких в тридцать пятью Помяловскими, не получишь в результате того *качества*, которое реально присутствует чуть ли не в каждом стихе Баратынского.

В свое время Аполлон Григорьев назвал революционно-демократическую критику (чьей законной наследницей и явилась литературная критика советской эпохи) «теоретической» критикой. Это низшая разновидность критики. Критик-«теоретик» не занимается кропотливым анализом литературных произведений – он их сортирует, проверяет на соответствие некоему умозрительному образцу, все параметры которого жестко заданы теорией. Так Добролюбов, наспех обследовав пушкинскую лирику на предмет наличия в ней «серьезного» (т. е. социального) содержания, не обнаружил в шедеврах пушкинской лирики социального содержания и объявил их «альбомными побрякушками». Мы видим, что и в наши дни «теоретическая» критика жива. Дунаев не находит религиозного содержания в стихах Баратынского и Фета. Такие авторы Дунаеву неинтересны. Десятки страниц в его исследовании посвящены зато «религиозно содержательным» Даниилу Андрееву, Чингизу Айтматову, Тендрякову, Горенштейну и тому подобным авторам. Сотни страниц в дунаевском исследовании отведены анализу религиозных воззрений Толстого и Лескова, Горького и Мережковского.

Понятно, что «религиозность» перечисленных авторов сводится к более или менее злобным нападкам на историческое Православие, историческое христианство. Так что же? Авторы, прямо нападающие на Христа или на Его Церковь, все же интереснее Дунаеву, чем авторы, не пишущие про Христа и про Его Церковь прямо. С первыми Дунаев ведет полемику, вторых – игнорирует.

Дунаевский разбор религиозных заблуждений Толстого или Даниила Андреева показался мне интересным и достаточно убедительным. Но литературоведение и сектоведение – разные все-таки науки. Что можно сказать про историка литературы, который, не заметив в кунсткамере русского слова таких слонов, как Заболоцкий, Случевский, Баратынский, азартно полемизирует с посредственностями типа Айтматова или Тендрякова? Да ничего не нужно говорить про такого историка литературы. Он безнадобен.

Отказ от эстетики возможен только на словах. Человек, если конечно он не сумел расчеловечиться до конца, просто не способен обойтись без эстетики. Выгнанная в дверь, она влетит в окно. На деле декларативный отказ от эстетики означает одно: человек обзавелся собственной, доморощенной, системой эстетики.

«Чисто эстетический анализ», отвергнутый Дунаевым во вступлении,

конечно же, проникает в его труд контрабандой. Так, в сердечное умиление приводит его язык Мельникова-Печерского – те самые словесные завитушки в ложнорусском стиле, которые на деле и отбрасывают этого замечательного бытописателя во второй ряд русской классики. «Словесным мастерством Мельникова-Печерского» Дунаев искренне восхищен. Как образец словесного мастерства Мельникова-Печерского Дунаев выписывает большущий кусок романа “В лесах”: «Как взглянула Матренушка в его очи речистые, как услышала слова его покорные да любовные, загорелось в ней сердце, отдалась в полон молодцу <...> Раздавались, расступались кустики ракитовые, укрывали от людских очей стыд девичий, счастье молодецкое», – и замечает по поводу своей выписки: «Одним чтением, переживанием языка усладить себя можно». Мы видим, что привычка услаждаться языком литературного произведения, отставляя до времени в сторону пресловутый «религиозный анализ», присуща Дунаеву не меньше, чем нам, грешным. Просто у него другой вкус. Язык Пушкина, Тютчева, Блока не выводит из равновесия дунаевский механизм самоконтроля, к этим авторам Дунаев строг. Другое дело «раздавались, расступались кустики ракитовые» – тут уже не до строгости. Не худо было бы, замечает Дунаев, обучать детей русскому языку по романам Мельникова-Печерского.

Как мы уже заметили, сердечные пристрастия Дунаева, равно как и его безотчетные антипатии, играют в исследовании определяющую роль. Поэтому имеет смысл поговорить о симпатиях и антипатиях Дунаева подробнее.

К Есенину Дунаев беспощаден. Есенин «варварски разрушал свой талант», придерживался «каких-то дурных шаблонов в восприятии русского пейзажа», «подлаживался под идеологию властей» и прочее. «Ныне многие рассуждают о чекистском заговоре, жертвою которого стал Есенин, – с брезгливым отчуждением замечает Дунаев. – Попытка отыскать внешних убийц есть нежелание вникнуть в духовный смысл происшедшего <...>. Есенин был внутренне расположен к смерти, черный человек уже владел всецело его душой».

С не меньшей определенностью пишет Дунаев о Блоке:

«Захотелось вместо расхлябанных дорог мчаться по шоссе?» (По поводу “Новой Америки”).

«Легко сбился поэтом на нутрянную племенную спесь» (“Скифы”).

«Перевод на смердяковский язык ивано-карамазовского “все дозволено”» (“Двенадцать”).

«Автор ведом гордынею, и в самоупоении противопоставляет...» (“Поэты”).

Но вот очередь доходит до Мандельштама.

«Когда семнадцатилетний молодой человек, пробуя себя в творчестве, способен сложить строки... – тут Дунаев приводит действительно несколько строчек, написанных юным Мандельштамом, – то это означает лишь одно: в поэзию вступает Поэт».

Дунаев сообщает далее, что музыка у Мандельштама рождается «из тишины, из ее материальной плотности... Не из стихии, как у Блока, именно из тишины». Что Мандельштам – «христианин, сознательно принявший Крещение», и что «православное мироощущение дает возможность» Мандельштаму «сквозь время заглянуть в вечность».

Вы видите сами, что тон здесь совсем другой, чем в тех злобных пассажах, которые посвящены творчеству поэтов, принявших крещение несознательно, в младенческом возрасте.

Равное место (по полторы строчки примерно) отведено в исследовании Рубцову и Окуджаве. Рубцов упомянут среди художников, «наделенных талантами от Бога, но не сумевших соответствовать своему дару» и «потерявших себя в жизни». На особицу о Рубцове сказано одно слово: «безвольный». Об Окуджаве говорится в другой тональности: «Искренний же и душевно тонкий Окуджаву пришел в Церковь – принял святое крещение». Примечательно, что Окуджаву у Дунаева принимает крещение со строчной, а не с прописной, как Мандельштам, буквы «к». Такое начертание ясно показывает, что в дунаевской литературной табели о рангах Окуджаву, чуть опережая за счет искренности и душевной тонкости Николая Рубцова, отстает от Мандельштама на добрый десяток разрядов.

Граничит с чудачеством отношение Дунаева к Ходасевичу. Воистину поэт этот для Дунаева «не по православному мил, но по милу православен».

Так, уже во второй части исследования, в статье, посвященной творчеству Тютчева, Дунаев вдруг предлагает ни с того ни с сего «сравнить времязоущение трех поэтов» – Пушкина, Тютчева и Ходасевича. Заметив попутно, что «само время делает восприятие себя самого все трагичнее», Дунаев отдает пальму первенства в русской поэзии – по части трагизма – Ходасевичу. «Поэт XX века без надежды взирает на жизнь, на время, на будущее». «Без надежды» – это, в данном случае, хорошо. Это похвально, Речь ведь идет о Ходасевиче.

Небольшая по объему, статья о Ходасевиче наполнена самыми невероятными славословиями. Мы можем узнать из нее, что Владислав Фелицианович:

«Был, по убеждению В. Набокова, непревзойденным во всем XX веке русским поэтом».

«Поэт высочайшего уровня».

«Только религиозное осмысление жизни освещает ее особым светом, позволяя предчувствовать недоступное духовно незрячему. Ходасевич поднимается именно до такого осмысления».

«Ходасевич осмыслил и ощутил творчество в секуляризованном пространстве бытия именно как трагедию – никто до него, ни после, кажется, не постиг того с подобным совершенством и глубиной».

«Нельзя сказать гениальнее».

«Прозрение поразительной мощи».

Ходасевич и вообще-то поэт гнусоватый (вспомните хотя бы стихотворение, в котором «кисленький пирамидон» рифмуется с «вереницею

мадонн», вспомните и гневную реакцию на эти стихи Адамовича и Г. Иванова), но есть у него одна песенка (“An Mariechen”), далеко превосходящая своей гнусностью все, что было написано в русской поэзии по этой части до Ходасевича и, кажется, после него. И что же? Недаром ведь говорят люди: любовь зла... Исследователь просто не может удержаться – берет и переписывает эту песенку почти целиком, украшает, так сказать, ею свое исследование! А так как изречь по поводу “An Mariechen” что-нибудь не то чтоб «религиозное», а просто цензурное трудно, то Дунаев сопровождает свою перепечатку скупым комментарием: «Подлинно поэтическая дерзость мышления...»

Полезно сравнить эти наивные откровения любящего сердца с теми полновесными затрещинами, которые Дунаев то и дело отвешивает Пушкину.

«В ненависти к самовластию <...> Пушкин, что ему порою было присуще, переклещивает через край, являя себя явным антихристианином».

«Что “Гавриилиада”? Детская шалость. Ему суждено написать нечто более страшное – богоборческие строки “*Дар напрасный, дар случайный...*”»

«*Не смываю...*” Покаяние неполное?» (Полный Дунаевский комментарий к гениальному “Воспоминанию”).

«Какие-то странные фантазии» (“Утопленник”).

«Уж совсем удивляющая фантазия» (“Уродился я, бедный недоносок...”).

«Мрачный скептицизм неверия» (“Анчар”).

«Любви к ближнему у него нет» (“Поэт и толпа”).

«Пушкин допускает явный образный просчет» (о том же стихотворении).

«Сердце надрывается, а ум... Он как будто отступил» (“Бесы”).

«Еще один пример неопределенности образов и даже курьезной противоречивости» (“Вакхическая песня”).

«“Памятник” свидетельствует, помимо всего прочего, и о неизжитом грехе любоначалия».

«Отсутствие целомудрия <...> это проблема самого автора» (“Каменный гость”).

«До конца жизни Пушкин не изменил некоторым иллюзиям, связанным с идеализацией Петра» (“Медный всадник”).

Дунаев не понимает того, как опасно он ходит. Злобный Ходасевич, боготворивший Пушкина и всю жизнь Пушкиным как дубиной дравшийся, просто перегрыз бы Дунаеву глотку за приведенные здесь оскорбительные и легковесные отзывы о Пушкине. Так что любовь Дунаева к Ходасевичу, будь этот поэт жив, имела все шансы стать *роковой и последней* любовью в жизни Дунаева.

Чувство Дунаева к Ходасевичу – это, конечно, «*пристрастье, род недуга*»; более светлое и отрадное чувство связывает Дунаева с Чеховым. Чехова Дунаев просто любит. Творчество Чехова, чеховская биография изучены им досконально. Сотни свидетельств пожизненного равнодушия Чехова к религии хорошо ему известны.

И что же? В этой ситуации в Дунаеве неожиданно просыпается художник.

Грубость и самоуверенность на время отставляются в сторону. Дунаев на 13-ти страницах достаточно глубоко и тонко растолковывает читателю особенности душевного склада Чехова, обусловившие ту «целомудренную стыдливость, с которой Чехов укрывал от посторонних то, что было для него сущностно важно» (а по *догадке* Дунаева сущностно важной для Чехова была религия). На 14-й странице Дунаев переходит от догадок к фактам. Нужный факт в чеховской биографии отыскивается – правда, в единственном числе. Оказывается, Чехов сказал однажды некоему Альтшуллеру: «А знаете, четвертое измерение-то, может, окажется и существует, и какая-нибудь загробная жизнь». Как говорится, любящему достаточно. Полная православность Чехова считается с этой минуты доказанной, и далее, на протяжении ста шестидесяти трех страниц льются славословия этому его качеству.

Конечно, только в таком духе и следует писать о классических авторах. Задача, стоящая перед подлинным критиком, критиком-художником, триедина: во-первых, полюбить писателя, во-вторых, узнать о писателе все, что только возможно. Наконец – понять писателя. Понимание же надежнее всего предохраняет нас от греха осуждения... Хорошо, что Дунаев сообщает читателю все необходимые факты чеховской биографии, не предваряя вместе с тем Божьего Суда над этим замечательным русским художником. Привлекательной кажется мне и слабость Дунаева к Ходасевичу – на месте самодовольного и, скажем прямо, туповатого талмудиста обнаруживаешь вдруг живого человека с какими-то его особенностями, с какими-то странностями... Хорошо, что жена Ольга успела покрестить за час до смерти Булата Окуджаву. Хорошо, что юный Мандельштам не поленился съездить в Выborg, чтобы окреститься там у протестантского пастора (не в «казенное» же Православие было ему обращаться? Отказываться же от выгод, связанных с принятием крещения в царской России, не было причины. Небольшая выгода – все равно выгода). Все-таки покрестился человек... Я готов разделить с Дунаевым его радость по этому поводу.

К сожалению, в таком именно духе Дунаев пишет редко. Основное свойство историографов русской философии типа Зеньковского, Н. Лосского, Левицкого, на которое указал недавно Н. П. Ильин: «Самая строгая (в смысле “воцерковления”, “православности” и т. д.) требовательность по отношению к “чужим” и беспредельная снисходительность по отношению к “своим”», – присуще в высшей степени и такому историографу русской литературы, как Дунаев.

Беда не в том, что Дунаев пристрастен. В области гуманитарных, словесных наук «человеческий фактор» неустраним; личность исследователя всегда будет присутствовать в исследовании. О полной объективности в литературоведении не приходится даже и мечтать. Беда в том, что Дунаев в угоду своим пристрастиям как-то уж слишком легко жертвует научной истиной. Фактов, не укладывающихся в прокрустово ложе его концепций, он просто не замечает.

Вяземский, например, принадлежит к тем авторам, к которым Дунаев

«беспредельно снисходителен». Вяземский для Дунаева не только «истинный поэт», что, конечно же, верно, но еще и «предшественник славянофилов». Это курьезное предположение, ничем не доказанное, является как раз допустимым проявлением дунаевских пристрастий. Здесь исследователь из любви к поэту приписывает ему небывалые достоинства (принадлежность к славянофильству для Дунаева – высшая похвала), грубо говоря – завирается. Такие промахи снижают, конечно, научную ценность исследования, но не роняют моральную личность исследователя. Совершенно недопустимым является следующее: Дунаеву хочется называть Вяземского «истинно церковным человеком», и поэтому Дунаев, натурально, не вспоминает о том, что Вяземский написал на протяжении жизни добрый десяток богоборческих стихотворений, не вспоминает и о том, что этот «истинно церковный человек» умер, отказавшись от исповеди и причастия.

Об отношении Дунаева к Блоку мы уже говорили. Между тем, церковному человеку должны быть известны слова преподобного Нектария Оптинского, который после смерти Блока полторы недели молился, по просьбе Н. А. Павлович, об упокоении души поэта: «Напиши матери Александра, чтобы она была благонадежна: Александр в раю». Митрополит Вениамин (Федченков) – один из лучших в XX веке духовных писателей России, суждения которого *по другим вопросам* Дунаев неоднократно цитирует в своем исследовании, – писал о Блоке так: «Была абсолютная искренность. Были искания алчущего и жаждущего правды: ни тени лжи <...> Пусть он шел не обычным путем – но был искренним христианином». Натурально, эти церковные свидетельства в пользу Блока Дунаев обходит молчанием. (Между тем, он обязан был заметить тот факт, что митрополит Вениамин в своем рассуждении о Блоке опирается, подобно самому Дунаеву, на текст Нагорной проповеди – и при этом приходит к диаметрально противоположному взгляду на духовную личность Блока. Этот факт мог бы поколебать досадную уверенность Дунаева в непогрешимости собственной методологии, мог бы, говоря прямо, пробудить в нем дремлющую научную совесть... Увы, увы.)

Атеист Набоков не может являться и не является для Дунаева авторитетом. Тем не менее, мнение Набокова о Ходасевиче как о «непревзойденном во всем XX веке русском поэте» в исследовании приводится. Величайшим авторитетом в глазах Дунаева обладают православный писатель И. С. Шмелев и православный мыслитель И. А. Ильин. Из опубликованной переписки Шмелева с Ильиным нетрудно заметить, что Ильин считал Ходасевича «прохвостом» и «гадюкой подколодной», Шмелев же считал Ходасевича «цинником», «словоплутом», «желчевиком», «змеей», «писарем литературного комиссариата», «недоумком», «полячком, подбирающим возле Пушкина», «крокодилом», «гадом незадавшимся», и «злой жевачкой с прописей». Дунаев с этими мнениями знаком, но они ему *не нужны*. Ненужные мнения остаются за рамками исследования, в самой сердцевине которого Шмелев, Ильин и Ходасевич сливаются воедино на почве общего для всех троих «религиозного осмысления жизни».

К Петру I Дунаев относится вполне однозначно. Петр для Дунаева «тиран», проявлявший во все дни своей жизни «неисправимую узость и ущербность мышления», нанесший «сильнейший удар <...> по Православию» и т. д. Но Дунаев не может же не знать, что государственную деятельность Петра поддерживал святитель Митрофаний Воронежский, пожертвовавший, в частности, личные средства на создание первого русского флота? Конечно, Дунаев знает об этом. Но не упоминает. Роль святых в его исследовании нами уже достаточно изучена. Их авторитетом удобно прикрываться, публикуя свои рассуждения «о важнейшем в отечественной литературе». Но считается с теми именно их высказываниями или поступками, которые впрямую относятся к теме исследования (и, как правило, противоречат дунаевским концепциям), Дунаеву и в голову не приходит. Как человек, читавший историю Церкви, Дунаев знает, что и святые могут иногда ошибаться.

Замечая, что рецензия моя начинает приобретать погромный оттенок; у читателя может создаться впечатление, что в Дунаевском исследовании вовсе нет положительных качеств. Разумеется, это не так.

Дунаев не писатель, не мыслитель и не ученый; Дунаев эрудит и начетник, натаскавший в свое исследование огромное количество материала, нередко малодоступного и ценного. Дверь в поэзию для Дунаева, что называется, закрыта навсегда, но многие его статьи, посвященные русским прозаикам, заслуживают внимания. Удовлетворительны или просто удачны статьи Дунаева о Чехове и Горьком, А. Болотове и Печерине, Помяловском и Данииле Андрееве, Леонове и Солженицыне. Кажется, Дунаеву легче говорить о писателях второго или даже третьего ранга, чем о писателях первоклассных. Но и тут у Дунаева встречаются удачные страницы: это случается всякий раз, когда он обращается к авторам, чье творчество хорошо знает и любит, или просто имеет под рукой хорошие, надежные источники. Когда Дунаев пишет о Гоголе «по Воропаеву», о Толстом «по Мережковскому» и «по И. Ильину», о М. Булгакове «по Гаврюшину», то результат получается более или менее приемлемый.

Но создание нового, по сути своей **революционного**, курса истории русской литературы Дунаеву просто не под силу. Эрудиция его велика, но далеко не первосортна. Лучшие русские критики (Ап. Григорьев, Страхов, Дружинин, Говоруха-Отрок, Анненский, Недоброво, Гумилев, Адамович, из современных – Лобанов, Чалмаев, Кожинов) не изучены им сколько-нибудь внимательно. Он может писать о Есенине или Рубцове, не учитывая новаторских книг отца и сына Куняевых и Н. Коняева, посвященных творчеству этих поэтов, но вот суждения какого-нибудь М. Золотоносова – этого главного в современной демократической прессе эксперта по «антисемитизму» русских писателей-классиков – вводит в свое исследование недрогнувшей рукой. Голоса мыслителей «религиозно-философской» ориентации (Вл. Соловьев, Франк, Бердяев, С. Булгаков, Н. Лосский, Зеньковский и т. п.) звучат в его исследовании непрерывно; причем любая цитата из этих авторов подается как «голос Православия», принимается Дунаевым без обсуждения и оговорок.

Что проку в том, что Дунаев в отдельной статье о Вл. Соловьеве говорит о нем – «по Мочульскому» – вполне разумные вещи: «В облике Соловьева есть темная глубина: все в нем двоятся, и яркий свет отбрасывает мрачные тени»? В других местах дунаевского исследования Соловьев цитируется как непререкаемый авторитет. Дунаев вполне согласен с тем, что Пушкин «убит собственным выстрелом в Геккерна», а в своем коротком и мало-содержательном отзыве о русском национализме пишет буквально следующее: «Когда Православие ставится ниже народа <...> национальное самосознание обесмысливается. Соловьев это очень чутко ощутил. Он разглядел односторонность идеологии и Данилевского, и Каткова...» Наверное, вы догадываетесь, что это единственное упоминание имени Данилевского в шеститомном Дунаевском исследовании.

Дунаев – москвич, поэтому его идиосинкразия к Петербургу-Петрограду-Ленинграду скорее позабавит, чем удивит или серьезно огорчит русского читателя. Но отношение историка русской литературы Дунаева к т. н. «петербургскому периоду русской истории» поистине безысходно. Дунаев осуждает его безоговорочно. Город Петербург построен «по роковой тиранической воле Петра». Город Петербург построен назло соседу. Город, построенный «назло – зло и несет». Петр – «первый русский большевик» (эту волошинскую пошлость Дунаев повторяет с особенным удовольствием). Дунаев совершенно согласен с тем, что Александр I был «плешиный щеголь, враг труда», а Николай I был «Палкин». Дунаев не сомневается в том, что щедринская «История одного города» списана с истории града святого Петра фактически достоверно.

Подобные установки имеют право на существование, но с подобными установками не следует заниматься русской классической литературой, целиком обязанной своим существованием этому самому «петербургскому периоду». Подобные установки следует додумывать до конца. Если бы профессор Дунаев принял на себя этот труд, то он не стал бы восхищаться Ходасевичем и Мандельштамом (от творчества которых, за вычетом разнообразных культурно-исторических влияний, имеющих начало и конец в «петербургском периоде», просто ничего не остается) и не смог бы преподавать в Московской Духовной Академии (тоже ведь не московскими благочестивыми царями основанной).

Впрочем, чеканное определение Майкова: «*Мудрец отличен от глупца// Тем, что он мыслит до конца*», это ведь поэзия, а на поэзию профессор Дунаев привык смотреть свысока.

Скажу напоследок, что труд Дунаева может быть исчерпывающе описан и оценен двумя стихами Ахматовой:

*Он к самой черной прикоснулся язве,
Но исцелить ее не смог.*

Разрыв между литературой и Церковью после выхода в свет Дунаевского исследования не стал меньше, поэтому и интерес к исследованию, о котором я говорил в начале статьи, угаснет скоро.

Люди культуры не станут читать Дунаева, потому что Дунаев дурно пишет, неряшливо мыслит и недобросовестно исследует. Люди Церкви не станут читать шесть увесистых томов, написанных *в подтверждение* единственного евангельского изречения, – люди Церкви и без того в истинности Евангелия не сомневаются.

Труд Дунаева должны будут прочесть студенты духовных академий и семинарий, поскольку он рекомендован Учебным комитетом Московского Патриархата в качестве пособия. Что делать? Других учебных пособий по данному предмету у нас пока нет. Студентов же жалеть не нужно. Студентам все равно приходится «сдавать» массу ненужных предметов – шесть лишних томов для студента не нагрузка. Сдадут как-нибудь. Спишут. Или справку принесут. Одним словом, проскочат.

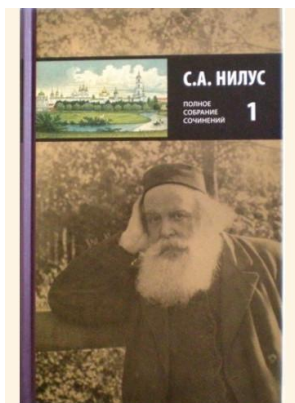
И последнее. В демократической прессе давно уже пишут о том, что Россия вот-вот уже станет опять «тоталитарным государством», на этот раз «красно-коричневым». И что в этом государстве место прежних политработников займут православные священники.

Оно бы и неплохо. Не нужно только заимствовать у прежних «бойцов идеологического фронта» их зашоренность и талмудизм, их пренебрежительное отношение ко всяческой «эстетике», не приносящей немедленных результатов – ни в плане увеличения добычи угля, ни в плане роста числа приходов, – их подозрительное отношение к отдельным высоколобым отщепенцам, которые все шуряются да ежатся, а не отвечают на «поставленные временем вопросы» (политические ли, религиозные ли) ясно и четко.

Такая преемственность России не нужна.

У. ЛИКИ. ЛИЦА. ЛИЧИНЫ
(литературная и философская критика)

РАЗБОРКИ СРЕДИ КРИТИКОВ

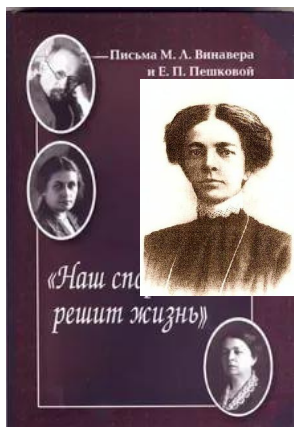


Геннадий Муриков

Заговор тёмных сил

(Один из юбилеев /1905 – 2015/:

«Протоколы сионских мудрецов»)
(Публикация Сергея Нилуса)



**Геннадий Муриков. Заговор тёмных сил
(Один из юбилеев /1905 – 2015/: «Протоколы сионских мудрецов»)**

Жалок и примитивен тот народ, который не может всмотреться пристальным взглядом в свою историю, в реальности своей жизни, чтобы яснее и отчётливее понять, какого его современное положение. Мы, русские, нахлебались вдоволь разного рода суждений о том, что большевицкая революция была якобы неизбежной – и о том, что также якобы была неизбежна «демократическая» перестройка. Но о причинах этой «неизбежности» говорят слишком мало и с большим опозданием. Я (слова Александра Блока мне приходят на память), не первый воин в борьбе за правду, но и не последний и тоже понимаю, что «долго будет родина больна»...

Будет больна, пока нам не станет ясна вся мерзостная подоплёка совершившихся и ныне происходящих переворотов. Иначе нам не понять пути так называемого мирового «прогресса», не понять структуры всемирного «механизма», который загоняет нас в ловушку «тоталитарной демократии». А она ведёт человечество по пути превращения в муравейник, где бесполье (унисекс) и безликие существа строят своё убогое технократическое и интернетное здание всемирной дегенерации.

110 лет назад, в грозном 1905 г. был впервые в целостном виде опубликован текст «Протоколов сионских мудрецов». Он был напечатан в виде приложения к книге известного православного писателя и публициста Сергея Нилуса «Великое в малом». В дальнейшем мы не будем говорить о личности и трудах этого замечательного человека, поскольку это не относится прямо к теме настоящей статьи. Отметим только, что относительно недавно вышло полное собрание его сочинений в 5 томах (М., издательство «Городъ», 2014 г.), с которым может ознакомиться любой желающий.

Впервые «Протоколы...» были напечатаны П. А. Крушеваном, будущим видным деятелем «Союза Русского Народа» в издаваемой им газете «Знамя» с 28.08 по 07.09 1903 года с предисловием самого публикатора. Там же была напечатана и статья Сергея Нилуса – переводчика этого документа с французского языка, но этот текст заметно отличался от вышеупомянутого.

Нас будут интересовать только «Протоколы...» в публикации Сергея Нилуса, как текст, наиболее авторитетно выверенный. В этой статье я не претендую на «научность» и не предлагаю каких-либо новаторских концепций. Мой нравственный долг – только в рамках публицистики постараться осветить все перипетии публичного существования этого документа (в связи с юбилеем его публикации). Разумеется, я считаю своим долгом снабдить их собственными комментариями. Ещё раз повторю, вернее, напомним, что антирусские катаклизмы XX – XXI веков произошли во многом потому, что их тайные причины обществу были неизвестны и остаются во многом неизвестными до сих пор. Дело здесь даже не в том, что конспирологические

причины этих событий скрыты в потаённых архивах, а в том, что общественное сознание настолько оглувлено и просто отупело, что в упор не видит и даже не хочет видеть совершенно очевидных фактов и свидетельств¹⁸.

Было бы самонадеянно думать, что я смогу сказать о «Протоколах...» что-то новое, но напомнить об этом документе именно сегодня необходимо. Он остаётся безусловно актуальным и в наши дни. Совершенно явное подтверждение тому – выход в свет нового произведения одного из самых крупных европейских писателей постмодернистов, лауреата многих международных премий – Умберто Эко – роман «Пражское кладбище». Он целиком посвящён вопросу о «Протоколах...», их возможном происхождении и дальнейшей судьбе. Автор, как и полагается настоящим постмодернистам, играя своей эрудицией, не склоняется ни к какой версии о происхождении этого текста. Он приводит и комментирует многочисленные известные суждения на эту тему, сопровождая их своими ехидными комментариями.

Эта книга вышла в русском переводе в 2012 году (издание на языке оригинала 2010 г.) и сразу стала бестселлером (судя по её тиражу) в среде творческой интеллигенции. Нельзя забывать, что даже в 90-е – нулевые годы писать на эту тему разрешалось только научным работникам: тут стояла скала, о которую безуспешно разбивались волны «гласности». Максимально, чего удавалось в либеральной «научной» оценке исследования О.Платонова, Ю. Бегунова, так же, как и более ранние публикации Н. Маркова, Г. Бостунича, Н. Меллер-Закомельского и многих других, – так это иронически презрительного наименования «маргинальных». Дескать, даже не заслуживающих внимания так называемых «серьёзных» учёных.

Здесь и настало время, как говорится, раскрыть карты – как для тех, кто знает содержание протоколов, так и для тех, кто о нём только догадывается. Автор обстоятельной (и единственной в наше время по уровню библиографической осведомлённости) статьи о судьбе «Протоколов...» А. И. Рейтблат (НЛЮ №78) даже не рассматривает полемику вокруг этого документа и материалы известного судебного процесса в Швейцарии (о нём речь впереди), а сразу называет самых известных российских исследователей «антисемитами» и едва ли не жуликами. Как говорится, знает кошка, чьё сало съела.

В том-то и дело, что «Протоколы сионских мудрецов» – это самый удивительный, одновременно пророческий и научный документ о том, как мировое еврейство стремится прийти и окончательно приходит к мировому господству, какими путями это делается и как это страшное дело происходит на практике. Именно с этой точки зрения мы и будем рассматривать исторические судьбы этой потрясающей книги.

Ну, и конечно, первый вопрос – это вопрос о её подлинности, который сам по себе породил целую литературу. В истории не раз возникали споры о

¹⁸ К проблеме о разных территориальных вопросах: на каком основании к США был присоединён штат Гавайские острова, бывший Пирл-Харбор? На этот вопрос нет ответа. Более того, его даже не задают.

«подлинности» или «подложности» тех или иных документов и художественных произведений, начиная от апокрифических евангелий до шекспировской драматургии и «Песен Оссиана». А у нас это были «Слово о полку Игореве», «Влесова книга» и др. В любом случае разрешение этих вопросов не является окончательным, а происходит с большей или меньшей долей определённости. Но сам факт того, что спорные по своей достоверности произведения вошли в контекст мировой культуры, едва ли кто рискнёт отрицать.

По-иному сложилась судьба «Протоколов...». Рукопись этой книги, предположительно на французском языке (об этом ниже), попала С. Нилусу осенью 1901 года, и уже в декабре этого года он закончил её перевод на русский язык. Поначалу его напечатать не удалось, однако текст начал самостоятельное хождение в тогдашнем «самиздате» в машинописных перепечатках. Иногда его переписывали даже от руки. Несколько раз в сокращённом виде «Протоколы ... » были размножены на гектографе. Известно, что рукопись существовала уже в 1895 году. С. Нилусу она была передана то ли С.А. Сухотиным, бывшим вице-губернатором Ставрополя, то ли фрейлиной императрицы Марии Фёдоровны Ю. Д. Глинкой, о чём писал сам Нилус. Обе версии (а есть ещё и другие) имеют хождение до сих пор. Но и это ещё не всё. Известный исследователь «тайных сил» Ю. К. Бегунов со ссылкой на английских учёных М. Байджента, Р. Лея и Г. Линкольна пишет, что с «Протоколами...» ещё в молодости (в 1884 г.) был знаком знаменитый оккультист Папюс, который получил их экземпляр от члена масонской ложи «Мемфис-Мицраим». У нас нет никаких сомнений, что во время своих визитов в Россию (первый – 1901 год) и встреч с Николаем II и императрицей Александрой Фёдоровной Папюс ознакомил их с историей возникновения «Протоколов...» и обратил внимание на их значение.

Уже упомянутые английские исследователи, кстати, авторы многочисленных работ в области тайных учений, религиозно-философских и оккультных школ, ряд книг которых переведены на русский язык («Бумаги Иисуса», «Запретная археология», «Свитки Мертвого моря») заключают: «На основании длительных и систематических исследований мы пришли к следующим выводам относительно («ПСМ»):

1. Имелся оригинальный текст, на котором основывалась опубликованная версия «Протоколов...». Этот оригинальный текст не был подделкой, наоборот, он был подлинным, но не имел никакого отношения к иудаизму, ни к «всемирному еврейскому заговору». Он исходил скорее от какой-то масонской организации или тайного общества масонской ориентации, в название которого входило слово «Сион». (Нам приходит на ум «Приорат Сиона». Но так ли это? – Г.М.)

2. Этот оригинальный текст не был написан таким провокационным языком, как опубликованный вариант «ПСМ». Но он мог включать в себя программу захвата власти, внедрения в масонство, контроля социальных, экономических и политических институтов...» (из кн. «Священная загадка»). Сходна с этой позицией и мысль, высказанная Ю. К. Бегуновым: «"ПСМ

"являются подлинным документом; он находится в ряду подобных же тайных документов XIX века – Послания «Всеобщего Союза Израэлитов», 1860; Послания Всемирного совета масонов, 1871; «Сна Кайзера», 1890, вышедших из среды еврейских и масонских организаций...» («Тайные силы в истории России», СПб, 1996, с. 81).

Последние два суждения практически не вызывают сомнений, так как достаточно ознакомиться, хотя бы в интернете, с уставными документами масонского Ордена иллюминатов, основанного ещё в 1776 году А. Вейсгауптом и существующего в многообразных вариациях до настоящего времени, чтобы убедиться в генетическом родстве этих документов с «Протоколами...». Тем более, что с самого основания иллюминаты претендовали на руководство всемирным масонским движением. (Об этом мы ещё поговорим.) Так что о какой-то подделке и «фальсификации» не может быть и речи: к моменту первого сионистского съезда в Базеле (1897 год) «Протоколы...» были уже известны и зачитывались среди части делегатов, в том числе и лично Т. Герцлем.

Однако уже упомянутый А.И. Рейтблат, не моргнув глазом, продолжает и в XXI веке утверждать, что «Протоколы...», как якобы «было установлено ещё в 1920-е гг. представляют собой в значительной степени плагиат с направленного против Наполеона III памфлета французского публициста Мориса Жоли "Диалог в аду между Маккиавели и Монтескье"... (1864 г.)». (Указ. соч., с. 379). Интересно, кем это «установлено», да ещё в двадцатые годы, эпоху злейшего красного террора, когда что-либо «устанавливалось» только посредством пыток и казней? В это время Троцкий сказал: «Дело большевиков – не дать России вернуться в саму себя. Надо выбить колуном её нутро и наполнить другими внутренностями, – и пояснил: – Мы заключили договор со смертью, и она работает на нас».

Остаётся только удивляться, насколько современный либерализированный историк остаётся в плену примитивных концепций (о «Протоколах...» как фальшивке), распространявшихся в советский период именно советскими (читай: еврейскими) идеологами .

Продолжая рассматривать вопрос о происхождении «Протоколов...», обратимся к капитальной работе О. Платонова «Герновый венец России. Загадка Сионских протоколов» (М., 1999, 800 с.). Это наиболее авторитетное, подкреплённое множеством архивных документов (автору удалось поработать в архивах некоторых стран Европы и США) исследование данного вопроса и по сию пору. Он начинает свою работу с изучения корневой политического иудаизма, т.е. Талмуда и особенно его сокращённой Вавилонской версии, изданной ещё в XVII веке под названием «Шулхан-Арух». Сама по себе религиозная подоснова политической программы, воплощённая в «Протоколах...» находится в данном случае вне нашего рассмотрения. Мы остановимся на непосредственной предыстории появления этого документа, дополняя, по возможности, сказанное выше.

Самый главный вопрос: где и когда были созданы «Протоколы...»? Ясно, что этот документ появился в середине XIX века, нет никаких сомнений, что его истоки принадлежат ко времени формирования Всемирного Еврейского Союза, позднее переросшего в ряд других всемирных еврейских организаций, активно функционирующих и в настоящее время. Это подтверждается резолюцией еврейского собора (Лейпциг, 1869 г.). Вот некоторые фрагменты из неё:

«Из всех народов только еврейский может считать каждую страну света своей родиной, и лишь он один, живя между чуждыми ему народами, остаётся верен самому себе, представляя в этом отношении исключительный пример, потому что только он один и в состоянии собирать своих членов с разных концов земли и соединять их в одном общем собрании. Таким образом, только он один может представить все народы, все наречия, все интересы, все национальности и земли. Будучи представительницей всего мира, в этом смысле еврейская нация составляет как бы сеть, которую она надеется со временем опутать всё чуждое ей человечество. (...)

Преследуемые в продолжение восемнадцати веков ненавистью и презрением, рассеянные по лицу земли евреи, наконец, как бы невольно соединились в огромное дружное общество, тайна которого сохранялась для собственной защиты и для осуществления надежд, внушаемых им религией.

Итак, среди ненавидящих народов евреи громко оплакивают свою кажущуюся слабость, вызвавшую их рассеяние, и в то же самое время покрывают Земной шар семьёй своих братьев, священным союзом, каждый член которого является помощником своего товарища и, в свою очередь, поддерживается всеми. Этот союз – подобие того громадного полипа, который в глубине морей расправляет бесчисленные щупальца, колеблется и питается вечным движением волн. Эта организация еврейства устроилась, так сказать, сама собой; она существовала всегда и казалась достаточной до тех пор, пока ослабление религиозных уз не повлекло за собой ослабления связей в еврейской национальности.

Этот упадок привлёк серьёзное внимание руководителей еврейства и принудил их принять меры для замены натуральной организации еврейства искусственной. Главным средством для этой цели оказались общества, организованные по новым началам, соответствующим духу нового времени и современной политики». (Ук. соч., стр. 109)

Здесь обратим внимание, прежде всего, на то, что руководители этого собора констатировали факт ослабления еврейского религиозного самосознания – оно шло параллельно утрате христианского сознания у других европейских народов. Этот факт и привёл здравомыслящих раввинов к мысли о необходимости сосредоточиться на политических проблемах. Они и были положены в основание новой всемирной еврейской организации, которая в тот момент ещё только задумывалась. Совершенно очевидно, основные теоретические предпосылки «Протоколов...» сформулированы здесь совершенно отчётливо и ни о какой «фальшивке» речи быть не может.

Отметим, в скобках, параллельное формирование так называемого I Интернационала с теми же целями: объединения «рабочих» всего мира во главе с еврейской верхушкой, которая только одна только и может быть «представительницей всего мира».

Конечно, далеко не случайно, что I съезд РСДРП (Минск, 1896 г.), I съезд Бунда (Всеобщего еврейского рабочего союза, Вильно, 1897 г.) и I съезд Всемирной сионистской организации (Базель, 1897 г.) состоялись практически одновременно. Мы до сих пор не знаем, зачем Ленин ездил в Швейцарию, ещё до первой ссылки, на консультацию к своим швейцарским друзьям.

О. Платонов справедливо подчёркивает, что «несмотря на то, что в Сионских протоколах совершенно отчётливо прослеживаются иудейско-талмудические, расистские, человеконенавистнические принципы отношения к гоям, "неизбранным", документ этот по своей форме скорее масонский «чем чисто иудейский. (...)

В Сионских протоколах нет ни одной ссылки на Тору, ни на Талмуд или раввинскую литературу, ни разу не упоминаются ни Эрец-Исраэль, ни Палестина, ни сионизм.» (Стр. 202) Заметим, между прочим, что во время предполагаемого создания «Протоколов...», а у нас есть основания предполагать, что это середина XIX века, сионизма ещё не было, потому он и не упоминается, а всё остальное, конечно, совершенно справедливо. Тем более, что сам О. Платонов уверенно констатирует: этот документ был предназначен скорее для распространения в масонских ложах. Тогдашнему «народу» он был не нужен. Любопытно, что многие места «Протоколов...» перекликаются с документами карбонариев, которых возглавляли Гарибальди и Мадзини. Об этом интересно пишет упомянутый выше итальянский писатель Умберто Эко.

Гарибальди в одном из писем (1872 год) приветствовал возникновение I Интернационала следующими словами: «Рабочее товарищество – это масонская организация, все эмблемы его тоже масонские. Отчего же рабочие конгрессы проходят вне лона организации-основательницы, их породившей? Разве демократия, т.е. страждущие классы, не обязана своим существованием крупнейшей в мире организации, которая первой провозгласила лозунг о братстве всех трудящихся?» (стр. 218) .

Политизация и нарастание прагматизма во многих дотоле сугубо религиозных и идеологических течениях в середине и второй половине XIX века касаются не только иудаизма, христианства во всех его ответвлениях, но даже и масонства. В эту эпоху, казалось бы, полностью возобладал позитивизм. Очень даже многие покорились зловещему культу золотого «телёнка» (впрочем, ненадолго, – но об этом позже). О том, как быстро масонство превратилось из оккультной и богоискательской организации в политическую секту, существует очень интересное свидетельство

Е.Д. Кусковой, супруги бывшего члена Временного правительства С. Н. Прокоповича из её письма к Н.В. Вольскому 15.11.1955 года. Нужно особо отметить, что в известной книге Н.Н. Берберовой «Люди и ложи» эта супружеская чета однозначно охарактеризована в качестве видных масонских деятелей того времени, так что ни подлинность приводимых фактов, ни их актуальность не вызывает ни малейших сомнений.

«Самый трудный вопрос о масонстве. Наше молчание было *абсолютным*. Из-за этого вышла крупная ссора с Мельгуновым. Он требовал от нас *раскрытия* всего этого дела. А узнал он об этом от тяжело заболевшего члена его партии (хоть убей, не помню его фамилию: на Л., народник, очень известный). Мельгунов доходил до истерик, вымогал из меня (ещё в России) данных и заверял: что ему "всё" известно. Я хорошо *знала*, что ему ничего почти неизвестно, как и Бурышкину. Потом он в одной из своих книжек сделал намёк, что такое существовало. Скажу Вам кратко, что было.

1) Началось после гибели революции 1905 г. Во время диких репрессий. Вы их знаете.

2) Ничего общего это масонство с заграничным масонством не имеет. Никогда ни в какой связи с ним не состояло на том простом основании, что это русское масонство отменило *в е с ь ритуал*, всю мистику и прибавило новые параграфы.

3) Цель масонства: политическая. Восстановить в этой форме "Союз Освобождения" и работать в подполье на освобождение России.

4) Почему выбрана такая форма? Чтобы захватить высшие и даже придворные круги. На простое название политическое они бы не пошли.

5) Изменение параграфов: а) приём женщин *в п е р в ы е*. В масонские заграничные ложи женщины не допускаются; б) отменить все эти фартуки, всю амуницию, весь ритуал; в) посвящение состояло лишь *в клятве* – молчание, абсолютное. Качество – *мораль*, доверие. Форма – ложи по пять человек и затем конгрессы. Ложи не должны были знать о существовании других лож. Но по встречам на конгрессах можно было судить о размахе движения и его составе; д) выход опять с клятвой: *никогда и никому*, просто "заснуть"; Таких выходов не помню: интерес к движению был огромен, и наша "пробковая комната" действовала вовсю. Характерная особенность: я знаю дух *виднейших* большевиков, принадлежавших к движению. Когда произошла Октябрьская революция, мы с С.Н. были уверены, что всё будет вскрыто. Партия ведь не терпела тайн членов. Ничего подобного! Уверена, что эти виднейшие большевики тайну соблюди, быть может, из боязни репрессий и по отношению к себе. Людей высшего общества (князьёв, графёв, как тогда говорили) было *много*. Вели они себя изумительно: на конгрессах некоторых из них я видела. Были и военные – высокого ранга. Почему нельзя вскрыть это движение? Потому что в России не все члены его умерли. А как отнесутся к живым – кто это знает? Движение это было *огромное*. Везде были "свои люди". Такие общества, как "Вольно-Экономическое", "Техническое" были захвачены целиком. Это – рецепт "Союза Освобождения". Ведь ещё во время его действия в "Вольно-

Экономическом обществе" прочно уселись его члены: Богучарский, Хижняков – секретари, С. Н. – председатель Экономической секции. То же и в «Техническом обществе»: Лугугин, Бауман – в центре. В земствах – то же самое. Масонство тайное продолжало эту тактику. П. Н. Милоков, осведомлённый об этом движении, в него не вошёл: "Я ненавижу всякую мистику!" – но много членов кадетской партии к нему принадлежали. Но так как Милоков был в центре политики, его *осведомляли* о постановлениях конгрессов. Иногда и сам он прибегал к этому аппарату: надо, дескать провести через него то-то и то-то. Одно из правил: не обращаться за членством к людям, *к а з а в ш и м с я* непрочными в их моральном или политическом естестве. Многие кандидатуры, строго обсуждавшиеся, отвергались. Изумительно: не было там провокаторов а la Марков, которого покойный В.А. Розенберг ненавидел и звал "косоглазым лгуном", и осуждал Сергея Николаевича за то, что тот привлёк его к своему кабинету. Ведь и до сих пор тайна движения, тайна этой организации не вскрыта, а она была *огромна*. К февральской революции ложами была покрыта вся Россия. Здесь, за рубежом есть очень много членов этой организации. Но – все молчат. И будут молчать – из-за России, ещё не вымершей. Один только В[ельмин] как-то случайно и уже под конец туда попавший как будто пробалтывается. Но слышала об этом мелком, и с ним в контакт по этому поводу не вступала. После смерти С.Н. получила несколько телеграмм коротких: "Fraternellement avec vous"¹⁹. Такой-то". Какое-то "братство" было очень ярко выражено в отношениях, хотя после Октября и разошлись во мнениях. Но личный контакт из-за этого прошлого *всегда* поддерживался. Писать об этом не могу и не буду. Без имён это мало интересно. А вскрывать имена – не могу. Мистики не было, но клятва была. А она действительна и сейчас по причинам Вам понятным. Много разговоров о "заговоре" Гучкова. Этот заговор *б ы л*. Но он резко осуждался членами масонства. Гучков вообще подвергался угрозе исключения. А после дела Конради, в котором он вёл себя совершенно непонятно и вызвал скверные подозрения, с ним вообще старались в интимные отношения не вступать (...)» (Цит. по Ю.К. Бегунов, УК. соч., с. 151 - 152).

Мы не случайно стали говорить о временной секуляризации иудейско-масонских течений и организаций, потому что их внутренняя суть оставалась и остаётся и до сих пор глубоко религиозной. Дело в том, что она зиждется на других представлениях о вере, чем они выглядели в «либеральных» XVIII – XIX веках. Тогда казалось, что «верить» – это значит соблюдать обряды, а личная убеждённость в вечном промысле казалась вольнодумством. Поэтому тот, кто бунтовал против «обрядности», тот и выглядел «разрушителем основ», хотя на самом деле, возможно, он верил в «неведомого бога» (Ап. Павел) гораздо больше, чем блостители обрядности.

¹⁹ Братски с вами (перевод с французского)

Рассуждая о «Протоколах...», мы всё время вторгаемся в сферу так называемого «жидомасонства». Об этом я хочу поговорить отдельно. Любителям разного рода словесного цензурирования я замечу, что слово «жид» у нас с некоторых пор (с 1917 года) считается запретным, и этот запрет настолько силен, что даже в либеральном XXI веке стариннейшая опера известного еврейского композитора Иегуды Галеви «Жидовка» при современной постановке в 2013 году в Михайловском театре анонсировалась как «Иудейка». И даже издававшийся в середине XIX века роман Эжена Сю «Вечный жид» вышел в 1994 году под нейтральным названием «Агасфер». Хотя на Украине слово «жид» общеупотребительно, так что тем, кто захочет обвинить автора этой статьи в юдофобии, я скажу, что использую украинское словоупотребление. Наши народы и языки братья, не правда ли?

В связи с этим словом из-за боязни оскорбить «национальное достоинство» евреев случались вещи удивительные и смехотворные. В Советском Союзе в 1956 году (при первом!) фототипическом переиздании третьего издания словаря В.И. Даля решением редакционного совета была вычеркнута языковая статья «жид», но, чтобы сохранить видимость «фототипичности» были укрупнены на этой странице шрифт и раздвинуты междустрочные пробелы так, чтобы всё выглядело «естественно». Этот общеизвестный факт знают почти все филологи, но добавлю ещё. Почти в то же самое время в 1955 году в Нью-Йорке в издательстве А.П. Чехова вышли сочинения В.В. Розанова, из текста которых были вырезаны все упоминания о еврейском вопросе. С горьким удивлением писали об этом Г. Адамович и Б. Зайцев.

«Силён бог иудейский», – сказал В.В. Розанов, когда узнал о расстреле М. Меньшикова большевистскими властями. Этот бог сегодня силен по обе стороны океана.

Однако вернёмся к понятию «жидомасонства». Этот термин не просто и не только оскорбительное (как некоторым кажется) словоупотребление. Оно означает факт проникновения сионских мудрецов в тайные масонские общества и постепенное овладение их руководящими структурами с совершенно определённой целью – направить их деятельность к антиобщественным задачам, что и было произведено на рубеже XIX и XX веков, а отчасти и раньше. Об этом недвусмысленно свидетельствуют факты истории.

Одним из первых почувствовал влияние закулисных сил на ход мировой истории французский писатель Эжен Сю. В своём многотомном романе «Вечный жид» он недвусмысленно намекал на иезуитов как на закулисных контролёров мирового прогресса. Но он, как говорится, смотрел на вопрос «со стороны». «Изнутри» взглянул на ход событий его современник английский премьер-министр и литератор Д'Израэли. Во многих своих романах и публичных выступлениях он предрекал установление нового мирового порядка, основанного на ценностях, выработанных просвещённым правосознанием. Напомним, что именно это понятие и лежит в основе исторических целей, предназначенных для гоев авторами «Протоколов...».

Но перед непосредственным анализом «Протоколов...» обратимся ещё к одному интересному историческому факту. В 1934 году еврейско-сионистское общество в Женеве потребовало провести международный суд на тему о подлинности «Протоколов...». Самое удивительное, что в этом «судилище» приняли участие не только белогвардейские эмигранты, такие как П.Н. Милоков, но и советское правительство, направившее в суд одну из первых рукописей «Протоколов» на русском языке.

Рассмотрим более подробно перипетии этого якобы «юридического» процесса, явившегося своего рода первообразом или прототипом нынешних судебных процессов так называемого Гаагского трибунала. О. Платонов подробно исследует подготовительные ходы еврейской диаспоры, приведшие через некоторое время к организации этого судебного расследования: «В 1920 году иудейские организации Европы и Америки начинают широкую кампанию по дискредитации Сионских протоколов. (...) В декабре 1920 года иудейские организации проводят конференцию в Нью-Йорке и выпускают специальную декларацию против Сионских протоколов, в которой утверждалось, что этот документ является подделкой» (с. 337).

Затем последовала всесторонняя и тщательно выверенная травля американского предпринимателя, «автомобильного короля» Г. Форда, который, наученный своим личным горьким опытом, осмелился выступить против мирового еврейского финансового диктата в самом его центре – в США. Г. Форд не только сам писал о еврейском засилье (книга «Международное еврейство»), но и активно распространял «Протоколы...», печатая их в разных издательствах, так что общее количество изданий составило около 150. Итог этой истории достаточно печален, но характерен для внутренней атмосферы масонской культуры США. Г. Форда принудили к публичному отречению и покаянию, а тиражи его книги были уничтожены не только в магазинах, но даже в библиотеках США. Разумеется, никакого судебного решения по этому поводу вынесено не было, эти действия осуществлялись не юридическим путём.

Исторический опыт показал, что этого оказалось недостаточно. В 1930-е годы международное еврейство консолидируется под лозунгом борьбы с антисемитизмом, а особенно с распространением «Протоколов...». Тщательно готовится уже упомянутый выше процесс. «Ведущую роль в подготовке процесса играли Виннер, Борис Израйлевич Лившиц (1879 - ?), Илья М. Черниколер (1881 – 1943), Генрих Борисович Слиозберг (1863 – 1937) и Владимир Евгеньевич Жаботинский (1880 – 1940)» (с. 383). О последнем мы уже писали, говоря о его очень заметной роли в формировании так называемого «украинства» (статья «Миф об Украине»). Это начинание поддержали и некоторые представители русской интеллигенции, например известный русский эмигрант и философ – Г.П. Федотов и уже упоминавшийся П.М. Милоков.

Г.П. Федотов приобрёл известность в эмигрантских кругах (особенно в 1930-е годы) как исследователь и теоретик проблем русского национального характера, – «русской идеи». Многие его сочинения многократно переизданы в наше время и служат своего рода «первоисточником» по русскому вопросу. Однако именно в этом деле он играл далеко не «русскую» роль: «Две родины у русского еврейства – Палестина и Россия. Говоря словами русско-еврейского поэта (имя не называется, но мы назовём его: Довид Кнут. Правда, непонятно, почему он называется русско-еврейским поэтом. – Г.М.), есть какой-то особенный "русско-еврейский воздух" и "блажен, кто им когда-либо дышал" (...) "Христианство – это религия, созданная Израилем. (...) Если разрешается говорить о разных утопиях, то можно говорить и об этой утопии: синтез христианства и еврейства. Ведь отсутствие Израиля до сих пор кровоточивая рана на теле Церкви» (с. 386-387).

Поначалу процесс предполагалось провести в Германии, однако приход к власти Гитлера изменил планы организаторов этого мероприятия. Суд начался в Швейцарии, в Базеле 11 июня 1933 года. «Истцами на этом процессе выступили председатель еврейской общины в Швейцарии М.И. Дрейфус-Бродский и председатель организации швейцарских сионистов доктор Меркус Кон» (с. 389). Ответчиком стал один из издателей «Протоколов...» доктор Цандер.

Но это была только «проба пера». В 1934 году состоялся грандиозный процесс о «Протоколах...» в Бёрне. Вот там-то и всплыли некоторые документы об этой публикации, хранившиеся в СССР.

«От СССР помощью сионистам руководил П.Г. Смилович (1874 – 1935 гг.), член ВЦИК и ЦК ВКП(б). Работа велась под грифом "секретно" в течение нескольких месяцев. Была просмотрена значительная часть архивов российской полиции» (с.396). Вот эти-то сведения и следует иметь в виду поклонникам сталинизма в нашей стране, а также «либералам» и «демократам» наших дней, наивно дискредитирующих образ Сталина, придавая ему «антисемитский» облик.

Дальше, по мере развития, процесс приобрёл поистине международный размах. «Н. Е. Марков, например, фактически определил стратегическую линию защиты, предлагая не вступать в спор с иудеями об авторстве Сионских протоколов, а рассматривать их как продукт иудейской психологии. "Для защиты, – писал он, – невыгодно стараться доказать, кто именно из евреев создал текст протоколов. Это невозможно доказать, и попытки этого рода серьёзно осложняют защиту. Достаточно будет сказать, что этот еврейский план соответствует еврейской психологии и есть только повторение идей, изложенных в старинном завещании, Талмуде и т.д., которые проповедовались евреями во все древние и новые времена и которые они в полной мере реализовали в СССР"» (с. 406 – 407 со ссылкой на ГАРФ, Ф 5802, оп.1, д. 31, л. 186).

Бёрнский суд работал с 29 апреля до 14 мая 1935 года. Он вынес в итоге решение о подложности «Протоколов...», но оно было отклонено впоследствии апелляционной комиссией, о чём у нас упоминать не любят.

Среди прочих документов, относящихся к этому делу, следует привести суждение митрополита русской зарубежной церкви Антония (Храповицкого) в его ответе, отправленном по запросу Бернского суда:

«Содержание этих протоколов нам известно. Исходя из полной осведомлённости о содержании еврейских книг и участии мирового еврейства в мировых событиях, мы считаем возможным сказать, что смысл и направление «Протоколов Сионских мудрецов» во многих отношениях соответствует учению и мировоззрениям мирового еврейства (...) 14/27 марта 1935 г.» (с. 504).

Много интересного пишет о «Протоколах...» бывший лидер Союза Русского Народа в своей (написанной уже в эмиграции) книге «Войны тёмных сил». В главе «История еврейского штурма России» он особо подчёркивает, в частности, интересный факт, что «рукопись "Протоколов..." была изъята в 1897 году во время конгресса сионистов в Швейцарии из портфеля вождя сионистов Теодора Герцля. Это "изъятие" произвёл один из агентов российской тайной полиции (...). На этой рукописи была собственноручная пометка Герцля» (Цит по изд.: М., 2008, сё 401). Мы уже ранее писали и более подробно о том, что «Протоколы...» были зачитаны на этом конгрессе, но любопытен сам по себе факт их изучения лично Теодором Герцлем. К сожалению, характер его пометок нам неизвестен так же, как и Н.Е. Маркову. Рукопись бесследно исчезла.

Многое в этих вопросах проясняет переписка известного русского зарубежного историка и мемуариста Б.И. Николаевского с разными лицами по поводу «Протоколов...», происходившая уже в 1960-е годы. Однако полной ясности в этом вопросе нет и до сих пор. Б.И. Николаевский в последние годы жизни собирался написать о перипетиях издания и дальнейшей судьбе «Протоколов...» большую книгу. Но это не успел, скончавшись в 1966 году в возрасте 79-и лет.

Прежде, чем перейти к краткому анализу «Протоколов...», обратим внимание, что сам Нилус, публикуя этот документ в своей книге и в дальнейших переизданиях, оговаривал цели его публикации, сказав: «Цель моей книги духовная, а не политическая» (С. Нилус. «Близ есть при дверях», М. 2013, сё 177). В дальнейшем «Протоколы...» я буду цитировать по этому изданию. Этой – весьма существенной оговоркой – С. Нилус ввёл этот документ в область христианско-духовной литературы, сопроводив его рядом собственных размышлений о масонстве, о грядущем конце света, тех или иных апокалиптических пророчествах и т.п. Сегодня, глядя из XXI века, мы можем сказать, что сами эти комментарии, подчас весьма наивные, несколько ослабили впечатление от публикации «Протоколов...». Не так уж много (и по сию пору) желяющих и тем более могущих погрузиться в глубины мистических прозрений. «Протоколы...» же имеют очень чёткую и ясно выраженную *политическую* суть, на которую и следует обратить внимание в первую очередь.

Теперь настало время обратиться непосредственно к тексту «Протоколов...». Первый ключевой тезис (протокол №1) этого документа гласит ясно и недвусмысленно: государство в современную эпоху зиждется на власти капитала, «который весь в наших руках» (с. 243). Поэтому «наша власть при современном шатании всех властей будет неборимее всякой другой, потому что она будет незримой до тех пор, пока не укрепится настолько, что её уже никакая хитрость не подточит» (с. 244). Это власть, опирающаяся на капитал, на Ротшильдов, Рокфеллеров, Соросов... Для её полного осуществления авторы «Протоколов...» предлагают несколько взаимодополняемых методов.

Один из них – это роль прессы и вообще средств массовой информации. «Роль прессы – указывать якобы необходимое требование, передавать жалобы народного голоса, выражать и создавать неудовольствия. В прессе воплощается торжество свободоворения. Но государства не умели воспользоваться этой силой, и она очутилась в наших руках. Через неё мы добились влияния, сами оставаясь в тени. Благодаря ей мы собрали в свои руки золото, невзирая на то, что нам его приходилось брать из потоков крови и слёз...» (с. 251, п. №2). Разумеется, ещё неизвестные тогда радио, телевидение и Интернет многократно подтвердили и подтверждают эту программу завоевания власти.

Вот почему «народ, слепо верящий печатному слову, питает во внушённых ему заблуждениях, в неведении своём, вражду ко всем сословиям, которые он считает выше себя, ибо не понимает значения каждого сословия» (с. 257, п. №3). Здесь мы видим программу уничтожения русской интеллигенции, гражданской и военной элиты, что и было осуществлено в 1917-м – 30-х годах. А глядя из нынешнего дня, обратим особое внимание на то, как сегодняшние законы следят за «разжиганием» противоречий на социальной основе, грозя карать за это строжайшими уголовными наказаниями. Не смеет критиковать олигархов! Теперь ведь правят уже «они», а не русская расхлябанная элита времён ушедшего «серебряного века».

«Пророками нам сказано, что мы избраны Самим Богом на царство над всею землёю. Бог нас наградил гением, чтобы мы могли справиться со своею задачей» (с. 263, п. №4). Как всегда нация «гениев» и «мучеников» являет себя во всей полноте.

Для осуществления этой задачи нужно «взять общественное мнение в руки, надо его поставить в недоумение, высказывая с разных сторон столько противоречивых мнений и до тех пор, пока гои не затеряются в лабиринте их и не поймут, что лучше всего не иметь никакого мнения в вопросах политики, которых обществу не дано ведать, потому что ведаёт их лишь тот, кто руководит обществом» (с. 264–265, п. №5).

Спрашивается, для чего же тогда «демократические выборы», если их участники не могут даже понять, какие цели преследуют предполагаемые депутаты? Разумеется, только для того, чтобы создать видимость народовластия. Это и есть «управляемая демократия», как у нас, так и в США, замаскированная под театральное действо.

Главный экономический приоритет – это *спекуляция*, а также то, что называется ныне *кредитованием*, а раньше называлось *ростовищичеством*: «Нас будет окружать целая плеяда банкиров, промышленников, капиталистов, а главное, *миллионеров, потому что, в сущности, всё будет разрешено вопросом цифр*» (с. 286, п. №8). Тогдашние миллионеры превратились в сегодняшних миллиардеров и будущих триллионеров, которые управляют бюджетами уже не отдельных стран, а почти что всего мира (Бильдербергский клуб).

«Гои – баранье стадо, а мы для них волки. А вы знаете, что бывает с овцами, когда в овчарню забираются волки?..» (с. 290, п. №11). Метафора любопытная и по-настоящему библейская. Спросим себя, не из Ветхого ли Завета перешёл в Протоколы обычай «заклания агнца», не жертва ли это великому иудейскому богу? Ведь со времён Авраама только и делают, что закаляют агнцев, – то есть нас, гоев.

«Ошибки гоевских администраций будут описываться нами в самых ярких красках. Мы посеём такое к ним отвращение, что народы предпочтут *покой в крепостном состоянии* правам пресловутой свободы, столь их измучившим...» (с. 300, п. № 14). Для России это и колхозный строй и «управляемая демократия».

Для авторов «Протоколов...» само собой разумеется, что «в наших руках будут сосредоточены все мировые деньги» (с. 309, п. №15). В начале XX века это было не совсем очевидно и могло даже показаться странным. Тогда существовали и золотые рубли, не менее золотые фунты стерлингов, немецкие марки, а сейчас существует, по сути дела, только некая бумажная единица – доллар, символизирующая собой все богатства мира. В начале XX века один из Ротшильдов писал – дайте мне право печатать деньги, и все остальные законы мне будут не нужны. А вот теперь такое право у его потомков появилось. Мировые деньги – доллар – целиком в руках составителей «Протоколов...» в нашем предположении.

Этот документ кончается не рассуждениями о власти и путях её приобретения, а о том, как должен выглядеть «царь иудейский», который будет окончательно править миром. «Наш царь будет находиться в непрестанном общении с народом, говоря ему с трибуны речи, которые молва будет в тот же час разносить на весь мир» (с.311, п. 15). Вспомним Горбачёва и убедимся, что так оно и есть.

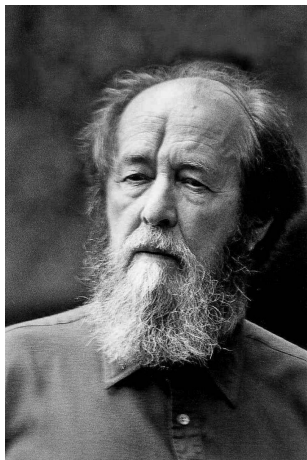
Но всё-таки главное – это изъять из обращения золото и заменить его разными кредитными займами. Этой теме посвящено несколько протоколов; они относятся к области различных спекуляций внутренних и внешних займов. Авторы этого документа говорят: «вас питали национальными деньгами гоев, для нашего же государства не будет иностранцев, то есть чего-либо внешнего» (с. 330, п.21). Совершенно очевидно, что эти мысли отчасти воплотились в создании евровалюты и дальнейший путь их ясен. Когда будет создано всемирное государство, путь к которому пролагается авторами «Протоколов...», будет принято ещё несколько мер – запрещение пьянства

(п. №23), – у нас на памяти и сухой закон в США, и антиалкогольная кампания Горбачёва и роман «Мы» Евгения Замятина. Далее следует восстановление кустарного производства (тот же п. №23), по-нашему читай – малого и среднего бизнеса, фермерского хозяйства, о которых последние 10–15 лет постоянно «заботится» наше правительство.

Всё это напоминает нам знаменитые антиутопии XX века: только что упомянуты роман «Мы», «Прекрасный новый мир» О. Хаксли и «1984» Оруэлла, авторы которых наверняка читали «Протоколы...» и поняли, о чём в них идёт речь и насколько это реализовалось в жизни того и нашего времени. Разумеется, в либеральной печати и в так называемом «литературоведении» – в тех статьях и исследованиях, которые посвящены этим авторам, об истоках их антиутопической осведомлённости предпочитают помалкивать.

В заключение стоит напомнить, что с момента публикации «Протоколов...» прошло более ста лет, а со времени их разработки гораздо больше. Все принципы, изложенные в этом документе, безусловно, претворились и претворяются и поныне в жизнь. Не видеть этого может только человек с «ограниченными возможностями» в умственном плане, если пользоваться жаргоном современной «политкорректности», а по-нашему говоря, слабоумный. Рассуждать о подлинности или неподлинности протоколов бессмысленно. Допустим, что этот документ – злонамеренная фальсификация (чему поверить практически невозможно), но тогда кто ответит на простой вопрос: почему мировая история построена по логике «Протоколов...»? Ответа не найдётся. Выводы пусть сделает читатель.

Александр МЕДВЕДЕВ



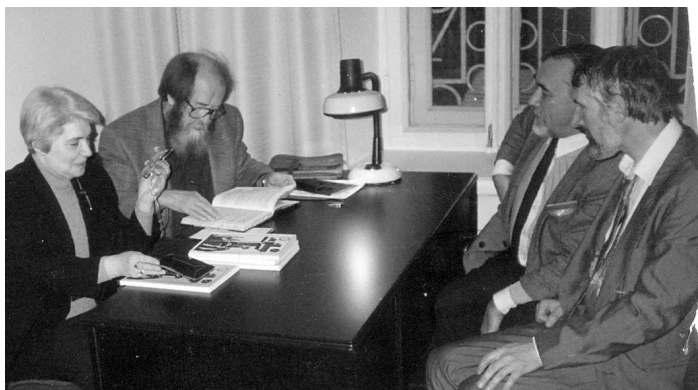
СВЕТ ОТЕМНЁННОЙ ПРАВДЫ *К столетию Александра Солженицына*

Родился: 11 декабря 1918 г., Кисловодск,
Терская область, РСФСР

Умер: 3 августа 2008 г. (89 лет), Москва,
Россия

В браке с: Наталья Солженицына (1973-2008),
Наталья Алексеевна Решетовская

Родители: Исаакий Семёнович Солженицын,
Таисия Захаровна Щербак



слева направо: Н. Д. Солженицына, А. И. Солженицын, Г. М. Прохоров,
В. И. Чернышев. 1994 г.

Александр Васильевич Медведев - член Союза Художников России, С-Петербургское отделение (с 1988 г.), член Союза писателей России (с 2003 г.). Старший преподаватель Института искусств Факультета Филологии и искусств Санкт-Петербургского государственного университета, кафедра «Графический дизайн». Лауреат "Российского писателя" за 2015 год

* * *

В. Одоевский назвал Пушкина Солнцем русской поэзии. Продолжая подобный перифраз применительно к писателям современной Российской Федерации, я бы назвал Солженицына – Луной, отражающей Солнце правды. Именно Луной, ибо, отражающая свет, она имеет и обратную, теньевую сторону.

Нет, пожалуй, на сегодня в обществе иного писателя, кроме Солженицына, личность и творчество которого воспринимались бы столь же полярно. Кто-то видит его автором, по словам Л. Чуковской, «возвращающим нам родной язык, любящим Россию, как Блоком сказано, оскорблённой любовью». Другие разделяют мнение Шолохова, что «Он душевно больной человек, страдающий манией величия. Но если он не больной, то он открытый и злобный человек и ему не место в рядах писателей».

Одни уважают его за то, что он «прочищает мозги и даёт в руки читателей прекрасный инструмент познания реального мира», относят его труды к «исследованиям высочайшего уровня». Для других он – «злостный клеветник на советскую историю», так как преувеличил статистику репрессий 1930–50-х годов и вызвал возмущение «разоблачением» М. Шолохова как автора «Тихого Дона».

Гоголевский г-н Поприщин раскрыл секрет изготовления Луны – она «обыкновенно делается в Гамбурге...» и посетовал: «прескверно делается. Я удивляюсь, как не обратит на это внимание Англия».

В случае с Солженицыным *Англия* (Запад) как раз обратила внимание на этот «лунный» феномен отражения света правды. В далёком 1984 году в Лондоне вышла книга «Солженицын». Её автор Жорж Нива, славист, профессор Женевского университета и «поэтам друг», как назвал его в стихах Б. Окуджава.

Книгу открывает фраза, в которой можно усмотреть элементы определённого программирования читателя:

«Вероятно, рискованно с моей стороны предлагать русскому читателю разбор самого русского из писателей, какого дало нынешнее возрождение русской словесности».

Слова европейского профессора для российского интеллигента испокон века закон. Если сказано человеком Запада, да издано в Лондоне, что писатель – самый русский из всех современных русских, стало быть, так оно и есть.

«Самому великому из ныне живущих писателей России» слал в 1970-м году поздравление с присуждением Нобелевской премии французский коммунистический еженедельник «Леттр франсез», возглавляемый бывшим сюрреалистом и дадаистом Луи Арагоном.

Ж. Нива, назвав Солженицына самым русским писателем из нынешнего возрождения русской словесности, вполне имеет на то основание, когда речь о словесности эмигрантской. Он приводит пример интервью 1979 года. В нём Солженицын «цитирует эмигранта Янова и ведёт скрытый спор с Андреем Синявским и его журналом „Синтаксис“». Он говорит, что «нынешняя русская эмиграция – не более, чем хвостик еврейской, он спорит с русскоязычными израильскими журналами, где, например, жестоко

высмеивается „деревенская проза“, самое живое из течений в сегодняшней советской литературе». Полемика, ограниченная крайне узким эмигрантским кружком, представляется Солженицыну в ложной перспективе лингвистического гетто этой же самой эмиграции, даже настоящей „травлей“ России! «Подлинный язык, подлинный русский физический тип („чистые, как озера“, глаза олонечских мужиков), русская музыка, русские нравы – всё идет от Руси крестьянской!» – уверен Солженицын.

Уже в 1972 году, отмечает Ж. Нива, Солженицын «громко приветствовал Шукшина, Можаява, Тендрякова, Белова, Солоухина, Юрия Казакова». В 1979 году он заявил, что пять или шесть советских писателей (имен не называл, чтобы им не повредить) представляют собою сегодня вершину мировой литературы. Ж. Нива готов биться о заклад, что Солженицын имел в виду Распутина, Белова, Астафьева, Залыгина, Можаява. Солженицын подчеркивал, что впервые слово берут крестьянские писатели, которые пишут языком, свободным от всякого „европеизма“, что для него крайне важно. «Хоть они и советские писатели, хоть их и печатают в СССР, они насквозь проникнуты этическими и религиозными ценностями русского крестьянского мира».

Солженицын категоричен в высказываниях. Он не предполагает, не выдвигает гипотез, не полемизирует, дискуссия, академическое оппонирование не для него, он – пророчествует. На это Ж. Нива замечает: «Великие убеждения несут в себе долю ослеплённости, есть теневая сторона в великих истинах». Это теневое, «лунное» свойство Солженицына вызывает и не позволяет утихать ожесточённым спорам вокруг его имени.

«Антисемит ли он? несправедлив ли к патриарху Пимену? не знает меры в осуждениях? схематичен в исторических толкованиях? совсем не по-христиански ненавидит уголовников в лагере? чересчур скор в обвинениях против Шолохова? неоснователен в своем приговоре Америке?» – вот едва ли часть вопросов к писателю, перечисленных в книге.

Признавая подлинными кровь и нерв русского крестьянского мира в советских писателях, Солженицын парадоксальным образом не может принять непрерывность истории России. Он исключает советский период как несвойственный духу и укладу русского народа. Бердяев в «Русской идее» проводит параллель разрушительной ярости большевизма и нестовости Петра в ломке основ русской жизни, он относит оба явления к традиции русского максимализма. Солженицын же развивает тезис о привозном характере революции, её инородности. Он видит революцию плодом зарубежного учения, охраняемого латышами и венграми, она навязана народу, который в двадцатом веке пострадал больше других.

Не оказывает ли Солженицын медвежью услугу русскому народу, не принижает ли его, выводя за спиной Ленина и большевиков всемогущую сатанинскую фигуру еврейско-русско-немецкого социалиста-афериста Парвуса? Именно из него он делает тайного подстрекателя двух русских революций. Без всякого основания, как свидетельствуют участники событий (например, Борис Суварин, один из основателей Компартии Франции), он преувеличивает значение этого международного авантюриста. Парвус, зловещий кукловод в описании Солженицына, принимает гипертрофированные

размеры в фильме В. Хотиненко «Демон революции» (2017) с Ф. Бондарчуком в главной роли.

Странно, но Солженицын, кажется, не задумывался, что найдя «козла отпущения» – инородцев, виновных в крахе Российской империи, он «замыливает» существо проблемы, что тем самым он обеляет истинных виновников трагедии, и что нерешённый вопрос неминуемо будет возникать в новой России?

Поговорка *Англичанка гадит* родилась не на пустом месте. Со времён Иоанна Грозного тайное и явное влияние туманного Альбиона на политику России не ослабевало вплоть до Февраля 1917 года. Корни масонства – немецкого, французского, шотландского изводов укрепились на российской почве ещё с восемнадцатого века. Пугачёв, декабристы, террористы-народовольцы, да и убийцы Распутина, так или иначе, лили воду на «лондонскую мельницу», расшатывая устои империи. Однако непростительно только их рассматривать вольными или невольными исполнителями чужеземных коварных замыслов. Считать так, значит, не знать и не уважать русский народ. Считать так, значит, принимать как должное, что непростительно долгое время Россию населяло два народа: белая и чёрная кость, между которыми пролегалла непреодолимая стена непонимания.

«Во что превратился добрый русский народ? Почему он преобразился в жадного зверя, жаждущего крови?» Такие вопросы породил 1917 год и Гражданская война. Они, наверно, естественны для дам приятных во всех отношениях, но странны для человека с душой, человека видящего и слышащего, памятливого. Он знает на них ответ и ответ горький: пришли дни расплаты за преступное безразличие к жизни русского народа.

Но как же трудно это принять!

«Лица у женщин чувашские, мордовские, у мужчин, все, как на подбор, преступные, иные прямо сахалинские» – ужаснулся Бунин при виде народа в зареве революции. Тонкий знаток народа отказался признать *такую* его русскость, и дни расплаты нарёк *окаянными*. Ему в этом следует Солженицын, не приемля свет правды, который в веках проявлял одну и ту же истину: русский бунт не полыхнёт на пустом месте, а тем более по иноземной прихоти. От долгих трений начинают тлеть искры обиды народной, прежде чем займётся пламя мести. И тут уж, конечно, инородцы не преминут погреть руки.

«Вы хотите узнать, что случилось с народом. Он просто потерял терпение. Он слишком долго оставался безответным. Он слишком долго безсловесно переносил испытания. (...) Теперь он больше не может покоряться».

Таков ответ Горького русским монархистам («Письмо к русским монархистам» (1920) о причинах революции. Ответ не устраивал и до сих пор не устраивает не видящих бревна в собственном глазу, не желающих признать в самом российском общественном и государственном укладе причины революции.

Можно убрать имя Горького из названия петербургского театра (БДТ), которое он носил шестьдесят лет, можно обличать его как партийного литератора и человека, всю жизнь прожившего в роскоши. Можно сместить с

классического пьедестала, водрузив на него Солженицына. Многого можно ожидать сегодня, кроме того, чтобы услышать убедительные возражения Горькому о причинах революции в России.

Образ Луны, отражающей солнечный свет, имеющей обратную сторону, возник некоей метафорой образа Солженицына – писателя, идеолога, личности, взыскующей Правды. Оглядывая судьбу Солженицына, возникает следующая «лунная» метафора – «лунатизм» писателя-пророка. Так раньше называли болезненное расстройство, при котором люди совершают какие-либо действия, находясь в состоянии сна. Хождения во время неполного пробуждения провоцируют на действия, свойственные бодрствующему человеку. Часто простые и безопасные, они могут становиться опасными: хватание за воображаемые предметы, жестокое поведение. Глаза сомнамбулы открыты, но выражение их тускло и остекленело.

Сознавал ли Солженицын, что им манипулировали, когда в 1963 году Хрущёв дал отмашку на публикацию «Одного дня Ивана Денисовича»? «Статистическая правда», разоблачающая культ личности Сталина, сверкнув на XX-ом и XXII-ом съездах КПСС, должна была, отразившись в литературном произведении, стать «сердечным чувством», неопровержимым никакими доводами. И это чувство – вины, заблуждения, покаяния за полувекоевое строительство коммунизма – заставило немалую часть советских людей скептически смотреть на тиражируемый образ Ленина, одобряющий их жизнь фразой: «Верной дорогой идёте, товарищи!»

Магическое «полнолуние» «Архипелага ГУЛАГ» в свою очередь ввело в состояние «лунатизма» ещё большую часть советской интеллигенции – «образованщины» по хлесткому определению Солженицына. Понимал ли он, что в то же время и его сверхактивные действия становятся действиями «лунатика» с такими симптомами, как «хватание за воображаемые предметы» – идеи в его случае; «жестокое поведение» – с близкими, друзьями, с коллегами, с горячо любимой Россией?

В этом удивительном состоянии Солженицын продолжал пребывать и в США. Ему предоставили прекрасное по американским меркам жильё, он получал гранты, голос его звучал по всему миру. Он оказался сверхмощным информационным оружием массового поражения, направленным Западом, – всё той же пресловутой *Англичанкой, неустанно гадящей*, – оружием, направленным на разрушение Советского Союза.

Было бы неверно назвать его «полезным идиотом» – искренним человеком, не ведающим, что его протестный, пророческий потенциал направлен на разрушение того, что ему свято, – то есть тем, кем манипулируют. Солженицын отдавал себе отчёт, с кем и с чем он совершенно сознательно *бодался*. Странное это состояние, похоже на то, когда переутомлённому человеку снится сон, неотличимый от яви.

По возвращении в Россию, освободившуюся от *большевицкого* (Солженицын писал именно – *цкого*, а не – *тского*, по аналогии с *дурацким*, как он объяснял) гнёта, его постигло сильное разочарование пробудившегося человека. Выяснилось, что он служил делу, которое в итоге противоречило его глубоким убеждениям.

Пророк вернулся в ельцинскую Россию, но не стал её духовным лидером. Та великая Россия, за существование которой он положил жизнь, была не нужна властной либеральной группе. Даже его одобрение расстрела Ельциным Дома Советов в 1993 году не поменяло отношение власти к нему и его идеям. Возможно, тогда с его глаз спала тусклая сомнамбулическая пелена, и он увидел истинный результат *бодания*, которому предавался всю свою долгую жизнь. Не *телёнком*, молодым, отчаянным и упрямым, вознамерившимся проломить *дубовый* забор острога, в котором томится народ России, увидел он себя, а *крыловской свиньёй*, подрывающей корни *векового дуба – России?*

Он не совсем внятно, но всё-таки осудил расстрел Дома Советов, правда, позже, чем его давние оппоненты Максимов и Синявский.

Наблюдая, как гибнет при Ельцине народ, он написал работу «Сбережение народа». В конце жизни Солженицын по существу косвенно признал величие и значение Сталина, который дал советской России мощный разбег. Могло ли быть иначе, когда он увидел, что вместо культа личности, который он неистово разоблачал, создан и всемерно укрепляется куда более бесчеловечный культ денег и потребления? Этот культ оправдывает совмещение несовместимого: празднование на государственном уровне столетия автора работы «Сбережения народа» вслед за повышением пенсионного возраста россиянам.

Мог ли предстать Солженицын в 1978 году, когда произносил речь в Гарварде, что все те претензии, которые он выдвинул Западу как цивилизации, менее чем через тридцать лет можно будет предъявить новой России, освободившейся от *большевицкого ига?*

Он говорил о западном обществе, но ведь и в современной России «открылось неравновесие между свободой для добрых дел и свободой для дел худых. И государственный деятель, который хочет для своей страны провести крупное созидательное дело, вынужден двигаться осматривательными, даже робкими шагами, он всё время облеплен тысячами поспешливых (и безответственных) критиков, его всё время одёргивает пресса и парламент. Ему нужно доказать высокую безупречность и оправданность каждого шага. По сути, человек выдающийся, великий, с необычными неожиданными мерами, проявиться вообще не может – ему в самом начале подставят десять подножек. Так под видом демократического ограничения торжествует посредственность».

На сегодня почти по Маяковскому: мы говорим Солженицын, подразумеваем «Архипелаг ГУЛАГ». И это усыпляет. Не пора ли проснуться и переменить один из синонимов на более актуальный для современной России? Не пора ли с именем писателя связать его «Речь в Гарварде на Ассамблее выпускников», прозвучавшую 8 июня 1978 года? Выступив с критикой современного на тот момент Запада, он пророчески обозначил настоящее России, захваченной *разрушительной, безответственной свободой*, когда *Общество оказалось слабо защищено от бездн человеческого падения*.

V. ИСТОРИЯ В ЗЕРКАЛЕ СУДЕБ



Аля с сестрой Ириной.
Москва, 1919 г.

Марина с Алей
1916



Ирина Киселева

ЗЕМНОЕ СПРАНСТВИЕ ЗВЕЗДЫ АРКАДНЫ

ОПРЫВКИ ИЗ ДНЕВНИКОВ

ПРО ПОГОДУ

Я сижу у окна и смотрю на небо, а Москва такая бедная, я смотрю на небо. Мне кажется, что я упала в какую-то бездну, которая поглотила весь мир, и небо утешает меня, оно такое нежное, будто все ангельское. Часто, когда я смотрю на небо, то не могу почти оторваться от него. Я думаю, что облака сделаны из дыма. Ах, какие странные чувства наводит на меня небо.

...Марина, Вы будете юношей. Вы будете сидеть на террасе за столом в саду. Вы будете пить вино. Я буду маленькой девочкой. Вы спросите: «Дитя, жили ли мы еще когда-нибудь?». Я скажу, смутно вспоминая: «Тогда была война. Вы были тогда женщиной. Я помню, у Вас были зеленые глаза.

Вы жили в бедном доме, в сумасшедшей столице». Вы вздрагиваете. Я говорю: «Я была Вашей дочерью. Я Вас тоже называла на «Вы». Вы ходили в очередь на какие-то комиссариаты, у бедных у нас не было даже полфунта муки, мы жили в кухне, и у нас было ужасно беспорядочно.

ПЕРЕД БЛАГОВЕЩЕНИЕМ

Вечер. Дождь уныло и однообразно стучит в окно. Колокольный звон грустно доносится ко мне. Снег еще не совсем сошел с крыши. Я в задумчивости смотрю на небо и не могу начать этого дня. Я называю этот дождь «первая весть весны». Потому что зимой дождь не идет. Звон Благовещения удар за ударом наполняет мою душу»...

МуЗЫКа

«Музыку не сочинили, не придумали, она сама пришла с неба к людям. Я знаю это потому, что в ней всегда слышится что-то Божественное. Когда она весела, то мне грустно. Я больше всего люблю марши. Я люблю грустную музыку, она похожа на закат. Она обещает счастье, а насыляет смерть. Благовещение 1919 г. Три любимых вещи на свете. Родина в опасности. Музыка. Любовь. Когда Родина в опасности, мне хочется быть в самой середине боя. Когда я слушаю музыку, мне становится грустно, она меня давит, хотя я и улыбаюсь. Когда я люблю, я чувствую тоску» (А.Э.).

Марина Цветаева. Из Али:

«Аля, что печка? – Голове-шит... Мешая угли в печке: «Мари-на! Адские помидоры».

«Я люблю папу, Вас и музы-ку!» Как это напоминает последние слова матери Марины – Марии Александровны: «Мне жаль только музыки и солнца! (О, Господи! Не я ли?)» (М.Ц.) «В моих жилах течет не кровь, а душа. Изречение, достойное Али», – напишет Цветаева в записной книжке.

– Аля! Моя мать всегда мечтала умереть внезапно: идти по улице и вдруг – со строящегося дома – камень на голову и готово!

Аля: – Нет, Марина, мне это не особенно нравится. Уж лучше: все здание!

Аля: «В твоей душе тишина, грустность, строгость, смелость.

Ты умеешь лазить по таким вершинам, по которым не может пройти ни один человек. В твоей душе еще ты. Ты иногда в душе наклоняешь голову.

Ты сожженная какая-то.

Я никак не могу выдумать тебе подходящего ласкательного слова. Ты на небе была и в другое тело перешла. Солдатик на Казанском вокзале.

8 июня 1918 г.» [Але – Ариадне Эфрон – шесть лет! (прим ВИ)]

– Марина! Когда ты пишешь, ты только водишь рукой, а пишет душа! (Как точно! – И.К.)

3 ноября 1918 г.

– Аля, если ты, как Христос велел, всех любишь, ты должна любить и большевиков?

– Нет, я буду молиться о том, чтоб они умерли, а когда они умрут, я буду молиться за упокой их души.

Стихи Али:

Соленые волны моря,

Хлынули мне в лицо.

Я царь всему этому берегу.

Уносит меня луна.

Из письма Али Серее (27 ноября 1918 г.)

Ваша жизнь, мой прекрасный папа, черная бездна небесная, с огромными звездами. Над Вашей головой Звезда Правды. Я кланяюсь Вам до самой низкой земли.

Милый папа, раз мы вечером гуляли, я посмотрела на небо, все небо кружилось. Я очень испугалась и сказала это маме. Она сказала, что небо, действительно, кружится. Мне стало еще страшнее, и мама мне сказала, что нужно, чтобы не бояться звезд, сделать их своими друзьями. И мы спокойно пошли дальше. И теперь я уже без страха. И, опираясь на мамину руку, я буду жить. Целую Вас от всей моей души и груди. Аля.

– Марина! Я бы хотела построить дом для поэтов, чтобы камин пылал, кофе кипел, а они бы ничего не делали, только писали стихи!

– Марина! Когда у нас совсем нечего будет есть, даже гнилой картошки, я сделаю чудо. Я теперь его не делаю, потому что раз мы едим гнилую картошку, значит, ее можно есть?

Алина игра в суп:

– Ну, Марина, последний кусок картошки – сейчас Россия будет спасена! (Картошка и вообще все, что плавало в супе – большевики)

[*Редактор:* В январе 99 года перед опасной операцией в палату пришли мои родные. Внучка Настенька, ей шесть с половиной лет, говорит: Дедушка,, ни о чем не беспокойся, я помогу тебе спасти Советский Союз! (правда, я намеревался спасти Россию, но в крайнем случае, с Настенькой готов и Союз спасать...)]

– Марина! Странно: в таком раннем детстве, в такой грязной кухне броситься на пол и умереть!

Страстная суббота. Аля, глядя на освещенную церковь Бориса и Глеба:

– Марина! Тайная радость церквей!

20 апреля 1918 г.

– Марина! Я за вас отдам душу с телом, и даже мои голубые глаза.

Аля на улице:

– Я чувствую себя немного офицером, точно в жилах моих течет военная кровь.

– Марина! Я думаю, Колчак вернет нам Сережу...

– Мама! Знаешь, что я тебе скажу? Ты – душа стихов, ты сама длинный стих, но никто не может прочесть, что на тебе написано, ни другие, ни ты сама – никто.

31 июля 1918 г.

(Дневниковая запись М. Цветаевой)

«Вы тут все про дворников говорите, а я думаю про свою серебряную страну».

Аля, 27 августа 1918 г.

«Марине

(Стихи шестилетней Али)

Я ваш паж. Я дарю вам себя навеки:

Я дарю вам высокую стражу.

Я дарю вам ваш верный табак.

Я дарю Вам французские книги.

Охраняю Ваш сон.

*Я горда. Я похитила вас от света.
Разбиваю в ветру Ваши зеленый шатер.
Надеваю спокойные темные шали.
Расстилаю персидскую шаль.*

*Вы Воин. Женщина с мечом и в латах,
Отстраняйте всех!
Марина! Ваше имя смело,
А на руке кольцо».*

*Аля: «Солнце – свято. Снег – денные звезды. Марина!
Дым – женщина, туман – женщина. Гром – мужчина.
Я люблю корону и морскую звезду!..
Старый Год – пророк...
Мировое – это, по-моему, быстрое,
двигающееся со льдом и ветром,
ветер, спутанный с обломками льда.
– Аля, ночью и небо было, как черный пурпур.»
10 июля 1919 г.*

Из Алиного письма Сереже:

«Мы делали, что могли, чтобы попасть к Вам. Я молилась, просила Бога, чтобы он сделал так, чтоб Вы не грустили о нас... Я ясно помню Ваши чудные глаза, Ваши чудные блестящие глаза. Марина сейчас позвала из кухни. Как только я вошла, она велела мне закрыть глаза. Я подхожу, Марина скомандовала: «Открой глаза!» И что же я увидела: весь потолок ванной обвалился. Вся ванная и ее пол был завален извешткой. Этого я не ждала.

Сереженька! Я посвящаю мое сердце Марине и Вам. Любовь разрывает мое тело. Та комната, где мы с Мариной живем, это большая верхняя, в которой раньше жили Вы, в которой сделали мне подарок на Пасху.

Целую Вас. Ваша Аля».

К своей маленькой книжечке стихов «Версты», вышедшей в издательстве «Костры» в 1921 году, Цветаева поставит эпиграф:

«В их телегах походных заря Мариулы, Марины...»
и подпишет: «Стихи моей дочери.»

Аля: – *Марина! Спасибо за мир!*

Эта замечательная фраза служит сразу импульсом к написанию стихотворения:

*Марина! Спасибо за мир!
Дочернее странное слово,
И вот расступился эфир
Над женщиной светлоголовой.*

Запись 1919 года, которую считаю необходимым привести:

(26 сентября 1919 г., Иоанн Богослов)

«5 сентября Але исполнилось 7 лет, 14 сентября – Асе 25 лет (если жива), сегодня, 26 сентября – Сереже 26 лет, мне 27 лет. Аля подарила мне 2 церковных свечи (подобрала в Николо-Песковской церкви), Сережину золотую цепочку и мое обручальное кольцо (нашла в сору, я обронила у шкафчика) и, наконец, перед сном читала мне большое чудное письмо, которое писала мне потихоньку в свою черную тетрадку.

В этот день она не пошла в Детский сад, и у нее все утро впервые за много месяцев пылал на щеках румянец».

По записям Марины видно, как она восхищается дочерью:

«Аля, это моя скрытая (выявленная) гениальность.

Сама я так никогда бы не решилась выявить себя в жизни».

Да, необыкновенная девочка просто поражает глубиной проникновения во внутренний мир матери. Она чувствует, что ее мать необычна. Абсолютно верно пишет Анна Саакянц: «Аля уверена, что особенности матери связаны с чем-то необычным, высоким, б.м. таинственным. Мать для нее – Божество, Ангел, она видит сияние вокруг ее головы.

– Марина! Ты не чувствуешь, как мне хочется быть тобой!

– Марина! Я буду тебе рассказывать, а ты так скажешь, свяжешь, и выйдут стихи?». Невозможно привести все записи Али, доказывающие это: они действительно составили бы целую книгу. Через годы мытарств пронесет Цветаева дочерние детские дневники, сохранит рисунки, письма.

Я научилась хорошо разбирать милый детский почерк Али. Каждый раз, приезжая в Москву, всегда первым делом спешу в РГАЛИ, чтобы еще раз остаться наедине с ее записями, перечитываю их в сотый раз. И происходит со мной следующее: текущее время жизни как-то утрачивает значение и реальность, погружаюсь в прошлое, оно для меня расцветает необыкновенно ярко. Об этом состоянии души точно написала Е.Б Коркина, которая долгое время работала с Цветаевским архивом, необыкновенно много сделала для публикации текстов, составила небольшую, но замечательную книгу «Письма к дочери. Дневниковые записи Цветаевой». Я же не делаю архивной кропотливой работы: считывания, описания, разметки, написания примечаний, я просто впитываю эти записи, погружаюсь в их глубины, и из этой глубины мне сияют небесным светом **Алины огромные глаза-звезды**.

Редактор: Кроме моих двух примечаний все тексты из книги Ирины Киселевой об Ариадне. Я понял, что это Судьба связывает меня с Книгой, и в следующем номере журнала я продолжу Разговор о судьбе гениальных женщин... Марина и ее дочери вырастают даже в мой быт. Вдруг начали в деревенской печке и в бане образовываться головешки (хотя я отличный истопник!), и я говорю своей жене (Марине), когда у нас в очередной раз дымно: печка снова **головешит!** – вспоминая Алю-Ариадну...

НЕСКОЛЬКО СЛОВ РЕДАКТОРА

Конечно, я верю в судьбу. Еще на заре своей жизни, после долгого перерыва в дружбе со своей будущей женой, в сентябре 65 года я иду по двору Университета, навстречу Марине, в моих руках книга стихов Марины Цветаевой. «Возьми, это я несу тебе!»

Потом я пришел к ней за книгой, потом приносил свои стихи, потом она мне призналась ... в любви...

Эти строки лишь для того, чтобы показать, что судьба идей неотделима от личной судьбы, и поэты связаны между собою мистически. Но главное вот в чем:

Протагор говорит, что мерой вещей (их существования) является человек.

Христиане мерой бытия считают Бога ...

Но все, что мы знаем и думаем о Боге, мы знаем от человека (хотя его мистические состояния и прозрения – не только его собственное и внутреннее, в него входит весь мир.

Я математик, поэтому еще и размышляю (кроме того, что чувствую и живу). Все основные свойства функции содержатся в *особых точках*: точках разрывов, экстремумов, перегибов, разрывов производной. **Человек** – это своего рода *Особая Точка природного мира*. Исключительная личность – *особая точка человека как мирового явления*. Иные думают, что Познание «загадок мира» мы получаем через веру в Бога, другие – через исследование Природы и взглядывание в человека. Но Пол – это линия разрыва человеческой личности. Крестьянин – кормилец, хлебопашец, женщина – мать, производительница жизни. Творческая личность – собеседник богов, переустроитель и спаситель мира, воин. Но материнский инстинкт разве не выше творчества? И так как только женщина возобновляет человеческий род, и только она способна к любви-заботе, то в ней, как в бездне, мы можем отыскать разгадки бытия. Но есть две особенные женщины: Жанна Д*Арк и Марина Цветаева. Жанна спасала Францию (то есть **Род**, народ, как женщина спасает детей... возможно, она была бы не только воином, но и матерью, но мужчины ее сожгли). Марина была поэтом, Творцом. Но изумление вызывает то, что она в момент разрыва российской истории стала и была еще и матерью... В ней сосредоточилась ТАЙНА БЫТИЯ, Ариадна – ключ к этой тайне, путеводная нить. Вы видите, что в их судьбах скрыт не только символ, и загадка, но и разгадка. Я и надеюсь, что мы продолжим наш разговор в следующих номерах журнала.

ВИ 13 декабря 2018, четверг, через час текст журнала надо отослать в типографию, а я еще не успел многое, не вставил в журнал еще и свои статьи, и чужие...

VI. ЗА СТОЛОМ У РЕДАКТОРА

РАЗБОРКИ НА ТРОИХ

Татяна Лестева

О-МОН-РУЖ



Владимир Меньшиков

СПУТНИК КОМОМ

Татьяна Лестева. **О-МОН-РУЖ**

Как я люблю ходить с Леночкой на рынок. Никакой театр не может сравниться с этим бесподобным зрелищем. Она и на одесском Привозе была бы королевой, а уж на питерском Сенном.... Тут и говорить нечего. Царица, да и только. Когда она лёгкой походкой проходила между прилавками, вроде бы скользя взглядом по ним как по льду, казалось, что она смотрит не на фрукты и овощи, а витает где-то в неземном пространстве. Но насколько же цепким был этот миллисекундный взор, каким огромным оказывался её оком. Всегда она останавливалась у лучшего по качеству товара.

– Почём *это*? – и тонкий указательный пальчик нежной руки с бриллиантовыми перстнями указывал на товар на прилавке, а в голосе её было столько презрения и отвращения к *этому*, что никаких сомнений в произнесённой оценке продукта не оставалось. Скучающие, распаренные под палящим солнцем продавцы, обычно сразу принимали вызов.

Этот пэрсик (груш, сльв, ынжир, хранат), этот красавец как Казбек в солнечный день, нежный как твой щека... Какой цена? Возьми так... Только для тэбя – двэсти пятьдесят за кыло!

Леночкины ресницы взлетали вверх, открывая голубые глаза, из которых так и сочилося наивное изумление.

Два пятьдесят?! Так дорого! Да не с луны ли ты явился со своим Каз-бегом?

После трёх-пятиминутного торга я принимал пакет с отборными двумя килограммами «с походом» «пэрсиков» по цене от 20 до 25 рублей, в который Леночка опускала свои глаза, изучая до мельчайших подробностей каждый штрих на поверхности фрукта. Не верите? Да тут даже бы сам Станиславский поверил, а уж я...

Торговалась она классически, каждый раз по-новому. Однажды, остановившись перед впервые появившейся на прилавке нектариной и направив на неё свой вопрошающий пальчик, в ответ на традиционное: «что это за...» услышала:

– Гыбрыд пэрсик и чёрный сльв. Сладкий как пэрсик, сыный как сльв. Сто ру за кыло.

– Гыбрыд, говоришь, – передразнила она продавца. – Сливы с персиком? А откуда сто? Слива – двадцать, персик – сорок. Считать учили в школе? В твоей нектарине половина сливы за десять рэ, а вторая персика – за двадцать. И сколько же всего?

– Трыдцать? – от изумления у продавца не только глаза вылезли из орбит, но даже усы, казалось, вот- вот оторвутся и, униженные и оскорблённые, улетят на юг.

Пакет с двумя килограммами сине-лиловой нектарины сам собой оказался в моих руках. Я с горечью вспомнил о своих походах на рынок, представив, каким, наверное, жалким казался торговцам со своим свитком в руках, зачитывая им требования к качеству продукции. Вот где истинное мастерство,

вот он, его величество талант, за которым даже хрому Меркурию было бы не угнаться.

Но до одного продавца она никогда не снисходила, никак я не мог понять почему. В центре прилавков, так и хочется сказать восседал, но он всегда стоял, стоял величественно и как монумент, глядя куда-то вдаль и, несмотря на средний рост, как бы над головами покупателей, многие из которых были выше его ростом. Одет он был во всё чёрное, чёрная лента с какими-то письменами перерезала невысокий лоб, из-под которого далеко вперёд выдавался большой нос с горбинкой, который, казалось, был в полной боевой готовности – клонуть любого, пробить дырку в черепе, если бы не отрешённый взгляд куда-то в потустороннюю даль, на юго-восток. Окладистая борода и усы, чёрные как смоль, непроизвольно заставляли вспомнить о чеченских полевых командирах. Когда подходил покупатель это олицетворение «статуи свободы», венец на голове которой заменяла чёрная лента, не меняясь в лице, продолжая вдохновенное самосозерцание, не глядя, что-то бросал в пакет, опускал его на весы и односложно называл сумму. Получив купюру, погружался в транс, ожидая, когда покупатель уйдёт. Если эта назойливая муха, а реже, мух, спрашивал: «А тридцать пять рублей сдачи?», он ещё несколько минут пребывал как бы в трансе, а затем жестом, выражающим полное презрение к вопрошающему, выбрасывал истцу мятые десятирублёвки, не вымолвив ни одного слова. Звонкую металлическую мелочь невозможно было представить в его руках, даже включив всю фантазию.

Но сегодня, когда мы с Леночкой проходили между торговыми рядами, её тонкий музыкальный слух уловил диалог. Перед «статуйей свободы» стояла худенькая старушка интеллигентного вида в соломенной шляпке, выдавшем вида, но тщательно выглаженном льняном светлом костюмчике. Старинные серьги с небольшим сапфиром в обрамлении крошечных жемчужин позволяли сразу определить, что она из «бывших», а худенькая фигурка свидетельствовала о том, что и голодная чаша блокады не прошла мимо. «Учительница музыки, наверное», - подумалось мне. Она говорила, обращаясь к продавцу:

– Простите, пожалуйста, молодой человек. Взгляните, что вы мне положили. Все три персика гнилые. Обе груши тоже. Это же нельзя есть. Очень прошу Вас, поменяйте, пожалуйста.

Продавец, по-прежнему, глядя вдаль, бесстрастно, как обычно, ответил:

– Я фрукт нэ мяняю. Ёшь, бабка, что дают.

– Простите, – в голосе покупательницы зазвучала оскорблённая гордость, – Вы мне не дали «фрукт», а я его купила, заплатила Вам деньги.

– Это ты завёшь дэнги? – он с омерзением взглянул на четыре десятирублёвки.

– А для Вас это не деньги? Попробовали бы заработать!

– Ёди, бабка отсюда, да подалше. Пока я добрый...

В эту минуту я отвлекся. Леночка достала мобильник, нажала какую-то кнопку, назвала несколько цифр и сказала «волкодав». Пока я раздумывал о том, что бы это значило, она уже остановилась рядом с этой старушкой.

– Что здесь происходит? – ележным голосом спросила она.

Старушка попыталась открыть рот, но не успела.

– Тыбе, мачалка, што здэсь надо? Ыди отсэда, пока я добрай.

В это время Леночка взяла пакет у старушки и успела в него заглянуть. Услышав слово «мачалка» (это про её-то роскошные волосы натуральной блондинки!), она размахнулась, и в ту же секунду персики и гнилые груши залепили глаза короля, а их липкий сок потёк с обеих сторон его бороды, которая из чёрной стала полосатой, грязно рыжей с оттенками плесени. Последовавшая за броском Леночкина тирада потрясла меня: такого изощрённого мата я и представить себе не мог, ни разу не слышал за три с половиной десятилетия. Единственным знакомым мне словом был цвет анального отверстия продавца. Тирада заканчивалась словами:

– Я научу тебя, как нужно разговаривать с русской женщиной!

Впрочем, вслушиваться мне было некогда. Продавец взревел, раздирая руками залепленные глаза так громко, что я в тысячные доли секунды перенёсся воспоминаниями в первый класс, когда после драки с одним нехорошим мальчиком из класса, родители отдали меня на два месяца в школу айкидо. Но вспомнил только единственный освоенный приём, причём, только самообороны, преисполненный готовности отдать жизнь за Леночку в борьбе с этим чёрным чудовищем.

– Милиция! – вскрикнула старушка...

Скучающий неподалёку мужчина в форме с поблёскивающей на солнце серебристой надписью «Охрана» даже не пошевелился. Но... В эту минуту за спиной мерзавца оказались неизвестно откуда выпрыгнувшие два омонца, уже выкручивающие ему руки за спиной. Третий омондец, схватив его за волосы и пригнув его голову, ногой подталкивал его под зад к выходу между прилавками. Всех продавцов буквально за сотые доли секунды как волной смыло. Только покупатели, сбившись в кучу, с интересом посматривали на происходящее. Бомж, принявший уже с утра, до этого рывшийся в ящике с выставленными для отбора отходами, сочувственно пробормотал:

– Ну, чич, ты попааал...

Невдалеке стояла машина с надписью «О-МОН-РУЖ». Такая же надпись была и на бронжилетах у омонцев. Только сейчас, придя в себя, я вдруг оценил стройность, и изящную грацию этих высоких (не ниже метра семидесяти пяти сантиметров ростом) омонцев. «Уж не девушки ли это были?» – подумалось мне, но эту мысль я тотчас же изгнал, услышав так хорошо мне знакомый нежный ручеёк Леночкиного голоса.

– Пойдём, милый. Испугался?

– Да, – я честно признался в этом, – за тебя. Но защищал бы тебя до последней капли крови. К счастью, ОМОН быстро приехал.

– Мои девочки никогда не опаздывают.

– Твои? Девочки?! Так это действительно девочки?
– А что это тебя так удивляет... Женщина в наши дни должна уметь всё!
– А почему твои? Ты же в банке работаешь.
– Да это меня начальник охраны отвёл потренироваться с девочками, так и познакомились...

– А почему «руж»? Красный ОМОН, вроде итальянских «красных бригад»?

– Ну, что ты, милый мой переводчик. Это просто аббревиатура – русские женщины.

– А волкодав? Это пароль?

– Умница ты моя, – она приподнялась на цыпочки и ласково погладила меня по голове. – Пойдём, купим рыбки.

Она замолчала, и только золотистые каблочки её светло-бежевых босоножек звонко зацокали по асфальту: цок, цок, цок... Я тоже молчал... А в голове звучали две строчки, до боли знакомые со школьных времён: «Коня на скаку остановит, в горящую избу войдёт...».

А вот этого продавца я больше никогда не видел на Сенном...



В. Меньшиков

«СПУТНИК» КОМОМ...

(о первой книге Артема Горшенина)

Книжка молодого поэта Горшенина (Горшка), представленная недавно на секции критики, называется «Спутник». Именно на таких летательных аппаратах – «горшках» в 50-60-х годах прошлого века начали бороздить космическое пространство со всякими Стрелками и Белками (Ахмадулиными. Ах, модель! Ах, модуль...). И хотя некоторые сторонники Артема заявляют о новизне тем, поэтически разрабатываемых им, принимать такие послы на веру необязательно. Лично мне при прочтении книжки вспомнился ряд научно-популярных молодежных журналов той поры: «Знание-сила», «Техника молодежи» вплоть до довольно-таки престижного журнала «Сельская молодежь», в которых часто печатались стихи на тему покорения небес, примерно такие же по художественному уровню, которые сейчас предьявляет Артем:

Меня зовут Анна, и я капитан
Межзвездного судна, спастись мы успели
От страшной войны, от безумия стран,
Что бомбами выжгли соседние земли.
Погибла планета от ядерных ран.

Или:

Обратный отсчет оператор дает,
Колотится бешено сердце.
Движенье вперед – к дальним звездам полет –
Мечта человечества с детства!
Пусть долог наш путь – до свиданья, Земля!
Встречайте, Миры, пионеров!

Собственно ничего нового, малость модернизированное старое, почти те же ритмы-образы, те же романтические помыслы. Тогда же очень востребованным являлся жанр карикатуры, где тема покорения космоса как неоклассика тоже находила свое отображение (схожее с брожением в мозгах после пивасика?). Ветераны знают, что очень популярным был карикатурист Богорад, публиковавший свои работы в ленинградской газете «Смена». Как помнится, наиболее интересный видовой образ Артема Горшенина

«Пусть телескопы, словно монстры,
Ночами в космос тычут рыла», –

слегка интерпретированный, я встречал в произведениях Богорада, талантливо рисовавшего на астронавическо-улетные, фантастические сюжеты. Не стану делать нажим на слово «заимствование», Артем скорее всего сам [до всего] додумался, но рисунки и картинки, на которых изображались телескопы в виде жирафов, динозавров и стометровых ящеров я точно видел, да и у меня самого в прозе значится нечто подобное. А вот еще один интересный стих Горшенина, «Завод»:

Рабочий день истек, иссяк.
Как лопнувший графин воды,
Завод разлил своих трудяг
Вокруг себя...

И у меня тоже показано нечто подобное в стихе «Пролетарская великанша»:

Ручка швабры, что у Натки,
Как над фабрикой труба,
А вода течет из тряпки,
Словно к проходной гурьба...

Эти два неординарных образа при нынешнем прочтении «Спутника» напомнили мне события двух или трехлетней давности, когда я, появившись на заседании поэтического семинара очередной конференции молодых писателей Северо-Запада, прочел большую подборку произведений Горшенина. Так вот всё, что он предъявил тогда, так и осталось и вошло в книгу, ну, может, в несколько подкорректированном виде. Не наблюдается никакого «прироста», «скачка» или «расцвета» за прошедшие годы, хотя пишет о техническом прогрессе. То, что он за такое продолжительное время не придумал кучу образов и метафор уровня «Графина» – это не моя проблема, а головняк самого автора и его терпеливого мэтра Ахматова, у которого, наверное, не раз возникало желание отшлепать тормозного, а не космически-скоростного Артема деревянным метром.

Конечно, если хорошенечко поскрести по сусекам-отсекам и кандейкам не очень-то поворотливого «Спутника», обнаружим несколько идей неплохого совкового качества, например,

Старый механический будильник –
Жук железный, ржавая душа –
В солнечных лучах, как в паутине,
Корчится, отчаянно жужжа, –

но этого маловато, чтобы разбудить современного читателя. «Совок»- зевок. А как тут не зевать, если видно, что поэту, который начинал как одаренный метафорист, позволили в поэтическом и алкоголическом ресторане «Молодого Петербурга» упасть под стол, то есть творчески скатиться до уровня банального описателя и пародиста (типа Гафта) да еще и публициста, осмеивающего самого себя в таких строчках: «И вот, улыбнувшись и встретившись взглядом (в американкой), я с нею ногами совьюсь под столом». Да свивайся сколько хочешь, только поэзию предъяви да повыше рангом, чем игра на созвоне «уже-фужеров». Нет, со звучанием стиха всё не доработано, запущено. Образы не вдохновляют. Не зажигает и как-то постоянно слетает в подорожную грязь «гайка огня с резьбы сигареты». Ау, поэты?...

И вот с таким научно-художественным запасом (вообразив, что он крепкий), молодой поэт направился на секцию критики за восторженными откликами. Специфика аудитории ни Кругловым, ни Боранец, ни Горшениным не учитывалась, а там сидят матерые прозаики, да, да, не легкрылые поэты,

а представители основного, так сказать тяжелого литературного жанра Овсянников и Кречетов, многомудрые и язвительные философы Чернышев и Грякалов, убойные критики Медведев и Муриков. Это же динозавры-диплодоки (в смысле «доки»), мастодонты и монстры нынешней питерской и вообще русской литературы, а им подсовывают на вечерний ужин «Мои первые книжки» или «Мои нежные косточки». Скорее всего, такое неуважение к их давно уже устоявшимся вкусам и аппетитам оскорбило профессиональные чувства ветеранов и они не захотели внимательно слушать Тёму.

Поэт Влада Боранец через пару дней пожаловалась в своей заметке, что люди, пришедшие с Артемом, ожидали конструктивную критику, а получили **монстру**тивную. Она не хочет понять, что эти горькие и одновременно веселые деды прошли через все, а уж через времена «литературного голодания» подавно. Поэтому в них до сих сохранилась мощная тяга к литературе, особенно к хорошей, высококачественной. Они за жизнь прочли очень и очень многое, а уж Маяковского с футуристами или обэриутов со «Столбцами» Н. Заболоцкого обязательно, поэтому сразу увидели, откуда «растут уши» на «Спутнике», который по форме очень напоминает голову. Так что ничего не произошло страшного, если поэтические дедушки надрали вышепримеченные уши Артема и послали его на дальнейшую выучку и поэтическую работу. Толк будет. А пока что констатируем, что первый горшенинский «Спутник» вышел боком...

Теперь бы хотелось сказать несколько слов о деятельности поэтессы Влады Боранец. Она не такая уж молодая и не такая уж неизвестная. Имеет высшее филологическое образование. Техникой стихосложения владеет, пишет звучно и чисто, и в этом смысле не испорчена новациями вседозволенности, которыми порой грешит не только Горшенин, а весь «Молодой Петербург». Вот бы Владе и давать уроки литературным «младопетербуржцам». Вот бы и проводила занятия в учебных комнатах и аудиториях для «МП», а то ее вместе с Горшениным понесло на «съедение» проголодавшимся монстрам, а потом зачем-то написала совсем не убедительную заметку с максималистским и обидчиво-крикливым названием «Критика критики». Ведь что происходит с молодыми?

Их порой, действительно, читать и слушать невыносимо. Чего только не нахватались нынешние неоперившиеся ангелы злобы, высокомерно заявляя о наличии технического «модерна» в их стихах. Ведут себя просто некрасиво, небрежно бросят по ходу написания стиха неплохую составную рифму, а остальное – хоть всё постротечной травой зарастить, мол, мы-мастера, если «составнуху» можем склепать, а все остальное недостойно нашей доводки или доработки. А этот вирус пофигизма, от которого накрепко заражаются не только молодые, но и старые стихотворцы. Как пример возьмем отрывок из стиха того же А. Горшенина:

Дома она и кастрюля горячего

Супа. Я слышу сквозь **ГОМОН**

Стоны желудка и, кажется, плач его –

Требует мчаться бегом **он**...

Стих по сути ни о чем, но использовано якобы передовое составное рифмоплетство. Неужели Влада считает, что такое сочинение можно подсовывать под требовательные взоры ветеранов-критиков и при этом требовать уважительного и сверхкорректного отношения к себе? Нет. За это всегда карали достаточно громко и скандально. И зря Боранец вместо того, чтобы самой серьезно поговорить с молодым стихотворцем, начала учить и строить уважаемых пожилых литераторов. Пусть лучше позанимается с начинающими... Пусть старательнее и требовательнее к себе пишет Артем Горшенин. И успех несомненно придет. «Спутнику» повезет, и мы будем говорить не о том, что он увяз в тягучем космосе, а о том, что ему, действительно, стало везти.

ОДИН ИЗ ЛИСТКОВ НА САЙТЕ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ

О заседании Секции критики и литературоведения 29.11.2018

Прошедшее 29 ноября заседание Секции критики состояло из двух частей. Первая была посвящена обсуждению книги стихов молодого поэта Артёма Горшенина «Спутник». **ПРОСТИ, МОЙ АНГЕЛ, НО МНЕ БУМАГИ НЕ ХВАТИЛО. Я НА ТВОЕМ ПИШУ ЧЕРНОВИК**

Я пришла на заседание, чтобы почитать книгу и хотела написать отзыв, а поскольку критические статьи стала писать недавно, то посчитала для себя полезным услышать, как выстраивают критику те, кто уже давно этим занимается, поучиться у них.

[Редактор НРЖ (с топором) преподнес начинающему критику журнал именно с целью литературного обучения подрастающего поколения.]

Первый вопрос, поднятый известным критиком Геннадием Муриковым после того, как Артём прочел несколько своих стихов, был:

«Зачем мы снова обсуждаем молодых? Мы еще Толстого не до конца дочитали, а времени у нас мало». (это правда, сказал Редактор).

Конструктивной критики было немного. Муриков назвал стихи **дребеденью** (без какой-либо аргументации). *[Так возразите! – но аргументировано!]*

Татьяна Лестева, узнав о том, что Артём не читал Жака Нуара, и раннего Тутанхамона – вовсе махнула рукой: «Тогда о чём тут говорить!».

Роман Крутлов в своем выступлении поднял вопрос **ценности поводов, которые используются Артёмом для написания стихов**, – по его словам, при прочтении складывается впечатление, что **автор пишет просто потому, что умеет писать**. (Великие слова!)

А КАК ЖЕ ТОГДА ВЫ ПИШЕТЕ СТИХИ?

Мне трудно описать свои ощущения. Временами мне казалось, что я участвую в каком-то абсурдистском действе.

В середине дискуссии один из присутствующих встал и начал, ходя по залу, раздавать всем свою книгу. Другой внезапно прочел стихи.

Эти опасения вполне конструктивны и, по моему мнению, актуальны для любых органов и процессов, имеющих отношение к Союзу Писателей: работа исключительно на энтузиазме, иногда **без корректуры, редактуры**. [Об этом мы и говорим!]

Пусть к вам сегодня пришел не Пушкин, но Разве ваша задача как критиков не заключается именно в том, чтобы разобрать представленное на ваш суд? **Считаете нужным ругать – ругайте**, но пусть ваша критика не заставляет никого краснеть.

А как же тогда ругать? Влада

Итак, сначала научитесь плавать, потом погтгггужайтесь

VII. НАД ЖИЗНЬЮ. СТИХИ и ПРОЗА, статьи и ПИСЬМА

В. И. Чернышев

НОВАЯ РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ

(2. Есть ли Бог?)



СИРОТАИВО СТОИТ РЕДАКТОР...

ЕСТЬ ЛИ БОГ?

1.12.18. Люди вообще делятся на разные группы, есть добрые и злые, красивые и некрасивые, умные и глупые, русские и китайцы... Много разных групп...

Ну и что? – можно меня спросить.

Но мы оцениваем людей, не можем их не оценивать, с той или другой точки зрения, как мы оцениваем и погоду, на море ли, чтобы не перевернулась лодка, на суше ли, чтобы знать, как одеваться, нам это необходимо: мы с ними общаемся, выбираем себе товарищей, единомышленников, соратников, заводим с ними дружбы и романы, приглашаем участвовать в общих журналах, в компаниях, затеваем поездки в дальние края или хотя бы на прогулки, в кино и в театр, затеваем с ними революции, перевороты, строительства и общие предприятия, например, идем на охоту, открываем артель по производству спичек, женимся...

Одни сходно с нами смотрят на мир и историю (при этом иногда могут быть нам не симпатичны), другие нам симпатичны, но мало образованы и нам не о чем с ними разговаривать, и мы пытаемся как-то к этому обстоятельству примениться... при этом родственники и друзья не всегда нам близки в том или другом отношении, но мы к ним ведь прилаживаемся... *а чаще просто любим и не замечаем, в чем мы сходны и в чем различны...*

Я отличаюсь от большинства неким свойством, в силу которого оценка человека, народа, истории имеет для меня первостепенное значение. Во-первых, еще в глубоком детстве сформировалась привязанность моя к России, русскому народу (не в национал-немецком, а в расширительном сибирском смысле, в котором для русскости важнее всего было поведение, *любовь к России*, культуре, связанность в общий народ); во-вторых, так же в детстве основным чувством, пронизывающим мою личность, стало чувство жалости, сострадания, *сочувствия*, желания помочь и спасти «униженных и оскорбленных»; и в третьих, так же как основополагающее чувство возникла во мне вместе с рождением жажда *справедливости* (неотделимая от сострадания) и жажда правды, *истинности*, потребность во всяком событии, вещи, высказывании различить верное от неверного (хорош ли Петр, Екатерина, есть ли жизнь на других мирах, бесконечен ли мир, есть ли Бог...) и – не отделимо от потребности в справедливости и истинности – *жажда свободы*.

Одновременно со всем этим, с моим желанием помочь миру и спасти человека и народ появилось во мне желание исправить недостатки мира и человека, преодолеть заблуждения (свои и чужие), то есть *просветить народ и обучить человека*, даже *навязать* ему знание истины и правды. И я уже в детстве стал учителем, стал сеять семена знания (верного-неверного: в истории, в миропознании, в философии, политике, обыденной жизни, литературе). Учителство, поучение, наставление, исправление ошибок (в мире и человеке) – вот центральная ось моей жизни, для этого я и пишу книги.

Зло и жестокость, заблуждение, несправедливость, порабощение (несвобода) – вот мои враги. И я поэтому говорю, как и Христос: *я пришел спасти свой народ*.

Но я должен найти слушателей и читателей, должен найти учеников и соратников, для этого прежде всего я должен найти тех, кто понимает меня. Пытаюсь я разговаривать со всеми, но для понимания необходимо не только желание слушать и понимать, но и некоторые познания в истории, в культуре, достаточный уровень ума или хотя бы здравый смысл, сверх этого духовную свободу, не пораженность предвзятыми идеями и догмами, мифами и суевериями. Чуть ли не большинство людей, даже не глупых, слушает собеседника с одной целью: дождаться конца его высказывания, чтобы скорее ему возразить. То, что он видит, уже напечатлено в его уме, и ничем не возможно сие опровергнуть, один верит, что материя порождает сознание, другой верит, что есть Бог и он порождает и материю и сознание – дополнительные рассуждения в этом порожденном сознании кажутся даже излишними. Партия (или церковь) нас учат... - то, что отличается от их священных писаний, уже не постижимо.

И вот, я выделяю тех, кто еще готов чему либо научиться, кто обладает любопытством к миру и собеседнику: иногда это дети, иногда попутчики в поезде, иногда водители автомобилей (в частности таксисты), которые меня подвозят. Среди писателей (которые умеют читать и как будто должны быть склонны к чтению) внимлющие находятся реже.

Итак, я должен спасти свой народ – но от чего спасти, кто враг моему народу? Во время войны это ясно, враги нам те, кто пришел захватить наши земли и имущество, нас обратить в рабство, разрушить наше государство – кто же враг мой сегодня? Да всё те же, враги – это те, кому не по праву принадлежит наше достояние, кто присваивает неоправданно большую часть нашего труда, кто богатеет за наш счет. Народ вправе пользоваться благами цивилизации, он имеет право на труд, согласно конституции, но в провинции почти половина трудоспособного населения не имеет работы, в частности потому, что ресурсы сосредоточены в нескольких крупных городах, большую часть сбора от налогов забирает центральная власть, она и ведет себя как внешний завоеватель. Из этого следуют все остальные беды нашей жизни, в провинции разрушено образование, в большинстве поселений нет школ, разрушена медицина – нет больниц и врачей, не строятся и не ремонтируются дороги. Но вследствие этого катастрофически упал уровень рождаемости, ***русский народ вымирает.***

Но, быть может, он уже опустился настолько, что не в состоянии сам о себе позаботиться, отстаивать свои права, избирать достойных правителей?

Нет, это не так. И я вижу множество талантливых и умных людей, и другие говорят о том же, я читаю о таких людях в газетах и книгах, вижу их в интернете, встречаю на улицах и в поездках. Но часто бывает так, что человек не может снести две ноши сразу, и русский народ надорвал свои силы в войнах и революциях, в братоубийственных распрях, в неисчислимых притеснениях двадцатого столетия, в незыблемости многих основ косного управления страной. Он поднял страну из руин войны с Германией, теперь ему надо поднимать ее из руин перестройки и уже антикоммунистической революции, которая как будто была бескровной, однако в девяностые годы население страны сократилось почти на четверть.

Мы пережили не меньшую разруху в промышленности и в сельском хозяйстве, чем в двадцатые годы двадцатого столетия, миллионы образованных и деятельных людей бежали из нашей страны за границу в поисках лучшей жизни. Кто-нибудь останавливал этот поток? Нет, его только поощряли.

Народ устал рожать. Но еще более важная причина падения рождаемости состоит в том, что легче родить и воспитать ребенка в деревне, нежели в городе, при уничтожении сельской жизни мы дойдем до того, что рожать уже никто не будет. Есть значительные силы истории, которые не подчиняются только стихии, они во многом зависят от государственной политики, таковы строительство промышленности, война, рождаемость, перемещение народных масс. Примеры из истории многочисленны: освоение Сибири, строительство заводов на Урале, освоение юга России, Причерноморья, строительство Петербурга, создание военной промышленности, флота и армии. Демографические процессы – не то же, что землетрясения и засухи, ими можно управлять, даже в условиях послевоенной бедности политика правительства помогла справиться с падением рождаемости – вследствие бедности, не полных семей, недостатка мужчин. Не буду чрезмерно растолковывать азбучные истины, я пишу не для умственно отсталых читателей (хотя часто призывы к оздоровлению власти встречаются именно нелепым воплем: а где взять умных руководителей? Это надо так презирать и ненавидеть собственный народ, чтобы заранее полагать, что умных среди него нет!)

И все же народ устал. В девятнадцатом столетии крестьянство было становым хребтом хозяйственной жизни, оно содержало армию и обеспечивало нужды войн на границах и за границами государства – сегодня эти войны надо немедленно прекратить, если мы не хотим окончательно добить собственный народ. Крестьянство, помимо армии, содержало несколько сословий, которые ничего не производили: дворянство, духовенство, чиновничество – сегодня чиновничий и репрессивный аппараты (аналог бывшей жандармерии) в десять раз превосходят нужды страны в управлении.

Нет, так жить дальше нельзя. Если мы не возьмемся за исправление жизни сами, народная лошадь в конце концов рухнет бездыханной, но рухнет и государство, и чиновники и олигархи, страна будет разодрана на части, и части эти отойдут к Китаю, Японии, Турции, Украине и Польше. России больше не будет. Я предполагаю, что народная чернь, может быть, в силу исторической усталости, именно об этом мечтает – но действительно ли этого жаждет русский Бог? Но есть ли он? Не случайно я задал вопрос о существовании Бога, отвечая на него, мы определим понятия **ценностей** нашей собственной и российской жизни, окончательно разделимся на духовные сословия, на противников и сторонников России.

2. Ценности

О самом себе я уже почти все сказал, если сравнить мою личность с домом, то в ее фундамент входят потребность в духовной свободе, в справедливости, образовании, культуре, познании бытия как целого, так и его частей, которыми являются народ, государство, язык, культура, религия. Любовь, семья, творчество, работа – не меньшие ценности личной жизни.

И хотя я упомянул о религии, но она не играла основополагающей роли в жизни моего поколения и поколения наших отцов. А дети? И другие поколения? Трудно сказать, кто верит, кто не верит, и как верит, кто следует моде, кто следует просто течению общественной жизни – да и в количестве ли верующих дело? В нашей жизни на протяжении в особенности последних трех столетий громадное значение имела культура, литература, театр, музыка, наука. При этом так называемое "образованное словесие" составляло не более одной десятой населения, девять десятых не умели даже читать – значит ли это, что история страны определялась культурой только на десятую часть? Вот, например, телефон и телевизор, радио и интернет пронизывают всю нашу жизнь, но математики и физики составляют, я думаю, вместе с преподавателями школ и вузов, менее сотой части образованных людей, инженеров больше, но их, все же, нельзя причислить к математикам и физикам. Если ввести такое понятие, как «тело истории», то определяется ли **история** тем, сколько землепашцев, сколько солдат в армии – она от всего зависит, всем определяется, как пресловутая «прибавочная стоимость», о которой Маркс думал, что ее составляет только труд – но, видимо, не всегда существуют количественные отношения целого и его частей, в историческом русском теле крестьяне составляли девять десятых, но, кажется, я не ошибусь, если скажу, что в восемнадцатом-девятнадцатом веках русская история определялась дворянством, в двадцатом же столетии история явилась пьесой, в которой играли преимущественно заговорщики-большевики. Какие заговорщики играют пьесу исторической русской жизни сегодня, я не знаю. Какова роль культуры, какова роль церкви в нынешней жизни, я знаю еще меньше. В оперный театр и филармонию (в Петербурге) ходят немногие, думаю, не более сотой всех жителей. Зависит ли от нас жизнь нашей страны? Сомневаюсь. В церковь ходят, быть может, один из десяти. Зависит ли жизнь от них более, чем от нас? Сомневаюсь еще больше.

Связано ли содержание современной русской жизни с тем, что одни из нас верят в Бога (да почти никто из них не разбирается в том, в какого Бога и как они верят), а другие не верят? Не думаю. Следовательно, вопрос, поставленный в начале статьи, носит чисто теоретический характер. Речь не идет о том, что надо притеснять церковь или духовенство – хозяйственные и культурные проблемы, возникающие в связи с церковью, надо решать в соответствии с законом, но это от моих рассуждений тоже совершенно не зависит. Даже важных онтологических, философских проблем я в журнальной статье я не решаю, проблему содержания и смысла бытия надо решать в Книге (и ее я собираюсь написать), здесь же я только хочу примериться, показать несколько аккордов мысли. Статью мою прочитают 17 человек. Семь с нею согласятся, семь не согласятся, трое ничего не поймут. Но зачем я ее пишу – этого не поймут все, если я не сделаю героических усилий в попытке объяснения своих намерений.

Итак, принимаюсь за героические объяснения.

1. Мне мои оппоненты, когда я ругаю народ, возражают, что народ занят тем, чтобы жить и выжить, кто-то ищет работу, кто-то работает, кто-то

болеет, кто-то ухаживает за соседкой в трактире или в метро. Надо ли было большевикам свергать прогнивший царский режим (или он не был прогнившим?) – это никого *не кольшит*. (Хотя на семинаре по голоморфным функциям имеет смысл обсуждать вопросы, которые кольшут всего семь человек в мире, и из этого не следует, что их не надо было обсуждать... что в математике надо обсуждать, знают смутно руководители кафедр, пока им платят зарплату и сохраняют должности, мы вот тоже обсуждаем многое, что никому из нормальных людей не приходит в голову... да, кстати, в человеческом теле вырабатываются вещества, гормоны и медиаторы, составляющие миллионные доли миллиграмма, а без них человек может умереть... да и соль, вообще говоря, несъедобна... и так далее...)

«Народ занят тем, чтобы жить и выжить», и нечего требовать от него строительства баррикад, вон и декабристов было всего триста человек, правда, они привели на площадь солдат – но те были у них в подчинении – и мир они чуть было не перевернули. Не приставай к народу, у него свои задачи, ему и книги некогда читать, они и при свете костра их не читали, как ты при лучине, у каждого своя задача, родился "гормоном", так и приставай к своим гормонам, а нас оставь в покое, у нас мышцы, кости, желчь и желудочный сок, тоже не легко со всем справиться.»

Конечно, хотелось мне и «мира как целого», и целостного народа, а не разделенного на темных и просвещенных (а разве не было у меня в детстве ощущения *возвышенности* деревенской жизни, ее поэтичности, ее божественности, с удивительными праздниками, христианско-языческими, с хороводами, с протяжными красивыми песнями на посиделках, на гулянках, с разговорами длинными вечерами у веретена?) Я восполняю падение художественной насыщенности быта музыкой – чем восполняет нынешнюю пустоту городской обыватель? Он отделен от истории, он **обделён**, он уже не умеет ничего, кроме развлечения, раскол в обществе, как при расколе льдины, потопившей Титаник, эта гнусная элита занята "баблом", народ же ничем и никем не руководится и не просвещается...

Уже ничего не поделать, народ в провинции с трудом выживает – но с ними, потому что им плохо, еще я нахожу общий язык, хотя они и прогибают равнодушное к их вопиющей нужде государство; городской народ бежит на работу и к телевизору с работы, он озабочен Ближним Востоком (потому что ему хватает пока кормового хлеба и суррогатного масла) – но мы не интересны друг к другу; в церкви я бываю очень редко, ничего вдохновляющего я не вижу, много озабоченных лиц; в филармонии или на концертах в университете или в Питер-кирхе я среди своих, но слышу я музыку, а не биенье сердец... Вдохновляют меня еще девушки (своеобразная музыка) и разговоры на писательских встречах (род философии)... Кому же я направляю свои Записки, имеющие чисто теоретический интерес?

Кажется, что преимущественно себе. Смысл религии, отношения Земли и Неба, человека и Бога, человек и ценности, ради которых он живет – это абстракция, недостаточно интересная даже для избранных критиков верховного Ареопага властителей дум, "инженеров человеческих душ".

3. Ценности как направляющие векторы движения жизни

Человек может не сознавать или не формулировать основные ценности бытия, но он их чувствует, они присутствуют, как сила тяготения в его взаимодействии с физическим миром. В норме человек ощущает себя в отношении к полу, как мужчину или как женщину, и ощущает себя в отношении к народу как имеющего национальность (народность), что определяет его историческую память, родной язык, характер и предпочтения. Пол человек не выбирает (исключения не буду рассматривать), национальность хотя отчасти и выбирает, но эта свобода выбора исключительно. Фундаментальные ли это качества человека или условности, которые можно изменять по произволу? Рассмотрим движение в реке отдельных струй и частиц воды и течение реки в целом, приглядимся к тому, как движется щепка: она то движется вперед, то стоит на месте, то крутится, то вдруг отплывает назад – но все же мы не делаем вывода, что река неизвестно, течет ли от Валдая к Каспийскому морю. Так и народ состоит из мужчин и женщин, и есть кроме русского народа еще и французы и немцы и евреи, и вода – при том, что содержит в своем составе примеси – является водой, а молоко молоком, хотя даже и золотая жила не сплошь золотая. В математике мы хорошо понимаем разницу между идеальной геометрической фигурой и изображением, сделанным рукой человека, между натуральным числом и результатом измерения...(Ах, эта несносная учительская привычка разжевывать темные места для отстающих учеников!)

Итак, как в физическом мире *сила тяготения* – неизменное условие существования; так пол и *национальность* в *бытийном мире* (то есть в мире, в котором мы существуем и проживаем), язык и культура – та же почти сила притяжения, благодаря которой *диффузионное бытие* человека становится *общественным*. ***И только через национальность, через язык и культуру, и вследствие их через семью и принадлежность к народу жизнь человека приобретает смысл.***

Такой же смысл приобретает и любовь: это чувство, которое испытывает отдельный, и оно имеет два основных качества: оно направлено вовне на нечто, что само по себе обладает для человека высшей ценностью (хотя бы это был всего лишь цветок), и оно является соединением того, кто любит, с тем, что он любит. Изю всех предметов любви мы выделяем важнейшие, для мужчины это женщина, его возлюбленная, невеста, жена, мать его детей, и все, кто принадлежит к его роду, родители и родные, то есть семья и род. Любовь-дружба – отдельный вид любви, не связанный с родом. С родом связана любовь к своему ***народу***, к своей ***родине***, которая переносится и на тех, кто его составляет, и на историю народа, историческую память, культуру и *природу*. (Любовь к ***родной природе*** в этом отношении исключительна, само это понятие тавтологично, в нем дважды повторяется **род**). Ветхозаветная *«любовь к ближним»* – предписанная Законом Моисея необходимость любви к *соотечественникам*. Христианство изобрело и навязало человечеству некую божественную *«любовь к ближним»*, источник которой оно находит не то в боге, не то в необходимости, не то в основании веры, не то в основании

«спасения» – хотя врожденным свойством и человека и даже животного является доверие в отношении к представителям своего вида, тем более рода, но более того, во многих случаях животные привязываются и друг к другу и к человеку (мы видим постоянно проявления любви, которую испытывают к человеку, например, собаки). Человек оказывает помощь не только другому знакомому человеку, попавшему в беду, но и животному, это врожденное, а не приобретенное свойство, и оно не связано ни с Заповедями Моисея, ни с повторением их в проповедях Христа и его учеников. Все народы мира, даже не слышавшие про Христа, предоставляют приют путнику, попросившему о пристанище, воду жаждущему и пищу голодному, быть может, даже канибалы проявляют свой зверский характер только по отношению к враждебному племени, с которым они находятся в состоянии войны.

И что же, Бог пришел на землю, чтобы возвестить принцип единства и взаимопомощи, свойственный природе в целом? (о чем вы можете прочитать в любом учебнике биологии).

Половая любовь и чувство материнской любви – это природные чувства, врожденные всему природному миру, не только человеку, они суть основные свойства Природы, но никак не отношений между Богом и человеком. О прочих ценностях, из которых проистекает смысл человеческой жизни, я лишь упомяну, они в фундаменте культуры: *жажда познания, творчества, забота о мире, любовь к природе (в том числе к человеку)*.

4. Есть ли Бог?

В отрочестве нас волновал вопрос (навеянный фантастическими романами): есть ли жизнь на Марсе? Философы так же озабочены были бытием Божиим. Если Бог есть, то жить возможно, если Бога нет, то мы пожрем друг друга! – восклицал Достоевский. У нас и у турок, у европейцев и сарацин были боги, несомненно, и мы яростно пожирали друг друга во имя своих богов. Лишь с ослаблением религиозного экстаза ослабла жажда пожирания (нашествие немцев на восток и жажда мирового господства вызваны своеобразной немецкой религией, которая сродни иудаизму, я совсем недавно перечитал книгу Иисуса Навина и рассказ о боге евреев, повелевшем им отправиться на завоевание *Земли обетованной*, которую им Бог подарил, хотя она была уже населена другими народами и их надлежало истребить поголовно, вместе с младенцами, и Бог помогал пришельцам, сбрасывая на защищающихся туземцев громадные камни с неба – привожу сей эпизод не в осуждение евреев, но в осуждение кровожадного бога, своего рода мексиканского Келькатцеатля, которого они избрали в свои вожди).

Религия не только не была, но и не могла быть источником нравственности, в ней выражался народный миф о *становлении народа и государства*, миф поневоле жестокий, так как становление племени, отделенного от сообщества племен, происходило поневоле через борьбу и отчуждение.

Что мы ищем в наших поисках Бога? Дело, может быть, не в том, есть ли Бог, но – зачем он нам? Что мы с ним приобретаем? Путеводителя? Защитника? Спасителя? Учителя? Вождя? *Доброго или злого барина?!*

5. Женская природа Достоевского

Женщины иначе верят в Бога, чем мужчины, не то чтобы самоотверженнее, но в некоторых отношениях так, как они влюбляются в любовника, как Анна Каренина влюбилась в Вронского. Мужчина сначала идеализирует женщину, потом ее избирает (даже если идеализация и избрание отделены лишь мгновением), он видит, что *она лучше других*, и *поэтому* он ее предпочитает другим (чаще этот выбор происходит бессознательно). Так влюблялся я, обычно я бывал ослеплен красотой девушки, с которой внезапно сталкивался: на улице, в трамвае, в обществе, мне казалось, что она самая красивая, и я преклонялся перед нею как перед богиней. Но женщина сначала испытывает притяжение к тому, кто тронул ее сердце, и потом верит в его исключительность: *«не по хорошему мил, а по милу хороши!»*

Мне почему-то сразу показалось, что Достоевский рассуждает и чувствует *по-женски*, его мысль была обычно эмоциональна, выводы отталкивались от эмоций, а не от логики, а когда я у него прочитал, что «если будет доказано, что Христос и истина не одно, то он лучше останется с Христом, чем с истиной», в его женской природе я уже перестал сомневаться (а кто читал о его удивительном романе с Полиной Суловой, например, в статье Г. Мурикова, или хотя бы в романе «Игрок», о том же, тот увидит ту же истину, которую, впрочем, не надо обменивать уже на Христа и ни на какую другую истину).

Петрашевец Ястржембский, разделивший с Достоевским тяготы этапа на каторгу (в трудную минуту тот его поддержал), вспомнит потом: «Симпатичный, милый голос Достоевского, его нежность и мягкость чувства, даже несколько его капризных вспышек, *совершенно женских*, повлияли на меня успокоительно...» В Тобольск для встречи с петрашевцами приехали жены декабристов: Анненкова, ее дочь, Фонвизина и Муравьева.

Н. Д. Фонвизина подарила Федору Михайловичу «евангелие», которое он хранил до самой смерти. (И, кстати, и очень важно: я поклонник Достоевского, читал даже его записные книжки, даже черновики романов... Конст. Леонтьев упрекает Достоевского, что у того в «Преступлении и наказании» даже Сонечка Мармеладова ничего кроме Евангелия не читала, а я уверился в конце концов, что и сам Достоевский ни одной странички ни богословских сочинений, ни Житий Святых, ни святоотеческой литературы, ни даже Ветхого Завета **не**



читал! «Девушка» в роковую минуту столкнулась с истиной Христа, и так уже ей и была верна, и отстаивала ее вне логики, вне философских рассуждений (это наш знаменитый так называемый философ и психолог, «Макар Девушкин», не разбиравшийся ни в женских сердцах, ни в христианстве, ни в социализме (впрочем, такой же как **все!**) – в чем был уверен и К. Леонтьев!) В 61-62 г.г. Достоевский путешествовал с Полиной в Европе и проиграл в рулетку всё, включая ее драгоценности! (Неплохо!)

6. Доводы защитников почвенничества

Кажется, Ницше (не менее женственный, чем его любимый Достоевский), уверяет, что и Христос был женствен – но моя статья посвящена не опровержению христианства, которое опровергнуть так же невозможно, как и противоположную ему идею *прибавочной стоимости* и *«пролетариш всех стран соединяйтесь»* и *«нести отныне ни еллина ни иудея»* – нет, я отстаиваю свои личные ценности и ценности укорененных в русской почве людей, связывающих свою жизнь с Россией и свое посмертное сверхбытие с родом и народом, так же духовными, как и материальными, но не с двумя ложными мифами: осуждением человека за страсть к познанию мира (*миф о грехопадении*) и прельщением человека **псевдо-воскресением**, но по существу бестелесной и **безличностной** вечностью (аки листа на древе господнем). Но о своей вере и надежде я напишу в продолжение своей Исповеди.

Нравственность укоренена в Природе, и более того, она гармонична миру в целом, ибо человек, как и Бог, и отрицает «мир как целое», и принимает его. Правила рассуждений и правила математики не даны нам в виде скрижалей, так же не в скрижалях повествуется о том, что красиво и что безобразно. Да, мы не во всем согласны между собою, и продолжаем спорить, но потому и спорим, что по существу имеем одни и те же основания Логики, Нравственности, Красоты и гармонии (у меня на огороде синичка уже заглядывает в мою ладонь, нет ли там крошек, и я надеюсь, что скоро она уже согласится выслушать мои рассуждения о тлетворности Дарвиновского случайного отбора в происхождении природы и человека, как я слушаю ее пение). **Но разве Бог и «горение духа» не выше, чем «половая любовь» и любовь к родине?** – возражают мне христиане, противопоставившие сына Божия насущному прекрасному миру (якобы находящемуся под властью дьявола), и моим родителям и другим добрым людям, спасшим всего по несколько человек, (но и о том, что *Христос спас всё человечество*, нас уверяют его последователи, *отрекшиеся* от культуры и народа – или, по крайней мере, бросившие культуру и народы к ногам христианства – но что изменило христианство за две тысячи лет?) Я встретил немало прекрасных людей в своей жизни, среди них были и верующие в Христа, и верующие в коммунизм, и дворянские и крестьянские поэты – а я чувствую душу ребенка и вас уверяю, что все эти прекрасные, которых я встретил, наследовали свой ангельский образ из своего детства и из своей семьи и из своего народа, иногда еще бывали в их жизни чудесные встречи с любящими людьми. Но религиозная проповедь если и изменила нескольких, то в худшую сторону (как несчастную боярыню), а Бог пробудил совесть, как доносит до нас история, только в одном Кудеяре – да и то, возможно, это лишь вымышленный художественный образ. Я и сам не пытаюсь свой народ сделать ангельским – я только хочу остановить его гибель и гибель России, это легче, чем *изменить* одного человека или *спасти* его – хотя одну из погибающих я однажды почти спас, но религиозная проповедь вернула ее к Богу. И она теперь по-прежнему несчастна (хотя в минуты затмения счастлива) – но кто прав, ваш Миф или мои человеческие рассуждения и мои не злонамеренные

помыслы (а какое злое намерение может уже мною двигать, если у меня есть ВСЁ, к чему я стремился в жизни, я испытал и любовь, и блаженство, и веру и неверие, даже скоро – мне кажется – научусь убедительно писать?) – итак, кто прав, я или мои оппоненты, это такая *квадратура круга*, которую окончательно решить невозможно, даже мне, математику – может быть потому, что я не хочу лишать вас иллюзий.

Жить, как жила моя мать, заботясь о близких, иногда и о дальних, или как жил мой отец, жертвуя жизнью не только за родину, но и за спасение своих отступавших солдат оставшись на Безымянной высоте, – это, конечно, не горение духа? А *подвиг* тщеславного монаха, который, о чем пишет Страхов, намеренно поселился в мокрой и холодной пещере вдаль от монастыря – это подвиг во славу Господню?! Хорош ваш Бог, благословляющий такие нелепые подвиги! И дело вовсе не в том, есть ли доказательство бытия божьего! Ну и пусть такое доказательство есть. А я и без всякого доказательства знаю, что есть, например, волки в лесу. И меня это не радует. И если единственный Бог, который есть, это тот Бог, о котором я читаю в Ветхом Завете (Бог-Отец), и который сбрасывал камни с неба на филистимлян, то лучше, чтобы не нашлось доказательств его подлинного существования. А то, что в мире и в русской истории много превосходного, и в те периоды, когда было «горение духа», и в те периоды, когда происходили восстания против этого горения, трудно сказать, когда дух горе сильнее. Да, несомненно, что история *Русского Раскола* дала нам миллионы подвижников в защиту своей веры (хотя государство Российское страдало от этого горения более, чем во времена, когда горение гасло), да, и послереволюционное время дало нам множество подвижников веры – но разве те, кто строил и защищал Родину – не были подвижниками?

7. Узурпация Бога

В науке и культуре существуют периоды господства одного направления мысли и подавления другого направления: когда-то царствовала схема космоса Птолемея (поддерживаемая христианской церковью), ей на смену пришла система Коперника – но мы, коперниканцы, ведь не будем сжигать сторонников Птолемея (даже для поддержания горения своего духа!) Была в 18-м веке теория теплорода, потом отвергнутая, и тоже никого не сожгли, хотя в 20-м столетии, когда к власти пришла христианская секта иконоборцев, сиречь марксистов, начали сажать и ссылают генетиков и кибернетиков, этих «продажных девок империализма» – я эту безумную практику схоластического, казалось бы, спора, переходящего в потасовку, никак уразуметь не могу. Вот и упоминаемые Н.И. монофизитство и халкидонство, о которых верующие в большинстве даже не слышали и, возможно, даже могут сказать, что православным и знать об этом не следует – а ведь речь идет о природе Сына Божия, которых в нем две, ибо он и Бог и человек, то есть *Бого-человек* – а если знать об этом следует, то почему бы им не обсуждать сие на семинарах, как биологи обсуждают эволюционную теорию? Я против нее, но я не призываю ее сторонников отстреливать после их семинаров? Почему же не

осуждать и то и другое? (В книге своей я постараюсь математически точно разъяснить, в чем различие разных точек зрения на природу божества – хотя, впрочем, за пределами церковной схоластики остается вопрос о том, был ли Спаситель Богом и был ли он спасителем – не говоря о том, что проблема бытия божия профанирована до крайности разными доказательствами того, что бог существует, во-первых, и во-вторых, низведена до особенного душевного экзистенциального состояния, называемого **верой**, в котором существование божества непосредственно ощущается, Бог словно бы видится и не нуждается в доказательстве (по мнению одних), или вера должна быть слепой – но *слепо должен верить человек* – и тогда сомнительно, чтобы Бог непосредственно ощущался – по мнению других. То основное состояние человека, та *трансцендентная сторона его бытийности*, через которую человек соединяется с Богом, богословие даже не пыталось разрешить, но сколько природ в божестве, с помощью убийств и пыток решило?! (Да и возможно ли, чтобы Бог одновременно был и человеком?) И к тому же – **зачем?** (Я, правда, вижу в этом важное намерение – пережить наши человеческие муки смерти – но воскрес ли Христос только как Бог, или вместе и как человек? Или человеческая природа не воскресла, и потому ученики его не узнали?) Да, тут немало проблем, связанных именно с мифом о пришествии, распятии и воскресении Христа – доказательство бытия божия относится ли к Христу или к Богу Отцу, или Духу святому?)

Но я уже сам сбиваюсь в сторону. Розанов восклицает, рассказывая о трудных родах его матери, что пусть бы лучше «ваш бог» во имя спасения человечества сделал пошире тазовое отверстие женщины – словно это не его бог, православного человека. Да, вот что: проблема существования бога состоит не в том, есть бог или нет, а кто именно есть? Может быть, это бес? – спрашивает Розанов (все это в статье по поводу пьесы Ибсена). Для меня в существовании Бога проблемы нет, я его бытие непосредственно ощущаю, как мы летом чувствуем солнце, даже если оно за облаками. Я ощущаю творческие энергии, потоки духовного света, пронизывающие мир, ощущаю «музыку сфер». В евангелии же говорится, что бесы не сомневаются в существовании бога, они его ощущают и *трепещут*. Так, может быть, ты и сам бес, раз непосредственно чувствуешь бытие божие, или Великий Инквизитор, спросят меня православные? Но по крайней мере тот Бог, которого я непосредственно ощущаю, не бросает с неба камни на филистимлян, не возбуждает в людях искание святости за счет особенных христианских подвигов, отвратительных для обычного мирского человека, вроде отказа для бога от семейной жизни, *бичевания тела*, посыпания пеплом главы, отказа от сна безо всякой необходимости, изнурения и *умерщвления* плоти, **подвиг юродства** – ну помилуйте, какая необходимость богу в юродивых? В монахах? В столпниках? В молчальниках? В замуравании себя в склепе? В том чтобы **жить аки спять во гробе** (любимое выражение апостола Павла)?

«Горению духа» христианского подвижника, истязающего себя, свою плоть, свою жизнь, я противопоставляю обыденное горение моей матери, горение солдат ужасной войны, которые и сгорели в ее топке – а не все же

бежали в атаки как бессловесные овцы, закланные во имя всемирного Агнца, многие, очень многие именно защищали нашу страну сознательно и воодушевленно, горение духа поэтов и философов, ученых, декабристов, не во всем правых, ошибающихся, но перенесших тридцатилетние тяготы каторги и ссылки и вернувшихся для служения отечеству – в чем средний монах выше среднего мирянина? Что же за сокровище содержится в идее «возьмите крест и идите за мной», так надстоящее над трудом и творчеством? Труд и творчество унижают христианским учением и совестливые из христиан пытаются оправдывать Поэта перед епископом и актера перед священником – рутинная служба священника в чем же выше службы на сцене? автора богословских поучений перед ученым или просто тружеником? Пастора Кьеркегора перед Розановым? Иоанна Лествичника перед Пушкиным? Да и самого апостола Павла перед Пастером, открывшим чудодейственные лекарства и спасшим миллионы – или это спасение низко, а спасение безграмотных и слепых верных, замурававших себя в skleпах, высоко? Существование какого бога пытаются доказать христианские философы? Не о том даже надо говорить, что мы бы без Пушкина околели – мы бы остались висеть на деревьях с хвостами, если бы не развитие культуры и цивилизации, если бы не Гомер и Фалес, и даже спорим вот в данную минуту благодаря им, потому что и письменность возникла в человечестве в силу божественной телеологии, божественной духовной энергии, включающей в себя цель развития! И что же, римские императоры, принявшие христианство, спасли свои народы, а евреи, отвергшие его, будут гореть в аду или ныне одесную сатаны? Вот даже я не атеист, я не только человек культуры, но я и человек духовной жажды (и я не бес и не инквизитор) – но я не говорю, что атеист непременно уже идет в ад – нет, плохой человек поспешает в «ад», хороший – в «рай», но хорошими мы делаемся уж никак не в результате чтения Библии, которую Торквемада знал наизусть, а я смутно помню.

Так есть ли Бог? И какой Бог есть? Келькальцеатль? Бог жертвоприношений? Или после проповеди Христа оно прекратилось, жертвоприношение человека: бедного богатому, раба господину? А что именно он проповедовал нового в сравнении с Моисеем, сумеет ли сформулировать средний христианин? Увы, я не отвечал на вопросы, а сам еще больше нагромоздил их. Обыденный человек, даже не учившийся в Духовной Академии, мыслит и чувствует, и непосредственно взаимодействует с миром, ощущая его во всех грубых проявлениях и тонких оттенках, и во-первых, это мир физический, грубо-матерьяльный, от всемирного притяжения, тепла и света солнца, воздуха и воды, дождя и снега, грома и молнии, огня, в котором сгорают древесные дрова; и во вторых это мир Природы, живой и частично неживой, мир растительный, животный, цветы и бабочки, журавлиные стаи, лошади и собаки, мир, с которым мы даже общаемся как с друзьями и родными, и в третьих, это мир человека, отчасти природный, отчасти надприродный, в котором, как ни странно, содержится и Бог. Он приходит к нам через Миф и через мысль и чувство – какое дикое и нелепое отрицание культуры в Новом Завете и в богословии, отрицание этики и эстетики и даже

логики – ибо человек соприкасается с надмирным, то есть и с Богом, и в обыденной жизни (Савл идет в Дамаск, Жанна едет на лошади в Орлеан), и через чудо (если оно есть, и если оно видимо, а не только о нем рассказывается в житийной литературе, в легендах, в преданиях), и через иконы (с которыми истинное, то есть исходящее из Палестины, христианство ожесточенно боролось, и через богословскую философию, и через художественную литературу – или Бог явился горстке праведников, и только то, что им открывается в их пустыне, имеет отношение к Богу и религии, а наши страсти, наши стихи, войны, любви, страдания, наши научные открытия – это всё мир дьявола? (который ходит, аки лев рыкающий, ища кого поглотить? Вот он, видимо, поглощает теперь меня, потому что я вижу воочию, что апостол Павел, поучающий нас, что улицы Афин уставлены идолами, ничему научить нас не может, потому что он пытается эстетическое выбросить из мира и из религии, а ученики апостола, сидящие рядом со мною в капелле и слушающие «Страсти по Матфею», дружно заявляют, что, конечно, красота не может спасти мир (в евангелии и в самом деле подразумевается нечто противоположное, чем спасение мира красотой), а новые книжники – не те, которых Христос пытался изгнать из Храма вместе с менялами, а те, которые сначала окончили университет, потом синагогу... ах, черт... ну, эту... бурсу... медресе... ну, неважно... они со знанием дела объясняют, что и этика не содержится в религиозном мифе и в самом христианстве, мораль – или Закон, правила поведения – не сердце христианского учения, а его сердце – **вера** (ну хотя бы величиной с горчичное зерно, о чем неоднократно говорил и Спаситель (Христос). Не понимал этого Кант, пытавшийся найти доказательство бытия божия? Доказательство исключает веру, доказательство подменяет веру знанием! Оно исходит из дьявола, из **познания** (лежащего в основании грехопадения). (ах, да, после университета они поступают в семинарию). Но есть один факт, связанный с верой намертво, неотделимый от нее, на этом факте все же вера основана, и тогда, следовательно, **слепая вера** – это не вера. Этот факт – воскресение Христа после распятия, апостол говорит, что **если** Христос *не воскрес*, то вера наша тщетна.

Следовательно (по Павлу), сердце христианства все же в воскресении, и из него вытекает вера. Но есть еще «новое религиозное возрождение» *Серебряного века*, и оно в центр по крайней мере размышления о Спасителе ставит пришествие его в мир **для** распятия, и делает из сего вывод, что Сын Божий пришел для распятия, для *пожертвования себя*, чтобы этой жертвой ... (перечитайте послания апостола, коротко их мне не изложить – в идее жертвы Богу и, наконец, уже жертвы самого Сына божия – не знаю, **кому** эта жертва приносится – и христианство связывается с религиозными культами, основанными на жертвоприношении, в частности, конечно, и с иудаизмом и с исламом, и с обрезанием и с необрезанием (но пусть лучше на этот счет нас просветит сам Павел, затем Розанов, наконец, господин М---ов.).

Но надо вернуться к отношениям религии и культуры (и даже бог с нею, с наукой, отношения религии с которой набили уже нам оскомину. Мне важнее отношения религии с поэзией и философией).

Так называемую религиозную философию Серебряного века православие отвергло, даже плюется, и в отношении Бердяева, и Сергея Булгакова, и даже Флоренского. Поэзию православие отвергло всякую, Гоголя простили, потому что он отрекся от Пушкина, и от себя самого чрез сожжение Мертвых душ. Пушкина православие простило, потому что он якобы стал православным (впрочем, его вообще невозможно вынуть из контекста всего девятнадцатого столетия в целом, когда русская дворянская культура достигла уровня античности, и если она содержала в своем сердце Бога, то это и был Бог аристотелевской мировой энтелехии и человеческой духовной жажды, или бог науки и искусства, которые были вдохновлены музами, то есть бесами (нет, бесовками), согласно ли Оригену, согласно ли бабушке Саши Михайлова, искренне верящей, что книги испоганили шкаф, в котором они лежали).

Но вернусь к началу этой главки. Мы, здравомыслящие люди двадцатого и двадцать первого века, слышавшие в детстве русские народные песни, потом в юности музыку немецких и русских композиторов, иногда упоенно смотрящие на закат или на звездное небо, в зеленые глаза небожительниц, потом, чуть постарше, пытающиеся распутать *единство противоположностей*, *переход количества в качество* (если этот бред считать за нечто осмысленное, то следует думать, что не внутренне развитие того или иного, например, развитие организма, процесс школьного образования, история народа, жизнь человека приводят к изменениям, а течение времени, скопление мусора, увеличение пройденного пути по дороге в Дамаск или времени в циферблате часов), затем *отрицание отрицания* (это страшно глубокомысленно, ибо и в само деле "-(-a) = +a" – и эта галиматья выдается за законы, управляющие содержанием логики и самим движением мироздания (вот, в частности, планеты вращаются вокруг солнца, как мне вчера напомнил мой ученый друг за рюмкой кальвадоса – мы оба продрогли на набережной Невы, идя с концерта – и само солнце вращается – и те и это вращаются вокруг их общего центра тяжести, находящегося около центра солнца, да и планеты притягивают солнце, смещая его движение, и всё сие приводит к тому, что целые протуберанцы, выбросы масс с поверхности солнца, сопровождаются и выбросами энергии, достигающей поверхности земли, как и Луна, притягивая Землю, вызывает в морях и океанах приливные волны, правда, не достигающие поверхности Луны) – но почему-то не происходит "отрицания отрицания"; и, наконец, Большой взрыв, Черные дыры и Прибавочная стоимость – это все мифологизация жизни и вселенной – но действительно ли это философия Божества? Да, надо мне взяться за писание Книги, повествующей: «Откуда есть пошла не только русская но и всяческая земля, был ли большой или хотя бы малый взрыв в начале начал, было ли начало начал и что оно из себя могло представлять, могли ли случайные изменения того или иного (например, отдельных особей вида) выстраиваться в некую цепочку, приводящую к осмысленным изменениям вида, так что эти случайные изменения приводят сначала к осмущению крыла, затем к его четверти, затем к половине, и полуптица-полурыба конечно еще не летает, но крыло продолжает надстраиваться?

8. Окончание строительства октаэдра

Мы все религиозны, в той или иной мере. *Верующие* в Христа думают, что вся небесная мудрость изложена в древнем мифе, записанном в Библии – хотя в ней изложено множество мифов, повествующих о взаимоотношениях Творца мироздания и избранного народа, затем в Новом мифе, рассказывающем еще и о Сыне. Атеисты по большей части *марксисты*, и поскольку им запрещено всякое сомнение в основе основ, то они суть верующие тоже, но их бог – это противобог. Дейсты по большей части пантеисты, одни из них буддисты, другие огнепоклонники. Я думаю, что Бог существует, и точно так же, как и человек (которого он создал по образу своему и подобию), двойствен, то есть в нем есть и тело – это тот физический мир, который мы наблюдаем и в котором живем, и душа (или дух) – это те творческие энергии, которые пронизывают мироздание, которые подобны энергиям, пронизывающим и человека, или составляющим его душу. Возможно, мир отделен от предполагаемого всемирного бога, но тем не менее изменение мира подчинено духовным энергиям, как и притяжению, движению, развитию и увяданию.

Хотелось ли бы мне пожить в грядущем? Возможно... Но то воскресение, которое мне обещают христиане, мне кажется страшнее смерти: ни пить ни есть, ни ног ни крыльев, ни обрезания ни необрезания, ни жены ни детей, не только без икон, но даже без иконоборцев – словом, *листья на древе...*

Не будет в христианском воскресении ни дикости ни культуры, я не смогу забыть от трагедии безличностного бытия даже с помощью музыки, скорее всего, не разрешат мне и писать – да будет и нечем, ибо тот мир бестелесен.

Что же обещал верующим Христос? Вedomо ли это христианам?

Может быть, они мне ответят, приведут нечто в защиту учения? А пока я приношу им свои извинения в язвительности тона, каюсь и перед марксистами, что так резко обличал их в пролитии крови. (Да, забыл упомянуть, что христиане своего Бога называют то *Бог-Слово*, то *Бог-любовь* – а что они имеют в виду, пусть бы тоже написали, нашим критикам все интересно).

Я не строю иллюзий, мировоззрение избирается как голос, как характер, как пол и национальность, во многом врожденно, в ином случайно, а уж когда избирается, человека несет как ветер или течение несет корабль, как страсть несет влюбленного. Математика бессильна повлиять на увлечения. И меня несет моя судьба, я и не могу с нею спорить – это моя Россия. Причудливо соединились в ней крестьянское упорство, верность и трудолюбие, дворянская гордость, честь и своеволие, купеческая предприимчивость, расчет и ухарство, жертвенность интеллигенции и духовенства, а в роковые минуты русский народ призывает на защиту своих высших ценностей подвижников и героев. Но это народ безоглядной страсти, и он приносит все, чем владеет, в жертву той идее, которая его увлекла. Мы шли за Вещим Олегом, за Христом и Аввакумом, за Разиным и Пугачевым; сегодня роковой час, пора оставить ветхие одежды и пойти за Россией! Не может быть нашим вождем Спаситель всех, притом обещавший спасти **свой** народ, который он не спас. У каждого народа если не свой Бог в мире, то по крайней мере свой Спаситель. Мне многое было дано, кажется, я ничего не сумел исполнить. Но если я только смогу убедить вас жить во имя спасения России, я исполню свои ожидания. и..

КОММЕНТАРИЙ МАТЕМАТИКА

«...понятие адаптации, как и понятие организации, функции и другие специфически биологические понятия, само является насквозь «телеологическим» в том смысле, что неотделимо от понятия «цели». Ведь важнейшее значение слова «адаптация» в биологии – это «полезность» некоторого свойства организма (морфологического, физиологического или поведенческого) для выполнения какой-либо функции или достижения какой-либо цели (добывания пищи, бегства, размножения и т.д.). Именно поэтому некоторые (с моей точки зрения, наиболее пронизательные) авторы давно обращали внимание на то, что Ч. Дарвин как раз «ввел в естествознание телеологию». – Это еще пишет самый умный и осторожный защитник Дарвина!

Такое впечатление, что ученые в большинстве случаев не отдают отчета в содержании своих высказываний (может быть, не все). И хотя прогресс в науке все же совершается (как ни странно), но это не прогресс в осмыслении мира и жизни.

Представим себе, что из бесконечной груды букв в результате случайных воздействий на нечто изменяемое (природу, вид, существо) выбираются – случайным образом – не абзацы, не страницы текста, даже не понятия и готовые узлы некоторой машины – и пригодные для построения осмысленного текста (романа «Война и мир» Толстого) буквы присоединяются к нему, а не пригодные отбрасываются, таким образом происходит **адаптация** – построение романа, атомохода, крыла птицы, легких вместо жабр и тому подобное – не говоря уж о мозге млекопитающего вместо мозга у рыбы ... Вы что, сумасшедшие? Все эти «эволюционные изменения» представляют собою **бесконечно малые изменения** в изменяемой функции (которая и является телеологией и энтелехией), и даже стремление к некоторой точке есть процесс в бесконечности (которая не может быть **актуальной** – смотри Аристотеля)... Для большей наглядности представим себе, что с помощью мутаций или каких-то других эволюционных случайных изменений строится дом. К тому что есть, присоединяются «адаптационные изменения» - это не может быть готовый блок дома, этаж, крыло птицы, даже перо крыла, ни птицы ни крыла в природе ЕЩЕ нет, они только должны, по мысли Дарвина, в Природе возникнуть... Присоединяются кирпичи? Нет, и их не может быть! Присоединяются бесконечно малые изменения, не обладающие по существу никаким содержанием, молекулы кирпича, молекула за молекулой, пусть даже со скоростью миллиард молекул в секунду, но математик сосчитает, что для кирпича – только одного кирпича! – потребуется больше чем миллиард миллиардов лет!!! А ведь адаптационные изменения надо еще оценить, и бесполезные отбросить а полезные принять – а кто кроме Бога может взвесить, годится ли эта молекула для нужного кирпича? **ОЦЕНКА ПОЛЕЗНОСТИ бесконечно малых случайных изменений НЕВОЗМОЖНА!!!** - Но как же селекция?

А так, что при этом нет эволюции, то есть построения нового качества в природе, в которой его еще нет (крыла птицы) с помощью случайных изменений, не обладающих телеологическим содержанием...

Но...

Да хватит! Запишитесь в первый класс математической школы, изучите сначала арифметику... потом, конечно, надо научиться читать Аристотеля – иначе никакое ОСМЫСЛЕНИЕ чего бы то ни было невозможно.

Но **зачем**, возражают, нам все это? Зачем нам читать Пушкина, Толстого, Евклида и Аристотеля, если есть Библия (Новый Завет)? Или есть «берестяные грамоты»?

Затем, что мы не сможем без них оценить осмысленность или бессмысленность ни Теории Эволюции (практически ни сторонники ни противники ее не понимают, о чем они спорят), ни марксизма, ни фрейдизма, ни христианства, ... ни смысла жизни, ни необходимости для человека родины, для русского России и русского языка (в том числе и для «русского немца», «русского еврея», «русского узбека», который копит деньги на танк, чтобы спасти Россию... и не забывайте, что мой национализм не отделим от формулы «лучший русский – это немец!») не сможем понять, тлетворна ли сегодняшняя жизнь в России (а она тлетворна!), а потому, поддерживая ЗЛО, будем еще кипеть в аду! (И я вас защищать не буду, устал уже от людской глупости, надо вам и пострадать, чтобы захотеть «мыслить и страдать»).

Конечно, одной математики мало, необходима еще и философия. К счастью, предлагают нам (*пернатый*, то есть эволюционно уже приобретшим крылья) присоединить к нашему журналу и нашей Критике еще и философию. Так в чем же дело? А дело только в том, что и сами философы не проявляют достаточной энергии для *воссоединения двух родственных народов* (пернатых и размышляющих, то есть летающих и прогуливающихся: *перипатетиков*), и мы слишком высоко улетели, надо бы посидеть и на земных ветках.

Заканчиваю. Секция критики и ЖУРНАЛ – это та лужайка, на которой мы должны встретиться. И пусть философы предложат нам ряд тем, которые помогут нам взлететь (а я подозреваю, что дарвиновские крылья в воздухе нас держат еще плохо... А хорошо ли нас держит в воздухе идея СПАСЕНИЯ, которую никто из нас еще не осмыслил?) Мы пропитаны материалистическим мирозерцанием, исходим из **материи** как из вещества и единственной объективной реальности, из которой вырастает наука, при этом начали верить в чудо и воскресение... и так далее...

...время истекло, стаяли с трибуны...

Все ушли, забрался на трибуну снова.

Наши споры состоят в обменах тезисов и антитезисов, доказательств и опровержений.

Так мы спорим, на каждый тезис ищем антитезис, а то начинаем бить друг друга по морде (заимствую у Алексея Ахматова, вдруг открыл его книжку, зачитался... Почему он не пишет в наш журнал?)

Но то, о чем мы спорим, на что *придумываем* свои контрверзы, уже существует, уже есть, сказано, выбито, отлито: в камне, бронзе, на тысячелетия, ничего не надо выдумывать, надо только не спорить, а спокойно рассуждать с самим собою и записывать увиденное и услышанное... или читать чужие книги и статьи, а не сгоряча за бутылкой сказанное...

Всё есть в языке, я об этом уже писал. Понятийный строй языка содержит весь матерьял правды и истины. Вот, например, мы рассуждаем о критериях, имея в виду доказательства утверждений. Например, мне больно, я пытаюсь кому-то доказать, что мне больно, а он не верит. Но доказать, что мне больно, нельзя, а чувствовать боль вполне возможно, даже необходимо. Мы спорим, различается ли хорошее и плохое, различаются ли запахи, звуки, слова... Конечно, различаются, мы видим и слышим, даже обоняем, все люди, одни хуже, другие лучше, некоторые, правда, подслеповаты, другие глуховаты, у третьих что-то не то с обонянием. Но сами по себе все эти категории бытия существуют, без них жизнь была бы невозможна. Итак, есть **вкус, слух, мера (критерий** – др.-греч. κριτήριον – способность различения, средство суждения, мерило). Если бы не было слуха, то не было бы музыки, музыкантов и певцов, композиторов и сочинителей песен. Но у слушателей и у критиков слух есть не у всех. Пушкин, например, был великим поэтом и великим редактором (и критиком), его вкус был безупречен, он чувствовал не только свои стихи, но и чужие. Понимание жизни, ее обстоятельств, ощущение правды, сознание правды (особенно сущности теорий, учений и идеологий) есть не у всех, поэтому толпа долго, иногда тысячелетиями, идет и за ложными пророками. Жаль, что толпа не слушает тех, кто **слышит**. Но ведь и эти не во всем правы, они не сумели найти убедительных слов. (Нашел же Лютер такие слова и прибил свои знаменитые Тезисы к вратам Вюртембергского собора и перевернул весь мир). Я, к примеру, с марксизмом не согласен с 1961 года, то есть 57 лет, меня за мое несогласие посадили в тюрьму, в сумасшедший дом, запретили преподавать даже математику – но ведь я пока тоже не достиг совершенства в представлении мира и его критике, и пока совершенствуюсь. Что со мною не все согласны, объясняется преимущественно тем, что я еще не убедителен, еще плохо пишу, еще не достаточно глубоко... Но жизнь моя течет наилучшим образом из возможных, академическая жизнь не дала бы мне ничего существенного, только может быть, накопил бы я денег на велосипед, а так пока велосипеда купить еще не могу.

Надо добавить к критике (которая выше) еще несколько фраз. Цитирую:

«Биология отличается от физики и химии именно телеологией (а вовсе не принципами витализма). Причина этого – то, что биология рассматривает явления «как бы» спроектированными, а физика – нет.

Кто же проектировщик жизненных явлений? Разумеется, **естественный отбор**. И тогда вновь (в который уже раз) встал со всей остротой вопрос о логике естественного отбора: является ли он фактором причинным или телеологическим? Или и тем, и другим одновременно?

... Объяснения с точки зрения отбора изначально телеологичны в том смысле, что *ценные последствия признака* (Дарвин часто использовал термины «преимущество», «польза») объясняют его сохранение и закрепление в популяции.»

Ученые несут **пургу** гораздо худшую, чем подростки и неученые мужи.

Теория естественного отбора – это теория *присоединения* к тому, что уже принадлежит к виду (как сумма его свойств), тех новых признаков, которые появляются у отдельных особей случайно, вследствие случайных изменений,

мутаций. Появляется *новый признак*, он оказывается полезным, и так как некому решать, полезен он или нет (ибо нет селекционера в вольере или на опытной делянке, который новое семечко высевает и урожай высевает снова и наконец распространяет культуру на большой площади. В природе, если у одного барана вырос нечаянно еще один рог – изменила самка случайно, вот рог и вырос – то чтобы такие бараны начали доминировать, надо, чтобы этот рог закреплялся в потомстве, чтобы остальные бараны были вытеснены в свержаркие страны где и повымирали... Но вот эти рассуждения о появлении **полезного признака** – это **бред и пурга**. Случайные изменения, появляющиеся в особи, могут быть родинками, опухолями, недоразвитиями некоторого органа (с чем мы потом мучаемся) – а *полезный признак*, появившийся случайно (или хотя бы неслучайно) – это лживое словосочетание. Если в природе еще не было птиц, и, следовательно, не было крыльев – то как вы представляете себе, что у какой-то рыбы вдруг выросло крыло? Или полкрыла? Или хотя бы одна стотысячная часть будущего крыла? Во-первых, эта стотысячная часть еще не может быть ни полезной, ни бесполезной по отношению к будущему крылу, к ней не могут пристраиваться другие его части ни по какому принципу, кроме того, по которому пристраиваются кирпичи к стене дома или буквы одна за другою, чтобы составить нужное слово, или слова один за другим, чтобы составить необходимую фразу или фразы одна за другой чтобы составилось осмысленное высказывание, а затем после «долгой эволюции», составилась хотя бы рассказ – но крыло птицы – неизмеримо более сложное произведение, нежели даже роман или рассказ. Мысля составление мира из «полезных признаков» (которые существуют или откуда-то появляются как готовые блоки мироздания), мы, конечно, можем заключить, что соединились плавательный, дыхательный, глотательный и переварительный признаки и появилась рыба, которая потом, с присоединением летательного признака, превратилась в птицу, и это превращение осуществилось потому, что якобы «новые признаки» оказывались полезнее старых, со старыми вымирают, а с новыми размножаются – но и это ахинея, все древние виды, даже бактерии и вирусы, не только не вымирают, но не поддаются даже ядохимикатам, от которых только мы, люди, вымираем. Это странная особенность мышления – совершать какие-то провалы в рассуждении и производить новые, не связанные даже с этими провалами, выводы. Возьмем «переход количества в качество». При охлаждении воды зимою она застывает и превращается в лед. Четырехлетний Паша остановился около сосулек и вдруг воскликнул: «Капает! И застывает!» Но превращается ли количество в качество? Это **метафора**, вроде «я разбежался, и судьба с размаху вдруг ни за что влетела!» – судьба – это не продажная девка империализма, чтобы подстергать восторженных глупых поэтов. Если сложить вместе уран в количестве более двух килограмм, то интенсивность радиационного излучения оказывается достаточной для того, чтобы вызвать взрыв, этого урана, поскольку он редкий элемент, оказалось много, измерительные оценки такого типа: «много, мало», являющиеся количественными оценками – но количество ли во что-то переходило? Хотя здесь мы имеем все же дело с **количеством** вещества – при замерзании же воды в ведре и много воды и мало замерзают одинаково успешно, а ее *холодность* – это как раз качественная характеристика (как и

темперамент женщины) – какое же количество переходит в лёд? «Количество градусов» тепла? Аналогичный пример: две лошади тащут более тяжелый воз, *семь поленьев нагревают печь сильнее чем три полена...* Знаете, мне даже смешно объяснять, что количества и качества друг в друга не переходят, количественные отношения вещей и явлений, характеризующие объем, протяжение, массу, вес, тепло, освященность, теплопроводность, напряжение... – это меры, сопоставляющие, сравнивающие предметы и процессы. Проплывает пловец над рекою, и пока он плывет над ее неглубоким участком, он не тонет, а как поплыл над глубиною реки – тут и перешло количество в качество!

В оправдание большевистского террора говорится так: во-первых, *«революция должна себя защищать»*, и во-вторых, *«если не мы их, то они нас»* – смысл этих фраз, которые одинаково успешно защищают и разбойников, и воров, и бандитов, можно оттенить на таком примере: банда ограбила квартиру, под кроватью они нашли спрятавшегося ребенка и его убили, на суде они оправдывались тем, что он бы их потом мог опознать и выдать. Является ли эта фраза оправдательной? Вот точно так же «При нагревании газы расширяются» – это происходит потому ли, что *количество переходит в качество*? В неживом и живом мире случаются всевозможные изменения (и сегодня они случаются, как и миллиарды лет назад, и землетрясения, и наводнения). Рассматривая историю и эволюцию Природы на земле, мы отмечаем, что и вода и атмосфера и рыбы и птицы а затем и млекопитающие появились не сразу, происходило медленное образование атмосферы, птицы появились позже рыб. Ученый многое описывает и объясняет, и я сам учился в школе и привык доверять науке. Но являются ли наукой Дарвинизм, Марксизм, Христианство? **Нет.**

Но почему нас мучают необходимостью исповедания этих учений, преследуя за возражения и критику? Почему нам их навязывают с такою же силой, с какою гунны и монголы навязывали свое военное господство? – это гораздо интереснее и даже важнее, чем оправдание большевистского террора ссылкой на то, что если бы большевики не перебили сначала дворян, потом их детей, потом священников, офицеров, малолетних гимназисток (сначала над ними надругавшись), предпринимателей, купцов, крестьян (часто даже бедных крестьян, приклеивая к ним ярлык *подкулачников*), лирических поэтов, идеалистов, евразийцев, славянофилов, патриотов, генетиков, кибернетиков, авангардистов, имажинистов, символистов, сторонников неевклидовой геометрии, коперниканцев, противников Лысенки... и т.д.?

Да дело даже не в том, что в мире властвует духовное подавление, и мировоззренческие доктрины призваны оправдать господство одних слоев и сил и необходимость тотального уничтожения всех, кто с ними не согласен или может не согласиться позже (*шибко умный*) – дело в том, что действует сила, стремящаяся привести духовные и умственные способности человека к среднему значению (вот он, переход количества в качество!) – этому можно противостоять только при помощи литературы, музыки, зодчества, философии, то есть культуры. Но культура внушена бесами – это главный тезис религии (или по крайней мере культура не делает человека нравственнее, умнее, возвышеннее, великодушнее), или *культура партийна*, и надо уничтожать культуру не пролетарскую – главный тезис марксизма. *Далее см. НРЖ №11*

ОТЛИЧНЫЕ СТИХИ ИЗ ВСЕМИРНОЙ СВАЛКИ

* * *

Бросить всё, умчаться в Питер,
Налегке и на экспрессе,
На Фонтанке кофе выпить,
Пересечь вечерний Невский.

Львов скучающих погладить,
Поздороваться со сфинксом,
На задорных чаек глядя,
Подышать туманом Финским.

Замерев у парапета,
Посмотреть как мост Дворцовый,
Распахнется в небо, в лето...
Мне б туда вернуться снова...

Ну здравствуй, Питер

Александр Злищев

Ну здравствуй, Питер -
Гений красоты!
Привет вам, серые дома на Мойке.
Вдыхайте хмарь, бетоны и мосты,
И выдыхайте пушкинские строки.

Гуляю я без цели, наугад.
В руке вино, никто меня не знает.
Я видел грязь, в ней умер Ленинград.
Я видел свет, в нем Питер оживает.

И этот свет, как сумрачный обман,
Такой приятный, но местами дерзкий.
И я, навеки твой алкаш и наркоман,
Который сгинул на проспекте Невском.

=====

А еще:

1. Тем, кто забыл, напоминаю, что ровно через месяц (по старому «стилю») мы будем встречать (Старый) Новый год! Поздравляю из всех сил!!!
2. Тем, кого обидел, напоминаю, что я вас хотя бы временно прощаю (до новых обид) и зла на вас не держу.
3. И, конечно, лучшей половине человечества - мое сердце (временами чуть стучит, но в целом еще ничего...)! ***Ваш неизменный Редактор ВИ.***

НОВЫЙ РУССКИЙ ЖУРНАЛ

литературной и философской критики

(для всех, кто любит отечество)

№ 10

Подписано в печать 19 декабря 2018

Формат 60х90 1/16 22п.л = **352**

Печать по требованию

Почта редакции
Email: mvnch@mail.ru

СПб
2018